ПЕСТИЛЕТНИЕ ГОДЫ

ACADEMIA

РУССКИЕ МЕМУАРЫ, ПИСЬМА
И МАТЕРИАЛЫ

М. А. АНТОНОВИЧ
И
Г. З. ЕЛИСЕЕВ

ACADEMIA
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

М. А. АНТОНОВИЧ
ВОСПОМИНАНИЯ

Г. З. ЕЛИСЕЕВА
ВОСПОМИНАНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
КОММЕНТАРИИ И РЕДАКЦИЯ
В. ЕВГЕНЬЕВА-МАКСИМОВА
И Г. Ф. ТИЗЕНГАУЗЕНА

ACADEMIA
1933

Суперобложка и переплет по рисункам
А. М. Гайденкова

ОТ РЕДАКЦИИ

Шестидесятые годы — эпоха, представляющая для нас чрезвычайно большой интерес. В России впервые был поднят вопрос о коренной перестройке и социально-экономических и политических отношений. Правда, этой перестройки тогда не произошло, благодаря общей социальной ситуации и ожесточенному сопротивлению тех общественных классов, интересам которых она противоречила. Тем не менее, классовая борьба велась это время в чрезвычайно острых и напряженных формах.

Крестьянские массы, далеко еще не научившиеся отличать друзей от врагов, лишенные сколько-нибудь четкого сознания своих классовых интересов, все-таки глухо волновались и тысячами восстаний, «бунтов», как тогда выражались, ответили на пресловутую «волю», на царский манифест 19 февраля 1861 г., заменивший, по вещему слову поэта, «крепостные цепи» «иными», не менее обременительными и тягостными цепями. Левое крыло разночинной интеллигенции, — этот передовой форпост тогдашней общественности, — руководимое *такими* вождями, как Чернышевский и Добролюбов, имея в своих рядах *такого* певца, как Некрасов, самоотверженно отстаивало интересы крестьянства, вело очень интенсивную печатную пропаганду своих идей, а в лице своих наиболее радикально настроенных представителей пыталось активно способствовать скорейшему приходу неотвратимой и неизбежной, как им казалось,

крестьянской революции. Буржуазно-дворянский блок, возглавленный правительством Александра II, с помощью кровавых репрессий подавлял «бунты», ссылал на каторгу, а в иных случаях, как это было с Каракозовым, и вешал революционных борцов; литературной же пропаганде Чернышевского, Добролюбова, Некрасова и их единомышленников противопоставлял не одни репрессии, но и свою литературную пропаганду.

Если общественная жизнь в 60-е гг. характеризуется резкими столкновениями борющихся социальных сил вообще, то особенно упорный характер носили столкновения, происходившие на литературно-журнальном фронте. Никогда до тех пор русские журналы не полемизировали друг с другом с такою яростью и азартом, как в 60-е гг. И этому отнюдь не приходится удивляться, учтя то обстоятельство, что в основе журнальных споров того времени лежали достигшие значительной степени обострения классовые противоречия. Вот эта-то напряженность и широкий размах классовой борьбы в 60-е гг. позволяют признать их эпохой, до некоторой степени созвучной современности, несмотря на то, что масштаб, сила и упорство тогдашних классовых битв, конечно, не могут итти даже в сравнение с теми классовыми битвами, которые переживали и переживаем мы, современники Октябрьской революции.

Отсюда вывод, что составленная нами книга не лишена известного интереса для широкого читателя наших дней, тем более, что она посвящена историко-литературным материалам, рисующим крупнейших литературных борцов 60-х гг. и те органы печати, которые являлись их трибуной. Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, Салтыков-Щедрин — вот главные действующие лица воспоминаний М. А. Антоновича и Г. З. Елисеева.

Однако, хотя внимание авторов воспоминаний приковано к образам этих четверых, все же эти образы берутся не изолированно: воспоминания изображают и их литературное окружение, состоявшее из ряда хотя и второстепенных, но все же заметных представителей литературно-разночинной среды; сюда относятся сами авторы воспоминаний, а также А. Н. Пыпин, Ю. Г. Жуковский, В. А. Слепцов и др. Из борцов враждебного разночинцам лагеря в «Воспоминаниях» некоторое место уделено А. И. Герцену, И. С. Тургеневу, М. Н. Каткову, А. А. Краевскому и др.

Видную роль в печатаемых мемуарах играют и те журналы, вокруг которых сосредоточилось освободительное движение 60—70-х гг., главным образом «Современник», но отчасти и «Отечественные Записки» первых лет народнической редакции.

Не лишне также добавить, что «Воспоминания», давая общую картину 60-х гг., с особым вниманием останавливаются на событиях, особенно интересных с общественно-литературной точки зрения, каковы, например, выступление Герцена против «Современника», поездка Чернышевского в Лондон, реакция 1862 г., покушение Каракозова на Александра II, арест Некрасова на квартире Елисеева, стихи Некрасова Комиссарову и Муравьеву, запрещение «Современника», переговоры Некрасова с Краевским, переход «Отечественных Записок» в руки народников, выступление Антоновича и Жуковского против «Отечественных Записок» и т. д., и т. п.

Лица, журналы, наконец, события изображены в «Воспоминаниях», само собой разумеется, под углом зрения той общественной группы, видными деятелями которой являлись их авторы. На всем содержании «Воспоминаний» лежит печать идеологии революционной демократии 60—70-х гг. К этому надо добавить, однако, что

на воспоминаниях Елисеева явно сказались не только старческое утомление, но и свойственный ему, особенно развившийся в 80-х гг., дух практицизма и оппортунизма.

Хотя, таким образом, мы в праве утверждать, что воспоминания Антоновича и Елисеева, в значительной своей части еще не появлявшиеся в печати, представляют собой материал несомненного историко-литературного и общественного значения, все же в интересах объективности следует отметить некоторые специфические их особенности, которые могут быть в иных случаях квалифицированы как недостатки.

Прежде всего и Антонович и Елисеев отнюдь не заботились о том, чтобы придать своим воспоминаниям характер художественный, тем более развлекательный. Они писали то, что помнили, почти не позволяя себе таких «вольностей», как диалогическая форма и другие способы беллетризации изложения. Отсюда чисто прозаический, деловой тон их воспоминаний.

Затем оба автора писали свои воспоминания через много лет после того, как произошли описываемые ими события: Елисеев, говоря круглыми цифрами — лет через 25, а Антонович — через 40—50 и более того лет. За этот период времени многое в их памяти должно было не только потускнеть, но и частично изгладиться. Быть может, сознавая это, быть может, не будучи в состоянии преодолеть тяготения к публицистике, оба мемуариста часто нарушают нить своего повествования, то вдаваясь в довольно пространные публицистические рассуждения (Елисеев), то высказываясь по поводу событий, относящихся ко времени, когда писались воспоминания, т. е. отделенных от времени, к которому относятся сами воспоминания, промежутком в несколько десятилетий (Антонович).

Далее, не следует забывать, что печатаемые воспоминания в некоторых своих частях носят определенно полемический характер. Это объясняется тем, что дружная некогда редакционная семья «Современника» после запрещения журнала распалась, и дуумвират, состоявший из Антоновича и Жуковского, занял резко враждебную позицию по отношению к триумвирату, состоявшему из Некрасова, Елисеева и Салтыкова-Шедрина. Вот почему Антонович и Елисеев изображают, а тем более объясняют некоторые события совершенно различно. Впрочем, это делает их воспоминания в иных случаях еще более ценными для истории.

Наконец, оба автора воспоминаний, стоящие на точке зрения «просветителей» 60-х гг., не могут, конечно, да и не пытаются вскрыть классовые корни описываемых ими партийных, групповых и личных столкновений, а также классовые мотивы поведения тех или иных деятелей.

Несмотря на все эти черты, воспоминания двух последних могикан некрасовского «Современника», несомненно, представляют большой интерес для познания эпохи 60-х годов.

М. А. АНТОНОВИЧ

ВОСПОМИНАНИЯ

М. А. АНТОНОВИЧ И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ

История русской литературы в течение долгих лет была сугубо немилостива к М. А. Антоновичу: о нем говорили редко, а если уж говорили, то в явно недоброжелательном тоне.

Вот наиболее обстоятельная из когда-либо появлявшихся в печати статей об Антоновиче — статья С. А. Венгерова («Критико-биографический словарь русских писателей и ученых», СПБ. 1889, т. I, стр. 666—683). В ней на основании сведений, полученных непосредственно от самого Антоновича, сообщается ряд ценных биографических и библиографических данных. Что же касается оценки Антоновича, то она дается в плане весьма упрощенном и в выражениях весьма решительных. «Если про Добролюбова, — пишет Венгеров, — можно сказать, что он всегда парит в облаках, то про Антоновича следует отметить, что он с особенной любовью копается в болоте... Исключение составляют только статьи, посвященные простому *изложению* разных книг... Но в самостоятельных статьях Антонович выступает больше всего в роли «разносителя» мелких литературных людишек и их мелких прегрешений. Таким же «разносителем» он остается в тех немногих случаях, когда отвлекается от мелких литературных дрязг и трактует о явлениях более крупного разбора... *Во всю свою жизнь Антонович не написал ни одной хвалебной статьи*... Как «ругатель» Антонович занимает

одно из первых мест в журнальной литературе 60-х гг., которая всего менее отличалась нежностью полемических приемов. Потребность ругать — в такой же степени органическое свойство писательской натуры Антоновича, в какой для Добролюбова было органической потребностью искать совершенства».

С легкой руки Венгерова писательская репутация Антоновича в «историях» русской литературы и критики установилась очень прочно. «Историки» одни перед другими старались возможно крепче, возможно выразительнее «припечатать» Антоновича. Так, Н. Энгельгардт для характеристики полемических статей Антоновича не нашел другого определения, как «грязная пошлятина» («История русской литературы XIX столетия», СПБ. 1902, т. I, стр. 169). И. Иванов квалифицирует статью Антоновича о романе «Отцы и дети» словами: «бессмыслица и гомерическая наивность» («История русской критики», СПБ. 1900, ч. III — IV, стр. 664). Подобных, а иногда еще более резких оценок критических статей Антоновича можно было бы при желании набрать гораздо больше. Думается, в этом нет никакой надобности.

В дополнение к приведенным примерам возьмем еще лишь один и им закончим.

В книге, изданной в 1930 г., не только содержится утверждение, что «*все* критические отзывы Антоновича были бессмысленный вздор», но и приписываются Антоновичу, дожившему, как известно, до глубокой старости, такие, примерно, мысли: «Где же были мои глаза? И зачем только я брался за литературную критику, если я ничего в этом деле не смыслил, если перед лицом всякого произведения поэзии я был — как дурак, как нерожденный, как мертвый? Ведь чем славнее становятся имена оплеванных мною людей, тем больше

позора мне» (Предисловие к «Запискам Екатерины Жуковской», Ленинград 1930).

Дыма без огня не бывает. Утверждать, что Антонович не давал никаких поводов для подобных суждений было бы, конечно, неправильно. Запальчивость и резкость, бесспорно, отличительные черты критической манеры Антоновича. С другой стороны, его критическое дарование было и небольшим и не слишком ярким, а задача, которая перед ним встала, отличалась чрезвычайной трудностью: в наиболее реакционный отрезок 60-х гг. заменять Чернышевского и Добролюбова на посту первого критика журнала, стоявшего на самом левом фланге русской периодической печати. В результате Антоновичу не удалось избегнуть целого ряда более или менее крупных ошибок: и содержание некоторых из его критических работ, и неимоверно грубая форма, в которую он нередко его облекал, конечно, не могли принести ни чести самому критику, ни большой пользы тому делу, за которое он ратовал.

Тем не менее, совершенно ясно, что Антонович ни в какой мере не заслуживает отзывов, подобных вышеприведенным. Если и правда, что ему часто приходилось выступать в качестве «разносителя», если и правда, что пылкость его критического темперамента заставляла его иной раз ругаться, то вопреки Венгерову, Энгельгардту, Иванову и другим, нельзя не признать, что его горячие и задорные критические наскоки вызывались соображениями принципиального порядка, а отнюдь не органической потребностью ругаться.

1862 и последующие годы, — а на них-то как раз и падает расцвет критической деятельности Антоновича, — характеризуются резким поправением и правительственных сфер, и поддерживавших их дворянско-буржуазных кругов тогдашнего русского общества,

поправением, вызванным боязнью крестьянской революции, к которой призывала наиболее передовая часть разночинцев-демократов, с Чернышевским и Добролюбовым во главе. Если правительство боролось против «нигилистов» и «мальчишек» с помощью целого арсенала находившихся в его распоряжении репрессивных мер, относя к ним и различные способы цензурного воздействия на передовые журналы, то буржуазно-дворянская общественность вела эту борьбу отчасти в бытовом плане, а главным образом через те органы печати, которые находились в ее руках. Таким образом обстрел, которому подверглись журналы разночинцев-демократов, а прежде всего «Современник», происходил с разных сторон и угрожал самому их существованию. Тяжесть создавшегося положения усугублялась тем, что смерть Добролюбова (17 ноября 1861 г.) и арест Чернышевского (7 июля 1862 г.) лишили «Современник» наиболее авторитетных руководителей, являвшихся, в полном смысле этого слова, «вождями» революционной демократии 60-х гг. Борясь в подобной обстановке, трудно было сохранить хладнокровие, не горячиться, не нарушать так называемых «литературных приличий». Но горячась и «ругаясь», Антонович, повторяем, не сходил с принципиальных позиций. Он набрасывался, и набрасывался с яростью, исключительно на тех, кто предстоял его сознанию как враги — не его лично, а одушевлявших его и его соратников идей.

Ни за одну статью, кажется, так не бранили Антоновича, как за статью против «Отцов и детей» — «Асмодей нашего времени». Суть статьи — в доказательствах, что Базарова нельзя рассматривать как образ, вобравший в себя наиболее характерные черты разночинца-демократа, а потому имеющий типовое значение. Здесь не место для подробного анализа статьи Антоно-

вича об «Отцах и детях». Напомним однако, что подобного рода анализ, проделанный историком литературы, менее всего подлежащим упреку в пристрастии к нигилизму, привел его к выводам диаметрально противоположным общепринятым. Мы имеем в виду Н. А. Котляревского, который в своей книге о 60-х гг. не усомнился заявить, что «статья Антоновича имеет большую историческую ценность. Она выражала не единичное мнение какого-нибудь любителя словесности, а мнение широкого круга читателей... Антонович был прав, когда упрекал Тургенева в том, что он осветил необычайно сложный вопрос лишь с одной стороны и выбрал среди молодежи представителя, который ни в коем случае не мог быть представителем большинства. Пусть даже Тургенев не был тенденциозен в этом выборе, он погрешил против правды жизни, которая была значительно сложнее, чем ему это показалось» («Канун Освобождения». Петроград, 1916, стр. 530 — 531). Если такими именно глазами смотреть на статью Антоновича, — а этот взгляд в основе своей совершенно правилен, — легко будет понять, почему ее одобрил Чернышевский и почему она напечатана в «Современнике» рядом с его статьями *.

Даже поверхностного знакомства с литературной продукцией Антоновича достаточно, чтобы установить теснейшую зависимость его идеологической системы от системы Чернышевского. И прав, конечно, В. Кирпотин, утверждая, что «до ареста Чернышевского Антонович занимал ту же самую позицию в социально-поли-

* В № 3 «Современника» 1862 г., в отделе «Современное обозрение», вместе со статьей Антоновича помещено несколько статей Чернышевского, в том числе «Самозванные старейшины», «Французские законы по делам книгопечатания», «Политика» и др.

тических и философских вопросах, как сам идейный вождь «Современника» («Радикальный разночинец Писарев», 1929, стр. 231). Правда, после ареста Чернышевского общественная реакция сказалась и на Антоновиче, и он, вообще говоря, несколько подался вправо, но все же и в это время он «продолжал традиции Чернышевского и Добролюбова в «Современнике». Он критиковал либералов, бил по почвенникам и славянофилам, тщательно подчеркивая незыблемость унаследованной им линии журнала. Он очень остроумно изображал полемику между либеральными органами Краевского и консервативным направлением Каткова, в виде конкуренции двух берлинских пивоваров» (там же, стр. 227).

В известной полемике Антоновича с Писаревым о значении искусства Антонович решительно, последовательно и убежденно защищал точку зрения Чернышевского и Добролюбова. «Реализм, — объяснял он Писареву, — не отвергает искусства и эстетических потребностей, как не отвергает других естественных деятельностей и потребностей человека; он требует только, чтобы искусство так же, как и все в человеческой деятельности, было реально, разумно, чтобы оно не бездельничало и не занималось ничтожными пустяками, как это часто бывает с ним, да и не с ним одним, а также с наукой, с публицистикой, с политикой, с педагогикой и пр. и пр. Художники и поэты не должны изгоняться из общества как люди бесполезные; нет, от них нужно требовать, чтобы они сделались полезными, чтобы они служили обществу и общественному развитию тем сильным и деятельным орудием, которое есть у них в руках. Пусть они своими произведениями содействуют развитию гуманности в обществе, внушают людям презрение к глупости, пошлости, апатии, насилию, отвращение к жестокости и бездельной жизни на-

счет пота и крови ближних, и наоборот пусть вызывают и будят общество к благородной, разумной и самоотверженной деятельности. Тогда искусство будет полезно и реально полезно; эти задачи исполняли и исполняют лучшие из художников и поэтов. Указанные требования не унизительны и не стеснительны для искусства, потому что с подобными же требованиями реализм обращается и к науке, и к публицистике, и к педагогам, и к политике, и ко всякой вообще общественной деятельности».

Одной этой цитаты достаточно, чтобы судить о том, насколько односторонней представляется та оценка Антоновича, которая содержится в вышеприведенных суждениях Венгерова, Энгельгардта, Иванова. Прав, конечно, В. Кирпотин, когда он говорит, что мысли, высказанные здесь Антоновичем, настолько «здравы и разумны», что «под ними можно подписаться и в наши дни» (там же, стр. 230).

В огромном большинстве историко-литературных работ, упоминающих о полемике «Русского Слова» и «Современника» подчеркивается, что это был «спор между своими». Отсюда вывод, что тем предосудительнее со стороны Антоновича было вести его в столь резком и бранчливом тоне. Подобная постановка вопроса — о́тра чик буржуазной ограниченности нашего старого литературоведения. На деле рознь между «Современником» и «Русским Словом» отражала классовые противоречия различных групп интеллигенции, и борьба между этими журналами менее всего может быть объяснена индивидуальными особенностями споривших, сварливостью Антоновича, задорностью Писарева и т. п.

Однако за Антоновичем числится еще один грех, который как будто бы дает объективные основания для вывода, что личные мотивы в иных случаях играли такую

роль в полемической практике Антоновича, что отодвигали в сторону все прочие и побуждали Антоновича с размаху «бить по своим». Мы имеем в виду его знаменитую брошюру против Некрасова («Материалы для характеристики современной русской литературы. Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым». СПБ. 1869). В нем Антонович выступил с тягчайшими обвинениями по адресу Некрасова, и как человека и как журналиста, утверждая, что в своей журнальной деятельности он неизменно руководствовался самыми низменными побуждениями, а прежде всего стремлением к наживе. Ради этого Некрасов ввел в обиход систему самого искусного, а вместе с тем циничного лицемерия: будучи глубоко беспринципным человеком, потворствовал «либерализму» своих сотрудников, так как «либеральные приманки» гарантировали максимальное количество подписчиков; а перед лицом цензурного начальства и своих чиновных знакомых всю вину за пропаганду вольных идей взваливал на сотрудников и т. д и т. п. Не ставя своею целью характеристику Некрасова как поэта, Антонович, однако, пытался доказать в своей брошюре, что и в области поэтического творчества Некрасов — такой же корыстный лицемер, как и в области журнальной деятельности.

Нет надобности распространяться, как жестоко ошибался в своем взгляде на Некрасова Антонович. Однако, что натолкнуло его на эту ошибку? Предоставим ответ на этот вопрос ему самому: «После пятилетней совместной журнальной работы с Николаем Алексеевичем Некрасовым в «Современнике» мы расстались очень недружелюбно, да прямо-таки сказать, даже с враждебными чувствами, которые выразились с моей стороны в горячем и страстном полемическом нападении на него. В основе этой враждебности лежали, конечно, серьезные

и общие причины; но в возбуждении и подкреплении ее участвовали также элементы не важные, временные, личные, излишняя горячность и жар увлечения».

Автору настоящих строк в своих прежних работах приходилось высказываться о данном инциденте в том смысле, что брошюра Антоновича и Жуковского против Некрасова являлась, прежде всего, попыткой сведения с ним личных счетов, что она в значительной степени была внушена чувством оскорбленного самолюбия, уязвленного тем, что Некрасов не согласился на те условия, которые предъявил ему от своего имени и от имени Антоновича Жуковский, когда решался вопрос о вхождении их в редакционную коллегию «Отечественных Записок». Внимательное изучение относившихся сюда материалов дает, однако, серьезные основания для иного заключения. Хотя вышесказанные личные мотивы, бесспорно, должны были сыграть и на самом деле сыграли известную роль, на ряду с ними должны быть учтены и обстоятельства совершенно другого порядка.

В 1866 и 1867 гг., — а переговоры Некрасова о сформировании редакции «Отечественных Записок» относятся как раз к концу 1867 г., — репутация Некрасова была сильно поколеблена. Вслед за одой спасителю царя — Комиссарову, он сочинил «мадригал» в честь Муравьева-Вешателя, не только сочинил, но и выступил с чтением его на торжественном обеде в Английском клубе Короленко в своих воспоминаниях о пребывании Чернышевского в Сибири рассказывает, что Чернышевский не мог удержать слез, прочтя в «Современнике» стихотворение Некрасова Комиссарову *. Если так болезненно

* У Короленко названо, собственно говоря, стихотворение Муравьеву, но оно не было напечатано в «Современнике», подобно стихотворению Комиссарову. Мы

воспринял Чернышевский это стихотворение, то трудно даже представить, что он, недавний друг Некрасова, которого имел все основания считать своим единомышленником, должен был испытать при чтении несравненно более одиозной в общественном отношении оды Муравьеву. Каракозовец И. А. Худяков так оценивал эти стихи Некрасова: «Некрасов сделал бы меньшую подлость, если бы за свой счет построил для нас виселицы» («Из воспоминаний шестидесятника», «Исторический Вестник», 1905, № 12). По словам Е. П. Елисеевой (в приводимых ниже ее воспоминаниях), один из узников Петропавловской крепости, узнав об оде Некрасова Муравьеву, заявил: «лучше бы Некрасов веревку нам свил для виселицы, чем написал эти стихи».

Если стихотворные выступления Некрасова не могли не скомпрометировать его как поэта, то переход в его руки «Отечественных Записок» Краевского, при условии, что последний не только сохранил собственнические права на журнал, но и остался его юридическим (т. е. ответственным перед правительством) редактором, не в меньшей мере давали пищу для всевозможных обидных для поэта сомнений и предположений. Недаром Елисеев в своих воспоминаниях (см. ниже) упоминает, что некоторые из радикалов того времени не хотели подавать ему руки, за то именно, что он вслед за Некрасовым пошел в журнал Краевского. Неудивительно при таких условиях, что и Антоновичу легко было проникнуться уверенностью, что Некрасов, Елисеев, Салтыков-Щедрин и все «иже с ними» — изменники и ренегаты. Правда, здесь возникает вопрос — почему

убеждены, что в данном случае речь идет именно об этом последнем стихотворении, а не о стихотворении Муравьеву, остающемся до сих пор неизвестным.

же в таком случае Антонович и Жуковский (вернее, последний) считали для себя возможным войти в редакцию преобразованных «Отечественных Записок» и, по всей вероятности, вошли бы, если бы Некрасов принял предложенные Жуковским условия? Однако на этот вопрос Антонович и Жуковский могли бы ответить так: «тот факт, что Некрасов не принял наших условий, тем более должен был убедить нас, что он собирается коренным образом изменить курс своего журнала — ведь Некрасов хорошо-де понимал, что мы-то менять курс не согласимся»...

Итак, Антонович, выступая со своею брошюрою против Некрасова, мог совершенно искренно заблуждаться в оценке мотивов общественной деятельности последнего, мог быть уверен, не будучи в этой уверенности одиноким, что Некрасов перестал быть «своим», так как самым позорным де образом перебежал в чужой лагерь, в тот лагерь, с которым до сего времени враждовал из соображений принципиального порядка. Следовательно, «Литературное объяснение с Некрасовым», и в то время, когда оно написано, и в то время, когда оно издавалось, отнюдь не являлось в глазах Антоновича и его единомышленников (а единомышленники у него были, — это несомненно) «ударом по своим». Когда же Антонович убедился, что Некрасов и «Отечественные Записки» не пошли по тому пути, который он для них предрекал, то уже в 1878 г. в статье-некрологе в «Слове» (№ 2) он заговорил о Некрасове, поэте и журналисте, в таком тоне и в таких выражениях, которые достаточно ясно указывали, что он отступил от своего взгляда на него, высказанного в «Литературном объяснении».

Уже одна эта статья опровергает Венгерова, утверждавшего, что у Антоновича нет ни одной хвалебной

статьи. Еще более опровергают Венгерова печатаемые ниже воспоминания Антоновича о Чернышевском, Добролюбове и о том же Некрасове. Патентованный «разноситель» и «ругатель» проявил себя в них человеком, способным на глубокую и искреннюю привязанность к тем, кого он считал подлинными вождями своего поколения, с кем имел счастье работать у кормила одного и того же журнала. Чернышевский и Добролюбов в воспоминаниях Антоновича окружены ореолом беззаветной преданности своему делу, непоколебимой твердости убеждений, несокрушимой готовности итти до конца... Вместе с тем Антонович сумел показать их, как живых людей, сумел уловить отличительные черты их манеры, их обихода. И это тем поразительнее, что воспоминания свои Антонович писал через несколько десятков лет после того, как закончилось его общение с героями его воспоминаний.

Чтобы понять, почему образы «великих шестидесятников» неизгладимыми чертами, на вечные, можно сказать, времена, врезались в память Антоновича, — необходимо, хотя бы в двух словах охарактеризовать его жизненный путь.

Сын белопольского дьячка (род. в 1835 г.), двадцати лет Антонович окончил Харьковскую семинарию. В 1855 г. поступил в Петербургскую духовную академию, куда хотя и контрабандою, но проникали веяния передовой общественности, оказавшие могущественное влияние на умонастроение юноши. В 1859 г., еще до окончания курса академии, Антонович отнес свою первую статью в редакцию «Современника». Статья эта была отвергнута Добролюбовым, но последний заинтересовался ее автором, сблизился с ним и, распознав в нем литературные способности, привлек к сотрудничеству в библиографическом отделе «Современника». 1859, 1860 и 1861 годы

были годами непосредственного общения Антоновича с Добролюбовым и Чернышевским. В 1862 г. Чернышевский начинает подготовлять его к ответственнейшей роли заместителя только что скончавшегося Добролюбова на посту первого критика «Современника». В 1863 г. Некрасов предлагает ему войти в редакцию осиротевшего после ареста Чернышевского «Современника». Антонович соглашается и в течение целых трех лет (с 1863 по 1866 г.) является одним из главных руководителей этого журнала. Заметим, что в 1863 г. Антоновичу было всего 28 лет.

Если в эти годы удача неизменно сопутствовала Антоновичу, то 1866 год оказался роковым для его литературной карьеры. Его сотрудничество в «Современном Обозрении» Тиблена не состоялось, потому что журнал этот оказался крайне недолговечным. Работа в «Космосе», маленьком журнальчике д-ра Л. Н. Симонова, удовлетворить его не могла, а кроме того, была очень непродолжительна, — «Космос» просуществовал только год (1869). Не меньшим снижением по сравнению с работой в «Современнике» явилось сотрудничество Антоновича в провинциальной газете — «Тифлисском Вестнике», падающее на 1875 — 1876 гг. В 1878 г. Антоновичу как будто бы удалось причалить свою ладью к корме большого корабля — он взял на себя критический отдел общелитературного журнала «Слово», преобразованного из научно-популярного ежемесячника «Знание». Однако со второй книжки начались недоразумения между Антоновичем и редакцией: Антонович восставал против помещения полемического ответа Е. В. Де-Роберти Н. К. Михайловскому, а редакция настаивала. В результате Антонович письмом в редакцию «Биржевых Ведомостей» заявил о прекращении своего сотрудничества в «Слове». Новая попытка его пристроиться к журна-

листике также потерпела фиаско: возникший в 1881 г. журнал «Новое Обозрение», в котором ему опять-таки был поручен критический отдел, закрылся на третьей книжке. С 1883 г. Антонович становится чиновником, поступив на службу в министерство финансов, в котором уже служил его прежний соратник по «Современнику» — Ю. Г. Жуковский, служил и преуспевал, получив в 1889 г. назначение на должность управляющего Государственным банком. Однако и в годы своего чиновничества Антонович не порывал с литературной деятельностью: он с бо́льшим чем когда-либо увлечением стал заниматься естествоведением и в 1896 г. опубликовал большую работу — «Чарльз Дарвин и его теория». Особенную ценность, по мнению специалистов (см. Чернышев, «Материалы для изучения дэвойских отложений»), имеют некоторые изыскания его в области геологии. Этим и объясняется, что когда Антонович скончался (в ноябре 1918 г.), одним из немногих органов печати, откликнувшихся на его смерть, был «Ежегодник Русского Палеонтологического Общества» (1921, т. III, стр. 142 — 143).

Наш более чем беглый экскурс в область биографии Антоновича все же достаточен для того, чтобы сказать, что семилетие с 1859 по 1866 г. было единственным периодом в его жизни, когда он имел все основания чувствовать себя идущим в первых рядах литературного движения. Замещать в *таком* журнале, как «Современник», *такого* критика, как Добролюбов, стоять у кормила «Современника» — это значило достичь очень и очень многого. И чем значительнее был удельный вес этих достижений, тем болезненнее должно было даваться Антоновичу сознание, что позднейшая его литературная деятельность ознаменована рядом весьма чувствительных неудач. А потому нет ничего удивительного, что преста-

релый писатель должен был все чаще и чаще возвращаться мыслью к быстро промелькнувшим годам своего литературного успеха, к тому незабываемому времени, когда он вел борьбу на передовых позициях прогрессивной журналистики, бок о-бок с такими славными бойцами, как Чернышевский, Добролюбов, Некрасов... Естественно, что Антоновича потянуло к писанию воспоминаний, и эта тяга характерна для последних десятилетий его жизни.

Вот не претендующий на исчерпывающую полноту обзор написанных им воспоминаний, обзор, который охватывает почти двадцатилетний период — с 1898 по 1916 г.

В 1898 г. Антонович печатает «Воспоминания по поводу чествования Белинского» («Русская Мысль» № 12), в которых чисто мемуарный материал (рассказ об учебе в семинарии и духовной академии и об отношениях питомцев этих учебных заведений к Белинскому) тонет в публицистических рассуждениях на тему: «до чего мы, старики, дожили! Чествуется безболезненно, открыто, торжественно память Белинского... того самого Белинского, который во время нашей юности был под спудом, имя которого было тогда секретным и запретным...» и т. д.

Через три года, в 1902 г., Антонович публикует замечательные «Воспоминания о Николае Александровиче Добролюбове» («Журнал для Всех» № 1), которые вместе с появившимися в следующем году в печати «Воспоминаниями о Николае Алексеевиче Некрасове» (там же, 1903, № 2) не только являются лучшими из воспоминаний Антоновича, но и, говоря безотносительно, должны быть причислены к наиболее ценным произведениям мемуарной литературы, посвященной 60-м гг. и их деятелям.

В 1906 г. в «Былом» (№ 3) появляется небольшая, но интересная по теме статья-мемуар — «Арест Н. Г. Чернышевского». Через год тот же журнал (в № 4) печатает также очень краткую заметку Антоновича «*По поводу статьи Н. С. Русанова «П. Л. Лавров»*, в которой Антонович исправляет «неточности, вкравшиеся в указанную статью и касающиеся некоторых эпизодов его литературной деятельности», в частности, его критики философских воззрений Лаврова («Современник», 1861, № 4); в полемическую, по существу, заметку Антоновича вкраплены некоторые воспоминания о Лаврове и его, Антоновича, отношениях с ним.

Еще через год Антонович публикует в «Минувших Годах» (1908, № 5—6) «Материалы для биографии Николая Гавриловича Чернышевского», в предисловии к которым заявляет, что теперь, когда имя Чернышевского перестало быть запретным и о нем появилось в печати не малое количество воспоминаний, он, Антонович, «взял на себя задачу пересмотреть этот материал и если не просеять его через частое сито, то хоть пропустить через редкий грохот с целью отделить в нем ценные и здоровые зерна от ненужной мякины и от негодных и неверных примесей». Таким образом Антонович, повидимому, задумал осуществить своего рода критический просмотр целого ряда биографических источников о Чернышевском. Намерения своего, по неизвестным нам причинам, он не осуществил, ограничившись в названной статье лишь опровержением некоторых утверждений «Литературных воспоминаний А. В. Эвальда» («Исторический Вестник», 1895, № 12), связанных со студенческим движением 1861—1862 гг. и вызванных последними литературными выступлениями Чернышевского.

Воспоминаниям о Чернышевском, главным образом характеристике его личности, посвятил Антонович и

свою *речь*, произнесенную 17 октября 1909 г. на заседании III отделения Вольно-экономического общества в память Николая Гавриловича в связи с двадцатилетней годовщиной его кончины («Труды Вольно-Экономического Общества», 1910, № 1; стенографический отчет).

Когда в 1915 г. автором этих строк была опубликована статья «Редакция «Современника» в 1866 г.» («Голос Минувшего», 1915, № 1), содержавшая ряд отрывков из неизданных воспоминаний Елисеева*, то Антонович печатно возражал на нее («Голос Минувшего», 1915, № 2), противополагая рассказу Елисеева о некоторых эпизодах из истории «Современника» свой рассказ, в ряде пунктов существенно расходящийся с елисеевским. Таким образом и в данной статье Антоновича, что характерно для его воспоминаний вообще, налицо два элемента — мемуарный и полемический.

Повидимому, в эту же пору, т. е. в годы империалистической войны, Антонович решил вернуться к воспоминаниям о Чернышевском и написал огромную (в три печатных листа) статью «Поездка Николая Гавриловича Чернышевского в Лондон к Александру Ивановичу Герцену». Статья эта до сих пор в печати не появлялась.

В текст книги мы вводим все перечисленные воспоминания Антоновича, кроме «Воспоминаний по поводу чествования Белинского». Воспоминания о Некрасове печатаются без всяких изменений по тексту «Журнала для Всех»; воспоминания о Добролюбове — по корректуре, сохранившей ряд абзацев и целых страниц, выкинутых цензурой при печатании статьи в том же журнале в 1902 г. Речь Антоновича о Чернышевском в Вольно-экономическом обществе мы печатаем по сте-

* Все эти отрывки вошли в настоящее издание.

нограмме заседания, опустив лишь первую страницу, которая содержит бездоказательный и звучащий нелепым анахронизмом выпад Антоновича против оценки Чернышевского марксистами. Статья о поездке Чернышевского в Лондон сокращена на одну треть. Без этого решительно нельзя было обойтись, ибо в ней Антонович явно злоупотребляет цитатами из работ, пользующихся широкой известностью. Так, например, из статьи Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» Антонович берет почти что полпечатного листа выдержек. Вообще, говоря о данной статье, надо иметь в виду, что она писалась Антоновичем тогда, когда ему уже перевалило за восемьдесят лет, а потому, читая ее, приходится удивляться не недостаткам ее изложения, а тому, что восьмидесятилетний старик смог написать ее так, как написал.

Остальные главы воспоминаний печатаются по отмеченным выше журнальным текстам.

Воспоминания о Чернышевском вынесены на первое место, хотя они и написаны позднее, чем воспоминания о Добролюбове и Некрасове. Сделано это из тех соображений, что в них содержится общая характеристика 60-х гг., и они могут служить как бы введением ко всей книге, в том числе и к воспоминаниям Елисеева, составляющим ее вторую часть.

В. Евгеньев-Максимов

М. А. Антонович в старости

С фотографии, предоставленной О. М. Антонович-Мижуевой

ВОСПОМИНАНИЯ М. А. АНТОНОВИЧА

I. ЛИЧНОСТЬ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО *

Скорбное и возмутительное чувство при мысли о том, что литературная деятельность Николая Гавриловича была так непродолжительна и была насильственно и жестоко прервана в самом полном расцвете ее, еще более усиливается при воспоминании об особенно характерной черте его ума. Это был ум повелительный, властный, действовавший на читателя неотразимо. Он как будто сам сознавал свою силу, и потому во всех своих статьях он нисколько не старался ублаготворять читателя, привлекать его на свою сторону, искать его расположения, убеждать его, уговаривать, упрашивать. Казалось, как будто в глубине души он говорил читателям: хочешь ли ты соглашаться со мною или не хочешь, но непременно согласишься, раз я представлю тебе мои аргументы. И потому в статьях он говорил с читателем просто, без церемоний, строго и уверенно вел свою линию, как будто игнорируя читателя. То невнимательное и нелюбезное отношение к читателю, которое он довел до шаржа в «Что делать» и заметно сказывалось во всех его статьях, конечно, было следствием, может быть, даже бессознательной уверенности в своей силе. Его статьи отличались и действовали на читателя не увлека-

* Заглавие этой главы дано нами. *Ред.*

тельностью или блеском, а строгой логичностью, очевидностью, определенностью и ясностью, без всяких прикрас и заискиваний. Эта характерная особенность статей Н. Г. выступает особенно явственно при сравнении их со статьями Добролюбова, тоже очень своеобразными. Статьи последнего увлекательны, сердечны, милы, мягки. Слово его не властно и повелительно, как слово Н. Г., но оно обаятельно и увлекательно.

Да, с какой стороны ни посмотришь на Н. Г., всегда в уме является неотвязчивый мучительный вопрос: сколько пользы мог бы принести русской литературе и русскому обществу этот богато одаренный, энергичный и властный ум, если бы его не лишили возможности продолжать работу на избранном им поприще непрерывно до конца дней его? Есть одно дело, относительно которого не гадательно и предположительно, а наверное можно утверждать, что он блестяще осуществил бы его. По закрытии «Современника» [1] он задумал план издать русскую энциклопедию. По всей вероятности, образцом для нее послужила бы французская энциклопедия XVIII века, и она, наверное, немногим бы уступила французскому образцу и во всяком случае была бы в тысячу раз лучше наших нынешних онемеченных брокгаузо-мейеровских энциклопедий.

Выдающийся, сильный ум, обогащенный обширными познаниями, единогласно признавали в Н. Г. как его друзья и почитатели, так, к несчастию, и его противники и враги. Но о цельном и полном психическом облике его, об эмоциональной стороне его психики мнения очень расходились; и эту сторону его натуры неправильно понимали

и не ценили даже люди, не бывшие ни врагами, ни соперниками его и даже водившие с ним, повидимому, близкое знакомство. По этим мнениям Н. Г. был человек сухой, холодный и черствый, неуравновешенный правильно, беспорядочно порывистый, без эстетического чувства и вкуса, считавший искусство, как видно из его неудачной диссертации [2], только обиходною утилитарною вещью. Другие находили, что это человек надменный, с колоссальным самомнением, считавший себя выше и умнее всех и потому презрительно относившийся ко всем, над всеми издевавшийся и вообще неспособный к чувствам преданной любви и горячей привязанности к людям. Вот, например, Герцену Н. Г. как человек вовсе не понравился; он находил его неискренним, лукавым, хитрым, «себе на уме», как он выражался. Кавелин, бывший близкий знакомый и, можно даже сказать, приятель Н. Г., характеризовал его таким образом: «такого брульона, бестактного и самонадеянного человека я никогда еще не видал» [3]. Так говорили не противники и не враги Н. Г. А враги, конечно, характеризовали его еще резче и хуже. Все подобные неблагоприятные отзывы о характере Н. Г. лиц невраждебных ему объясняются или тем, что эти люди судили о нем на основании первых и вообще немногих впечатлений, или же имели возможность и случай видеть только, так сказать, внешнюю, наружную сторону его психики и не могли проникнуть через эту наружность в самую глубь и суть его души, цельной и вполне гармоничной.

Нужно, впрочем, правду сказать, что сам Н. Г. подавал некоторый внешний повод к подобным

сужденіям о немъ своимъ обращеніемъ, своими манерами и пріемами при всякихъ какъ важныхъ, такъ и не важныхъ сношеніяхъ съ другими. Обыкновенно рѣчь его пересыпалась шутками, прибаутками, остротами, анекдотами и все время сопровождалась смѣхомъ, даже хохотомъ. Люди близкіе знали эту манеру, привыкли къ ней, терпѣливо ожидали того момента, когда онъ серьезно и какъ бы мимоходомъ скажетъ, обыкновенно въ немногихъ словахъ, то, о чемъ его спросили или что онъ хочетъ сообщить. Но на свѣжихъ посторонніхъ людей эта манера производила странное непріятное впечатлѣніе: отъ Чернышевскаго они такой манеры не ожидали. В то время еще не было моды на интервьюированія, но къ Н. Г. являлись многіе именно съ цѣлью интервьюировать его, узнать его мысли и чувства по поводу какого-нибудь случая или событія и — страшно разочаровывались. Иногда къ нему являлись очень серьезные люди и съ очень серьезными вопросами или предложеніями. Но и въ этихъ случаяхъ онъ измѣнялъ, смягчалъ и прикрашивалъ свою манеру ровно настолько, чтобы она не казалась невѣжливой и обидной. Это былъ какой-то странный капризъ, нежеланіе переходить сразу на серьезный тонъ. Извѣстный русскій офицеръ и польскій дѣятель Сераковскій[4] просто былъ возмущенъ и взбѣшенъ пріемомъ Н. Г., когда онъ явился къ нему въ первый разъ. Конечно, потомъ, узнавши поближе Н. Г., онъ сталъ пріятелемъ его.

Но помимо этого и вообще Н. Г. былъ человѣкъ въ высшей степени необщительный, раскрывавшій свою душу, свои интимные задушевные мысли и чувства только передъ самыми близкими къ нему

людьми, да и то очень редко. В числе немногих и я имел счастье видеть и слышать Н. Г. в редкие минуты его откровенности, когда являлась во всей полноте и неприкровенно его гармоничная увлекательная натура. Я должен сказать, что первая моя встреча с Н. Г. и на меня произвела не вполне благоприятное впечатление. Свои первые статьи для «Современника» я приносил к Добролюбову, который принял меня весьма радушно и любезно, как давнишний знакомый и даже как приятель. Он с первого же раза очаровал меня, и я сразу же почувствовал к нему искреннее расположение[5]. Статьи мои были помещены в «Современнике», а Добролюбов скоро уехал за границу, не сообщив редакции ни моего адреса и никаких сведений обо мне. А между тем Н. Г. заинтересовался мною и желал познакомиться со мною; запрашивал Добролюбова о моем адресе и, не получив его, решил ждать, пока я явлюсь в контору «Современника» за полученнем гонорара и сообщу свой адрес. А я и не думал являться за гонораром; мне было совестно самому требовать его, и я решил ждать возвращения так хорошо расположенного ко мне Добролюбова. В это время Н. Г. случайно встретил где-то моего товарища по академии[6] и справился у него обо мне. Тот не знал моего адреса, но сказал, что узнает через общих знакомых и повидается со мною. Тогда Н. Г. поручил ему передать мне его строжайший наказ, чтобы я немедленно же явился к нему в какое угодно время и, если его не будет дома, то, чтобы я подождал его, так как домашние скажут, когда он наверное возвратится. Я,

конечно, немедленно же отправился к нему с некоторым беспокойством и опасливым волнением. Он сразу же, что называется, накинулся на меня, стал упрекать, что я не являюсь, не даю своего адреса, прячусь точно должник от кредиторов, тогда как я — кредитор, а редакция — должник, строго допрашивал меня, почему я не являюсь за гонораром, что думаю делать с собой, чем заняться. И когда я сказал, что по совету Николая Александровича (Добролюбова) я решил посвятить себя педагогической практике, учительствовать где-нибудь, он с недовольным видом и строго проговорил: «Вот какие глупости; бросьте все ваши затеи; вы будете учительствовать в «Современнике» и немедленно же ходите в контору журнала при книжном магазине. Там я отобрал для вас несколько книг; пишите об них большие статьи или короткие, как хотите, как знаете, да только поскорее». В заключение он велел мне, кроме деловых посещений, непременно приходить к нему ежедневно вечером, уже не помню, в какой день, который был у него журфиксом. По уходе я невольно вспомнил о первом вовсе не суровом, а чисто товарищеском приеме меня милым и симпатичным Добролюбовым, снабдившим меня и поучительными книгами и поучительными советами. Но в то же время я, к своему удивлению, заметил в себе какую-то внезапную перемену, почувствовал, что я беспрекословно и как будто даже бессознательно подчинился данным мне приказаниям, без колебания, без раздумья и без возражений бросил свои прежние планы, придуманные вместе с Добролюбовым. И я тем более удивлялся, что такая резкая и внезапная

перемена произошла во мне только вследствие нескольких слов, произнесенных Н. Г. Это обстоятельство, а также два или три последующих убедили меня, что мое первое впечатление было ошибочно и несоответственно и что первый прием меня Н. Г. был еще лучше, сердечнее и любовно сочувственнее приема Добролюбовым, и я впоследствии всегда чувствовал, что меня влечет и приковывает больше к Н. Г., чем к Добролюбову.

Нечего и говорить, что я неупустительно бывал на журфиксах Н. Г., где собиралось самое разнообразное и блестящее интеллигентное общество; тут были литераторы молодые и старые, патентованные ученые-академики и простые ученые, профессора университета, военной академии и других высших учреждений, офицеры, врачи и другие, люди всевозможных настроений и направлений. Тогда (1860 г.) реакция еще только начиналась почти незаметно, и общество еще не дифференцировалось и не разбилось на два враждебных лагеря, прогрессистов и реакционеров, опасных нигилистов и благонадежных патриотов. Но уже в следующем году из прежних посетителей журфиксов Н. Г. явились к нему очень немногие, а большинство сторонилось от него как от опасного человека, одного из главарей нигилистов. На этих блестящих журфиксах я, конечно, конфузился, робел и боялся промолвить слово. Но и доставалось же мне за это от Н. Г., который сердился, бранился, но больше смеялся надо мною.

Через несколько месяцев после первой встречи с Н. Г. я коротко сблизился с ним и стал для

него своим человеком; он удостаивал меня своей откровенностью и запросто поверял мне свои задушевные мысли и чувства. Это большею частью происходило при такой обстановке. Я жил в огромном по тому времени доме, выходившем на три улицы, и в бельэтаже этого дома помещались бани. Н. Г. почти каждую субботу ходил в эти бани и отсюда по соседству заходил ко мне пить чай. И вот здесь-то за самоваром и за чаем до очевидности раскрывалась его симпатичная, обаятельная и нежная натура. Прежде всего он начинал выхвалять мой самый обыкновенный чай и уверял, что он никогда и нигде не пил такого вкусного и хорошо приготовленного чаю. Затем после короткого разговора или об обыкновенных житейских, или о журнальных делах он — человек, якобы, необычайного самомнения — разражался самообличениями: что у него бездна недостатков, нет твердости в характере, что он очень податлив, что ему недостает мужества, что он делает много глупостей, вот, например, то-то и то-то и т. д. Эти самообличения обыкновенно пересыпались панегириками Добролюбову, у которого-де нет этих недостатков, он всегда тверд и непоколебим, как скала, что у него завидные и обширные познания и т. д. Однажды я попробовал было возразить ему и сказал, что ему нет оснований завидовать обширности познаний Добролюбова, потому что у него самого еще больше этого добра и притом из разных областей, тогда как Добролюбов силен только в одной области. Он просто вскипел и горячо, почти с криком заговорил: «Что вы? Что вы это говорите? ведь Добролюбов только что со школь-

ной скамейки, а дайте ему дожить до моих лет, так вы увидите, что из него будет. Еще на школьной скамейке он уже окончательно сформировался и установился, а я... а я...» и опять полились самообличения. Здесь мимоходом замечу, что я ни одного разу не слышал от Добролюбова ни одного слова, ни единого звука для выражения его суждений как о личности Н. Г., так и об его статьях, точно это такой сюжет, что говорить о нем — значит профанировать его[7].

На этих же чаепитиях и беседах иногда происходило то, чему ни за что не поверили бы люди, поверхностно знавшие Н. Г. и отрицавшие в нем эстетические чувства. Он с удовольствием, мало того, с каким-то особенным наслаждением, декламировал любимые им стихотворения классических поэтов, наших и немецких, и французские демократические песенки. При декламировании стихотворений с политическим оттенком, например, Рылеева, голос его дрожал от волнения и в глазах навертывались слезы. Признаюсь, первое такое декламирование и для меня было неожиданным сюрпризом, и я, значит, знал тогда Н. Г. так мало, что не считал возможными с его стороны эстетические увлечения. А между тем его маленькая книжка о Пушкине[8], в которой он так симпатично и любовно говорил о стихотворениях этого поэта, должна была показать мне и другим, что в груди Н. Г. была очень чувствительная эстетическая жилка, что бы ни говорила нам его диссертация.

В течение моего недолгого (около трех лет) близкого знакомства с Н. Г. я видел много случаев, в которых ярко проявлялась привлекательная

и обаятельная эмоциональная сторона его богатой натуры: ее альтруистические стремления, готовность делать добро и помогать всем и каждому. Когда до Н. Г. доходили сведения о стесненном положении и нуждах литераторов, особенно молодых, он всегда спешил к ним на помощь, и его агентом по этой части была его супруга, Ольга Сократовна. Во многих случаях я имел счастие и удовольствие испытать на себе действие этой стороны характера и натуры Н. Г., из них для примера я расскажу только о двух. Один — незначительный, но все-таки довольно показательный. В то время сознательная интеллигентная молодежь, или, на другом жаргоне, мыслящие реалисты, придумали такую моду: зимой не следует носить теплых меховых дорогих пальто, а нужно ходить в холодных летних пальто, а шею и грудь окутывать пледом, это, дескать, и гигиенично. Я, конечно, тоже следовал этой моде и в сильнейшие морозы щеголял в холодном пальто с пледом. А Н. Г., с которым я только что познакомился, вообразил, что я поневоле морожу себя, так как не имею средств на приобретение теплого пальто. И вот он приходит ко мне и после какого-то незначительного разговора, уходя и как бы мимоходом, говорит мне: «Ах, я и забыл; к вам придет портной, который имеет дела с конторой нашего журнала, и снимет с вас мерку для теплого пальто». Я сейчас догадался, в чем дело, что контора тут приплетена напрасно, и мне стоило большого труда убедить его, что ношу зимой холодное пальто вовсе не по недостатку в средствах, а следуя господствующей моде.

Другой случай — несколько серьезнее. По окончании курса в Петербургской духовной академии начальство назначило меня профессором в костромскую семинарию; но я наотрез отказался, и потому начальство постановило отправить меня на родину в распоряжение местного епископа, т. е. в харьковскую епархию в распоряжение архиерея Макария, известного ученого, бывшего перед тем ректором духовной академии в бытность мою там в низших курсах, а впоследствии московским митрополитом, — о чем и сообщило мне официально, и официально же уведомило и Макария. А я себе на уме твердо решил, что ни за что не поеду в Харьков и не отдам себя в распоряжение местного епископа, а буду жить в Питере и писать статейки в журналы. Так и сделал. Начальство по неосмотрительности выдало мне на руки мой аттестат об окончании курса, вместо того чтобы отправить его Макарию, и вот по этому аттестату преспокойно я и жил, и в кварталах его прописывали без всяких возражений. А преосвященный Макарий, знавший, конечно, меня, читая мои статьи в «Современнике», тоже решил себе на уме: «вот я же тебе, голубчик, устрою сюрприз!» Прождавши узаконенный срок и не дождавшись меня, он велел написать в харьковское губернское правление бумагу, что вот-де такой-то назначен в распоряжение епископа, но до сих пор не являлся на службу, не имеет вида на жительство и неизвестно где находится. Губернское правление, как это следует по существующим правилам, напечатало в губернских ведомостях соответствующее объявление, что-де разыскивается такой-то и всякий, кому

он известен, обязан донести начальству. Я расхохотался: вот дураки, думаю себе, разыскивают меня таким путем, тогда как легко могли бы узнать в редакции «Современника». Захвативши этот курьезный номер, я немедленно отправился к Н. Г. и воображал, как и он будет хохотать. Но, к моему изумлению, он не только не расхохотался, но принял испуганный вид и серьезно заговорил: «Да вы что смеетесь? да вы знаете, чем это пахнет? ведь оказывается, что вы не устроили себя легально, что вы беглый бродяга, беспашпортный; я сейчас пойду в квартал и заявлю об вас и вас в 24 часа вышлют из Петербурга и отправят в Харьков даже по этапу, а я-то воображал, что вы человек обстоятельный и живете на легальном положении». Признаюсь, тут уж я струсил, повесил нос, и Н. Г., заметив это, перешел на успокоительный тон и, наконец, решил, что за это дело нужно приняться поскорее и сунуть меня куда-нибудь на штатное место. И вот, как я узнал впоследствии, он энергично принялся хлопотать, бегать, справляться, разыскивая для меня штатное место. А я в это самое время и пальцем о палец не ударил и только трусил. Оказывается, он пробовал втиснуть меня в какой-нибудь кадетский корпус репетитором или чем-нибудь другим, в университет, педагогический институт и медико-хирургическую академию помощником библиотекаря или делопроизводителя, или хоть канцеляристом, только бы штатным, обращался к врачам, нельзя ли меня сделать каким-нибудь надзирателем или консультантом больничной аптеки, так как он-де знает латинский язык. Но нигде не было удачи.

Наконец его знакомые профессора военной академии посоветовали ему обратиться к их товарищу, профессору Рехневскому [9]. Тогда учреждалась военная эмеритура и он назначен был заведывать отделом эмеритуры при канцелярии военного министерства. Рехневский сказал, что платных мест у него нет, а он может принять меня только на бесплатное место, но все-таки штатное. Н. Г. торопил меня поскорее без всяких раздумий подать прошение на это место, что я немедленно и сделал, был принят на службу и в парадной форме со шпагой представился высшему начальнику, генералу Кауфману, брату ташкентского [10], который принял меня строго и сказал, что он будет давать мне много работы и чтобы я исполнял ее добросовестно, хотя и не буду получать жалованья. Никакой работы мне не давалось, на службу я не ходил и только раз в месяц ко мне являлся чиновник, говорил, что я назначен дежурным, но он будет всегда дежурить вместо меня, если я буду давать ему по три рубля за дежурство, на что я с удовольствием согласился.

Теперь я торжествовал: я — чиновник военного министерства и знать не хочу местного епископа. Но скоро явилось неожиданное обстоятельство, о котором Н. Г. сообщил мне не сразу. Инспекторский департамент, рассматривая дело о моем определении, не нашел в нем увольнительного свидетельства из духовного звания и требовал досылки его. Новые хлопоты и заботы для Н. Г., который советовал Рехневскому написать в синод бумагу об увольнении моем и лично в парадной форме и в регалиях представить синодскому обер-прокурору. Рехневский не

согласился, но отправил бумагу со своим помощником. Обер-прокурор сам затруднился решить вопрос и позвал подлежащего директора, который заявил, что это — дело Макария, что увольнение зависит от него и нужно его запросить об этом. И запросили, а он ответил, что он не согласен на увольнение, так как в его епархии очень нужны епархиальные деятели с высшим духовным образованием. Получив такой сюрприз, бедный Рехневский, вероятно, был очень недоволен Н. Г., впутавшим его в это неприятное дело. Н. Г. опять советовал ему лично отправиться к обер-прокурору, сознаться в своем недосмотре и просить любезной помощи, захватив с собою номер «Русского Инвалида», в котором был напечатан приказ об определении меня на службу и о производстве в гражданский чин. Рехневский опять не поехал сам, а послал чиновника, которому в синоде повторили, что дело зависит от епархиального епископа; но когда он показал номер «Инвалида», то обер прокурор строго сказал своему директору: «Что вы тут толкуете об епархиальном епископе, когда есть вот приказ, — разве приказ может ошибаться; напишите от моего имени Макарию, чтобы он немедленно прислал согласие на увольнение». Н. Г., узнав об этом, пришел ко мне в обыкновенном смешливом настроении, уверял, что дело мое довольно плохо, что мне придется отправиться к епархиальному епископу, и с хохотом рисовал картины, как меня примет и что со мной сделает епископ, пошлет меня за вольнодумные статьи в монастырь на покаяние и послушание ежедневно класть тысячи поклонов и т. д. Однако, уходя, он успо-

каивал меня, что дело, вероятно, устроится. И оно действительно скоро устроилось; Макарий не захотел противоречить обер-прокурору.

Нечего и говорить о том, как глубоко трогали меня и какую горячую благодарность возбуждали в моем сердце его горячее участие в моем деле, его желание, его старания и усилия помочь мне, не жалея никаких хлопот и не совсем, может быть, приятных для него обращений к разным лицам, близким и не близким к нему. Я сохраняю и сохраню до самой смерти благодарную память о Н. Г., величие нравственных качеств которого вполне равнялось величию его ума.

Что Н. Г. должно глубоко уважать, даже преклоняться перед ним за его необычайные литературные заслуги, стоившие ему стольких мучений и страданий во всю жизнь, это — аксиома для всех знавших и знающих его литературную деятельность и самоотверженную преданность высшим интересам общества и не ставящих ему в вину его порицаемые нынешними писателями утопии. Но что Н. Г. нужно глубоко любить за его широкое любвеобилие, за его преданность и готовность служить людям и в области частных бытовых сношений, это — аксиома, к сожалению, только для близко знавших его. Вот Кавелин представлял диаметральную противоположность Н. Г. в умственном отношении, во всех общих воззрениях и частных взглядах и считал его человеком беспорядочным, брульоном, и, тем не менее, по его словам, очень и очень любил его. Было, значит, за что.

II. ПОЕЗДКА Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО В ЛОНДОН К А. И. ГЕРЦЕНУ

Amicus Socrates, sed
magis amica veritas

I

Повод и цель поездки Н. Г. Чернышевского в Лондон к А. И. Герцену — это такая длинная и сложная история, которую необходимо начать издалека, так как она представляет любопытную картину в истории нашей новейшей литературы. А самая эта поездка составляет только небольшую деталь в этой картине.

В половине 50-х гг. прошлого столетия, по смерти императора Николая I и по вступлении на престол Александра II, заключившего мир после крымской кампании, предпринятой против России нашими ныпешними союзниками [11], — появились заметные признаки наступления политической и общественной весны. В царствовавшем до тех пор холоде повеяло теплом; в душной и смрадной атмосфере почувствовались свежесть и прохлада; в мрачной непроглядной тьме заблистали светлые искорки; повидимому начал таять лед, сковывавший дотоле всякое умственное, политическое и общественное движение. Автомобиль освободительного и прогрессивного движения, до сих пор не только не двигавшийся вперед, но быстро

мчавшийся назад, остановился и обнаружил тенденцию подвигаться вперед. Судя по всему, как будто занялась заря настоящей свободы. При таком весеннем тепле и свете русское общество проснулось после долговременной спячки, раскрыло глаза и увидело многое, чего прежде оно не замечало, и вследствие этого пришло в восторженное настроение, предалось самым радостным надеждам, самым обаятельным и сладким мечтам. Оно видело основание для этого, между прочим, в такого рода симптомах.

Сейчас по заключении мира прежние влиятельные и даже всесильные руководители внутренней и иностранной политики были уволены в отставку и заменены людьми, проникнутыми другим, новым духом, как было уверено тогдашнее общество. Распространился не гласный, но упорный слух, что принято решение освободить крепостных крестьян и будто бы на это решение повлияли при заключении мира тогдашние наши противники, нынешние союзники. Очень распространена была и уверенность в том, что Россия и в иностранной политике не будет содействовать реакционным и легитимистическим стремлениям в западноевропейских государствах, откажется от незавидной чести быть общеевропейским жандармом.

И когда действительно было провозглашено освобождение крепостных, то ни у кого уже не оставалось сомнения в том, что освободительное движение действительно началось, что за этим освобождением крестьян последует освобождение всего, что до сих пор было несвободно, закрепощено. Все втайне надеялись, что в более или

менее недалеком будущем увенчается, наконец, новое здание русского прогресса, и в России, наконец, водворится правовой порядок. Этот термин был в то время синонимом «конституции»; но это последнее слово боязно было тогда употреблять и в интимных разговорах и даже в мыслях.

Тогдашние прогрессивные литераторы были одушевлены такими же горячими надеждами и мечтами, как и все прогрессивное общество, да даже, может быть, еще в большей степени, чем общество, и вполне были уверены в том, что за освобождением крепостных немедленно последует и освобождение печати. Вот некоторые факты, которые признаны были предвозвестниками этого желанного и ожидаемого освобождения.

Неумолимая строгость цензуры несколько ослабела; цензора стали снисходительнее и дозволяли то, что прежде воспрещалось; явилась возможность в печати того, что прежде было невозможно. И в самом деле случилось то, чего прежде никто и никак не мог ожидать. Дозволено было напечатать и выпустить в свет сочинения нашего знаменитого поэта Пушкина[12], на которого косо смотрели и к которому так подозрительно относилась прежняя предержащая власть как цензурная, так и общая. И вот в какой неописанный восторг привело Чернышевского появление этих сочинений.

«Нетерпеливое ожидание, настоятельная потребность русской публики *наконец удовлетворяется*. (В подлиннике курсива нет. *Авт.*). Два первые тома нового издания творений великого нашего поэта явились в свет; остальные томы скоро последуют за ними».

«*Событиями, радостными для всех образованных людей* русской земли, ознаменовано начало 1855 г.: в одной столице юбилей Московского университета, столь много участвовавшего в распространении просвещения, столь много содействовавшего развитию наук в России; в другой столице — достойное *издание творений* великого писателя, имевшего такое влияние на образование всей русской публики — какие *торжества для русской* науки и *литературы*».

«Вполне понимая всю *важность такого события*, как *издание сочинений Пушкина*, спешим отдать о нем отчет публике» (Полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского, т. I, стр. 245).

В настоящее время кажется просто странною и непонятною такая восторженная радость по поводу такого слишком обыкновенного, заурядного, естественного и неизбежного события, как издание сочинений любимого выдающегося поэта. А вот были же времена, когда такое издание было невозможно, недопустимо, и потому теперь возбуждало такую радость.

Другим прогнозом грядущего освобождения печати был еще один факт, повидимому, столь же курьезный и незначительный, как указанный выше, но по тогдашним временам важный и знаменательный. Фамилия нашего гениального критика Белинского была тогда строго воспрещена в печати, и цензора непременно зачеркивали ее в представляемых им рукописях или корректурах. И потому, когда автору по крайней необходимости приходилось говорить о Белинском, он должен был обозначать его каким-нибудь отвлеченным, безличным указанием. Так должен был делать

Чернышевский, как я уже говорил когда-то в другом месте. Вот какими фразами он должен был заменять фамилию Белинского в своих статьях «Очерки гоголевского периода русской литературы». «Одна *критика* (видите, критика, а не *критик*, как, вероятно, было написано автором, и эту переделку произвел строгий цензор. *Авт.*) 1840—1847 годов заслуживает нашего внимания, она одна достойна того, чтобы называться критикою гоголевского периода; пусть же за отсутствием собственного имени, это название будет для нее» (т. е. для *одной критики*. Как это все вышло нескладно. *Авт.*). «Человека, который был органом этой критики, невозможно не признать гениальным». Наконец вместо фамилии Белинского было сказано: автор статей о Пушкине. Так это говорилось в первых четырех главах «Очерков».

И вдруг в пятой главе[13] оказалась напечатанною, по благоволению цензурных властей, такая смелая и даже дерзновенная фраза. «Главным деятелем критики гоголевского периода был Белинский». Но дальше — больше; свобода печати еще расширилась, и Белинскому повезло еще больше. В Москве признано было возможным и дозволено печатать и издавать в свет не только имя Белинского, но даже его сочинения[14]. Факт совершенно неожиданный. Но этот факт привел в восторг не Чернышевского, так сказать, лично заинтересованного в деле, а Добролюбова; Чернышевский, по крайней мере, не выразил печатно своего восторга. Добролюбова же этот факт привел в неописанный восторг, и он напечатал статью с такими горячими излияниями.

«В литературе нашей не может быть новости отраднее той, которая теперь только явилась к нам из Москвы. *Наконец Сочинения Белинского издаются.* Первый том уже напечатан и получен в Петербурге; следующие, говорят, не замедлят. Наконец-то! Наконец-то!»

«Что бы ни случилось с русской литературой, как бы пышно ни развилась она, *Белинский всегда будет ее гордостью, ее славой, ее украшением.* (В подлиннике курсива нет. *Авт.*). До сих пор ее влияние ясно чувствуется на всем, что только появляется у нас прекрасного и благородного; до сих пор каждый из лучших наших литературных деятелей сознается, что значительною частью своего развития обязан непосредственно или посредственно Белинскому. В литературных кружках всех оттенков едва ли найдется пять-шесть *грязных и пошлых личностей*, которые осмелятся без уважения произнести его имя». (В наше современное время это не так; передовые нынешние футуристские критики, в роде г. Айхенвальда, не только без уважения, но даже с порицанием и пренебрежением произносят это имя) [15].

«Для них, наверно, *ни одна из наших новостей не могла быть столь радостною,* как издание сочинений Белинского. Давно *мы ждали его и наконец дождались.* Сколько *счастливых*, чистых *минут* снова напомнят нам его статьи, — тех минут, когда мы полны были юношеских беззаветных порывов, когда энергические слова Белинского открывали нам совершенно новый мир знания, размышления и деятельности».

«Современник» перешел в руки нынешней редакции при участии Белинского, и до своей

смерти он не оставлял «Современника». «Современник» первый заговорил о Белинском после долгого молчания, которое обусловливалось тогдашними обстоятельствами литературы (Чернышевский в «Гоголевском периоде литературы», 1855). *Идеи гениального критика* и самое имя его были всегда святы для нас, и мы считаем себя счастливыми, когда можем говорить о нем» [16]. (Первое полное собрание сочинений Н. А. Добролюбова, прекрасно редактированное г. Лемке, т. III, стр. 78).

Вышеизложенное показывает, что Чернышевский и Добролюбов, люди не оптимистического, а скорее пессимистического настроения, поддались общему увлечению и восторгу, были таким образом запевалами в общем хвалебном хоре тогдашней публицистической литературы. В мелких, ничего особенного не предвещавших фактах и они видели не преддверие только грядущих всяких свобод, а как будто уже их осуществление, — что было преувеличено и неосновательно, как они впоследствии убедились в этом сами. Литературный же хор не только подпевал хвалебным песнопениям Чернышевского и Добролюбова, но еще значительно повысил тон их и, казалось, как будто не без основания. Строгая цензура до того ослабела, что стала дозволять к печати — вещь неслыханная — статьи, обличавшие недостатки и злоупотребления низших анонимных чиновников. Появились в печати громкие протесты против взяток, попадавшиеся даже в тексте театральных пьес, дававшихся на сцене. Безымянные обличения отдельных чиновников были в печати столь часты, что составился особый отдел литературы, гордо именовавшийся

себя «обличительной литературой». «Чем полнее и беспрепятственнее гласность, тем лучше для литературы и для жизни». Такую великую истину провозгласили 150 литераторов и интеллигентов в своем протесте, о котором речь будет дальше, против журнала «Иллюстрация», обвинявшего еврейских публицистов в продажности и подкупе. А какой-то А. Надеждин напечатал об этой гласности вот что: «Правительство, вручая в наше распоряжение гласность, как бы сказало нам: «возьмите орудие, *всемогущее и грозное орудие*, — *обличайте* им зло и тем помогайте мне искоренять его...» Надобно думать, что все мы с этой точки зрения смотрели на гласность и хорошо понимали великость того *доверия*, которое оказало *нашему уму и сердцу благонамеренное правительство*. Как же мы поступали до сих пор с гласностью? А вот как: если бы правительство отняло у нас страшное орудие, *мы не в праве были бы роптать*» [17].

Стремление к благодетельной гласности и к спасительным обличениям вызвало появление в печати множества сатирических, карикатурных и юмористических листков, неслыханных и невиданных доселе, в роде нескольких сходных с ними листков второй половины XVIII века или в роде уже совершенно сходных с ними листков нашего времени, в таком множестве появившихся в 1905—1906 гг. Это были тогда большей частью, если не исключительно, неважные и несерьезные листки, с мелочными обличениями, с жалкой сатирой и пустяшными карикатурами, в роде нынешних наших подобных листков: «Сатирикона», «Лукоморья» и других. Но и среди тогдашних

листков резко выделился один, «Искра» [18], сатиры которой были и довольно серьезны, едки и смелы и обличения которой не были пустяковыми. Она действительно могла быть названа единственным органом серьезной обличительной литературы. И потому прогрессивная публика очень ее ценила.

Публицисты того времени, восторгаясь свободою печати и ее смелою обличительностью, с удовольствием указывали на отрадные прогрессивные явления и в других отраслях русской жизни. Каковы, например, постройка железных дорог, возникновение разных акционерных обществ, пароходных и других компаний, частных банков, раздавшийся протест против винных откупов даже со стороны самих винных откупщиков. Указывая на эти факты, они восторгались ими и превозносили их, выставляя их характерными чертами тогдашнего прекрасного времени. И при этом они принимали надменный вид, будто этим всеобщим прогрессом Россия обязана главным образом им, что они были инициаторами всех тогдашних реформ, будто они вообще большая общественная сила и т. д. Постепенно установился обычай восхвалять «настоящее время» по всякому поводу и при всяком случае. О чем ни заговорит радостный публицист, он всегда начнет свою речь похвалами «настоящему времени». Выработалась даже трафаретная хвалебная формула, служившая непременным предисловием и началом всякой публицистической статьи, каков бы ни был ее сюжет. Вот несколько образчиков. «В настоящее время, время прогресса, когда мы созрели, когда процветает гласность... когда поднято столько общественных вопросов... когда

литература преследует и обличает, карает и вырывает с корнем всякое зло...»; «В настоящее время, когда общество получило нравственный толчок и усилило умственную деятельность... воспрянув от сна, закипело...»; «В настоящее время, когда положено прочное основание многим общественным реформам, новым благотворным нововведениям, когда заговорили о магистратуре и адвокатуре, когда высказано несколько сильных слов о преобразовании полиции... И все это только еще начатки. Каково же будет совершение».

Такое же точно настроение, но гораздо более повышенное, и такое же поведение, только еще более смелое, мы наблюдали в литературе наших дней в начале текущего столетия, когда тоже было провозглашено наступление весны и явились широкие обещания[19]. Но прошло немного времени, и смелые и грозные представители «свободного русского народа» присмирели, их самомнение и заносчивость упали, придуманные ими способы защиты оказались недействительными и они прикусили языки или стали писать попросту, без затей, в довесешем стиле и наконец замолчали и исчезли без следа. Можно себе вообразить, как было горестно и болезненно их разочарование.

II

Напротив, обличительная и сатирическая гроза 50-х и 60-х гг. прошлого столетия утихла не так скоро. Самообольщение и самомнение обличителей тянулось несколько лет. Они неустанно продолжали торжествовать и восхвалять нынее «наше время», несмотря на то что это время

не заслужило еще таких выспренних похвал. Зрячие и наблюдательные люди увидели воочию, что провозглашенная весна и не думает переходить в лето, что снег начал таять только в немногих местах, что до правового порядка еще очень далеко, что вообще рассохшаяся проржавленная колесница освободительного движения, продвинувшаяся со скрипом на небольшое расстояние, остановилась на месте и не делала шагу вперед. При таких обстоятельствах эти люди считали самодовольство, самообольщение и всякие славословия печати делом неосновательным, не согласным с действительностью и вообще возмутительным. Они видели, что печать, может быть, даже ненамеренно и несознательно, но убаюкивает общество, обольщает его, ослабляет его стремления и энергию. И чем дальше, тем больше росло возмущение среди этих людей, к числу которых принадлежали Чернышевский и Добролюбов, которые тоже, как мы видели, уверовали в весну и в предстоящее освобождение печати, но скоро очень разочаровались. Ослабевшая было цензура стала скоро еще ретивее стеснять и кромсать их. Они вздумали издавать «Свисток» не в виде отдела в «Современнике», а в виде особого самостоятельного журнала. И вот они почтительно и вкрадчиво, с серьезной ссылкой на обличительную литературу, обратились в лице подставного заслуженного подполковника с умилительным прошением к начальству с приложением рекомендаций нескольких генералов разрешить издание газеты «Свисток» [20]. И вот какие аргументы были приведены в этом прошении в пользу предполагаемой газеты.

«Вместе с возбуждением в нашем обществе новых общественных вопросов, появилось обличительное направление в нашей литературе. Стремление к правде, свету, улучшениям и усовершенствованиям постоянно высказывалось не только положительным сочувствием ко всему полезному, но и энергическим отрицанием всякой лжи, мрака, злоупотреблений и *прежних ошибок* (а теперь их нет? *Авт.*). И тот и другой способ выражения добрых стремлений постоянно в равной мере *дозволялся и поощрялся правительством* (какой ловкий комплимент! *Авт.*). Но доселе обличения злоупотреблений и недостатков имели в нашей литературе слишком деловой и мрачный (? *Авт.*) характер. Зло старались поражать научным образом, юридически, исторически, нападали на него с гневом и с прискорбием и вместе с тем со страхом, как на опасного врага. Зло казалось слишком сильным, недоступным для смеха и шутки. Попытки осмеивать общественные пороки оказывались большею частью тяжелыми и неудачными. Теперь, однако, дело должно принять другой оборот: злоупотребления, разоблаченные серьезной литературой, должны быть *добиты смехом* (слабый аргумент! *Авт.*). Этим орудием до сих пор еще слишком мало у нас пользовались. До сих пор в нашей публике чувствуется потребность такого издания, в котором шутка имела бы значение сатиры и назначалась бы собственно для того, чтобы содействовать общему делу преследования зла и неправды. С целью пополнить этот недостаток предпринимается издание газеты «Свисток». Направление газеты должно быть чуждо всякой партийности, всякой исключительности»,

Но ни ухищрения, ни комплименты правительству не подействовали и на прошение получился краткий, но суровый отказ, и издателю было сообщено, что его «издание, по содержанию его программы, не могло бы принести пользы». Поэтому после неудачи с газетой в «Современнике» был открыт особый отдел под названием «Свисток». Понятно, что «Современник» стал с еще большим ожесточением вести борьбу с самообольщенной и всехвальной печатью, учить ее, что то, что она делает, жалко, мелочно и совершенно бесплодно, убеждать ее, чтобы она не услаждалась своею полугласностью, а воздыхала и печаловалась о настоящей полногласной гласности. Особенно сильно возмущало Добролюбова то, что славословящие литераторы в частных собраниях и беседах за чаем рассказывали друг другу забавные, а иногда и возмутительные анекдоты о цензорских придирках и поправках. Все свои чувства возмущения и негодования по необходимости он должен был изливать в «Свистке» «Современника». И при этом ему приходилось много вытерпеть от якобы ослабевшей цензуры, сокращавшей и обезображивавшей его статьи и запрещавшей листы «Свистка» целиком. За ту желчь, которую он изливал в «Свистке», его прозвали «свиступом», как увидим далее.

Для подтверждения своих свистковых обличений Добролюбов указывал, между прочим, на такие перлы, блиставшие в обличительной литературе.

«Одному моему знакомому случилось заказать себе сапоги, из петербургского товара, здешнему цеховому сапожнику. Что же оказалось? Он, желая выдать поставленный им товар за петер-

бургский, сам вывел клеймо фабриканта на коже чернилами, и довольно искусно, так что с первого раза трудно догадаться о подделке. Но сапоги недели через две перелопались — фальш оказался несомненным, тем очевиднее, что на петербургской коже клеймо фабриканта печатное («Русский Дневник»)». «Мм. Гг., Гласность полезна как свет, но в нашем городе еще сомневаются и в том, что свет полезен. Хотите доказательств? Вот одно из них: у нас в городе в некоторые темные осенние ночи не зажигают фонарей на том основании, что они в календаре обозначены лунными... Напечатайте, мм. гг., мою заметку: может быть, она будет содействовать освещению, если не просвещению нашего города («Московские Ведомости»)». — «Из одной обличительной статейки автор ее вывел такое заключение. У нас есть еще (скоро не будет, конечно. *Доброл.*) люди, считающие насилие и произвол мерами общественного порядка и гражданского благоустройства... К стыду нашему, мы должны сознаться, что чувство чести и собственного достоинства у нас еще не развилось, или, может быть, заглохло. В нашей общественной жизни мы умели соединить привычку неповиновения закону с постыдным и раболепным самоуничтожением перед всяким произволом. Избегая исполнения наших обязанностей, мы не заботимся о *защите наших прав* и *не умеем протестовать* против оскорбления нашей гражданской чести и человеческого достоинства, когда это оскорбление нанесется без всякого повода и причины, а просто под предлогом исполнения служебных обязанностей».

Итак, замечает Добролюбов, — вот вам мораль: исполняйте свои обязанности, защищайте свои права и протестуйте против оскорблений. Великая истина, — жаль только, что не совсем новая. Это еще звери у Крылова предлагали. Помните, как они, защищая овец от волков, решили, что ежели волк нападет на овцу, то она властна схватить волка за шиворот и представить в суд [21].

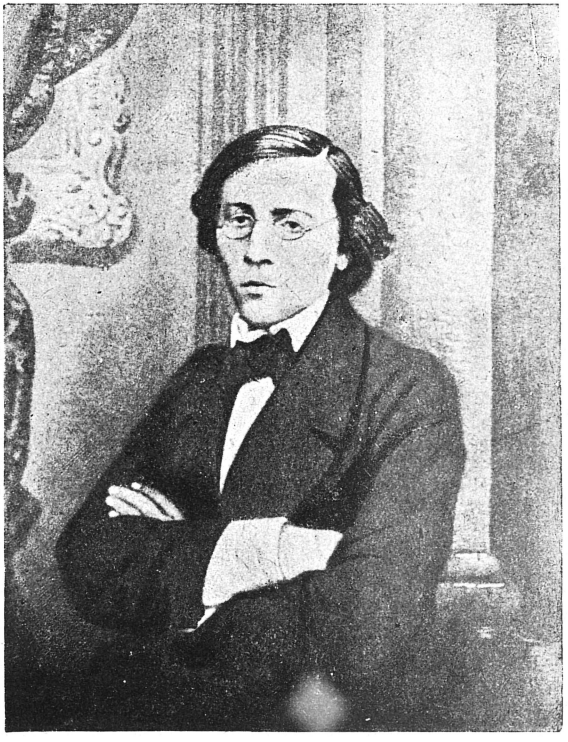
Скоро Добролюбову представился новый повод заговорить о гласности, повод очень его возмутивший, серьезно и строго им осужденный и ядовито им осмеянный. Это был упомянутый выше и напечатанный в нескольких тогдашних газетах протест против «Иллюстрации», подписанный не только известными литераторами, но и лицами, никому не известными, но, вероятно, рассчитывавшими добиться известности своими подписями под протестом. Сыр-бор загорелся из-за того, что в «Иллюстрации» была напечатана статья за подписью «Знакомый человек», под заглавием «Западно-русские жиды и их современное положение» [22], в которой опровергалось мнение, высказанное «Русским Инвалидом» о необходимости расширить гражданские права евреев. На эту статью были напечатаны резкие возражения Чацкина в «Русском Вестнике» и Горвица в «Атенее» [23], на которые «Иллюстрация» ответила так: «Статья наша вызвала оппозицию со стороны иудофилов, без всякого сомнения, агентов знаменитого г. N, который, как видно, не жалеет золота для славы своего имени, — и вот явились в печати два еврейских литератора — некто Ребе-Чацкин и Ребе-Горвиц». Какое ужас-

ное и возмутительное обвинение г. N в подкупе и двух литераторов в продажности, оплаченной золотом! Уже ли оно могло не вызвать горячего негодования в груди обличителей, так усердно преследовавших всякое зло. И действительно, немедленно же и со всех сторон раздались грозные негодующие протесты против «Иллюстрации». Протесты эти появились в «Русском Вестнике», «Атенее», «СПБургских Ведомостях», «Одесском Вестнике» и даже в таком необличительном органе, как «Северная Пчела» Булгарина и Греча[24], словом, почти везде, за исключением «Современника», который, по шутливому замечанию Добролюбова, не так много, как другие, выказал азарта в этом деле, хотя некоторые из его сотрудников все-таки сочли своим долгом подписаться под протестами. В итоге под протестом было 150 подписей. Из них, кроме подписей лиц, составляющих, по выражению Добролюбова, «гордость и украшение нашей литературы», было, по крайней мере, 77 подписей лиц не только не составлявших гордости литературы, но совсем никому неизвестных, но считавших за честь стоять рядом с гордостными именами и рассчитывавших приобрести этим путем известность и себе, чего некоторые из них и добились, например, два брата, В. Милеант и Е. Милеант, действительно получившие большую всероссийскую известность и даже воспетые в стихах. Это все невольно напоминает о протестах, печатающихся и в наши дни, например, протест против кровавого навета и другие, тоже, вероятно, подписанные лицами, лишний раз желающими напомнить о себе или приобрести известность братьев Милеантов.

И к этим протестам тоже могут быть применены суждения и замечания Добролюбова по поводу рассматриваемого протеста против юдофобов.

Добролюбов по поводу этого протеста прежде всего указал на то, что протестанты забыли или бросили в сторону главный вопрос о равноправии евреев, из-за которого главным образом и загорелось дело и по которому, может быть, некоторые из них держались несогласных и противоположных взглядов, а все свое внимание устремили на защиту Чапкина и Горвица. Добролюбов до того рассердился на протестантов, что даже не пощадил Чернышевского и в пику ему заметил, что в этом деле сошлись люди всех партий и направлений и вот в числе подписавших протест, говорит он, стоят рядом г. Чернышевский с г. Ф. Булгариным и г. Н. Львовым.

Несмотря на некоторые разногласия, все протестанты были единодушны в том, что должны протестовать не только литераторы и вся литература «как один человек», но все *честные* люди. Добролюбов по поводу этой протестной горячки рассуждал так: «Слово мое не весело. Признаюсь, я с тяжелым чувством пробегал длинный список лиц, протестующих против «Иллюстрации». Зачем это, думал я, русские ученые и литераторы ополчились в крестовый поход для доказательства того, что клевета гнусна? Неужели они полагают, что это еще тезис неизвестный или спорный для русского общества?.. Что же это, в самом деле, — неужели наше общество упало так низко, стало так развратно, дошло до такой шаткости в своих нравственных понятиях, что лучшие



Н. Г. Чернышевский в 1859 г.

С фотографии В. Лауферта в Петербурге

люди литературы должны, наконец, писать к нему воззвания и руководящие статьи, имеющие целью доказать гнусность печатной клеветы?»

Не довольствуясь сатирическим и юмористическим высмеиванием самообольщенных и самоуслаждавшихся обличителей, Добролюбов выступил против них в двух уже серьезных и с серьезными аргументами статьях, напечатанных не в «Свистке», а в серьезном отделе «Современника» под заглавием «Литературные мелочи прошлого года» (1858)[23]. В этих статьях он с жаром и воодушевлением старался растолковать своим противникам и своим читателям настойчивые мотивы, заставившие его предпринять ожесточенный поход не только против обличительной, но и против всякой другой тогдашней литературы, восхвалявшей «настоящее время», восхищавшейся тогдашним русским прогрессом и стремившейся заразить и читателей радужными надеждами и мечтами, вовсе не согласными с очевидною действительностью. Он приводил многочисленные доказательства совершенной неосновательности, бесплодности и расслабляющего влияния на читателей таких литературных тенденций. Он утверждал, что литературные обличения направляются на мелочи, на вещи неважные, не на существенные, кардинальные недостатки, задерживающие русский прогресс. Особенно сильно возмущала Добролюбова и приводила его в негодование, может быть, даже не искренняя, а поддельная гордыня литературы, воображавшей о себе, будто она шла не в хвосте, а впереди общества, будто она выражала и освещала как следует интересы и стремления общества и будто

она возбуждала самостоятельно все важные общественные вопросы и требовала необходимых реформ, и разрабатывала проекты таких реформ. «Прежде всего, — говорит он, — мы должны отметить ту главную ложь, в которой литература наша проявила свою мелочность. Ложь эта состоит в высоком мнении литературы о том, что она сделала. Почитаешь журнальные статейки, так иногда и в самом деле подумаешь, что литература у нас — сила, что она и вопросы подымает и общественным мнением ворочает... А на деле ничего этого нет и не бывало: литература у нас постоянно, за самыми ничтожными исключениями, до настоящей минуты шла не впереди, а позади общества. (А интересно было бы представить себе, как отнесся бы Добролюбов к публицистической литературе наших дней. Признал ли бы в ней такую же заносчивую гордыню, или нет? *Авт.*). Журнальные возгласы совершенно несправедливы в своей надменности. Просматривая журналы наши за последние годы, вы ясно увидите, что наши общественные потребности и стремления прежде всего находили себе выражение в административной и частной экономической деятельности, а потом уже нередко долго спустя переходили в литературу. Из всех вопросов, занимавших наше общество в последнее время, мы не знаем ни одного, который действительно был бы поднят литературою; не говоря уже о том, что ни один не был ею разрешен». В доказательство этого Добролюбов перебрал несколько таких вопросов с указанием их освещения печатью, каковое в некоторых случаях не делало ей чести [26].

III

Само собою понятно, и совершенно естественно, что такие и шутливые и весьма серьезные обличительные статьи «Современника» и особенно «Свистка», направленные против самохвальной обличительной литературы, вызвали в обличаемых негодование и злобу на него. Но они сначала не считали нужным серьезно полемизировать с ним, а относились к нему с напускным презрением, как к мальчишеским потехам и кривляниям, не стоящим никакого внимания, а тем более опровержения. Это, мол, не литература, а грубая потеха, паясничество, невежественный хохот. Вот что было напечатано в «Московских Ведомостях» [27]: «А у нас есть еще господа (см. «Современник»... и балаганный отдел, возобновленный, вероятно, по случаю недавних праздников, — под названием «Свистка»), без застенчивости печатающие, что наша литература, занимаясь вопросами о распространении грамотности, о телесных наказаниях и т. п., и *давая даже гласность* некоторым общественным явлениям *без прямого указания на лица*, собственно повторяет только то, что и без нее известно! Впрочем, *лучшая часть* нашего *общества умеет ценить* этих господ по достоинству и попытки литературного *мальчишества и паясничества* убить в литературе всякую связь с той средой, которой она служит органом, никогда не могут иметь успеха... Если бы, считая все давно порешенным, наша литература ограничивалась *туманными выходками против неаполитанских изгнанников* и т. п., то она утратила бы всякий смысл

для русского общества. Это поймет всякий неглупый школьник, а у нас есть литераторы, не понимающие таких простых вещей».

«Выходки против неаполитанских изгнанников» — это острая и едкая шпилька Чернышевскому. А самые выходки — это вот что. В «Современнике» в отделе «Политика» [28] он рассказал следующее. В неаполитанском королевстве вспыхнула революция, окончившаяся победой. Король Фердинанд II очень перепугался и, опасаясь за свой трон, помирился с революционерами и дал торжественное обещание исполнить их требования. И действительно, он дал конституцию и составил министерство из людей, уважаемых и ценимых революционерами. Революция была побеждена и успокоена великодушием и уступчивостью монарха. Но у Фердинанда II страх прошел скоро и опасения исчезли. Поэтому он уничтожил конституцию, прогнал приятных революционерам своих министров, Поэрио и его приятелей, затем отдал их под суд под самым ничтожным, да и то выдуманным предлогом, они были присуждены к тюремному заключению, в котором они промучались десять лет. За недостатком места в тюрьме Фердинанд II, наконец, выслал их в Америку. Но, плывя в Америку, они убедили капитана корабля свезти их в Англию. В Англии их встретили не с радостью и любезностью, а просто с энтузиазмом и с почестями, в которых принимали участие высокие государственные люди, Пальмерстон, Рессель, Гладстон и другие. Рассказав об этом, Чернышевский решил, что Поэрио и его друзья сами виноваты в вынесенных ими страданиях, гонениях и преследованиях. Их

вина, по его мнению, состояла в том, что они были слишком доверчивы и считали Фердинанда II человеком порядочным, искренним, незлопамятным. Когда Фердинанд назначил министром одного из друзей Поэрио, главу демократической партии, то этот демократ упал к ногам короля и воскликнул: *Государь! если бы я знал вас раньше, я не составлял бы заговоров.* «Вот, — говорит Чернышевский, — в этом-то и состояла непростительная ошибка, за которую действительно был он достоин наказания, постигнувшего его впоследствии...» «Они полагали, что Фердинанд II, хотя и нашел полезным возвратиться к прежнему принципу управления, смотрит на них, своих бывших министров, как на людей, которым он должен быть признателен за помощь в трудные для него времена. Такая мысль была *заблуждением* излишней самонадеянности».

Далее Чернышевский привел выдержку из газеты «Times», восхвалявшей и превозносившей Поэрио и его друзей и глубоко им сочувствовавшей. И в этой выписке есть такие места. «Несчастные джентльмены, которых мы теперь с гордостью называем нашими гостями, *виновны* разве в том, что поверили слову Фердинанда. За это *преступление*, которого никто не захочет повторить, они были осуждены на десять лет страданий... Чем больше мы будем исследовать их историю, тем больше мы убедимся, что эти люди терпели невообразимое мучение десять лет единственно за то, что имели *безрассудство поверить* Фердинанду и приняли участие в системе правления, которую он клялся сохранить».

Да ведь это буквальное повторение слов Чернышевского!

Вот вся суть выходки Чернышевского против неаполитанских изгнанников [29] и вся тяжесть выставленного им обвинения их. Сами «Московские Ведомости» назвали эту выходку *туманною*. Значит, она была уже не так резка и оскорбительна; и обвинение тоже было не так уж тяжко, энергично и безжалостно. Оно было тоже туманно, притворно и замаскированно, хотя и несколько усилено, вероятно, в виду «обстоятельств, от редакции независящих». Словом, это было не столько обвинение Поэрио и его друзей, сколько пощечина Фердинанду. Чернышевский с удивлением указывал на то, почему эти изгнанники не удалились, куда бы им захотелось, после того, как их выгнали из их министерств, а с непонятной уверенностью в собственной безопасности и неприкосновенности преспокойно и без всяких опасений проживали в Неаполе, т. е. в лапах рассердившегося на них Фердинанда.

Написавши вышеизложенное, Чернышевский, вероятно, вспомнил о своих «проницательных» читателях, которые оказывались непроницательными при чтении статей, гораздо более ясных и категоричных, чем его «туманная» выходка против неаполитанских изгнанников. И потому он высказал такое опасение. «Если бы эти страницы попались на глаза французским, английским, сардинским или немецким либералам, мы подверглись бы от них *беспощадному порицанию;* но что же делать, надобно говорить то, что думаешь». Опасения его оправдались, но только не со стороны иностранных либералов, а со стороны

русских либералов, да не только либералов, а людей более «левых и крайних». В следующем номере «Современника» он напечатал [30]: «Мы получили от некоторых *очень уважаемых нами людей* упрек за жестокое суждение об ошибках Поэрио». Но и в этом номере он не оправдывался и не извинялся, а только исправлял «недостатки изложения» его выходки, произведшие «странное впечатление», указывая на то, что при суждении об этом деле нужно иметь в виду не только точку зрения либералов, но и точку зрения Фердинанда и ему подобных. Но это нисколько не помогло Чернышевскому; его опасение оправдалось: он подвергся «беспощадному порицанию» и, вероятно, со стороны лица, очень им уважаемого. В русском, хотя и заграничном журнале «Колокол» явилась громоносная статья А. И. Герцена [31], в которой он, между прочим, громил и беспощадно, зло и ядовито осмеивал и порицал выходку Чернышевского и его самого. Эта статья (она будет приведена дальше) задала тон русским либералам и черносотенцам, и выходка «Московских Ведомостей», вероятно, была возбуждена и пропета тоном этой статьи. При чтении ее получается впечатление, что автор ее или «непроницательный читатель», или сам не читал порицаемой им статьи и ему кто-нибудь неверно передал содержание этой статьи.

В числе серьезных протестантов против «Современника» находилась одна крупная и серьезная и авторитетная литературная величина, не чета Погодину, «Отечественным Запискам [32] и прочим. Это был сам Тургенев, который в душе относился с особенною злобностью, с возмущением и него-

дованием и тоже с презрением к свистопляске «Современника»; но в то время он скрывал в душе эти чувства. Может быть, у него в голове была уже готовая статья об этом сюжете, но он признал неудобным или ненужным напечатать ее в то время, а напечатал ее позже, через несколько лет в своих «Воспоминаниях о Белинском»[33]. Здесь сказано вот что.

«Известно, что глумящийся человек часто сам хорошенько не дает себе отчета, над чем он трунит и иронизирует; во всяком случае, он может воспользоваться этими ширмочками, чтобы скрыть за ними шаткость и неясность собственных убеждений. Человек свистит, хохочет... Поди, угадывай, разумей его речь, куда он ее гнет? Быть может, он смеется над тем, что точно достойно смеха, а быть может, и над собственным смехом зубы скалит. Мне скажут, что бывают времена, когда можно только намекать на истину и что смеющимся устам легче ее высказывать... Да разве Белинский жил в такое время, когда можно было все высказывать на чистоту? И однакоже не прибегал он к глумлению, *к излюбленному свистанию,* к зубоскальству. Сочувственный смех, возбуждаемый в известной части публики этим свистанием, не далеко ушел от того *смеха*, которым встречались *нравственные выходки Сенковского*... И здесь и там выпячивалась та же склонность к грубой потехе, к гаерству, склонность к сожалению, свойственная русскому человеку (каким был Сенковский? прибавим *от себя*), и которую не следовало бы поблажать. *Хохот невежества почти так же противен,* так же и *вреден,* как его злоба»,

Эта статья и по сюжету, и по тону, и по страстности, и по беспощадности порицания тоже была возбуждена и написана в тоне, заданном Герценом. Здесь не сказано, кто эти свистуны и зубоскалы, но самый «непроницательный» читатель догадался, конечно, что это «Современник» и «Свисток».

IV

Наконец и обличаемым литературным обличителям улыбнулось счастье самой широкой улыбкой. Защита и сильнейшая помощь им явилась с той стороны, с которой никто не ожидал и никто даже не мог ожидать. Против «Современника», обличавшего их, раздался протест, — не чета даже тургеневскому, — более авторитетный и влиятельный, хотя и очень сходный с ним. Этот протест был обязателен и повелителен для всех прогрессивных изданий, особенно для «Современника» и всех прогрессивных людей, потому что он заявлен был европейскою знаменитостью, человеком, который пользовался глубоким уважением и почетом и, вероятно, был одним из тех, которых Чернышевский, как мы видели выше, «очень уважал», и к голосу которого внимательно прислушивалась вся Россия как прогрессивная, так и обскурантная. Протест был напечатан в всероссийски известном журнале «Колокол», который издавался в Лондоне, и не кем-нибудь, а самим А. И. Герценом. В этом протесте он жестоко отделал Чернышевского, который этого и ожидал от иностранных либералов, и беспощадно осудил за обличение обличительных, т. е. самоуслаждавшихся и самооболь-

щепных литераторов, убаюкивавших и усыплявших своих читателей. Статья не была подписана [34]; но очевидно, что она написана самим редактором. В ней также не сказано, кто же такие эти свистуны и плясуны; но даже самые «непроницательные» читатели с первого же слова могли уразуметь, против кого направлен этот грозный протест.

Чтобы обратить на протест внимание самых невнимательных читателей, редактор дал ему такое кричащее заглавие: «Very dangerous!!!» (по-русски—весьма опасно!). Обыкновенно небольшие заметки в хронике «Колокола» начинались знаком вопроса, а не удивления, и часто начинались так: «правда ли, что...» и проч. В этом же протесте перед заглавием стоял рисунок кисти руки с указательным перстом, указывающим на заглавие, смотри, дескать, в оба, не пропусти, не прозевай. Вот несколько выдержек из этого знаменитого протеста.

«В последнее время в нашем журнализме стало повевать какой-то тлетворной струей, каким-то *развратом* мысли; мы их вовсе не принимаем за выражение общественного мнения, а за *наитие направительного и назидательного* цензурного триумвирата...» [35]

«Журналы, сделавшие себе пьедестал из благородных негодований и чуть не ремесло из мрачных сочувствий со страждущими, катаются со смеху над *обличительной* литературой, над неудачными опытами *гласности*. И это не то, чтобы случайно, но при большом театре ставят балаганчики для освистывания первых опытов свободного слова литературы, у которой еще не

заросли волосы на полголове, так она недавно сидела в остроге».

«Когда товарищи Поэрио, встреченные тысячами и тысячами англичан при въезде в Лондон, не знали, что им сказать, и наконец просили простить их нескладную благодарность, говоря, что они отвыкли вообще от человеческой речи в десятилетних оковах, народ не хохотал им в ответ (как это мог сделать «Современник». *Вставка авт.*) и «Пунш» (английский, мол, «Свисток». *Вставка авт.*), смеющийся надо всем на свете, над королевой и парламентом, не сделал карикатуры...»

«Мы сами очень хорошо видели промахи и ошибки обличительной литературы, неловкость первой гласности; но что же тут удивительного, что люди, которых всю жизнь грабили квартальные, судьи, губернаторы, слишком много говорят об этом теперь. Они еще больше молчали об этом!..»

«В «обличительной» литературе» были превосходные вещи. Вы воображаете, что все рассказы Щедрина и некоторые другие так и можно теперь огулом бросить с «Обломовым» на шее в воду? Слишком роскошничаете, господа!..»

«Не лучше ли во сто раз, господа, вместо освистываний неловких опытов вывести на торную дорогу, — самим на деле помочь и показать, как надо пользоваться гласностью. (Вспоминал ли эти свои слова и что чувствовал при этом воспоминании Герцен, когда из прекрасного далека наблюдал судьбу «рыцаря свистопляски» Чернышевского. *Авт.*)?»

«Мало ли на что вам есть точить желчь, — от цензурной тронцы до покровительства кабаков,

от плантаторских комитетов [36] до полицейских побоев. Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно *досвистаться* не только до Булгарина и Греча, но (чего боже *сохрани*) *и до Станислава на шею*!»... [37]

«Может, они об этом и не думали, — пусть подумают теперь. (До чего они досвистались на деле, этого Герцен не угадал, — до своей гибели. *Авт.*)».

Вот нежданный негаданный сюрприз, свалившийся на «Современник», как снег на голову. Вот громкий и грозный крик благородного негодования, неудержимо вырвавшийся из груди человека, страшно возмущенного литературной мерзостью. Все здесь сильно, горячо, страстно и в то же время едко, больно, убийственно и саркастично. Да и не могло быть иначе при виде такой мерзости. В русской печати в момент начавшегося возрождения России появились презренные и рабски пресмыкающиеся не публицисты, а паяцы, проповедуют возмутительные вещи, восхищаются цензурой с целью угодить и польстить верховному цензурному начальству, издеваются над прогрессивными тенденциями возродившейся печати, пользовавшейся широкой гласностью и переполненной резкими и беспощадными обличениями всяких зол. А по иностранной политике эти рептилии издевались и хохотали даже над неаполитанскими изгнанниками, которым глубоко сочувствовали и которых глубоко чтили все порядочные люди Европы и Америки. Их русские публицисты осмеивали, а Фердинанда II льстиво восхваляли. И все это обску-

рантные публицисты делали единственно для того, чтобы выслужиться и получить орденок на шею. Разве это не возмутительно! Кто же эти негодные пресмыкающиеся публицисты? Они в статье не названы по фамилиям, но они изображены так верно и охарактеризованы так метко, что даже «*неглупый школьник*» мог бы сразу догадаться, что это Чернышевский и Добролюбов, которые вводили в заблуждение доверчивую непроницательную либеральную публику, прикидывались прогрессистами и либералами и потому могли быть очень опасными под этой личиной. Так это все могло показаться с виду, с первого взгляда, особенно для читателей, не только никогда не читавших и не видавших «Современника», но и вовсе не слыхавших о нем, каковы, например, были сотрудники иностранных либеральных журналов и газет. А потому Чернышевский и полагал, что опровержение и порицание его возможны только от иностранных либералов.

А между тем, на самом деле, даже в глазах «*неглупого школьника*», если он хоть что-нибудь знал или слышал о «Современнике», вся эта филиппика — это не крик возмущенного сердца, а явная сплошная неправда, ложь, что все ее обвинения — выдуманная напраслина, злонамеренная клевета. Таково было единогласное решение *всех, читавших* громовую обличительную статью Герцена, т. е. не только расположенных к «Современнику», но и неглупых школьников, и даже горячих конкурентов, принципиальных противников и злостных врагов «Современника», которых он обижал и освистывал, но которые доподлинно и отлично знали очень близкие и сердечные

отношения между цензурой и «Современником», ее снисходительность и благорасположение к нему, хотя она, неизвестно почему, не дозволила «Свисток» отдельным изданием и даже при «Современнике» часто он не выходил в свет не за истощением остроумия, как они говорили, а «по независящим от редакции обстоятельствам», которых у его противников не было.

Богучарский произнес этой статье такой обвинительный и справедливый приговор.

«Трудно даже поверить, чтобы такую *несправедливую, опрометчивую и бестактную* (в подлиннике нет курсива. *Авт.*) статью мог написать *умный и проницательный* Герцен. Но слишком уж велика была разница между его *барской натурой и натурой новоявленных разночинцев*. Она-то и сбила его с толку. Если «Современник» хватал своим смехом через край, если он и был вообще прав далеко не во всех своих воззрениях, то приравнивание его руководителей к Булгарину и тому подобным господам являлось уже прямо *непростительным*. Герцен не заметил, что Добролюбов и Чернышевский действовали под влиянием совершенно той же «карты, страсти, боли», под влиянием которой работал и Белинский. «Оттого речи (таких людей, как Белинский) становятся силой, мощью и двигают иногда целыми поколениями»,— писал Герцен. Не то ли самое случилось и с людьми, которых он называет *милыми паяцами*?..»[38]

Настоящая статья есть по существу не что иное, как изложение мотивов и оснований этого справедливого приговора.

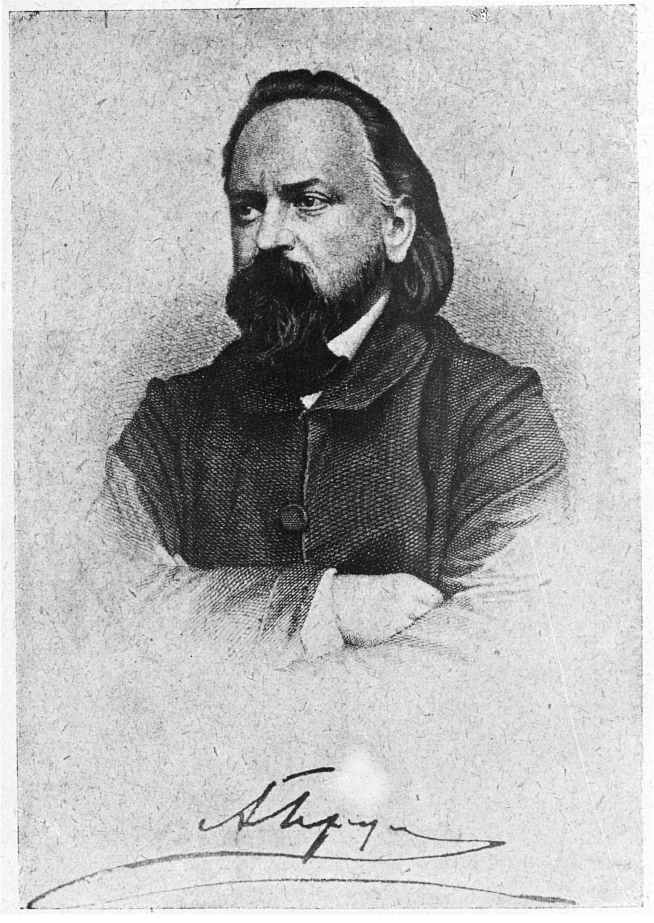
Деятели «Современника» отнеслись к выходке Герцена сначала различно, а потом пришли к

одинаковому взгляду на нее. Она их всех привела в крайнее изумление и удивление и взволновала их как неожиданный и непредвиденный сюрприз. Но Чернышевский скоро же успокоился и спустя некоторое время, по своему обыкновению, он относился к этому неожиданному реприманду со смешками, остротами, шуточками и говорил, ужели нужна уж чрезвычайная пронцательность, чтобы понять свист «Современника», и ужели ее не оказалось у Герцена? Затем он выражал напускную радость и утешался надеждой, что цензура после этого станет относиться к «Современнику» гораздо снисходительнее, чем прежде, так как он враг Герцена, врага всяких всевозможных цензур и угодник цензуры, по свидетельству самого же Герцена.

Добролюбову, еще не читавшему статьи, сообщил содержание ее Некрасов, вероятно, в самых ужасающих и убийственных чертах, что там есть даже обвинение «Современника» в продажности. «Если это правда, — писал Добролюбов в своем дневнике [39], — то Герцен человек вовсе не серьезный: так легкомысленно судить о людях в печати ужасно дико. Но чем более я думаю об этом известии, тем более убеждаюсь, что Некрасову только так показалось и что в сущности намека этого нет». Он так высоко ценил и так уважал Герцена, что никак не мог допустить, чтобы он поступил так дико. «Я лично не очень убит неблаговолением Герцена, с которым могу померяться, если на то пойдет, но Некрасов обеспокоен, говоря, что это обстоятельство свяжет нам руки, так как значение Герцена для лучшей части нашего общества очень сильно.

В особенности намек на бюро (высшее цензурное) оскорбляет его, так что он чуть не решается ехать в Лондон для объяснений, говоря, что этакое дело может закончиться и *дуэлью*. Ничего этого я не понимаю и не одобряю, но необходимость объяснения сам чувствую и для этого готов был бы сам ехать. Действительно, если намек есть, то нужно, чтобы Герцен печатно же от него отказался и взял назад свои слова. Но мне все кажется, что вся эта история — *чистейший вздор*, какое-нибудь недоразумение». Да, Некрасов охотно решился бы на дуэль, так как знал, что Герцен не такой страстный охотник и не такой опытный стрелок, как он. Но это было бы похоже на дуэль Пушкина и Лермонтова, и потому, вероятно, он и бросил мысль о дуэли [40].

А как же статья подействовала на Добролюбова, когда он ее прочитал, и как он поступил, какое решение принял? Да, очевидно, так же, как и Чернышевский. Он убедился, что Герцен вовсе не таков, каким он казался ему, что его статья — дикая выходка, злостная и лживая, что ей не поверит никто из читавших или знающих «Современник», и на людей, расположенных к нему, произведет отталкивающее впечатление и даже вызовет негодование, как это он видел в нескольких литературных кругах, а потому и решил плюнуть на это дело и оставить его без внимания. Но потом вспомнил об нем в печати отчасти серьезно, отчасти шутливо. В одной серьезной статье [41] он, между прочим, сказал вот что: «Нас многие обвиняют, что мы смеемся над обличительной литературой и над самой гласностью; но мы никому не уступим в горячей любви к обличению



А. И. Герцен в конце 50-х годов

и гласности, и едва ли найдется кто-нибудь, кто желал бы придать им более широкие размеры, чем мы желаем. Оттого-то и смех наш происходит: мы хотим более цельного и основательного образа действий, а нас подчуют какими-то ребяческими выходками, да еще хотят, чтобы мы были довольны и восхищались... Поневоле иной раз рассмеешься и поглумишься, хоть и невесело... А добрые люди (в роде Герцена. *Авт.*) из этого бог знает что выводят! Говорят, что мы пользы железных дорог не признаем, в дружбу не веруем, промежуточные станции хотим уничтожить...» А в одном из номеров «Свистка» Добролюбов напечатал такую шутку: «Пренебрежение русских ученых нас очень беспокоило. Мысль привлечь их внимание все более овладевала нами, а один из наших сотрудников дошел даже до того, что заключил мечту всей своей жизни в том, чтобы увидеть о «Свистке» печатный отзыв профессора Леонтьева (соредактор Каткова по «Русскому Вестнику». *Авт.*). Как мы ни уверяли нашего сотрудника, что Леонтьев, по одним уже строгим и классическим отношениям своим к университету, должен удалять от себя всякую мысль о свисте, — ничего не помогло: мысль видеть в печати отзыв г. Леонтьева о «Свистке» долго мучила нашего друга, и едва мог он утешиться известием, что о «Свистке» *говорят даже за границей*[42].

Кто же об этом мог говорить, как не «Колокол»; ведь не те же иностранные либералы, осуждения от которых опасался Чернышевский.

Основываясь на словах Серно-Соловьевича[43], некоторые писатели утверждали, будто Добролюбов

послал резкое возражение и осуждение Герцену в частном письме к нему. Но это едва ли верно; по крайней мере, очень невероятно. Может быть, Серно-Соловьевич узнал о предположении Добролюбова послать письмо Герцену, сделанном им в то время, когда он сам еще не читал этой статьи и потому без дальнейших оснований решил, что это предположение было приведено в исполнение. В напечатанном открытом письме Герцену Серно-Соловьевич советует ему перечитать письмо к нему Добролюбова об этой статье. Богучарский тоже верил в существование этого письма и говорит, что слышал о нем от лица, бывшего близким к Чернышевскому и Добролюбову, но не назвал его по имени. Я имел счастье тоже быть близким к ним. В кружке «Современника» и в других литературных кругах, где мне приходилось бывать, ничего не говорилось об этом письме и никому оно не было известно. От Чернышевского и самого Добролюбова я ничего не слышал об этом письме. По возвращении Добролюбова из-за границы я часто посещал его больного, почти ежедневно, и мы много говорили о многом, заходила речь и о Герцене, о статье его, но о письме к нему он не упомянул ни разу. О письме не упоминает и Панаева, даже в тех местах, где бы это было необходимо. Если бы письмо было, то Чернышевский не признал бы нужным ехать к Герцену, и Некрасов не уговаривал бы на это, так как поездка была бы столь же безуспешна, как и письмо. Наконец, тщательный до щепетильности, разыскавший много доселе неизвестных материалов по этой истории, г. Лемке, прекрасно редактировавший издание «Первое полное

собрание сочинений Добролюбова», нигде не мог найти других определенных и надежных указаний о письме, кроме указания Серно-Соловьевича [44].

Самого же Некрасова статья привела в ужас и вызвала в нем серьезные опасения. Он был уверен, что она нанесет гибельный удар «Современнику», что все, для которых Герцен был непререкаемым авторитетом, отшатнутся от «Современника», и число подписчиков убавится. Поэтому он горячо убеждал и очень просил Чернышевского отправиться к Герцену дать ему объяснения, почтительнейше принести извинения, умолять его о помиловании и оправдании в какой ему угодно форме [45]. Добролюбова Некрасов считал негодным для этой цели, как человека твердого, непоколебимого и дерзкого, так что он мог бы согрубить и Герцену, как грубил Тургеневу. Он ведь не подписал знаменитого протеста против «Иллюстрации» и не согласился сотрудничать в «Атенее», как это сделал более уступчивый и податливый Чернышевский, над которым он подтрунивал за это. А Чернышевский как нарочно упрямился и отказывался в полном убеждении, что поездка его не даст ничего хорошего для «Современника»; так как Герцен ни за что на свете не согласится уронить себя в глазах читающей публики, отказавшись от своих слов и тем признавши, что эти слова — неправда, ложь. Но Некрасов настаивал, умолял, и Чернышевский, сжалившись над ним, уступил и согласился, хотя с крайней неохотой, поехать к Герцену.

Он поехал, свиделся и поговорил с Герценом, — и исполнилось то, что он предвидел и чего уве-

решно ожидал. Поездка оказалась *безрезультатной*. А впрочем, был один комический результат, появившийся спустя около полугода после поездки. В это время Герцен получил, наверное, самые точные сведения от своих друзей о том неприятном и отталкивающем впечатлении, какое произвела на всех его статья. И вот в «Колоколе» появилось такое несерьезное и неуклюжее оправдание или, лучше сказать, смешная отговорка [46]. «В 44 листе мы предупреждали наших русских *собратий*, слишком нападавших на изобличительную литературу, что они этим путем, сознательно или бессознательно, помогут наставительному комитету. Нам бы чрезвычайно *было больно*, если бы *ирония*, употребленная нами, была принята за оскорбительный *намек*. Мы уверяем честным словом, что этого не было в уме нашем; если бы оно было, то мы иначе стали бы обличать... Нельзя manière de dire, образ выражений, особенно иронических, брать в прямом смысле... Мы не имели в виду ни одного литератора, мы вовсе не знаем, *кто писал статьи*, против которых мы сочли себя в праве сказать *несколько слов*, искренно желая, чтобы наш совет обратил на себя внимание» (и потому перед ним был напечатан, как мы видели, указанный перст. *Авт.*). Вот видите, как все это ясно, просто и убедительно! Он «не имел в виду ни одного литератора»; а кто же такие русские собратья, к которым он обращался, разве они не литераторы, а глупые школьники? Он клеветал на своих собратий, возмущался их рептильностью, продажностью, обскурантством, желанием подслужиться и польстить властям в чаянии награды от них. А вот оказывается, что

это был не намек, а просто-напросто *ирония*, да даже не ирония, а просто *образ выражений*, который *нельзя брать в прямом смысле*, как сделали бы глупые *школьники*, а в обратном, как умные русские собратья. Он не имел в виду *ни одного литератора;* а кого же он имел в виду, когда писал: чистые литераторы, которым надоело гражданское направление нашей литературы, которые катаются со смеху над обличительной литературой, ставят-особые балаганчики для *освистывания* (конечно, в «Свистке». *Авт.*) первых опытов *свободного слова*, которые в своей деятельности подражают и следуют примеру не Каткова, Леонтьева, Павлова, Погодина, Шевырева и других подобных им борцов свободного слова литературы, а Сенковского, Греча и Булгарина, которые занимаются балагурством, которое *отвратительно и гадко;* так что даже Сенковского можно *осуждать* только *условно*, а уж этих балагуров и ненавистников свободного печатного слова следует осудить безусловно, абсолютно. Кто же такие эти гадкие и отвратительные субъекты, — отвлеченные, безличные фигуры, или *ирония*, образ выражений, или же это конкретные личности, литераторы и литературные собратья. Вероятно — первое, так что ни одна литературная личность не была обижена в статье и не должна была обижаться на нее, потому что самый пронцательный читатель не мог догадаться, что какая-нибудь личность могла попасть в эту отвлеченную характеристику. «Мы, — говорит автор, — вовсе не знаем, кто писал эти статьи, против которых сказали несколько слов». Да ведь этого и не нужно было знать; нужно было знать и опровергать только

мысли и взгляды статей, не залезая в души, в сокровенные личные, не литературные их стремления и расчеты. А наконец автору было доподлинно известно, где, в каком журнале были напечатаны статьи, против которых было сказано *несколько слов*, и журнал вполне основательно принял эти слова на свой счет и обиделся ими, обвинявшими его в низменных, не литературных, а личных стремлениях и расчетах. Говорится, что против безыменных статей было сказано *несколько* слов. Да, в оправдании и объяснении автора 34 строки, а в статье 278. Для исходатайствования подобного изворотливого объяснения Чернышевскому не стоило отправляться за моря, и совсем напрасно он ездил в Лондон.

Это объяснение никого не удовлетворило, и осуждавшие Герцена за статью не оправдали его. Было несколько попыток извинить и оправдать Герцена. Одни говорили, что он не знал и не читал «Современника», не читал и этой статьи, которую подсунули ему его приятели. По поводу этого оправдания Добролюбов острил так: а, он, вероятно, не грамотен, не умеет читать, тогда, конечно, он нисколько не виноват, а виноваты приятели, вовлекшие его в невыгодную сделку. В числе этих приятелей указывали на Кавелина. Но Кавелин относился к «Современнику» вовсе не враждебно, а его свист даже очень ценил[47]. Другие считали этим приятелем Тургенева. Вот в этом предположении нет ничего невероятного. Приведенная выше статья Тургенева о свистании и зубоскальстве имеет очень большое сходство со статьей Герцена, и в некоторых местах сходство доходит до буквального. Витиеватый, напыщен-

ный и презрительный тон этих статей, их горячность, злостность и негодование тождественны в обеих статьях, хотя, впрочем, в статье Тургенева прибавлено обвинение в противном *хохоте невежества*, какого в герценовской статье нет. Но они вполне сходятся в уподоблении свистунов Сепковскому и в их подражании его грубой потехе и гаерству. Поэтому можно с вероятностью предположить, что Тургенев написал статью еще в то время, но не нашел возможным или необходимым напечатать ее в русском журнале и потому отдал ее Герцену для напечатания в «Колоколе». Герцен же, вероятно, нашел ее слишком краткой и недостаточно подкрепленной разными аргументами и вот, например, к литературным образцам свистунов сверх Сепковского прибавил еще Булгарина, Греча и Станислава на шею. Итак, статья, хотя, быть может, навеянная и подсказанная Тургеневым и составленная по его конспекту, остается на полной ответственности самого Герцена. Некоторые пытались объяснить и оправдать враждебность и ожесточенность статьи принципиальными причинами. Тогда будто бы образовалось два противоположных «течения общественной мысли» и вот, естественно, что между ними произошло враждебное столкновение, и статья была одним «из наиболее ярких проявлений этого столкновения». Это очень натянуто и неверно. Не говоря уже о том, что начинать литературную принципиальную борьбу с противником ожесточенными выкриками и опозорением, да еще клеветническим, его личных качеств, его затаенных стремлений и якобы низменных расчетов, — дело очень некрасивое и неуместное в принципиальной

борьбе; самое разграничение и противоположение этих течений одного из них другому неверно, или, во всяком случае, неточно. Представителем одного движения является Герцен, а другого — «Современник», вот они и столкнулись и ведут ожесточенную борьбу. Но ведь это же искажение дела. Разве же в самом деле Герцен и «Современник» были принципиальные враждебные противники, один прогрессивный, а другой отсталый? Разве союзник и единомышленник Герцена, «Русский Вестник», был действительно серьезным либеральным органом, а «Современник» невежественным, смехотворным обскурантом? И к которому из них Герцен должен был в душе относиться лучше и одобрительнее? Ужели он ненавидел и порицал «Современник», а к «Русскому Вестнику» и ему подобным относился дружески и одобрительно? Разве же Герцен и «Современник» были в самом деле двумя противоположными и враждебными лагерями? [48] Вовсе нет; это были не два лагеря, а только две части одного лагеря и вовсе не враждебные, а согласные между собою в большинстве принципов и пунктов и разногласные только в некоторых частностях и подробностях. Словом, Герцен был сродни больше «Современнику», чем «Русскому Вестнику» и его сородичам. А объяснение статьи — «барской натурой» Герцена и нерасположением к разночинцам уж совсем неудовлетворительно.

Наконец были защитники, оправдывавшие Герцена не литературными его чувствами, а чисто личными. Как известно, Герцен не только не любил Некрасова, но даже ненавидел и презирал его и считал его по некоторым основаниям

даже вором. Против этого объяснения им возражали, что по зрелом и беспристрастном обсуждении они сами признают, что Герцен едва ли способен был в литературной полемике руководствоваться личными, так сказать, житейскими чувствами расположения и ненависти. Да кроме того, обвинялся в литературной мерзости не Некрасов, а Чернышевский и Добролюбов; они писали возмутившие Герцена статьи, а не он; и поэтому валить с больной головы на здоровую совершенно невозможно и несправедливо. На тот аргумент защитников, что он порицаниями и обвинениями Чернышевского и Добролюбова имел в мыслях, между прочим, и то, чтобы повредить материальным интересам Некрасова как собственника журнала в глазах подписчиков, возражатели утверждали, что такая защита хуже всякого обвинения. Однако соображения защитников имеют, повидимому, некоторое основание. Герцен не только не отказался от порицаний и несправедливых обвинений, которыми наполнена его статья, но подтвердил их в другой статье, напечатанной им через год после первой под заглавием «Лишние люди и желчевики» [49]. Это те же свистуны и паяцы, о которых в первой статье было сказано, что они *точат желчь* на все отрадное в русской литературе. Но поученный уроком, данным ему результатом первой его статьи, он сбавил и смягчил тон по отношению к желчевикам, но зато разразился самыми страшными обвинениями против Некрасова [50]. Значит, он ненавидел и обвинял Некрасова еще сильнее, чем Чернышевского с Добролюбовым, и, конечно, не за его литературные преступления.

V

Таким образом поездка Чернышевского к Герцену оказалась напрасной, не имела никаких результатов и не дала ничего хорошего для «Современника». Трудно сказать, отчего это произошло, вследствие ли упрямства Герцена или вследствие неудачного исполнения Чернышевским порученной ему дипломатической миссии. Последнее довольно вероятно. Ведь вообразите себе, что Чернышевский, вместо коленопреклонений и заискиваний, а совершенно в духе Добролюбова и совершенно серьезно выпалил бы те шуточки и остроты, которые он говорил по поводу статьи, — ужели Герцен не принял бы этого за личное оскорбление. А затем, как увидим дальше, Чернышевский показал, что он не желает разговаривать и препираться с ним, — разве это целесообразное исполнение миссии? О сущности этой миссии, о своих объяснениях с Герценом, о своих аргументах, которые он приводил ему, Чернышевский, насколько мне известно, никому не говорил, а если и говорил, то, вероятно, одному только Добролюбову, а может быть, еще и Некрасову. Чернышевский, как известно, был очень неэкспансивный человек, и случаи его серьезных бесед и разговоров были крайне редки. Меня он удостаивал таких бесед тоже редко и при особой обстановке. Как я уже говорил в другом месте [51], он как истинно русский человек каждую субботу вечером ходил в баню. А я жил поблизости его квартиры в доме, в котором были в нижнем этаже бани. И вот он после бани обыкновенно заходил ко мне пить чай. Прежде

всего, неизвестно почему, он рассыпался в похвалах моему чаю, говорил, что он никогда и нигде не пил такого вкусного и ароматного чаю, спрашивал, где я его покупаю, почем, как приготовляю и т. п. Затем он заводил серьезные и откровенные речи, и то только в том случае, если мы были вдвоем один и не было посторонних, а если были посторонние, то он ограничивался только панегириками моему чаю, шуточками, смешками, забавными рассказами, анекдотами и т. п. Во время одного из таких чаепитий он, рассказавши об одной неловкости, которую он на-днях сделал, назвал ее глупостью, и затем самым серьезным и повышенным тоном продолжал: «Да, это была глупость, и вообще я в свою жизнь проделал много глупостей. Но эта глупость ничто в сравнении с той колоссальною глупостью, которую я совершил, отправившись на поклон к Герцену. Явившись к нему, я разоткровенничался, раскрыл перед ним свою душу и сердце, свои интимные мысли и чувства, и до того расчувствовался, что у меня в глазах появились слезы, — не верите, ей-богу, уверяю вас. Герцен несколько раз пытался остановить меня и возражать, но я не останавливался и говорил, что я не все еще сказал и скоро кончу. Когда я кончил, Герцен окинул меня олимпийским взглядом и холодным поучительным тоном произнес такое решение: «Да, с вашей узкой партийной точки это понятно и может быть оправдано; но с общей логической точки зрения это заслуживает строгого осуждения и ничем не может быть оправдано». Его важный вид и его решение просто ошеломили меня, и все мое существо

с его настроением и чувствами перевернулось вверх ногами». Чернышевский сейчас же встал и немедленно стал прощаться с Герценом, который пытался остановить его, но он сказал, что ему некогда, что он спешит и ему надобно скоро уезжать, и он ушел немедленно. Рассказавши это, Чернышевский умолк и после минутного молчания перешел к другим неважным обычным темам. У меня нехватило духу спросить его, что же такое он говорил и как возражал Герцену. Этот прием разговоров с противниками, вероятно, был обычным у Чернышевского. Однажды в моем присутствии он распекал адвоката Спасовича за его индифферентное отношение к польскому вопросу. Спасович несколько раз пытался остановить его, но напрасно. Наконец Чернышевский сказал: «Я кончил», и умолк. И на все объяснения и оправдания Спасовича не ответил ни единым словом. Через несколько месяцев Чернышевский, тоже за послебанным чаем, рассказал мне о своем разговоре с Некрасовым об экономическом положении «Современника». Этот разговор он тоже назвал глупостью с его стороны; «как это часто бывает со мною»,—прибавил он. «Но, конечно, эта глупость,—громко и выразительно сказал он,—все же не такая колоссальная глупость, как моя поездка к Герцену, о которой, кажется, я уже говорил вам когда-то». Тут уж я осмелился и сказал ему: «Да, вы сказали мне об ней несколько слов, но не сообщили того, что же именно вы говорили ему и он вам, а это было бы интересно знать». «Ах, не говорите, пожалуйста,—резко вскрикнул он,—мне крайне неприятно и обидно вспоминать об этой поездке и я усиленно стараюсь забыть

всю эту историю»[52]. Затем умолк и немедленно перевел разговор на другие темы.

Но странное дело, при таком отношении к своей поездке к Герцену он, однако, весьма охотно и с большим удовольствием любил рассказывать и часто рассказывал и мне и другим с большими подробностями о разных комических инцидентах и приключениях во время этой поездки. Вот, например. Приезжает он в Гамбург и должен был заночевать там, так как пароход в Англию отправляется на следующий день. Просыпается он утром, начинает одеваться и вдруг оказывается, что нет его жилета; он долго его искал, осмотрел, перерыл все и вся, но жилета не оказалось, а он же существовал и все время пути был на нем и, значит, он не потерял его. Особенная беда состояла в том, что у него был только один костюм, так что исчезнувшего куда-то жилета нельзя было заменить жилетом от другого костюма. В отчаянии он обратился, наконец, к кельнеру и сообщил ему о пропаже жилета. Кельнер после тщательного и безуспешного обыска пришел к тому умозаключению, что Чернышевский выставил на ночь за дверь в коридор вместе с сапогами и жилет, и потому отправился за справками к специалисту чистильщику, и оказалось, что Чернышевский даже и сапогов-то не выставлял. Скандал, непостижимая пропажа; дело привлекло к себе всеобщее внимание. Явился, наконец, обер-кельнер, а может быть, и сам хозяин, пресерьезный и преважный с виду, точно настоящий немецкий профессор, точно гофрат, который приступил к допросу: да существовал ли вообще жилет, привез ли его путешественник, да не

запрятал ли он его куда-нибудь в другие вещи, в чемодан или в постельное белье и т. д., и, наконец, сам произвел тщательный обыск, причем отклонил верх плотно приставленного к стене комода, причем что-то за комодом упало и оказалось, что это и есть искомый жилет. «Можете,— говорил Чернышевский, — вообразить себе мое положение и мой конфуз; все окружающие хохотали надо мной и пальцами указывали на меня, а профессор прочел мне длинную лекцию, в которой я понял то, что я сам виноват во всем, а позволяю себе обвинять других».

А вот в Лондоне было с ним такое приключение. Нужно было ему ехать в какое-то место, а он не знал, ходит ли туда дилижанс, и если ходит, то какой. Он останавливает прохожего на улице и спрашивает его об этом с неправильным и неясным английским выговором, а правильного выговора он не знал. Поэтому прохожий не понял его вопроса, а он не понял ответа прохожего, который остановил другого прохожего с тою целью, не поймет ли он болтовню незнакомца; но и этот ничего не понял, поэтому они остановили третьего прохожего; а некоторые прохожие останавливались сами, чтобы узнать, для чего остановилось столько человек. Так скопилась целая кучка, которая общими усилиями поняла, в чем дело и дала незнакомцу требуемое указание. Он поехал и приехал к пункту дилижансовой линии, противоположному тому, куда ему нужно было ехать. А то вот еще. Едет он в дилижансе; кондуктор требует плату, а он не понимает и не знает, сколько платить, и потому высыпает на ладонь все бывшие у него мелкие

деньги, и кондуктор собирается взять всю эту мелочь, но вмешавшиеся соседи считают мелочь и что следует дают кондуктору, а остальное всыпают ему в карман и при этом что-то говорят с сердитым и укоризненным видом, а он им что-то отвечает, и они хохочут.

А вот еще что я узнал об инцидентах во время поездки, но уже не от самого Чернышевского, а из другого, но тоже достоверного источника. Раз как-то я сказал ему о своем намерении ехать в Лондон. «Зачем, — спросил он, — тоже поклониться Герцену?» Я отвечал, что вовсе не для этого, а вообще, чтобы увидеть Англию и Лондон. «Ну, с богом, — сказал он, — поезжайте, прекрасное дело. А кстати, — прибавил он, — я дам вам прекрасный план Лондона, очень ясный и подробный; он мне много помогал во время моего пребывания в Лондоне». Возвратившись домой и рассматривая план, я увидел, что чистая обратная сторона его вся испещрена написанными карандашом английскими фразами, частью стершимися, а частью сохранившимися, так что их можно было разобрать.

Во многих местах написаны по-английски такие фразы: мне нужно туда-то, прошу указать, как это сделать. Ответ, вероятно, давался устный, которого Чернышевский не понимал и потому писал: прошу, напишите. Эти фразы видны во многих местах. Случайные собеседники Чернышевского, вероятно, не догадывались, почему он не удовлетворялся устными ответами, а требовал письменных и, вероятно, считали его глухонемым, так как видели, что он хорошо читает английский язык, но ни в какие разговоры не вступает.

В одном месте видно, что он вел со своими случайными собеседниками даже политические разговоры. Здесь после фразы, что он — русский, написан такой вопрос: как Россия смотрит на происходившую в то время войну Наполеона III с Австрией? И Чернышевский дал такой ответ: *австрийцы мерзавцы (scoundrels) и Луи Наполеон тоже мерзавец* (но это слово зачеркнуто, а сверху написано *деспот*), *он хочет сделать итальянцев своими рабами* (slaves). Но Англия не объявляет ему войны, пусть же... и дальше ничего не написано. Это очень напоминает интервью у него корреспондента уже в Астрахани английской газеты «Daily News» [53]. «Время от времени,—говорит корреспондент о Чернышевском,— он посмеивался коротким сухим смехом, что единственно составляло сколько-нибудь долгие паузы в нашей беседе... Чернышевский,—говорил корреспондент,— в совершенстве владеет английским языком и предпочитает его, по собственным его словам, родному языку, но знает его исключительно как язык мертвый. Он не мог произнести ни одного слова по-английски. Но странное дело, — по латыни на единственном ему известном, действительно мертвом языке, он говорит бегло (нет, Чернышевский знал также и греческий язык, который преподавался в семинариях. *Авт.*). По-французски он говорил не в совершенстве. По-немецки вовсе не говорил. Наш разговор все время шел на русском языке, но когда ему хотелось быть выразительнее, он вдруг хватал бумагу и карандаш и царапал несколько строк на правильном, — со всеми особенностями, — английском языке».

Для устранения возможных упреков и нареканий я считаю необходимым сделать следующую оговорку. Выражая свое полное согласие с обвинительным приговором рассмотренной статьи Герцена, произнесенным компетентнейшим и беспристрастнейшим историком нашей новейшей литературы, покойным Богучарским [54], — я и в мыслях не имел отрицать или даже умалять несомненные и неоцененные заслуги Герцена в области русской литературы и русской общественности, или снимать его с пьедестала, на котором он стоит так гордо и с таким правом. Он сделал несомненную литературную ошибку. Но ведь и самые заслуженные люди, даже великие, иногда делали ошибки, которые не должна же замалчивать беспристрастная история. Я уважаю и люблю Герцена, но еще более люблю и уважаю Чернышевского и Добролюбова и считаю заслуги их во всех отношениях нисколько не ниже его заслуг и, сознаюсь откровенно, даже считаю их выше. Может быть, это мое неосновательное пристрастие, которое я стараюсь оправдать внутри себя многими фактами, например, между прочим, тем, что статья Чернышевского «Письма без адреса» [55], предназначавшаяся для напечатания в «Современнике», но запрещенная цензурой, была по серьезности и тенденции выше статьи Герцена, напечатанной в его бесцензурном издании, а также и тем, что Чернышевский выстрадал столько же, как Герцен, если даже не больше. Dixi...

III. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Страшное имя Н. Г. Чернышевского долгое время было запретным и недозволенным в печати, подобно тому, как это было с именем Белинского. Хотя Белинский был дозволенным цензурою критиком и публицистом, а не опасным государственным преступником, как Чернышевский, однако его имя находилось под спудом и под запретом в печати целых 8 лет. Может быть, и Белинский был бы признан таким преступником, если бы преждевременная смерть не спасла его от этой чести, как это было и с Добролюбовым. В 1855 г. Чернышевский в своих «Очерках гоголевского периода русской литературы» не дерзал или, лучше сказать, не имел физической возможности назвать имя Белинского, о котором так часто говорится в этих «Очерках». В первых статьях «Очерков» он принужден был говорить о Белинском иносказательно и околесно. Например, «Критика 1840—1847 годов... одна достойна того, чтобы называться критикою гоголевского периода нашей литературы; пусть же, за отсутствием (!) собственного имени, это название будет для нее собственным именем». В других местах он называл его «автором статей о Пушкине», «человеком, который был органом этой критики...» и т. п. И только в статье, появившейся в июльской

книжке «Современника» 1855 г., было напечатано, что собственное имя этой критики есть Белинский. Чернышевский — другое дело. Он не только дозволенный цензурою критик и публицист, но еще опасный государственный преступник, долговременный каторжник, и потому по всей справедливости имя его нужно было держать под спудом и под замком еще дольше, чем имя Белинского. И действительно, о Чернышевском долгое время говорилось в печати так, как он говорил некогда о Белинском. За отсутствием собственного имени и его называли то «автором очерков гоголевского периода», то «автором полемических красот», то «переводчиком и комментатором Милля» и т. п. Только по случаю его смерти его собственное имя появилось в печати на короткое время. И после этого его имя иногда упоминалось в печати, но непременно с порицанием и хулою. В 1892 г. изданы были «Очерки гоголевского периода русской литературы»; но цензура не дозволила напечатать, кто был автором этих очерков, и несведущие в деле читатели только по тому, что очерки были изданы М. Н. Чернышевским, должны были догадаться об авторе их. В 1893 г. были изданы невиннейшие статьи Н. Г. Чернышевского под заглавием «Критические статьи» и столь же невиннейшие статьи его под заглавием «Эстетика и поэзия». Но кто автор этих статей — тоже нельзя было напечатать и об этом тоже следовало догадываться по имени издателя М. Н. Чернышевского. Затем в 1894 г. были напечатаны его «Замстки о современной литературе», тоже без имени автора. И только в текущем XX веке, после

того как объявлена была так называемая весна и начал трескаться лед, сковывавший освободительное движение, явилась возможность в 1905 г. объявить печатно об издании полного собрания сочинений Николая Гавриловича Чернышевского, и в этом же году был издан один том, VII, содержавший в себе перевод Политической экономии Милля с комментариями и примечаниями переводчика. Таким образом имя Чернышевского перестало быть запретным и неудобосказуемым в печати только через 16 лет после смерти его носителя, т. е. получило право гражданства в литературе, да и то только явочным порядком, через вдвое большее число лет сравнительно с именем Белинского.

В настоящее время появилось в печати несколько материалов для биографии Николая Гавриловича в виде разных воспоминаний об нем и в виде интервью с ним. Чтобы облегчить работу будущего биографа Николая Гавриловича, я взял на себя задачу пересмотреть этот материал, и если не просеять его через частое сито, то хоть пропустить его через редкий грохот, с целью отделить в нем цепные и здоровые зерна от непужной мякины и от негодных и неверных примесей. В своей работе я буду руководствоваться главным образом своими личными воспоминаниями, а затем и данными из чужих рук.

Начну с воспоминаний, напечатанных в то время, когда имя Чернышевского было еще под запретом, — что уже дает возможность догадываться, что эти воспоминания не могут быть лестными для его памяти. Эти воспоминания принадлежат А. В. Эвальду [56], которого не надо

смешивать с Ф. Ф. Эвальдом, членом с.-петербургской городской думы, заведывавшим городскими школами Петербурга.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ А. В. ЭВАЛЬДА

XII. «Исторический Вестник», 1895 г., декабрь

Свое знакомство с Чернышевским Эвальд почему-то считал грустным и тяжелым воспоминанием. «В числе моих немногих литературных воспоминаний,—говорит он,—не могу пройти молчанием одного очень грустного случая, оставившего во мне на всю жизнь тяжелое воспоминание. Говорю о моем невольном и печальном столкновении с Н. Г. Чернышевским». Это столкновение произошло по следующему поводу.

В то время, именно в 1862 г., совершалось нечто подобное тому, что творится, но только в более широких размерах, в настоящее время. После короткой весны нашего тогдашнего ренессанса, последовавшего за крымской войной, наступила реакция, обрушившаяся, как и теперь, между прочим, на высшие учебные заведения, в особенности на университеты. Петербургский университет был закрыт вследствие так называемых студенческих беспорядков, вызванных реакционными и обскурантными мерами министерства народного просвещения. И вот реакционная пресса, совершенно так же, как и теперь, стала проливать крокодиловы слезы об упадке просвещения. На студентов посыпались, так же, как и теперь, горькие упреки, обвинения и порицания в статьях и в газетных письмах тогдашних Карудов [57], утверждавших, что студенты нарочно и сознательно

довели университет до закрытия, что они невежды и лентяи и вовсе не хотят учиться и вместо учения занимаются политикой. Функции нынешних органов Суворина-отца исполняли в то время органы Краевского. Тогдашние деятели освободительного движения решили для замены закрытого казенного университета основать вольный частный университет, как это делается и в настоящее время. Дума городская и немецкая Петершуле дали у себя помещение для нового университета, а университетские профессора изъявили согласие читать в нем лекции. Дело пошло, но скоро остановилось. Профессора в виде протеста против ссылки профессора Павлова [58] решили забастовать — вот видите, уже и тогда существовала, конечно, только в зародыше, мысль о забастовках — и прекратить чтение лекций [59]. К этому присоединилось еще одно случайное обстоятельство, укрепившее их в этом намерении. Профессор Н. И. Костомаров публично заявил, что он, несмотря ни на что, будет продолжать читать лекции и таким образом в глазах части студентов являлся штрейкбрехером, и потому они ответили грубою дерзостью на его заявление. Взбешенный Костомаров ответил на дерзость замечанием, что он видит перед собою Репетиловых, которые скоро превратятся в Расплюевых, — что вызвало шумный скандал и бурю негодования и возбудило большое неудовольствие в профессорах, которые бесповоротно решили не читать лекций в новом университете. Дело расстроилось [60]. И таким образом могло казаться, что и вольный университет погиб по вине самих же студентов. Реакционная печать пришла в вос-

тэрг; для нее явилось новое торжественное доказательство, что молодежь сама не желает учиться по лености и по нелюбви к просвещению. В таком духе и с целью разукрасить это доказательство и напечатана была в «С.-Петербургских Ведомостях» (1862, № 92, 1 мая), редактировавшихся в то время Краевским, который на деле был полным хозяином их, статейка в фельетоне под заглавием «Учиться или не учиться» без подписи автора, вместо которой стоял только ер. мягкий, *Ь*.

В редакции «Современника», как и в других литературных кругах, сложилось твердое убеждение, что эта статейка имеет не только внушенный официозный, но прямо-таки официальный характер, что она исходит непосредственно из министерства народного просвещения, и есть нечто в роде нынешних правительственных сообщений или статей в «России». Убеждение это основывалось на том, что статейка была напечатана в «С.-Петербургских Ведомостях», редактором и фактическим хозяином которой был Краевский, находившийся в близких дружественных отношениях с этим министерством, обещавшим ему даже субсидию на издание предположенной им газеты «Голос» [61] (Лемке. «Эпоха цензурных реформ», стр. 244). Кроме того, статейка была целиком перепечатана в «Северной Пчеле», тоже пользовавшейся благосклонностью этого министерства. Редакция «Современника» решила попытаться дать отпор этой официозной статейке, разоблачить ее лживые уверения и обличения и показать, кто именно виноват в том, что был закрыт университет, и молодежь была лишена

возможности учиться. Страх перед цензурой сильно охлаждал рвение и надежды редакции, но решено было сделать попытку. Чернышевский написал возражение на статейку и в первых же его строках говорил вот что: «Она (статейка) обрадовала людей, имеющих привычку всякую вину во всяких неприятных делах приписывать исключительно молодому поколению да литераторам. Эти люди обрадовались потому, что вздумали увидеть в статье выражение взгляда министерства народного просвещения. Но мы полагаем, что они ошибаются и что статья эта выражает собою только их собственное мнение, и что министерство народного просвещения не имеет никакой солидарности с подобными обскурантами (какое ловкое captatio benevolentiae)»[62]. Чтобы подействовать на совесть цензуры, Чернышевский в примечании сделал такое ехидное предисловие к своему возражению.

«Хорошо ли сделали те, которые напечатали эту статью, мы увидим из того, явятся ли в печати мысли, вызвавшие ею в нас. Каждый может иметь о всяком предмете свое мнение и поступает хорошо, если предлагает его на обсуждение общества; если статья «Учиться или не учиться» предлагает на обсуждение общества взгляд, ею выражаемый, то лица, поместившие эту статью в наших газетах, поступили хорошо. Но в таком случае пусть же они не отнимают у общества права обсуждать этот взгляд. Если же они считают ненужным для себя или неудобным для кого-нибудь или для чего-нибудь выслушивать и принимать к соображению публичные ответы на свой взгляд, если они хотят, чтобы

этому их взгляду общество только повиновалось, не рассуждая об его основательности, — в таком случае он должен был высказаться в форме приказания, распоряжения, циркуляра (какой же такой честный автор мог это делать? *Авт.*), а не в форме рассуждающей статьи, и придавать ему такую форму — было дело не хорошее.

Посмотрим же, можно ли кому-нибудь, кроме автора статьи «Учиться или не учиться» и людей, одобряющих этот взгляд, публично рассуждать о предметах, к рассуждению о которых, повидимому, вызывает эта статья».

Возражение было написано довольно резко, а в некоторых местах даже вызывающим тоном. Надежда на цензуру была очень слабая. И вдруг, к величайшему изумлению редакции, цензор пропустил целиком все возражение, не вычеркнув даже предисловия [63]. Это возражение Чернышевского под заглавием «Научились ли?» появилось в «Современнике» 1862 г. в апрельской книжке, т. е. в предпоследней книжке перед закрытием его на 8 месяцев. Вот как великодушна бывала тогда цензура, находившаяся в ведении министерства народного просвещения.

Автор статейки в самом начале говорит, что, повидимому, русское общество как будто желает просвещения и хочет учиться, на что указывают «сотни новых журналов, десятки воскресных школ». Чернышевский с изумлением спрашивает, где же этот автор насчитал сотни журналов. В самом деле, именно сотни журналов нужны были бы, а их нет. «И хочет ли автор знать, спрашивает Чернышевский, почему не основываются сотни новых журналов (вероятно, он

хотел сказать газет), как было бы нужно? Потому, что по нашим цензурным условиям невозможно существовать сколько-нибудь живому периодическому изданию нигде, кроме нескольких больших городов». Десятки воскресных школ, — это мало; их нужно было бы десятки тысяч. «Отчего же их только десятки? — спрашивает Чернышевский.—Оттого, что они подозреваются, стесняются, пеленаются, так что у самых преданных делу преподавания в них людей отбивается охота преподавать. Если это неправда, потрудитесь доказать противное и попробуйте в доказательство обнародовать некоторые записки и совещания, результатом которых были разные правила и инструкции относительно воскресных школ»[64]. Далее автор статейки утверждает, что учащееся молодое поколение косвенным образом содействовало закрытию петербургского университета и прямо прекращению публичных лекций в вольном университете. Чернышевский решительно и уверенно утверждает, что это неправда, что студенческие беспорядки, повлекшие за собою закрытие университета, вызваны были не нежеланием студентов учиться, а теми новыми университетскими правилами, известными под названием «матрикул»[65]. Правила эти были составлены с той целью, чтобы отнять возможность учиться у большинства бедных людей, желавших поступить в университет или уже поступивших в него, — что, конечно, не могло не возбудить неудовольствия в студентах. «Если автор или его единомышленники, — говорит Чернышевский, — считают нужным доказать, что эта цель нисколько не имелась в виду при составлении пра-

вил, пусть они напечатают документы, относящиеся к тем совещаниям, из которых произошли правила». Таково было мнение об этих правилах, утверждал Чернышевский, не одних студентов, но и большинства профессоров и многих других лиц, занимавших или занимающих теперь в министерстве народного просвещения места более высокие. «Если автор статьи или его единомышленники хотят опровергнуть это наше свидетельство, пусть попробуют они напечатать документы, относящиеся к заседаниям совета здешнего университета по вопросу о тогдашних университетских правилах, и другие документы, связанные с этим вопросом».

Вторым доказательством того, что студенты не желают учиться, было, по мнению автора статейки, прекращение публичных лекций в свободном университете. Переходя к этому доказательству, Чернышевский предпослал обсуждению его следующее заковыристое рассуждение: «Мы думаем, что автор статьи и его единомышленники не найдут вредящим убедительности своего (их?) мнения об этом происшествии то, что мы не делаем попытки к изложению обстоятельства, за несколько дней перед прекращением лекций возбудившего очень сильные толки в целом городе; надеясь на это, мы не будем касаться этого предварительного обстоятельства (очевидно, здесь разумеется высылка проф. Павлова), имевшего влияние на прекращение лекций». Как произошло это прекращение, он не желает описывать печатно; но говорит, что и без этого у него есть средство заставить автора статейки отказаться от обвинения студентов в прекращении лекций.

«Вот оно,—говорит Чернышевский.—Я предлагаю безыменному автору статьи, чтобы он или пожаловал ко мне или сообщил мне свой адрес и согласился, чтобы я пришел к нему для разъяснения этого дела изустным способом при нескольких свидетелях, выбранных в равном числе от меня и от него. Выслушав наши объяснения, свидетели изложат в форме протокола свое заключение».

Перчатка, брошенная Чернышевским, была поднята его противником, выражаясь рыцарским языком. Скарятин, издатель-редактор тогдашней черносотенной газеты «Весть»[66], которая была прообразом и первообразом нынешнего «Гражданина» кн. Мещерского, и сомнительный профессор Лохвицкий [67], сделавшийся потом адвокатом и удаленный петербургскими адвокатами из их сословия, разыскали автора статейки, убедили его принять вызов Чернышевского и взять их свидетелями на предполагаемом диспуте. Начались переговоры. И тут, к общему изумлению, явился неожиданный сюрприз: автор статейки, за спиною которого в виде его «единомышленников» предполагалось министерство народного просвещения, оказался безвестным, скромным учителем низшего городского училища, не имеющим никакого отношения к этому министерству. Это и был Эвальд. Узнавши об этом, Чернышевский хохотал до упаду, острил и смеялся над собою по поводу своего разочарования; он воображал в лице своего оппонента встретить бойкого и ловкого министерского чиновника, а вместо того встретил скромного педагога низшей школы. Но дело было начато, и нужно было его продолжать. Чернышевский

выбрал свидетелями со своей стороны Григория Захаровича Елисеева и Петра Лавровича Лаврова. Было условлено, что Чернышевский с свидетелями в назначенный день явится для диспута в квартиру Эвальда. Утром в этот день Лавров прибежал к Чернышевскому и сказал, что у него сейчас есть спешное и неотложное дело, и что поэтому он не может быть на диспуте. Я в это время был у Чернышевского, и он взял вторым свидетелем меня после разных острот и шуточек на мой счет. В условленный час (в 2 часа пополудни, а Эвальд неверно говорит, будто в 8 ч. вечера) мы втроем отправились к Эвальду, который жил в скромной маленькой квартирке в здании Владимирского городского училища, что на Владимирской площади. Эвальд и его свидетели были на месте. И диспут сейчас же начался. Вот этот диспут Эвальд и описывает в своих воспоминаниях. Но как описывает?!

Его описание — не простой трезвый рассказ о действительных, не прикрашенных и не преувеличенных фактах. Напротив, он описал диспут так, как описываются исторические факты в так называемых «исторических романах». Канва верна в общих чертах, но по ней вышиты фантазией самые причудливые, самые невероятные узоры, хотя Эвальд и заверяет, что он описывает все «с стенографической точностью». Прежде всего в его описании нет следующей очень знаменательной сцены. Здороваясь с Эвальдом, Чернышевский выпалил следующую фразу: «г. Эвальд, если бы я был знаком с вами раньше, то не начал бы этой истории; и я очень жалею, что не знал вас раньше, потому что иначе я не стал бы лично

разубеждать вас в ваших мыслях, выраженных в вашей статье». Трудно сказать, как понял и понял ли вообще эти слова Эвальд. «Ну, теперь приступим к делу»,— сказал Чернышевский. При этом заговорил деловым тоном Лохвицкий, что предварительно нужно условиться, выбрать правила относительно ведения прений и постановления приговора. Но Чернышевский резко прервал его и сказал, что свидетели не судьи, а только благородные и молчаливые свидетели, и их дело только молчать и слушать. «Мы,—заключил он,— даже избавим свидетелей от составления протокола, а сами с г. Эвальдом будем составлять его».

Прежде чем перейти к описанию диспута, Эвальд подробно описывает мотивы написания статейки и эффекта, произведенного ею. Это описание все пропитано колоссальным самомнением, настоящей манией grandiosa. По его словам, Краевский составил обдуманный и глубокий план, как литературным путем остановить и пресечь освободительное движение, и осуществление этого плана возложил на него. «Пора положить предел этому *безумному движению* (курсив мой. *Авт.*), — говорил он (Краевский) с большим волнением. — Такою дорогою мы — бог знает, куда зайдем! Власть бессильна (?!) против этого, тут нужна литературная борьба (!). Они, т. е. нигилисты, кичатся тем, что все их боятся и молчат перед ними. Надо же кому-нибудь поднять против этого голос!» Я... исполнил желание Краевского и написал просимую им статью . В самом деле, кто же другой, кроме Краевского и его сотрудника, мог и был в силах вести борьбу с нигилизмом. Таким образом оказывается, что первым изобре-

тателем плана — восполнять «*бессилие власти*» «*литературной борьбой*» — был Краевский. Можно ли этому поверить и похоже ли это на правду? Краевский, человек сухой, холодный и хладнокровный, индиферентный и даже апатичный ко всему, кроме того, что касается материальных интересов его изданий, волнуется, воодушевляется, как энтузиаст, и для защиты власти объявляет литературную войну безумному движению и высылает на нее могучего литературного борца. Как все это не идет к Краевскому! Далее, разве Краевский с Эвальдом не знали и не видели, что литературная борьба с «безумным» освободительным движением началась еще раньше до них? Уже Тургенев окрестил это движение презрительной кличкой «нигилизма». И откуда же Краевский и Эвальд взяли нигилизм, разве сами его выдумали, а не заимствовали у Тургенева? Ожесточенная борьба с нигилизмом велась не только властью, далеко не бессильною, но и литературными борцами. Во главе героев этой борьбы стоял Катков, не чета Краевскому; а за ним тянулись не только всякие публицисты, но и романисты, шедшие по стопам Тургенева, — Лесковы, Клюшниковы и т. п. Уже существовала «Весть» Скарятина и «Наше Время» Павлова[68], тождественное по духу с нынешним «Новым Временем». Не Краевский открыл Америку борьбы с нигилизмом в пособие бессильной власти; он и его Эвальд тащились в хвосте, в обозе грозной литературной реакционной рати, выступившей против нигилизма.

А послушайте, какой эффект произвела статейка Эвальда. По его описанию, она была гро-

мовым ударом или взрывом разрушительной бомбы; она ошеломила деятелей освободительного движения, повергла их в ужас и уныние, и они серьезно опасались за судьбу движения.

«Трудно вообразить себе,—говорит он,—какой шум и негодование произвела эта статья среди всей либеральничавшей части общества. Краевский стал получать анонимные письма, полные всяких ругательств и в которых требовали, чтобы он объявил имя автора для предания его публичному ошельмованию. В этих же письмах мне грозили кто побоями, кто даже смертью (да, и Чичиков «имел много неприятелей, покушавшихся даже на его жизнь». *Авт.*), обещая застрелить из-за угла как собаку (полноте, тогда это еще не было в моде и даже в мыслях. *Авт.*). Краевский не на шутку испугался за себя (полноте. Андрей Александрович не был трусом) и за меня и советовал мне принять меры предосторожности. Но что же я мог сделать? (Заявить в полицию. *Авт.*). Уехать куда-нибудь, только. Но это было противно моим понятиям, так как, писавши статью, я вовсе не намерен был скрываться и показывать кукиш в кармане (а в таком случае следовало бы подписаться под статьей полным настоящим именем. *Авт.*). Поэтому я решил не только не скрываться, но даже ни в чем не изменять своего образа жизни (какое мужество!) и даже хотел написать в университет (закрытый?), предложить студентам явиться на их сходку (сходки строжайше были воспрещены), для личных объяснений (почему же это не было исполнено? *Авт.*). Но от этого последнего шага меня отговорили. Не знаю, какая бы гроза разразилась надо мною,

если бы начавшееся движение против моей личности (которой, кроме Краевского, никто не знал и не ведал. *Авт.*) не было ослаблено тем, что во главе стали корифеи тогдашнего либерализма, полковник Лавров и Чернышевский. Молодежь несколько успокоилась, ожидая, что эти два колосса либерализма разобьют меня в пух и прах».

Итак, против одного скромного Давида потребовался не один Голиаф, а целых два, два колосса. Это совсем вскружило голову бедному Эвальду, и он возмечтал о себе бог знает как. Он не знал и, может быть, даже не догадывался, что его статейка произвела большой эффект не сама по себе, не своими качествами, резкостью, силою или убедительностью, но единственно только благодаря тому обстоятельству, что ее ошибочно приняли за официозное сообщение министерства народного просвещения, о чем он мог догадаться по первым словам, которыми встретил его Чернышевский, явившись на диспут.

Начало диспута описано Эвальдом довольно верно. Чернышевский, определивши роль свидетелей, сейчас же взялся за составление протокола, который сохранился и находится у меня, и первый пункт его приведен Эвальдом совершенно точно. «1. Мнение Чернышевского. Исполнение дела должно быть приписываемо лицу принявшему или лицам принявшим решение совершить это дело». Под этим пунктом подпись: «Согласен — Ар. Эвальд». «Тогда, — рассказывает Эвальд, — Чернышевский вынул из кармана целый пакет писем профессоров университета, в которых они заявляли, что еще задолго до случая с Костомаровым они отказались от чтения публичных

лекций. Прочитывая эти печальные (?) письма, Чернышевский передавал их мне по очереди, для устранения всяких недоразумений в подделке». Это верно. Перед прочтением каждого письма Чернышевский предъявлял его Лохвицкому, чтобы он по почерку своих товарищей профессоров удостоверил подлинность письма, — на что Лохвицкий резко и с неудовольствием отвечал каждый раз: да я вижу и знаю, что все письма подлинные и здесь никто не сомневается в их подлинности. Эвальд же, напротив, описывает это предъявление и чтение писем так: «Лохвицкий и Скарятин снова горячо восстали против предъявления этих писем, доказывая, что они вынуждены силой (?) и писаны задним числом, что это не честно ловить противника подобными средствами, и многое тому подобное. С ними вступили в горячие споры Елисеев и Антонович, и шум поднялся такой, что я вышел в другую комнату, под предлогом выпить стакан воды. Чернышевский воспользовался этим и, выйдя вслед за мною, взял меня под руку и начал горячо доказывать мне, какую грубую ошибку я сделал, написавши эту статью». Все это неправда. Лохвицкий и Скарятин вовсе не протестовали против чтения писем, и потому мы с Елисеевым не имели никакого повода спорить с ними. Чтение писем кончилось благополучно, спокойно и беспрепятственно, и Чернышевский сейчас же написал второй пункт протокола, точно воспроизведенный Эвальдом. «2. Чернышевским были прочтены записки четырнадцати из числа читавших лекции профессоров, — записки, выражавшие решение писавших прекратить или приостановить чтение пуб-

личных лекций. Записки эти написаны были 6 и 7 марта и 8 марта до закрытия публичных лекций». Под этим пунктом подпись: «Слушал—Ар. Эвальд». Ни Чернышевский, ни Эвальд ни на секунду не выходили из комнаты для сепаратных разговоров, и все шло тихо и смирно. Чернышевский хотел внести в протокол еще один пункт и написал: «3. Кем...» и больше ничего; затем бросил перо, встал и со словами: «Ну, довольно и этого», простился со всеми и, обращаясь к нам с Елисеевым, сказал: «Ну, пойдемте же» и ушел. Мы же с Елисеевым остались. Вот тут-то и возгорелся у нас горячий и ожесточенный спор с Лохвицким и Скарятиным, которые говорили, что дело далеко не кончено, что его нужно кончить, что свидетели — не пешки и не статисты, что мы должны составить свой собственный протокол и высказать наше решение о результате диспута. Мы с Елисеевым были против этого и представляли тот резон, что раз диспутанты не дали нам права составлять протокол и составили его сами, то нам уже больше нечего делать. Спор был долгий и горячий; но Эвальд не принимал в нем участия и сохранял полнейший нейтралитет. Наконец-таки мы пришли к соглашению и решили, что Эвальд сам должен написать в протоколе, убедили ли его доводы Чернышевского, или же он остался при своих мнениях, высказанных в статейке. Уже мы все четверо пристали к Эвальду с этим требованием; после некоторого колебания он согласился, наконец, исполнить наше требование. Он пододвинул к себе протокол, взял перо, обмакнул в чернильницу и — задумался. В это время Лохвицкий, обращаясь к Эвальду, сказал: «Ну, так и пишите,

что, выслушав доказательства, представленные мне Чернышевским, я не нашел их убедительными...» Я сейчас же резко остановил его и сделал ему нотацию: «Г. Лохвицкий, пожалуйста, не подсказывайте г. Эвальду, как школьнику; он не школьник, а сам учитель и знает без ваших подсказок, что и как писать». А Эвальд все раздумывал, наконец, стал писать и, написавши что-то, встал и начал ходить по комнате. Мы бросились к протоколу и прочли следующее (выписываю из подлинного протокола с фотографическою точностью): «Выслушав доводы г. Чернышевского, я, нижеподписавшийся, убедился в том, что не господа студенты участвовали в прекращении публичных лекций. — Аркадий Эвальд». Скарятин и Лохвицкий выходили из себя от негодования, осыпали Эвальда самыми резкими упреками и обвинениями и, ни с кем не простившись, собрались уйти. Но мы с Елисеевым удержали их и в свою очередь стали требовать, чтобы мы все четверо в качестве свидетелей засвидетельствовали своими подписями, что приведенное заявление написано действительно Эвальдом. После долгих споров и отказов, они, наконец, согласились. И под заявлением Эвальда было написано: «Подлинность написанного г. Эвальдом свидетельствуем: Владимир Скарятин, Максим Антонович, Григорий Елисеев, А. Лохвицкий, А. Скарятин». В каком качестве присутствовал на диспуте последний подписавшийся и кто он такой, я этого не помню. Я взял себе протокол, и мы все свидетели ушли. Наша комедия кончилась.

В историческом романе Эвальда все вышеизложенное изображено совершенно иначе. Здесь рас-

сказывается, что Чернышевский, очутившись в другой комнате наедине с Эвальдом, стал заискивать перед ним, умасливать его, завел с ним интимный дружеский разговор, раскрыл свою душу, свои задушевные мысли и выложил перед ним свое profession de foi, всю свою платформу, выражаясь нынешним жаргоном, и затем убеждал, чуть не слезно умолял Эвальда заявить в протоколе, что доводы Чернышевского были для него вполне убедительны. Если бы я даже не был свидетелем диспута, то и тогда уже a priori мог бы с уверенностью и ручательством головой утверждать, что подобный откровенный и интимный разговор не происходил и не мог происходить. Чернышевский — человек в высшей степени неэкспансивный (о чем скажу когда-нибудь подробнее), ведший откровенные задушевные разговоры очень редко и то только с весьма близкими людьми, вдруг разоткровенничался перед первым встречным, да еще перед литературным слугою Краевского и спорил с ним напыщенным риторическим языком в стиле тургеневского Базарова. Вот, например, какие банальности будто бы говорил Чернышевский: «Из вашей статьи я вижу, что вы далеко не придерживаетесь тех принципов, которым следую я, но, во всяком случае, между мною и вами есть одно общее, это — образование, которое может служить между нами связующим цементом. Я надеюсь поэтому, что вы поймете меня. Может быть, мы с вами идем и разными дорогами, но я не сомневаюсь, что цель у нас одна». На это Эвальд отвечал, что и цели у них разные, что он сам проповедует созидание, а Чернышевский —

разрушение. «Да, конечно! — восклицал Чернышевский.— Но это разрушение необходимо, чтобы расчистить место для новых построек... И в евангелии даже сказано: нельзя вливать вина нового в мехи старые... Преобразования необходимы... Нам нужны радикальные реформы... А для того, чтобы этого достигнуть, прежде всего необходимо разрушить все старое, к чему я и направляю все свои усилия». На это Эвальд наставительно и внушительно сделал Чернышевскому такую нотацию. Между прочим, он сказал, что «историю переделывать нельзя», что для изменения учреждений, существовавших тысячу лет, потребуется «новая тысяча лет, не менее», что существующие учреждения следует «изменять на более лучшее; но это надо делать постепенно, по мере надобности». Но Чернышевского не урезонили эти мудрые указания, и он выпалил вот что: «Я сейчас же докажу вам, как вы глубоко ошибаетесь! — горячо воскликнул Чернышевский. — Разве Французская революция не разом пересоздала не только Францию, но даже и всю Европу?» На этом Эвальд так срезал Чернышевского: «Вот этого-то пересоздания я и не вижу. Мне случилось быть во Франции, и там я в особенности наблюдал за этим явлением». После этой болтовни разговор будто бы перешел на дело.

Эвальд на вопрос Чернышевского сказал, что хотя он и не убедился в невиновности студентов, однако подпишет протокол. «Честное слово?» — спросил Чернышевский. «Других слов я не даю», — гордо отрезал Эвальд. А на указание Чернышевского, что Лохвицкий и Скарятин могут

обидеться на Эвальда, последний ответил мужественно, что он «не боится ссоры с ними». Чернышевского привело в восторг это мужество. «Вот это хорошо сказано! Дайте вашу руку!» — сказал Чернышевский и «искренно пожал руку» Эвальду. Подобные интимные разговоры и сладкие нежности Чернышевского невероятны и недопустимы даже в историческом романе, так как история говорит, что все это чистейшие выдумки, потому что ни Эвальд, ни Чернышевский ни на минуту не выходили из комнаты и даже не вставали с своих мест.

Далее в романе Эвальда рисуется такая неверная и искаженная картина, которую он увидел, возвратившись будто бы из соседней комнаты.

«Между тем спор (о чем?) между Антоновичем и Елисеевым с одной стороны, Лохвицким и Скарятиным — с другой, принял такие размеры, что их приходилось разнимать чуть не силою. Не мало труда пришлось употребить Чернышевскому и мне, чтобы заставить их выслушать нас. Когда, наконец, буря кое-как укротилась, Чернышевский объявил, что я согласился с его мнением и, взяв лист протокола *написал* (NB) на нем: «выслушав доводы...» (как приведено выше). «Согласны вы подписать это?» Я молча взял перо, но Скарятин вырвал его из моих рук и начал кричать, что ни за что не позволит сделать это! Лохвицкий поддерживал его, а Чернышевский, Елисеев и Антонович восстали против такого насилия над свободою моих действий, и спор между ними поднялся еще более шумный и горячий... Улучив минуту, когда на меня никто не обращал внимания, я подписал заключение про-

токола и закричал, насколько только хватило моего голоса: «Господа! готово! протокол подписан!» Все бросились к столу и, увидя мою подпись, утихли, очевидно, под впечатлением совершившегося факта (величественный и торжественный момент!) На минуту водворилось чуть не гробовое молчание».

Все это неправда. Как рассказано выше, Чернышевский раньше всяких споров ушел, и заключение протокола написано было вовсе не им, а уже по уходе его было собственноручно написано и подписано самим Эвальдом, — протокол у меня налицо. Скарятин не вырвал пера из рук Эвальда, так же точно, как и последний ничего не кричал громовым голосом. Цель всей изложенной главы исторического романа Эвальда очевидна. Он и Краевский, «идучи на рать», хорохорились, бахвалились, что нужно положить предел «безумному движению» нигилизма, что «власть бессильна и нужна литературная борьба», что нужно показать молодежи, что она ленива, и потому не хочет учиться, и т. д. И вдруг, «идучи с рати», храбрый воевода и боец дает собственноручную расписку в том, что «не господа студенты участвовали в прекращении публичных лекций». Скандал! Но так вышло, благодаря хитрости и вкрадчивости Чернышевского, который своими любезностями и откровенностями обошел Эвальда, подкупил его льстивыми похвалами и «искренним» пожатием руки, выманил у него «честное слово» подписать протокол, — что Эвальд и сделал, хотя и не согласен был с Чернышевским по предмету диспута. После этого очень понятно, что «невольное и печальное столкновение

с Чернышевским» Эвальд признает «очень грустным случаем, оставившим в нем на всю жизнь тяжелое воспоминание». Еще бы, человек хотел «зажечь море», а Чернышевский помешал этому.

Когда мы принесли протокол Чернышевскому, он очень расхохотался и опять пожалел, что затеял эту историю по поводу ничтожной статейки безвестного автора. Елисеев говорил, что нужно напечатать протокол и что против этого не возражал и Эвальд. Но Чернышевский не согласился на это, и сказал: «Не стоит; зачем конфузить и обижать невинного бедного человека». Это лишний раз доказывает, что Чернышевский придавал значение статейке Эвальда только потому, что считал ее официозным и даже официальным произведением. И таким образом оказалась вздорной пророческая угроза, с которою Скарятин обратился к Эвальду. «Вы зарезали нас без ножа,— вопиял он. — Теперь эти господа будут носиться повсюду, показывая вашу подпись как лучшее доказательство своей правоты! Вы сами уничтожили все то хорошее, что сделали вашей статьей. Вы только доставили лишнее торжество красной партии и изменили своей». Никто и не думал носить этот протокол повсюду или предавать его гласности: он этого не заслуживал. И Эвальд первый опубликовал его.

Наконец в историческом романе Эвальда есть одна нелепость, созданная его славолюбивой фантазией:

«Нужно заметить, между прочим, что во все время нашего заседания, перед окнами квартиры, где мы собрались, ходил взад и вперед Лавров, нетерпеливо ожидавший конца совещания, и когда

Чернышевский вышел, то он взял его под руку, и они пошли вместе. Упоминаю об этом мелочном случае только для того, что он показывает, как главари либеральной партии интересовались исходом этого дела».

Разве эта выдумка не есть симптом мании grandiosae? У Лаврова была возможность не ходить перед окнами, а войти в квартиру Эвальда и видеть весь диспут, так как он, как сказано выше, был приглашен Чернышевским на диспут в качестве свидетеля; но этому помешало какое-то его дело. И каким образом Эвальд мог видеть, что делалось под окнами его квартиры, хотя она и находилась в первом этаже, так как он, Чернышевский и все мы—свидетели не вставали с своих мест, и Эвальд не подходил к окну. И в то время, когда ушел Чернышевский, Эвальд принимался писать в протоколе свое решение и не мог видеть, что происходит на улице и кого Чернышевский берет под руку. Наконец мы с Елисеевым через несколько минут после диспута пришли к Чернышевскому, жившему всего в нескольких шагах от квартиры Эвальда, но Лаврова у него не было. Бедный Эвальд, он, конечно, не догадывался, что чем большую важность он придавал своей статейке, тем более контрастным и комичным являлся результат его диспута с Чернышевским из-за этой статейки.

Свои воспоминания о Чернышевском Эвальд окончил следующими изумительными размышлениями, которые буквально воспроизводят нынешние *патриоты* нововременского типа:

«При этом я не могу не указать на одно чрезвычайно странное обстоятельство. Свой знаме-

питый роман «Что делать?» Чернышевский писал уже будучи арестованным. Роман этот печатался в «Современнике», когда над автором его производились следствие и суд! Как объяснить это странное явление? Беспорядками ли в тогдашней администрации; тем ли, что одно учреждение не знало, что делается в другом, и что одно учреждение держалось одних принципов, другое — других, или, наконец, тем, что администрация не придавала значения литературной пропаганде и судила Чернышевского не за его теории, а только за какие-нибудь действия? Во всяком случае мы присутствовали тогда при необычайном явлении: антигосударственной проповеди (даже антигосударственность нашлась в «Что делать?»!), исходившей от арестантской камеры! Проповедь эта передавалась в редакцию журнала чинами администрации, обязанными охранять существующий строй!» [69]

Разве г. Меньшиков не подписался бы под этими золотыми словами.

Здесь не лишнее будет упомянуть мимоходом, что на статейку Эвальда возражал и Лавров. Его возражение было напечатано в «С.-Петербургских Ведомостях» № 104, 16 мая, 1862). И. Лавров начал свое опровержение таким же замечанием, как и Чернышевский, что статейка «не заслуживала бы внимания, если бы анонимный автор ее не являлся застрельщиком целой партии», и потому в своем опровержении он будет «отвечать не автору, а его единомышленникам», о которых постоянно твердил и Чернышевский.

Свое возражение Лавров озаглавил так: «Учиться, но как?» Опровергнув показания Эвальда о причинах, повлекших за собой прекращение публичных лекций, Лавров развивает далее ту мысль, что учиться так, как учат и учатся в наших средних и высших школах, — дело бесплодное и не важное. В этих школах преподаются науки исковерканные и извращенные в пользу разных посторонних политических тенденций, не имеющих ничего общего с наукой. Многие профессора до того подлаживаются под эти тенденции и до того явно и грубо коверкают преподаваемые ими науки, что это даже замечают их наиболее развитые слушатели, которые поэтому теряют уважение к профессорам и теряют охоту учиться у таких профессоров. Могут учиться прилежно у подобных профессоров только благонадежные юноши, которые не интересуются наукой и знанием, а только разными выгодами, соединенными с дипломом. Дайте свободу преподавания, говорит Лавров, и тогда учащиеся будут относиться к своим учителям с подобающим уважением и будут учиться усердно. В своем опровержении Лавров несколько раз выражает изумление, каким образом статейка Эвальда могла попасть в «С.-Петербургские Ведомости», как бы намекая этим на то, что она не гармонировала с общим направлением этой газеты. В редакции же «Современника», напротив, все были того мнения, что этой статейке место именно в «С.-Петербургских Ведомостях» [70].

IV. АРЕСТ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В 1862 г. Николай Гаврилович Чернышевский жил близ Владимирской церкви, в Большой Московской улице, в первом этаже дома Есауловой, числящегося в настоящее время под № 4. В июле, 7 числа, мне нужно было спросить Николая Гавриловича о чем-то касательно печатания сочинений Добролюбова, и я около часу пополудни отправился к нему, застал его дома, нашел его в его кабинете, где мы и переговорили с ним о деле, по которому я пришел к нему, и потом разговор наш перешел на разные другие посторонние предметы. Николай Гаврилович жил тогда в квартире один с прислугой, так как его семья, жена и два сына, уехали в Саратов. Спустя полчаса к нам явился доктор Петр Иванович Боков [71], и мы трое, уж не помню почему, из кабинета перешли в зал. Мы сидели мирно и весело беседовали, как вдруг в передней раздался звонок, так, около двух с половиною часов. Мы подумали, что это пришел кто-нибудь из знакомых лиц, и продолжали разговаривать. Но вот в зал, дверь в который вела прямо из передней, явился офицер, одетый в новый с иголочки мундир, но, кажется, не жандармский, — так как он был не небесного голубого цвета, а черного, — приземистый и с неприятным выражением лица. Войдя в зал, он

сказал, что ему нужно видеть г-на Чернышевского. Николай Гаврилович выступил ему навстречу, говоря: «Я — Чернышевский, к вашим услугам». — «Мне нужно поговорить с вами наедине», — сказал офицер. «А, в таком случае пожалуйте ко мне в кабинет», — проговорил Николай Гаврилович и бросился из зала стремительно, как стрела, так что офицер растерялся, оторопел и бормотал: «Где же, где же кабинет?» Свою квартиру Николай Гаврилович сдавал в наем, так как решился оставить ее и переехать на другую, и потому я в первую минуту подумал, что офицер пришел осмотреть квартиру с целью найма ее. Растерявшийся офицер, обратившись в переднюю, повелительно и громко закричал: «Послушайте, укажите мне, где кабинет Чернышевского, и проводите меня туда». На этот зов явился из передней пристав Мадьянов, которого Боков и я знали в лицо. Появление пристава сразу осветило для нас все, и мы поняли, кто такой этот офицер и какая цель его визита. Пристав, проводив офицера в кабинет, возвратился к нам и на наши расспросы сказал, что офицер — это полковник Ракеев [72], которого мы знали как доку по политическим обыскам и арестам и как петербургского домовладельца. Затем пристав рассказал, что Ракеев явился к нему и потребовал, чтобы он проводил его к Чернышевскому, на что пристав заметил, что, может быть, Чернышевского нет дома; но Ракеев уверенно сказал, что ему хорошо известно, что он дома. На наши вопросы, как он думает о цели визита Ракеева, пристав отвечал, что полковник, по всей вероятности, произведет

только обыск, а не арестует Чернышевского, так как он приехал на дрожках, а казенной кареты нет. Затем пристав стал убеждать нас уйти из квартиры. Да нам больше ничего не оставалось, как только уйти. «Но мы перед уходом непременно пойдем проститься с хозяином», — заявили мы. «Зачем это, — убеждал нас пристав, — что за церемонии, можно уйти и не простившись». Мы решительно заявили ему, что мы непременно пойдем проститься с хозяином и тем более, прибавил я, что моя шляпа и мой сверток находятся в кабинете. Пристав любезно предлагал принести их мне из кабинета; но я не согласился, и мы с Боковым отправились в каб нет.

Николай Гаврилович и Ракеев сидели у стола; Николай Гаврилович на хозяйском месте у середины стола, а Ракеев сбоку стола, как гость. Когда мы входили, Николай Гаврилович произнес такую фразу: «Нет, моя семья не на даче, а в Саратове». Очевидно, Ракеев, прежде чем приступить к делу, счел нужным пуститься в светские любезные разговоры. «До свидания, Николай Гаврилович», — сказал я. «А вы разве уже уходите,— заговорил он,— и не подождете меня?» И на мой ответ, что мне нужно уйти, он сказал шутливым тоном: «ну, так до свидания», высоко подняв руку, с размаху опустил ее в мою руку. В то время, как с ним прощался Боков, я пошел к окну, взял шляпу и взял подмышку сверток с завернутыми в жесткую бумагу ботинками, купленными мною для себя. Нужно было видеть выражение лица Ракеева; он весь насторожился и устремил жадные взоры на мой сверток. Но, нужно отдать ему честь, он не остано-

вил меня и даже не спросил, что содержится в моем свертке. Я думаю, и в наше время всяческих свобод [73] меня в подобных обстоятельствах непременно раздели бы донага и обыскали. Невольно припоминается мне при этом случай, который заставил меня еще более ценить любезность Ракеева. Однажды я сидел в книжном магазине Черкесова и разговаривал с управляющим магазином. В это время явились жандармы обыскивать магазин. Я хотел уйти, как лицо постороннее и не состоявшее в штате магазина. Но жандармский офицер, начальник обыскивательного отряда (к сожалению, я забыл его фамилию), задержал и потребовал, чтобы я предъявил ему свой бумажник. Я сказал, что у меня бумажника нет. Тогда он потребовал показать ему мое портмоне или вообще то, в чем я ношу деньги; но я отвечал, что у меня нет с собою ни портмоне, ни денег. «Как же так, — грозно окрикнул жандарм, — идете в магазин и не берете с собою денег». Я ответил, что я пришел в магазин не для покупок, а повидаться с знакомым. «В таком случае, — решил жандарм, — я должен обыскать вас». И действительно, он не только обшарил, но и вывернул все мои пустые карманы и только тогда выпустил меня из магазина. Таким образом Ракеев поступил со мною гораздо любезнее и при обстоятельствах гораздо более серьезных.

Мы с Боковым вышли из квартиры Николая Гавриловича, понурив головы и не говоря ни слова друг с другом, и как бы инстинктивно отправились ко мне на квартиру, находившуюся очень близко от Московской улицы. Здесь не-

сколько опомнившись и придя в себя, мы стали обсуждать вопрос: арестуют ли Николая Гавриловича или ограничатся только обыском? Наше решение склонялось на сторону последней альтернативы. Мы думали, что Николай Гаврилович — слишком крупная величина, чтобы обращаться с ним бесцеремонно; общественное мнение знает и ценит его, так что правительство едва ли рискнет сделать резкий вызов общественному мнению, арестовав Николая Гавриловича без серьезных причин, каковых, по нашему мнению, не могло быть, — мы в этом твердо были уверены; да и пристав сказал правду, — кареты у подъезда и мы не видали. Вот как мы были тогда наивны и какие преувеличенные понятия имели о силе общественного мнения и о влиянии его на правительство. Да и не одни мы. Как тогда, так и теперь многие повинны в подобной наивности.

Через полчаса мы вышли на Московскую улицу и увидели, что у подъезда уже стояла карета, разрушившая все наши надежды. Походивши по соседним улицам еще с полчаса, мы пришли к дому Есауловой и — кареты уже не было. Мы пошли в квартиру Николая Гавриловича. Нам отворила дверь прислуга, заливаясь горькими слезами. «Бедный барин, — говорила она сквозь слезы, — его взяли, они его погубят; а тут, как нарочно, еще барыня уехала». В квартире мы застали двоюродного брата жены Чернышевского, офицера Вениамина Ивановича Рычкова, который на время приехал в Петербург и жил на этой квартире. Рычков сообщил нам, между прочим, что Николаю Гавриловичу удалось сказать ему

несколько слов так, чтобы их не слышал Ракеев. Николаій Гаврилович поручил ему кланяться мне и сказать, чтобы я не беспокоился и передал бы И. Утину [74], чтобы и он не беспокоился. Какоій специальныій смысл и какая цель заключалась в этих словах, я не могу себе объяснить. Несмотря на это успокоение, я все лето жил под угрожающим домокловым мечом, не зная покоя ни днем, ни ночью. Все знакомые, встречая меня, делали большие глаза и в изумлении восклицали: «Как! вы разве не арестованы? а я слышал из самых достоверных источников, что вас уже давно арестовали». Встречая на каждом шагу подобные изумления, трудно было не беспокоиться. Но бог миловал меня.

Обедать мы отправились к Бокову, и когда сообщили его жене о случившемся на наших глазах, то она тоже не хотела этому верить и тоже была уверена, что Чернышевского не посмеют арестовать.

На другоій день профессор-орієнталист И. Н. Березин поручил кому-то предупредить Николая Гавриловича, что ему угрожает арест. Запоздалое предупреждение post factum!

После этого я только один раз виделся с Николаем Гавриловичем при таких же печальных обстоятельствах, при развязке этоій жестокоій драмы, начавшейся его арестом, т. е. уже после суда и приговора над ним, когда его собирались увозить из крепости на каторгу. Мы с Григорием Захаровичем Елисеевым решили, чего бы это нам ни стоило, добиться свидания с Нико-

лаем Гавриловичем и обращаться с просьбами о разрешении свидания ко всевозможным властям. Когда Некрасов узнал о таком нашем намерении, то стал горячо отговаривать нас, убеждал и советовал, чтобы мы отказались от нашего намерения, не просили бы разрешения на свидание и не пользовались бы этим разрешением, если бы оно даже было дано. «По искреннему расположению к вам и из желания добра уверяю вас, — говорил Некрасов, — что это свидание очень понизит ваши курсы в глазах III Отделения». Слова Некрасова дышали искренностью и убеждением в полезности его совета. Но мы все-таки стояли на своем, и нам посоветовали обратиться к князю Суворову, тогдашнему петербургскому генерал-губернатору, с просьбою о разрешении свидания с Николаем Гавриловичем. Он дал нам это разрешение с первого же слова. Когда мы пришли в крепость, то нас адресовали к коменданту крепости Сорокину. Мы представились ему, и он начал говорить сначала с Елисеевым и, между прочим, спросил, не родственник ли он купцу Елисееву, который снабжает Петербург гастрономическими продуктами. А затем он обратился ко мне с разными вопросами: кто я? в каком родстве состою с Чернышевским? На что я ответил, что я состою с ним не в родстве, а в близком знакомстве; а на вопрос, чем я занимаюсь, я сказал, что служу в военном министерстве (и это была сущая правда; а как я попал в это министерство, это—курьезная история; но долго было бы рассказывать ее здесь)[75]. На это комендант воскликнул: «Вот как! это странно! я сам имею

честь служить в военном министерстве, и вы видите, я ношу военную форму, а вы не в военной форме и даже совсем не в форме, а в штатском платье». В оправдание себя я стал объяснять, что я — чиновник сверх штата, принят в министерство временно на усиление личного состава, служу без жалованья и т. д. Комендант прервал мои объяснения коротким замечанием, что все служащие в военном министерстве имеют форму и должны ходить в форме. Но все это было сказано не страшным начальническим и повелительным тоном, а совершенно добродушно и просто. Комендант приказал проводить нас в какую-то канцелярию, где уже ожидали свидания с Николаем Гавриловичем А. Н. Пыпин с братом и двумя сестрами. Скоро ввели сюда и Николая Гавриловича в сопровождении какого-то офицера, но не жандармского. Он был бледен, но в выражении его лица не видно было ни упадка духа, ни изнурения, ни грусти и печали. Поздоровавшись со всеми, Николай Гаврилович прежде всего обратился к сестрам Пыпина и стал с ними разговаривать. По какому-то молчаливому соглашению мы действовали так. Когда Николай Гаврилович разговаривал с кем-нибудь одним из нас, остальные отходили в сторону, окружали офицера и вступали с ним в разговоры. Когда очередь дошла до меня, то Николай Гаврилович прежде всего спросил меня о моих личных делах и затем сказал, что он на каторге непременно будет писать много и постарается присылать нам свои статьи для помещения в «Современнике» и что, если их нельзя будет печатать с его именем, то нужно попробовать

подписывать их каким-нибудь псевдонимом, а если и это будет нельзя, то чтобы они представлялись в редакцию каким-нибудь подставным лицом, например, хоть вашим «Лозанцем»—так назывался в нашем кругу мой товарищ по духовной академии Л. И. Розанов, живший у меня и близко познакомившийся с Николаем Гавриловичем (он был описан в «Искре» под именем Лозания, устроившего поход против начальства одной из семинарий, кое-что написал в «Современнике» и был известен Некрасову; мы и предполагали сделать его подставным лицом). «Да я, впрочем, поговорю об этом с самим Некрасовым». Я сказал, что Некрасов едва ли придет к нему проститься. «Отчего же? — с живостью сказал Николай Гаврилович, — а Сашенька (Пыпин) говорил мне, что Некрасов собирается ко мне». Я повторил, что он едва ли придет и что я передам ему ваши слова. Мне не хотелось огорчать Николая Гавриловича сообщением, что Некрасов сам даже мне с Елисеевым не советовал просить свидания и являться на свидание с ним [76]. И затем я простился с Николаем Гавриловичем уже навеки с чувствами, которые мне даже в настоящее время трудно и больно было бы описывать. Поверьте мне, — рана и до сих пор не зажила.

V. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О НИКОЛАЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ДОБРОЛЮБОВЕ [77]

И делал я благое дело
Среди царующего зла.
Добролюбов

В половине 1859 г. я оканчивал курс в С.-Петербургской духовной академии. С каждым годом моего учения в академии я все более и более убеждался, что теологическая специальность и духовная служба мне вовсе не по душе, и мое внимание направлялось более на философию и вообще на светские науки, чем на науки теологические. Перед окончанием курса я окончательно решил оставить духовное звание и посвятить себя деятельности не на духовном, а на каком-нибудь другом поприще. Прежде всего я рискнул попытаться проникнуть на литературное поприще и для пробы написать что-нибудь, что могло бы попасть в светскую печать.

Для пробной статьи я избрал вот какой сюжет. — В то время свирепствовала мания, какое-то поветрие на издание сатирических листков, которые затужились забавлять и смешить читателей. Во главе их и как образец для подражания стоял «Весельчак» [78], в котором подвизались пресловутый барон Брамбеус (Сенковский) и Львов, автор нашумевшей тогда драмы «Пред-

убеждение». Этот журнал приобрел себе известность только следующим четверостишием-эпиграммой на Панаева, писавшего в «Современнике» фельетоны под рубрикой «Заметки Нового поэта»:

Близ селенья речка,
А на речке мост.
На мосту овечка,
У овечки хвост.

Автором четверостишия подписался «Новый поэт», который просил не смешивать его с Новым поэтом в «Современнике». На это Панаев отвечал таким тоже четверостишием:

Близ селения кабак,
В кабаке же **Весельчак**
Бранит всех без исключенья
Не пришедших в умиленье
От его «Предубежденья».

Вслед за «Весельчаком» появилось множество подобных увеселительных листков и периодических и разовых: «Смех», «Смех под хреном», «Смех и горе» и т. п. Некоторые из этих листков даже не назначали себе цен и печатали: «что пожалуете бедному издателю», что хотите, то и опустите в кружку продавца листка. Довольно полный список этих листков приведен в статье Добролюбова «Уличные листки» [79]. Как будто нарочно и для контраста, в прессе той сферы, в которой я учился и вращался, господствовало противоположное, плаксивое настроение: здесь и в устных проповедях и в писаниях были постоянные разглагольствования об оскудении в последнее время веры и упадке нравственности, о том, что нужно непрестанно каяться во грехах, сокрушаться и плакать.

Вот я и вздумал изобразить эти два противоположные течения, эти два типа смеющихся и плачущих: сделал множество пикантных сопоставлений в виде борьбы между ними, привел множество выдержек об однаковых сюжетах, но с противоположным содержанием. Одни говорили: постоянно нужно смеяться, а другие проповедывали: нужно непрестанно плакать. Вышла большущая статья, листа на три печатных. Со страхом и трепетом понес я ее в контору «Современника» для передачи в редакцию. В лихорадке и с замиранием сердца, которое, вероятно, испытывал всякий пробовавший выступать в печати, я ждал рокового для меня ответа, от которого зависела моя судьба. И вот ответ пришел. Не читая его, я прежде всего бросился на подпись; оказалось, ответ подписан Добролюбовым, я так и замер от опасений и страха: такой неумолимо строгий судья, такой беспощадный критик, — наверное погибло мое первое писательское создание! Мои опасения оправдались: Добролюбов писал, что статья никоим образом не может быть напечатана, хотя в ней есть места недурные, которыми можно было бы воспользоваться в статье совсем другого типа и характера, чем моя, и в заключение приглашал меня явиться к нему и назначал место и время свидания. Все пропало, думал я в отчаянии: моя проба оказалась неудачной, и меня приглашают только за тем, чтобы возвратить статью. Но с другой стороны мелькал и некоторый луч надежды, так как все-таки некоторые места признаны были достойными печати, хотя, может быть, и это написано только для моего утешения.

В лихорадочном волнении и колебании между страхом и надеждою я отправился к Добролюбову. Он принял меня без всяких церемоний и чрезвычайно запросто, как будто давнишнего короткого знакомого или товарища. Самым добродушным, даже приятельским тоном он сказал мне, что моя статья есть махинище более трех печатных листов, что ее могут осилить и вполне понять и оценить только читатели моего круга, академисты и семинаристы, а обыкновенным заурядным читателям она не под силу и не будет для них интересна, но некоторыми местами статьи можно было бы воспользоваться, и если я дам согласие, то он и воспользуется ими, но даст им совершенно другую обстановку. Затем он участливо стал расспрашивать меня о моем внешнем положении, о моих планах и намерениях, о том, к чему я чувствую особенное влечение и какая отрасль знания мне нравится и более известна. Он убеждал меня не смущаться не совсем удачной первой пробой и продолжать писать для печати. «Только бросьте,—говорил он,—ваших плачущих и смеющихся, а берите какие-нибудь более серьезные и более общие темы и пишите о них, и я уверен, что следующие ваши пробы будут более удачны. Во всяком случае,—сказал он в заключение нашего свидания, — непременно приходите ко мне вечером в такие-то дни». Темы для статьи я никак не мог найти, но к Добролюбову ходил неупустительно в назначенные дни. Он вел со мною длинные разговоры о всевозможных предметах и теоретических и практических и на темы из самых разнообразных областей знания и жизни. Очевидно, что эти

разговоры были для меня чем-то в роде экзамена.

У Добролюбова библиотека была небольшая, но состояла из самых избранных книг. Узнав от меня, что я питаю некоторую слабость к философии, и между тем мало знаком с крайней левой гегельянства и знаю Фейербаха только по наслышке, он дал мне его сочинения и настоятельно рекомендовал проштудировать его два сочинения «Das Wesen der Religion» и «Das Wesen Christenthums». «А знаете ли, — сказал он при этом,— кто меня учил философии, да и не одной только философии? Н. Г. Чернышевский, — как будто для довершения полной параллели и аналогии с тем, что у нас бывало прежде: Герцен и Бакунин учили философии Белинского, Белинский учил умуразуму Некрасова и Панаева, а Граповский был учителем Забелина. А меня вон кто учил».

Давал Добролюбов мне, между прочим, сочинения Прудона, «Systeme des contradictions économiques». Когда я, возвращая книгу, пожаловался, что в ней нет никаких положительных выводов, что в ней представлены две противоположных системы воззрений, все pro и contra, но вовсе не указано, как их примирить и что из них вытекает, то он сказал, что это-то и хорошо, что догматичность везде не хороша, что нужно самому думать и самому решать для себя, на какую из противоположностей следует становиться и какие доводы делать из них.

Темы для второй пробной статьи, несмотря на все мое желание и на все усилия, я так-таки и не мог найти. Наконец Добролюбов сжалился надо мною и сам дал мне темы. Он предложил

мне для разбора две книги о русском расколе, одну Щапова, а другую на французском языке неизвестного автора. Написанный мною разбор книги Щапова он признал сносным; нашел только, что этот разбор не имеет начала, или начинается abrupto и потому сам написал к нему начало, или вступление [80]. Разбор же французского сочинения он признал довольно удовлетворительным. И этот разбор был напечатан в следующем 1860 г. без всяких редакторских изменений и дополнений [81]. Таким образом мой экзамен на сотрудничество в «Современнике», на скромную роль его библиографа, сошел благополучно. После этого Добролюбов в разговорах со мною часто высказывал свои взгляды на библиографию в общем журнале и на те требования, которым она должна удовлетворять. По его мнению, журнал должен брать для библиографии только такие сочинения, которые или не согласны или же согласны с его направлением; в первом случае он имеет возможность опровергать враждебные мысли, подрывать, осмеивать, унижать их, во втором же случае ему предоставляется предлог повторить свои собственные мысли, напомнить о них, разъяснить, подтвердить или усилить их. Сочинения же индиферентные в смысле направления, хотя бы серьезные и интересные сами по себе, не должны попадать в библиографию общего журнала; им место в специальных библиографических журналах. Все эти мысли я принимал, конечно, как указания и наставления для меня лично, хотя они высказывались безлично и в общей форме.

С течением времени и мало-по-малу у меня установились довольно близкие отношения к Доб-

ролюбову, но я, кажется, не имею права назвать их дружескими. Он был со мною совсем запросто, и я бывал у него как дома; он высказывался при мне непринужденно, вполне откровенно, без той сдержанности, которая невольно является при разговорах с людьми, не близкими между собою; иногда он посвящал меня в свои задушевные мысли и планы. И чем больше я его узнавал, тем сильнее поражала и увлекала меня эта необыкновенная личность. Я не считаю нужным говорить здесь о прекрасных, но обыкновенных и, так сказать, заурядных качествах, свойственных всякому порядочному и более или менее выдающемуся человеку, каковы, например, гуманность, великодушие, преданность своему делу и своим людям, самоотверженье, бескорыстие, готовность помочь всякому. Этими качествами Добролюбов был одарен в высшей степени. Но что особенно возвышало его над обыкновенными выдающимися людьми, что составляло его характерную отличительную особенность, что возбуждало во мне удивленье, почти даже благоговенье к нему, — это страшная сила, непреклонная энергия и неудержимая страсть его убеждений. Все его существо было, так сказать, наэлектризовано этими убеждениями, готово было каждую минуту разразиться и осыпать искрами и ударами все, что заграждало путь к осуществленью его практических убеждений. Готов он был даже жизнь свою положить за их осуществленье. Каждая его практическая мысль, каждое слово так и рвалось неудержимо осуществиться на деле, что при данных условиях было невозможно; и эта невозможность служила для него источником первых

страданий и нравственных мук. И потому этот человек во все короткое время своей литературной деятельности был истинным страдальцем и мучеником, постоянно горел в лихорадке недовольства, негодования, а иногда даже и отчаяния. В письме к одному из своих школьных товарищей он писал: «До сих пор нет для развитого и честного человека благодарной деятельности на Руси; вот отчего и вянем, и киснем, и пропадаем все мы. Но мы должны создать эту деятельность; к созданию ее должны быть направлены *все силы, сколько их ни есть в натуре нашей.* И я твердо верю, что будь сотня таких людей, хоть как мы с тобой, и Ваней, да решись эти люди и согласись между собою окончательно, — деятельность эта создастся, несмотря на все подлости обскурантов».

В другом письме тому же товарищу он писал: «С потерей внешней возможности для такой деятельности мы умрем, — но и умрем все-таки не даром». И он действительно принялся за создание этой деятельности и за эту деятельность.

Его глубоко, до болезненности возмущала окружавшая его действительность, понятая и прочувствованная им; он видел, как властно царствует зло в темном житейском царстве. И он в душе, в мыслях, в мечтах порывался бороться с этим царствующим злом, искал и придумывал возможные, действительные и быстрые способы изменить или хоть несколько улучшить и освежить мрачную действительность. «Постепенно», «потихоньку да полегоньку» — были противны его энергической горячей юношеской натуре.

Но ужасная действительность грубо разрушала его мечты и точно издевалась над его горячими, нетерпеливыми порывами и стремлениями, и это повергало его в муку и отчаяние. Человек рвется на дело, а ему сковывают руки. Но энергия и страстность не могут остановиться на отчаянии; нужно действовать, во что бы то ни стало, работать и бороться могучим орудием печатного слова.

И Добролюбов мечтал произносить и печатать горячие речи и горячие призывы, как делал в Италии прославленный им о. Александро Гаванци[82], громить или возбуждать свою публику, электризовать ее, двигать на дело. Но и здесь жестокая действительность сковывала ему язык, не давала возможности высказать и десятой доли волновавших его идей и чувств, — что еще больше усиливало его недовольство и муки. Точно как будто сбывалось пророчество его о самом себе, высказанное им в письме к семинарскому товарищу, учившемуся в духовной академии. «Говорят, что мой путь смелой правды приведет меня когда-нибудь к погибели. Это очень может быть; но я сумею погибнуть не даром. Следовательно, и в самой последней крайности будет со мною мое всегдашнее, неотъемлемое утешение, — что я трудился и жил не без пользы».

Печать, по идеалу Добролюбова, должна была будить общество, звать его на дело, на борьбу. А фактическая, фигурировавшая перед Добролюбовым, печать делала как раз противоположное: она убаюкивала читателей, наводила на них сладкую дремоту самодовольства и самоуслаждения. И вот новый источник лихорадочного негодова-

ния для Добролюбова. Печатные статьи его достаточно показывают, как возмущала и терзала его хвастливая и обольстительная фраза: «в настоящее время, время прогресса, когда мы созрели, когда процветает гласность и действует бич обличительной литературы» и т. д. Но нужно было послушать его на словах, чтобы увидеть, до какой степени была ненавистна ему эта нелепая фраза и как она его бесила. «На каждом шагу, — постоянно твердил он, — мы видим возмутительные факты, всюду вокруг нас совершаются безобразные и вопиющие явления, а печать точно не видит и не замечает этого, и во все горло прославляет и славославит «настоящее время». Им плюют в глаза, а они говорят, что это божья роса». На самом деле литераторы видели и замечали эти факты и явления. Как только, бывало, они соберутся где-нибудь, почти каждый из них расскажет о каком-нибудь вопиющем факте или безобразном явлении, и все пожалеют о том, что этого нельзя напечатать и что следовало бы послать это в *Лондон* Герцену напечатать в «Колоколе». Но все это рассказывается и выслушивается спокойно, хладнокровно и благодушно, и рассказчики и слушатели на другой же день продолжают свои гимны «настоящему времени», процветанию гласности и обличительной литературы. Добролюбова это бесило, просто приводило в ярость, и он удивлялся, как это можно так спокойно и благодушно относиться к подобным фактам; и его мучило двойное негодование и на самые факты, и на печать. Все сообщаемые ему этого рода факты он для чего-то аккуратно заносил в свою записную книжку (неизвестно, сохранилась ли

она после погрома, разразившегося над литературным душеприказчиком Добролюбова)[83], для того ли, чтобы постоянно помнить о них, как персидский царь хотел постоянно помнить об ненавистных ему афинянах, или для того, чтобы иметь побольше аргументов для развенчания и унижения «настоящего времени».

Добролюбова тем более бесило такое поведение печати, что он никак не мог себе объяснить его и не мог решить, идиотство ли это, ограниченная нетребовательность и глупое самоуслаждение, или что-нибудь еще хуже и мерзее. Ему самому казалось яснее солнца, что печать обличает только пустяки и мелочи, только мелких сошек и что все обличаемое ею есть только поверхностная пена, источник которой лежал гораздо глубже, что это небольшие побеги от более солидных стволов и корней, на которые и следовало устремить все внимание, и он даже не допускал возможности, чтоб и другие, да еще литераторы, этого не видели и не понимали. Они, может быть, видели и понимали, а все-таки услаждались своими обличениями, считали себя либералами, и с гордостью воображали, что они своими обличениями совершают гражданский подвиг.

Добролюбов не дожил до того времени, когда совершилась полная эволюция этих поверхностных обличителей и либералов, и они вылились в законченную форму мракобесов и литературных сыщиков, и когда для него объяснилась бы их прежняя либеральная слепота и поверхностная обличительность.

С досадой и горестью, а иногда даже с бранью, Добролюбов постоянно повторял, что уже если

Н. А. Добролюбов в 60-х годах

Из собрания ИРЛИ

кому непростительно славословить «настоящее время» с его гласностью, так именно литераторам, даже либеральным обличителям, которые на собственной спине должны были испытать всю прелесть этого времени. Действительно, цензурный гнет в середине 50-х годов значительно ослабел против прежнего времени, только ослабел, не больше, но продолжал существовать и давал себя чувствовать очень сильно и очень больно и с течением времени все сильнее и больнее. Наиболее серьезные области государственной и общественной жизни, как и предшествующее время, тоже были недоступны и запретны для печати; например, несмотря даже на то, что уже подготовлялась в секрете крестьянская реформа, все-таки нельзя было ничего печатать о крепостном праве и против него. Цензура даже и по части дозволенных предметов была строга, придирчива, мелочна; и разговоры между литераторами всегда перемешивались рассказами цензурных анекдотов. «А знаете,—говорил один, — нам запретили дурно отзываться о Наполеоне III и его правительстве; наш цензор расходился до того, что из приготовленной книжки журнала вымарал около 15 листов, почти целую половину книжки». «А у нас, — подхватывал другой, — цензор вымарал невиннейшую обличительную заметку, где место действия было обозначено только иксом». «Это еще что, — говорил третий, — а вот нас притянули к ответственности и распекли за напечатание объявления «О старце и ухе» и т. д. Литераторы слушали эти анекдоты и благодушно хохотали, точно это были какие-нибудь мелкие, совершенно безобидные и заурядные случаи повседневной жизни.

Один только Добролюбов слушал эти анекдоты с мрачным видом и сердито ворчал: «Вот это доказывает, что у нас процветает гласность», и потом записал эти анекдоты в записную книжку. Нечего уже и говорить о том, какая лихорадка трясла Добролюбова, когда цензурные операции проделывались над его собственными статьями. Положение самих цензоров было тоже ужасное, обоюдоострое. Если какой-нибудь цензор, под влиянием разговоров о прогрессе и гласности, осмелится действовать менее строго и более снисходительно, то на него сыплются выговоры, замечания и угрозы отставкой. И это была не пустая угроза, она нередко приводилась в исполнение, и в пользу одного из таких смелых отставленных цензоров даже Катков хотел устроить всенародную подписку [84]. Если цензор провинится на одном издании, то его переводят на другое более благонадежное, а на его место назначают другого, более строгого, собаку. И вот в литературных кружках — и ликования, и вопли, одни говорят: «Ах, какое счастье,— нам дали цензором X», а другие голосят: «Нам посадили цензором собаку Z, не знаем, что и делать, совсем пропали!» Все это действительно было комично, и литераторы действительно хохотали по поводу таких перетасовок цензоров. Один только Добролюбов не видел тут комизма; а может быть и видел, но только обращал внимание на другую, далеко не комическую сторону дела, и обыкновенно говаривал: «Значит, судьба и благоденствие издания зависят не от цензуры вообще и не от цензурного устава, а от личности и от свойств цензора. Вот так прогресс!»

Особенно стеснительно и тяжело для печати было то, что, кроме цензуры общей и духовной, существовало еще много цензур специальных: военная, морская, финансовая, министерств юстиции и внутренних дел, театральная и т. д. Почти каждое ведомство имело свою цензуру, охранявшую его интересы в печати. Несчастные статьи, прошедшие через все эти мытарства, возвращались, конечно, в самом растрепанном и изуродованном виде, не говоря уже о бесконечных проволочках и трате времени. Для «Современника» была набрана для помещения в фельетон небольшая заметка, в которой описывалось какое-то морское торжество в Кронштадте. Общий цензор, кое-что повымаравши, направил заметку к военному цензору, который, как само собой разумеется, должен был направить ее к морскому цензору. Этот последний против фразы в заметке: «Матросы разбежались по веревочным лестницам» положил такую резолюцию: «На военных судах нет веревочных лестниц, а есть ванты, — автор не понимает, о чем пишет». Но бывали мытарства еще более продолжительные. Для «Современника» же была набрана статья «Каторжники». Цензор направил ее в сибирский комитет (тоже специальная цензура), который признал, что она касается министерства внутренних дел и юстиции и сверх того подлежит духовной цензуре. Предпоследние два мытарства статья прошла сравнительно благополучно, а духовный цензор вымарал все духовное. Затем статья пошла к цензорам военному и финансовому. Но этим мытарства статьи не кончились. Общий цензор внес статью на рассмотрение цензурного комитета,

который, в свою очередь, представил ее в главное управление цензуры. И вот несчастный Добролюбов, видевший и знавший десятки подобных анекдотов, должен был ежедневно читать и переваривать панегирики «настоящему времени» и процветанию гласности.

Но судьба готовила Добролюбову еще более чувствительный неожиданный удар, поразивший его в это его больное и наболевшее место еще сильнее и больнее, чем самохвальство и самоуслаждение внутренней легальной печати. Этот удар нанесла ему заграничная нелегальная печать. По поводу двух статей Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» Герцен напечатал в «Колоколе» громовую и резкую заметку, почему-то озаглавив ее по-английски: «Very dangerous», и чтобы заметка обратила на себя особенное внимание, против ее заглавия был нарисован указующий перст. О содержании и тоне заметки могут дать понятие следующие выдержки из нее: «Чистым литераторам, людям звуков и формы (это Добролюбову-то!) надоело гражданское направление нашей литературы; их стало оскорблять, что так много пишут о взятках и гласности и так мало Обломовых и антологических стихотворений... Журналы, сделавшие себе пьедесталы из благородных негодований и чуть не ремесло из мрачных сочувствий со страждущими, катаются со смеху над обличительной литературой, над неудачными опытами гласности... Столичные растения, вы вытянулись между Грязной и Мойкой; за городской чертой для вас чужие края... Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по этой скольз-

кой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава на шею. Может, они об этом и не думают, — пусть подумают теперь». Если бы сильный и неожиданный удар грома разразился над головою Добролюбова, то он так не поразил бы и не потряс его, как эта заметка. Он готов был лопнуть от досады и огорчения, от злости и негодования. Этот удивительный пассаж был необъяснимым и непостижим. «Славословит нашу гласность, — говорил возмущенный Добролюбов, — и превозносит обличительную литературу — кто же? тот самый «Колокол», который почти весь наполнялся цензурными анекдотами и к которому все прибегают только по недостатку гласности». Да, судьба была жестока с Добролюбовым и мучила его всевозможными способами, и внутренней и заграничной печатью!

Другим выражением пустого самодовольства и ограниченного самоуслаждения тогдашней печати была в глазах Добролюбова ее запосчивость перед иностранцами, ее беспощадная строгость, а иногда и презрительное отношение к иностранным делам. В политических обозрениях, в иностранной политике, говаривал Добролюбов, русская печать ужасно либеральна и даже радикальна и чрезвычайно требовательна. Действительно, ни одно иностранное государство своей политикой не могло угодить русской печати и заслужить ее одобрение; напротив, она направо и налево сыпала обвинениями и швыряла камни осуждения в европейские дела, как самый компетентный судья, руководствующийся высокими государственными идеалами, совершенно забывая святое

правило, что камни осуждения может бросать только тот, кто сам безгрешен. Сколько, например, доставалось тогда от нашей печати Наполеону III! Привыкнув видеть у себя гласность, она возмущалась при виде безгласной французской прессы, подавленной Наполеоном. Поэтому русская печать сочувствовала даже соучастникам Орсини в покушении на Наполеона[85], убежавшего в Англию, и радовалась оправданию их английскими присяжными. Печать так яростно нападала на Наполеона, что даже цензура находила, что это уже слишком, и сдерживала ее обличительную ярость, направленную на французские дела. Не говоря уже о Германии и Австрии, особенно доставалось от нашей печати коварному Альбиону, хотя одно время в печати проглядывало даже англоманство. От инквизиторских взоров нашей печати не могли укрыться ни одна ошибка, ни одна стеснительная мера, ни одно некорректное действие Пальмерстонов или Росселей. Особенно сильно пушила печать Англию, за сипаев, совершенно так же, как теперь пушат[86] ее за буров. Наша печать, привыкшая к миролюбию, гуманности, мягкости, снисходительности и всепрощению, до глубины души возмущалась жестокостью и кровожадностью, с какими англичане усиливались подавить восстание сипаев в Индии[87]. Счастливая, свободная печать глубоко сочувствовала порабощаемым сипаям, совершенно так же, как нынешняя печать сочувствует свободолюбивым и благочестивым бурам. Такая строгость и такое сочувствие восставшим, по мнению Добролюбова, были вовсе не к лицу нашей печати, и ее судейская роль относительно иностранных дел бе-

сила его не меньше, чем славословия «настоящему времени» и его гласности. Он возмущался карикатурами Степанова на англичан и французов и по поводу их написал на Степанова две эпиграммы, из которых, к сожалению, сохранилась только одна [88]. В печати, он издевался и глумился над стихотворениями Розенгейма [89], содержавшими в себе квинтэссенцию национального самохвальства и заносчивости перед иностранцами. У Розенгейма все это было возведено в перл создания. Запад — это «хилый старик, истративший силы в корчах козней и интриг»; иностранцы — это «фабриканты мятежей», тогда как «Русь — защита тронов, алтарей, правой власти, страх и ужас мятежей, слабейшего отрада, безверию упрек, безначалию урок» и т. д. Но печатные издевательства Добролюбова и пародии на стихотворения Розенгейма были только слабым выражением того негодования, той злости, какие возбуждало в нем это национальное бахвальство, свойственное не одному Розенгейму, но почти всей печати. Дать волю этому негодованию излиться в серьезной статье со всеми его мотивами и аргументами Добролюбов не признавал возможным. За англичан же он вступился и в серьезной статье старался убедить русских публицистов, что судить строго англичан и вообще все иностранные дела им вовсе не к лицу, непристойно, и что их приговоры, при их неуместности, еще и несправедливы. В своей статье, которая, к сожалению, не попала в собрание его сочинений, «Взгляд на историю и современное состояние Ост-Индии» [90] он писал следующее: «Теперь, даже среди ожесточения, какое возбу-

ждено в общественном мнении англичан неистовствами сипаев, раздаются уже в парламенте и на митингах голоса против злоупотреблений английского управления в Индии; в лондонских газетах печатаются статьи и письма, полные упреков Англии и сожаления об участи туземцев. В этой смелости, беспощадности, с которой во всякое время могут быть раскрыты общественные недостатки, заключается величайшая сила Англии». Этому последнему обстоятельству тогдашние публицисты не придавали никакого значения, а напротив пользовались им, как готовым и легким орудием против самих же англичан: вот, мол, сами англичане видят и сознаются, как они нехороши! К сожалению, для нынешних публицистов указанное обстоятельство служит только оружием против англичан же и не наводит их ни на какие другие размышления и соображения, чего никак нельзя было ожидать, по крайней мере, от тех из них, которые, повидимому, относятся к Добролюбову с уважением и которым поэтому не мешало бы принимать к сведению его указания и размышления. Постоянно занятый мыслью, как бы вернее подействовать на читателей, раскрыть им глаза, а главное, пробудить в них энергию, Добролюбов находил, что серьезные журнальные статьи для этого недостаточны, что в некоторых случаях шутка или насмешка могут действовать сильнее, чем серьезные рассуждения, и что в шуточной или сатирической форме возможно будет иногда провести в печать такие вещи, которые никак не пройдут в серьезной форме, и что, наконец, шуткой, насмешкой и издевательствами можно будет вернее убить ненавистную и само-

довольную фразу о настоящем времени. Поэтому Добролюбов убедил Некрасова предпринять издание сатирического журнала [91] в роде «Искры», которою он был не совсем доволен. Все было готово: был найден вполне благонамеренный редактор, зять Некрасова, заслуженный воин, потерявший ногу на поле сражения, были добыты требуемые рекомендации четырех генералов. Но все было напрасно: разрешения на издание не было дано. Нечего и говорить о том, как подействовало на Добролюбова это обстоятельство и насколько усилило лихорадку его недовольства вообще и в частности его негодования на фразу о процветании гласности. Чтобы поправить неудачу и взамен особенно сатирического журнала, решено было завести особый отдел в Современнике «Свисток».

Для серьезных отделов «Современника» Добролюбов очень много и усиленно работал; а с основанием «Свистка» для него прибавилась новая работа, за которую он принялся с его обыкновенною горячностью и нетерпением. В «Свистке» он часто смеялся, подобно Гоголю, сквозь невидимые слезы, свистал, например, по поводу таких вещей, как опыты отучения людей от пищи, т. е. мор рабочих голодом, сечение гимназистов, акционерные общества, учрежденные Кокоревым и Бернардаки [92], и т. п. Все эти усиленные труды в соединении с постоянно мучившей его моральной лихорадкой подорвали его здоровье, и друзья его настоятельно советовали, просто требовали, чтобы он отправился за границу, серьезно отдохнул бы там и полечился, оставив на время всякие литературные занятия. Уступая их настояниям,

он, хотя и очень неохотно, отправился за границу в конце мая 1860 г. через Берлин; побывав в Дрездене, Лейпциге и Праге, он проехал в Швейцарию, оттуда отправился в Диепп для лечения морскими купаньями и затем снова возвратился в Швейцарию. Из Швейцарии проехал в Париж и, пробыв в нем несколько времени, отправился в Италию, где и пробыл все время до возвращения в Россию. Уже находясь за границей, он все-таки помнил и заботился обо мне и о моих делах. В одном из писем к своему дяде [93], который ведал все его дела и на попечении которого он оставил двух своих младших братьев, он, точно предугадывая, что я посовещусь явиться в редакцию «Современника» с требованием денег за мою напечатанную статью, — поручил дяде справиться у казначея «Современника», получил ли я деньги за статью, и если не получил, то чтоб их мне послали, причем указал мой адрес. В том же письме по поводу моей второй статьи о расколе, встретившей цензурные затруднения, он писал: «Если же статью его не напечатали, то скажите, чтобы попробовали теперь. Она недурна, и цензура, вероятно, после смерти Григория стала сговорчивее». Дядя исполнил поручение, и вторая статья была напечатана; но денег и на этот раз мне не прислали, а пойти за ними я совестился.

Уезжая за границу, Добролюбов поручил меня вниманию Чернышевского, но не познакомил меня с ним лично. Все лето я провел вне Петербурга, возвратился только зимою и узнал, что Чернышевский давно разыскивает меня. Я явился к нему в первый раз в конце 1860 г. Увидав меня, он по первому же абцугу, даже, кажется, не поздо-

ровавшись, напустился на меня с упреками, почему я не доставил для «Современника» ни одной статьи и даже не давал знать, где я нахожусь, и не являлся за деньгами за статьи. Затем он вдруг переменил тон, развеселился, стал хохотать и совершенно по-приятельски стал расспрашивать о моих личных делах и занятиях и т. д. и в конце нашей довольно длинной беседы настоятельно требовал, чтобы я непременно писал для «Современника», и когда я стал отговариваться, что не знаю, о чем писать, то он опять рассердился и с досадою сказал: «По вашим напечатанным статьям я воображал, что вы бойкий и ловкий молодой человек, что у вас уже готово несколько статей; а вы, оказывается, ничего не сделали и даже не сумели найти сюжета для статьи. Добролюбов говорил мне, что вы чувствуете слабость к философии и знакомы даже с современной философией; ну, вот и прекрасно, пишите о философии, пишите обо всем, о чем хотите; берите и разбирайте какие угодно книги, только пишите!»

Я действительно стал писать для «Современника» и статьи и рецензии и потому имел почти постоянные сношения с Чернышевским, который находил мои статьи удовлетворительными и считал меня уже постоянным сотрудником «Современника». Сблизившись таким образом с Чернышевским, я увидел, до какой степени он ценил и высоко ставил Добролюбова и как глубоко любил и уважал его, как товарища, как друга и даже чуть не как учителя. В его глазах Добролюбов был недосягаемым идеалом человека и писателя. Он восхищался Добролюбовым, удивлялся ему,

чуть не благоговел перед ним. В редкие минуты откровенности и задушевности у Чернышевского было любимой темой разговора — сравнивать себя с Добролюбовым и унижать себя перед ним, конечно, совершенно несправедливо. Очень интересно то, что и Добролюбов точно так же относился к Чернышевскому, тоже постоянно сравнивал себя с ним не в свою пользу, ставил его во всем выше себя, считал его своим учителем и просветителем. Мимоходом следует заметить здесь, что в этих взаимных оценках Добролюбов был правее и ближе к истине, чем Чернышевский, который был убежден в противном и совершенно искренно ставил Добролюбова выше себя. — «Что мы?—говорил Чернышевский,—мы долго блуждали прежде чем поняли на настоящую дорогу, просветление наше совершилось медленно и постепенно и чего нам оно стоило? А вот он прямо со студенческой скамьи,— говорил Чернышевский,— встал окончательно установившимся и сформировавшимся, вполне развитым и цельным человеком, с стройным гармоническим мировоззрением, с твердо сложившимися убеждениями теоретическими и практическими и сразу стал на настоящую прямую дорогу. Он вышел из своего мрачного и монастырского института совершенным человеком, как Минерва из головы Юпитера. Он уже в самой ранней юности начертал свой вполне определенный жизненный план и ясно наметил цель своей жизни и деятельности; это мне известно доподлинно». «И какой у Добролюбова верный литературный взгляд, — удивлялся, бывало, Чернышевский, — какое тонкое чутье, какая проницательность; ее не обманет ничто и ничто не скроется от

нее. Вот я прочитаю что-нибудь, и мне оно кажется хорошо, естественно, искренно и правдиво; но прочитает это же самое Добролюбов и находит, что оно нехорошо, и неискренно, и неправдиво. Я потом посмотрю и, действительно, сам увижу, что я ошибался, а он прав».

Почти буквально то же самое говорил Добролюбов о Чернышевском. «Вот,—говаривал он,—у кого зоркий проницательный взгляд — у Чернышевского: он сразу охватит все и проникнет до самой сокровенной глубины». Особенно горячо и убежденно он повторял это после появления в «Колоколе» заметки «Very dangerous». «Да,—говорил он,—Чернышевского не мог ослепить даже блестящий Герцен: он мог ожидать от него подобной выходки, а я не мог, я — близорукий зритель!» Нужно заметить здесь, что Добролюбов был восторженным поклонником Герцена, и его крайне удивляло то, что Чернышевский, отдавая полную справедливость Герцену, отзывался все-таки о нем крайне сдержанно и даже холодно. Для успокоения Добролюбова Чернышевский превознес литературный талант Герцена, называя его блестящим. Но для Добролюбова этого было мало в прежнее время. Когда же ему был сделан неожиданный реприманд в виде «Very dangerous», он охладел к Герцену и тем больше удивлялся проницательности Чернышевского. К слову сказать, Чернышевский имел случай видеться с Герценом за границей, и они, кажется, остались не совсем довольны друг другом.

Особенно же высоко ценил Чернышевский в Добролюбове — и на этот раз уже абсолютно справедливо — удивительную силу убеждения и

страстную, непоколебимую решимость действовать всегда и везде согласно с этими убеждениями, не стесняясь ничем и невзирая ни на что. «Вот, — говаривал он, — настоящий человек дела, жаждущий дела. У него полная гармония между мыслью, словом и делом. В его глазах самые прекрасные намерения не имеют никакого значения и даже вызывают его неудовольствие, если они не стремятся проявляться в соответствующих действиях. И как он во всем строг, непоколебим и непреклонен! Никогда он не пойдет на малейший компромисс; никому и ни в чем он не сделает ни малейшей уступки. Ко всему он относится серьезно, осмысленно, прочувствованно и страстно. Вот я, — осуждал себя Чернышевский в самых задушевных, интимных и потому вполне искренних беседах, — не могу быть таким серьезным; к фактам и явлениям, которые Добролюбова возмущают и выводят из себя, я отношусь добродушно, даже шуточно и во всяком случае они возмущают меня менее, чем его». И действительно в обыкновенных случаях и в разговорах с не близкими людьми Чернышевский держал большею частью шуточный тон, острил, хохотал, даже если предмет разговора составляли и серьезные вещи. Но это была только обманчивая наружность, потому что, как это знали и видели люди близкие к нему, он все воспринимал и чувствовал, может быть, даже и глубже и живее, и его негодование в глубине его души было еще энергичнее, чем у Добролюбова.

Далее, Чернышевский удивлялся в Добролюбове неумолимой строгости, неподкупности и нелицеприятию в сношениях со всеми, кто бы

они ни были, знакомые ли, приятели, люди высокопоставленные в литературе, авторитеты или начинающие новички; со всеми он был одинаков и всем, нимало не стесняясь, резал в глаза правду-матку. «Я,—осуждал себя Чернышевский,— не могу быть строгим с людьми знакомыми, близкими или с людьми авторитетными, даже вообще с людьми добродушными и, что называется, милыми. У меня язык не поворачивается сказать им в лицо неприятную правду, духу не-хватает. Я никак не мог отказать в статье для «Атенея» милым людям, просившим меня о ней [94], и не мог сказать, что я не сочувствую их журналу, — за что Добролюбов издевался и хохотал надо мной. И, кроме того, милым и авторитетным людям я готов многое прощать и многое извинять в них. Вот Добролюбов, у него нет на лица зрения, он за дело всякого обругает в глаза без малейшего стеснения и церемонии и уж никому ничего не простит: к малейшему неправильному поступку отнесется с самым строгим осуждением». Относительно Добролюбова это было вполне справедливо; но и сам Чернышевский во многих случаях поступал еще строже и нелицеприятнее Добролюбова. В пример беспристрастия и нелицеприятия Добролюбова Чернышевский указывал на такой случай: «Посмотрите, какую штуку он отмочил. Он знаком и даже приятель с милейшим Алексеем Дмитричем Галаховым [95] и со всем его семейством: он ходит к ним в гости, и они его прекрасно принимают; он у них— свой человек; Алексей Дмитрич оказывал даже ему разные услуги,— и что же? Алексей Дмитрич дал маху: в напечатанном протоколе заседания

Литературного фонда написал бессмысленную фразу: «Если в каждом образованном человеке значительно развито чувство благородной деликатности, запрещающей не только не напрашиваться на пособие, но и *стыдливо принимать* пособие добровольное, то оно должно быть еще сильнее развито в человеке, посвятившем себя литературе и науке». Добролюбов подхватил эту фразу в «Свистке», прикинулся ничего не знающим и с ехидством восклицал: «Да где же Покровский с своим памятным листом ошибок в русском языке? Где А. Д. Галахов, который так громил, бывало, Греча и Ксенофонта Полевого? Хоть бы он вразумил этих петербургских литераторов, не умеющих писать по-русски со смыслом!» А ведь это сам же Галахов и написал. И как у Добролюбова хватило духу так зло посмеяться над знакомым, да еще таким милым и приятным человеком, и как он будет после этого смотреть в глаза ему и его семейству. У меня бы духу не хватило на это, а ему это ни по чем, он и в ус себе не дует. И дело-то неважное, сболтнул человек глупость, а Добролюбов возмущается, негодует на то, что русские литераторы, так сказать, законодатели русского языка, не умеют правильно выражаться по-русски».

В глазах Чернышевского еще более резким выражением строгости и нелицеприятия Добролюбова было его отношение к корифеям и ветеранам литературы. «Вы бы посмотрели, — говорил он, — как Добролюбов третирует их: обращается с ними сдержанно, холодно, даже сурово, а иногда просто запанибрата, не говоря уже об отсутствии почтительного и предупредительного внимания.

К милейшему, мягчайшему и утончейшему Тургеневу или к добрейшему Кавелину он относится небрежно и невнимательно, точно к какому-нибудь безвестному литературному новичку: он делает им замечания, даже подтрунивает над ними, а в печати подпускает шпильки, он не стесняется и не смущается перед ними и режет им свое. А с другими, столь же почтенными и заслуженными литераторами обращается еще дерзновеннее».

Следует заметить при этом в скобках, что несмотря на то, что Чернышевский при личных сношениях с литературными корифеями и авторитетами был с ними внимателен, почтителен и любезен, они, однако, не любили его еще больше, чем Добролюбова. Тургеневу, например, в то время приписывали такую фразу: «Добролюбов — просто змея, а Чернышевский — ядовитая гремучая змея» [96]. Но то совершенная правда, что Добролюбов очень не жаловал некоторых литературных корифеев и так называемых людей 40-х годов и вообще всех и менее известных литераторов, либеральничавших только языком и пером; он безжалостно осуждал и порицал их и всегда говорил о них раздраженным тоном. В них видел, так сказать, квинтэссенцию того, что он ненавидел больше всего на свете, что считал позором и преступлением со стороны всякого интеллигентного и мыслящего человека, а тем более литератора: прекрасные мысли, прекрасные намерения, прекрасные слова и никакого дела или даже непрекрасные дела. «И что это за люди, — с досадою говаривал он, — если мысли и намерения, лежащие у них в голове или по-

стоянно болтающиеся у них на языке, не оказывают на их деятельность никакого влияния, не проявляются в их действиях? Это бездушные механизмы, в которые вставлены красивые и блестящие погремушки; это деревянные шкапы, в которых лежат книги с прекрасным содержанием, которое не имеет никакого отношения к шкапам и не оказывает на них никакого действия. Нет, настоящее, действительное убеждение и намерение всегда бывает сильно и деятельно, оно одушевляет и охватывает всего человека, действует на его чувства, движет его волю и служит пружиною, управляющею всеми его действиями. Осуществление на деле действительного убеждения есть естественная, так сказать, инстинктивная потребность, удовлетворить которую убежденный человек стремится с такою же настойчивостью, с какою он удовлетворяет всякую другую естественную потребность. Прекрасные, но бездельные, платонические намерения столь же неестественны и бесплодны, как платоническая любовь.

Вот, например, Кокорев, какими он одушевлен прекрасными намерениями и какие либеральные речи произносит, — это тоже убеждения? Будучи откупщиком, громит откупа; будучи учредителем акционерных обществ, громит акционеров за то, что они не строго смотрят за действиями своих учредителей. Вот это полное согласие между словом и делом. А то есть стихотворцы, которые сочиняют и печатают высоконравственные стихотворения, воспевают красоту добродетелей и тленность земных благ, и в то же самое время занимаются ростовщичеством и предаются гряз-

ному разврату. Это тоже стихотворное выражение убеждения?!» Эти мысли были любимой темой, которую Добролюбов постоянно развивал на словах и в печати.

Поэтому вполне естественно, что Добролюбов не мог питать уважения к прекраснодушным людям 40-х годов и похожим на них литераторам других годов и его времени. Особенно сердило его то, что подобные люди были высокого мнения о себе, гордились своею бездельною платоническою любовью к людям, к общему благу и фарисейски презрительно смотрели на толпу, не выражающую даже на словах такой любви. Я уже рассказывал печатно [97] один случай, очень характерный для Добролюбова и очень типичный для его отношения к этим людям. Литераторы и другие почитатели и сверстники Белинского устраивали ежегодно в честь его обеды, на которых прекрасные тосты и прочувственные речи лились такой же рекой, как и прекрасные вина. На один из этих обедов приглашен был и Добролюбов, как сотрудник «Современника»... Добролюбова же картина этих *обедов возмущала и бесила;* он не мог равнодушно слышать прекрасных, но платонических восхвалений Белинского и внимал им с лихорадочным негодованием, которое нашло себе такой исход: он написал на этот обед сатиру и разослал ее выдающимся участникам обеда. Подобную же проделку устроил Добролюбов, еще будучи студентом педагогического института. Возмущенный празднованием юбилея Греча [98], он написал тоже сатиру на этот юбилей и стал ее распространять повсюду. Она дошла до институтского начальства, и только

*

полная откровенность и показное раскаяние избавили его от начальственной грозы и беды. К сожалению, этой сатиры нет у меня. Но сатира на празднование в честь Белинского есть. Я уже приводил ее в печати в сокращении. И здесь я не привожу последних четырех строк. В конце стихотворения Добролюбов до того разгорячился, что уже не мог найти достаточно сильных слов для выражения своего негодования и употребил грубое, бранное выражение, — он и не предназначал своего стихотворения для печати.

На тост в память Белинского, 6 июня 1858 года

И мертвый жив он между нами
И плачет горькими слезами
О поколенье молодом,
Святую веру потерявшем,
Холодном, черством и немом,
Перед борьбой позорно павшем...
Он грозно шел на грозный бой,
С самоотверженной душой
Он, под огнем врагов опасных,
Для нас дорогу пролагал
И в Лету груды самовластных
Авторитетов побросал.
Исполнен прямоты и силы,
Бесстрашно шел он до могилы
Стезею правды и добра,
В его нещадном отрицаньи
Виднелась новая пора,
Пора действительного знанья.
И умирая думал он,
Что путь его уже свершен,

Что молодые поколенья
По им открытому пути
Пойдут без страха и сомненья,
Чтоб к цели, наконец, дойти.
Но молодые поколенья
Полны и страха и сомненья, —
Там, где он пал, на месте том
В смущеньи рабском суетятся
И им проложенным путем
Умеют только любоваться.
Не раз я в честь его бокал
На пьяном пире поднимал
И думал: «только! только этим
Мы можем помянуть его!
Лишь пошлым тостом мы ответим
На мысли светлые его!»
Пока мы трезвы, в нашей лени
Боимся мы великой тени...[99]

. . . . . .

Понятно, какое впечатление эта выходка должна была произвести на молодое поколение времени Белинского, сделавшееся теперь уже старшим поколением, на почтенных литераторов, учеников и друзей Белинского, и как они должны были отнестись к мальчишке самоновейшего поколения, который вздумал поучать и даже обличать и бранить их, и в то же время был чуть не первым лицом в редакции журнала, издаваемого их сверстниками, такими же, как и они, учениками и друзьями Белинского. Это, конечно, переполнило чашу их терпения, и они, вероятно, поставили решительный ультиматум[100] редакторам «Современника»: выбирайте: или он, или мы, а вместе с ним мы не можем. Как ни старался

Некрасов примирить враждующие стороны и предупредить разрыв, но ничего не мог добиться и сам он, увлеченный личностью Добролюбова, стал на его сторону, чем окончательно оттолкнул от себя старых литературных друзей. Поэтому могло казаться, как и казалось многим, что Добролюбов своею непочтительностью, своими резкостями и дерзостями был яблоком раздора и главным виновником раскола между старым и молодым поколением литераторов как в самом «Современнике», так и вне его. Но это совсем неверно. Причины раскола лежали гораздо глубже и были гораздо серьезнее, чем личные отношения между литераторами. Раскол неизбежно произошел бы, если бы даже Добролюбов был изыскано любезен и почтителен со старшими литераторами.

Дело в том, что около начала 60-х годов особенно резко выразилась и окончательно установилась дифференцировка как между литераторами, так и вообще между интеллигентными людьми. В прежние патриархальные времена, времена аркадской невинности или наивности, литераторы и интеллигентные люди составляли почти одну только общую группу, или хоть и несколько, но весьма немного групп, объединявшихся слишком отвлеченною и широкою общностью понятий, интересов, стремлений и вкусов; согласие в общем и в отвлеченностях не нарушалось разногласиями в конкретных частностях и подробностях, особенно практических, которым даже не придавалось особенного значения. Человек сочиняет и печатается, значит, он наш брат, литератор; с ним можно вести знакомство, приятельство и дружбу. Проявляется человек

интеллигентный; он хоть не литератор, но интересуется литературой и серьезными отвлеченными вопросами; он тоже наш брат и тоже может быть в нашей компании. И вот люди сходились, сближались, дружили, собирались вместе, разговаривали разговоры, вели академические беседы о важных отвлеченных вопросах, ни к чему не обязываясь, ничем не смущаясь, ничего не боясь и никого не остерегаясь, словом, «не предвидя от сего никаких последствий», как невинные птички. Славянофилы и западники враждовали между собою только академически, и эта вражда не имела практического значения, практической жгучести [101]. Да и они составляли собственно только две подгруппы одной группы, противоположную группу составляли только, так сказать, уроды литературной семьи: Сенковский, Греч и Булгарин.

Но в начале 60-х годов в моральной и общественной атмосфере совершилось что-то такое, вследствие чего у литераторов и интеллигентных людей открылись глаза на многое, чего они прежде совсем не замечали, подобно тому как первозданные люди, прежде не замечавшие, что они нагие, после грехопадения вдруг почувствовали и увидели свою наготу. Члены прежних больших приятельских групп увидели, что общие вопросы философии, этики и эстетики почему-то теряют первенствующее значение, а на место их выступают, даже, может быть, не гласно и не открыто, «проклятые» вопросы внутренней политики; ближе разглядели, что хотя все они одинаково желают лучшего и стремятся к улучшениям, но представления их об этих улучшениях весьма различны. Приятели литераторы и интел-

лигенты вдруг почувствовали, что разговоры разговариваются не для одного времяпрепровождения, а для чего-то более серьезного, для того, чтобы из разговоров выходило какое-нибудь дело, что сочувствующий известным разговорам как будто принимает некоторое обязательство действовать согласно с этим разговором, что вообще разговоры могут иметь «последствия», так что от иных разговоров благоразумнее совсем устраняться. Одновременно с этим и в окружающей внешней, по властной среде произошла соответствующая перемена. В этой среде оживилось и усилилось опасение, что чтение может служить не только для развлечения и увеселения, но и для чего-нибудь более серьезного, и ей действительно показалось, как будто печать не только развлекает читателей, но и пытается поучать их стремиться к тому, чтобы они из чтения выносили что-нибудь и вносили его в жизнь, чтобы они и поступали сообразно с тем, что они вычитали в печати. Это стремление, действительное или только подозреваемое, послужило поводом к тому, что за печатью стали наблюдать не только с одной технической, цензурной стороны, но и со стороны действия и влияния ее на читателей, что было неуловимо для цензуры, но уловимо для особо призванных людей, обладающих особым чутьем. И вот это-то чутье и решало репутацию и судьбу и отдельных литераторов и целых органов печати. И таким образом в понятиях указанной сферы печать разделена была на два сорта: на овец и козлищ; и один сорт признан был не имеющим права претендовать попасть под сень того, что называется покровительством

печати или даже терпимостью ее; [было признано — *В. Е.-М.*], что одной части печати нужно покровительствовать и поощрять ее, а другой нет, — что в свою очередь, имело влияние на дифференцировку как писателей, так и читателей.

Вследствие указанных перемен прежние большие и общие группы литераторов и интеллигентов распались, и из них образовались более частные, но более определенные и резкие группы, более требовательные и строгие относительно своих членов. И это распадение произошло совершенно естественно, без всяких личных враждебных поводов. Каждому пришлось пересмотреть свои отношения к окружающим, свои знакомства с новой точки зрения, более специальной и определенной. При этом не один мог притти к такому заключению, что от некоторых сношений и знакомств лучше совсем отказаться, хотя от них нет никаких личных неприятностей, обид и оскорблений, лучше уйти от греха, чтобы не давать повода судить о себе по тайным рискованным знакомствам.

Я имел случай видеть воочию, наглядно, разительный пример такого естественного раскола, такой резкой дифференцировки. Зимою 1860 и начала 1861 г. у Чернышевского собиралось по вечерам многочисленное и очень разнообразное общество: старые и молодые литераторы, старые и молодые профессора университета, старые академики, профессора военной академии, сделавшиеся впоследствии очень высокопоставленными лицами, офицеры генерального штаба, молодые и старые врачи и другие интеллигентные лица. Они все мирно и весело проводили время в приятных академических беседах и непринужденных разго-

ворах; хорошо помню, что однажды был даже продолжительный разговор и спор о краледворской рукописи [102]. Сам хозяин беззаботно острил и шутил, хохотал и веселился, кажется, больше всех. Весною же и летом 1861 г. все это отрезалось, как ножом. Почти вся компания отшатнулась от Чернышевского и от его тесной интимной компании, и Добролюбов был тут решительно не при чем; его даже в Петербурге не было в это время и потому никак нельзя было сказать, что он отпугнул эту компанию. Зимою конца 1861 г. к Чернышевскому в гости не являлись уже профессора ни штатские, ни военные, не являлись ни старые литераторы, ни академики, ни офицеры генерального штаба, за исключением одного или двух, да и то польского происхождения. Обширный круг знакомых и приятелей Чернышевского сузился в тесный кружок, в котором были только молодые начинающие литераторы, а из старых только издатели «Современника», да несколько интересовавшихся литературой интеллигентных лиц.

Вспыхнула опасная, заразительная болезнь нигилизма, хотя кличка эта еще не была пущена в ход, и все принимали меры, чтобы предохранить себя от заражения этой болезнью, или же чтобы противодействовать этой заразе и истребить ее.

Чернышевский в своих письмах к Добролюбову за границу много писал ему об этой «изумительной», как он выражался, перемене, происшедшей в русском обществе в его отсутствие. Добролюбов тоже с изумлением признавался, что он не может понять и представить себе, что это

за перемена, как она произошла и чем вызвана [103]. Но, возвратившись из-за границы, он воочию увидел ее и понял.

Добролюбов пробыл за границей больше года; но здоровье его не только не поправилось, но еще ухудшилось. Он ехал туда, чтобы забыть все и отдохнуть душою. Но он ничего не мог забыть и не отдохнул. Он продолжал много работать и писать для «Современника», что, конечно, постоянно напоминало ему о русских делах и растравляло его раны. Большую часть времени за границей, конец 1860 г. и всю первую половину 1861 г., он провел в Италии и тоже в постоянной работе. Помимо журнальной работы он изучал политические движения объединявшейся тогда Италии и написал около десяти печатных листов об итальянских делах [104]. Но итальянские дела не до такой степени увлекали его, чтобы из-за них он мог хоть на минуту забыть об отечественных делах, и в его статьях об итальянских сюжетах (особенно в статьях «Отец Александр Гавацци и его проповеди» и «Непостижимая странность») заметны даже довольно прозрачные кивания на домашние дела [105], и он как бы хотел сказать при отрадных явлениях: вот если бы и у нас так! а при безотрадных: точь-в-точь, как у нас!

Его болезненное состояние, поддерживаемое нравственными муками недовольства и негодования, еще более ухудшалось вследствие материальных забот. Он должен был помогать своим сестрам и содержать в Петербурге двух младших братьев; его постоянно мучила мысль, что он не заработает столько денег, чтобы покрыть все

расходы, и он должен будет прибегать к неприятным авансам из кассы «Современника». Под влиянием этого опасения он, с одной стороны, много и усиленно работал, а с другой стороны — соблюдал большую экономию и отказывал себе во многом, что для больного человека было, конечно, не безвредно. У меня сохранилась памятная книжечка Добролюбова, составлявшая его приходо-расходный журнал, веденный во время путешествия за границей. Оказывается, что он аккуратно, точно ответственный кассир, записывал все даже мелочные расходы, каждую истраченную копейку. В книжке есть, например, такие записи: «В Праге — бифштекс и черносецкое вино — 60 крейцеров; шарманщику 2 крейц. В Теплице Lesezimmer entrée — 15 крейц. В Интерлакене — нищей девочке — два раза по 10 сантимов; певицам на пароходе — 30 сант., девочке за ягоды — 10 сант.» — Тут же записывался и приход, и через известные промежутки выводился остаток, как у настоящего форменного кассира. Очевидно, это делалось с тою целью, чтобы во всякое время знать состояние своих финансов, чтобы как-нибудь не сделать перерасхода и не выйти из бюджета, — забота очень беспокойная, особенно для больного человека.

Говорят, — хотя я сам не слышал от него об этом, — будто в Италии у него начинался роман [106], будто он влюбился в какую-то итальянку, ухаживал за нею и даже думал жениться на ней. Но почему-то роман кончился ничем, и итальянская сирена не удержала его в Италии; он рвался домой несмотря на убеждения друзей остаться за границей подольше и серьезно

лечиться. На все их уговоры он отвечал одно: «У вас там чорт знает что такое делается, какие безобразия творятся: вы же сами пишете о каких-то зловещих «переменах». Нужно быть на месте и что-нибудь делать; нельзя же сидеть, сложа руки, и любоваться отечественными безобразиями из прекрасного далека». Кроме того, он рвался домой еще и потому, что считал необходимым сменить Чернышевского, на котором лежала вся тяжесть работы по «Современнику». и дать ему возможность хоть немного отдохнуть. Добролюбов возвратился через Одессу в июле 1861 г., побывав по дороге в Афинах. Здоровье его за границей не поправилось, а даже ухудшилось. Едва он вступил на русскую почву, как это сказалось недобрым симптомом: у него хлынула кровь горлом. Доктор советовал ему подольше отдохнуть в Одессе в виду предстоящего ему трудного путешествия на лошадях до Харькова. Но он не послушался доктора, помчался в Петербург и прибыл в августе. По приезде в Петербург он увидел и понял изумительную перемену, происшедшую в русском обществе. Друзья и знакомые встретили его нерадостными новостями. Цензура, и до того строгая, стала еще строже и притом особенно была нетерпима в одном направлении, именно против усмотренной в воздухе заразы нигилизма, хотя это слово еще не было произнесено и не стало лозунгом и боевым кличем, каким оно сделалось лишь в следующем году. Действию этой заразы были приписываемы даже такие вещи, как пожар Апраксина рынка с окружающими зданиями, студенческие волнения и всякие другие волнения.

Постоянная мучительница Добролюбова, русская самодовольная печать, приготовила для него новую муку; она с своим обличительным отделом тоже выступила в поход против нигилистической язвы, которою, по ее мнению, был заражен и Добролюбов и весь «Современник», и во главе этого похода стояли со знаменем и с лозунгом заслуженные литераторы, поклонники и друзья Белинского, которых он и прежде сильно недолюбливал. В близких к Добролюбову кругах был переполох и царствовало уныние. Распространялись самые нерадостные вести: запрещение статей, смена снисходительных цензоров, заподозривания, обыски, аресты, ссылки и т. п. Его лихорадочное негодование повысилось еще на несколько градусов, и таким образом его в два кнута истязали две болезни: моральная и физическая. Но он крепился, бодрился и работал, не покладая рук. По его возвращении Чернышевский немедленно уехал в Саратов к отцу, и на Добролюбова легла вся тяжесть журнальной работы, причем тоже раздражали его и беспли — конечно, против воли и против всякого желания — сотрудники «Современника», в том числе и я грешный.

Однажды, придя к нему, я застал его за чтением корректуры моей рецензии о логике Гегеля, к которой я пристегнул и логику какого-то Поморцева [107]. Едва поздоровавшись, он накинулся на меня и распушил в пух и прах. «Ужасно хорошую рецензию вы написали, — заговорил он,— и как многое провели в ней?! Не могли вы найти что-нибудь получше и поучительнее?! Даже логика Гегеля сама по себе не представляет ничего поучительного, а вы еще приплели какую-то

дрянь Поморцева, которого трогать не стоило... А кроме того, фразерство какое-то, — и он прочитал несколько фраз из рецензии, — чистейшая риторика!» Переконфуженный и смущенный я сказал: «Так я ее поправлю и сокращу; а то лучше всего ее совсем бросить». Эти слова еще больше рассердили его и он резко заметил: «Мы вовсе не так богаты, чтобы бросать и швырять готовые рецензии; у нас печатается многое, что еще хуже этого». И рецензия действительно была напечатана без всяких изменений и сокращений. Из слов Добролюбова я вывел приятное для моего самолюбия, но неприятное вообще заключение, что ему портили кровь не одни только мои рецензии, но и статьи других сотрудников, не вполне его удовлетворявшие. Литературный горизонт омрачался все более и более, общественная атмосфера становилась все удушливее и губительно действовала на болезненную чувствительность вообще крайне восприимчивого Добролюбова. Носились мрачные зловещие слухи, часто неверные или, по крайней мере, преждевременные. Уверяли, например, положительно, что Чернышевский уже не возвратится из Саратова в С.-Петербург, что ему запрещен будто въезд в столицу или даже он будто арестован. Этот слух доконал Добролюбова. Бледный, дрожащий, глухим, задыхающимся голосом он в отчаянии воскликнул: «Что же это такое? до чего мы дожили? что нам делать? и ниоткуда нам нельзя ожидать ни помощи ни защиты, а сами мы бессильны!» Подобные слухи, вести и факты, подтверждающие эти вести, окончательно придушили его; он слег в постель, чтобы уже

не встать с нее, хотя и тут еще порывался писать и работать. Чтобы еще более не огорчать его и не усиливать его негодования, окружающие его скрыли от него довольно настойчивый слух такого же рода, какой ходил относительно Чернышевского, будто бы только благодаря безнадежному положению он оставлен был в покое.

Умер Добролюбов 17 ноября 1861 г.

Так угас этот блестящий литературный светоч, так сгорел огнем физических и нравственных страданий этот постоянный мученик во всю свою короткую жизнь; умирая, он с полным правом мог сказать своему другу:

Милый друг, я умираю
От того, что был я честен.
Милый друг, я умираю,
Но спокоен я душою...
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею!

Друг пошел тою же стезею и кончил так же, сгорел тем же, но медленным огнем [108].

VI. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О НИКОЛАЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ НЕКРАСОВЕ

После пятилетней совместной журнальной работы с Николаем Алексеевичем Некрасовым в «Современнике» мы расстались очень недружелюбно, да прямо-таки сказать, даже с враждебными чувствами, которые выразились с моей стороны в горячем и страстном полемическом нападении на него [109]. В основе этой враждебности лежали, конечно, серьезные и общие причины; но в возбуждении и подкреплении ее участвовали также элементы не важные, временные, личные, излишняя горячность и жар увлечения. С тех пор прошло более 35 лет [110], и этого долгого времени было более чем достаточно для того, чтобы утишилась и исчезла всякая враждебность, особенно вызванная личными мотивами, чтобы улетучилось и забылось все мелкое, случайное, личное и чтобы поэтому выступило в надлежащем свете все существенное, общее и непреходящее. И вот теперь, когда я спокойно и объективно вспоминаю о Некрасове, рассматриваю его издали, на расстоянии, так сказать, исторического выстрела, то те черты его личности, которые когда-то казались недостатками, представляются теперь ничтожными и мелочными в сравнении с основными крупными и доминирующими чертами ее, точно это будто только родинки или пятнышки

на красивом лице, которые нисколько не умаляют его красоты, — точно пыль на хорошем портрете, которая заметна только при близоруком рассматривании и нимало не вредит достоинству портрета при надлежащей точке зрения на него. Рассматриваемая с исторической объективностью, в общем и целом, личность Некрасова является перед нами очень выдающеюся, мало того, очень замечательною, весьма крупною и чрезвычайно даровитою, не говоря уже о нем, как о поэте.

При оценке Некрасова обыкновенно или вовсе упускается из виду или же недостаточно резко выставляется на вид одно важное обстоятельство, сильно возвышающее его личность. Обстоятельство это состоит в том, что Некрасов был автодидактом, попросту — самоучкой. Его домашнее воспитание могло дать только отрицательные результаты; школа также не дала и не могла дать ему ничего; он имел только внешнее касательство к школе, был только временно и, так сказать, для проформы приписан к гимназии, которой не кончил, и к университету, из которого тоже вскоре ушел [111]. Ничто не содействовало его умственному развитию и обогащению знаниями; серьезных, будящих ум лекций он не слыхал, серьезных, развивающих книг он не читал, потому что в то время или вовсе не было таких книг на русском языке или было очень мало, а иностранных языков он не знал; да, наконец, у него в юности не было досуга, который можно было бы посвятить на чтение в целях самообразования и саморазвития, потому что все его время уходило на борьбу за существование, на рысканье и погоню за куском хлеба. Литераторы-сверстники и при-

ятели Некрасова находились в гораздо лучших условиях. Они прошли систематическую школу, кончили университет, знали иностранные языки, читали иностранные книги, путешествовали за границей, некоторые слушали лекции тамошних профессоров. У Некрасова ничего этого не было; он был настоящий доморощенный самоучка. И вот мы видим, что этот человек, несмотря на такую скудную, неудовлетворительную подготовку, стоит во главе лучшего журнала с прогрессивным, строго выдержанным направлением, служит центром кружка лучших людей своего времени, своей поэзией неотразимо и благотворно действует на современное ему поколение и на последующие поколения и вообще оставляет глубокий, неизгладимый след в русской литературе. При этом невольно представляется вопрос, что вышло бы из этого человека и что он еще сделал бы, если бы мог действовать во всеоружии высшего образования и обширных знаний?

Правда, Некрасов имел счастье, а может быть, имел умение попасть в кружок основательно образованных и развитых людей, с более обширным кругозором, вследствие их знакомства с иностранными литературами или хоть вообще с иностранным духом. Они, конечно, много содействовали его развитию; от них он, при своей восприимчивости, многому мог научиться и подняться на высшую точку зрения при обзоре окружавшей его жизни. Но в умственной, теоретической сфере они отделялись от него значительной дистанцией, и в верхних областях знания и мышления он не мог равняться с ними, войти в их теоретические интересы и понять их. Он не

мог заинтересоваться ни гегельянством, ни всякими другими философствованиями; не мог он интересоваться каким-нибудь Пьером Апфантеном [112], как интересовался им, например, юный Салтыков. Для этого не было у Некрасова ни почвы, ни подготовки. Но при всем этом, благодаря силе своего ума и крепости своего здравого смысла, он сумел выработать себе определенное мировоззрение, в общем согласное с тем, которое проводилось в его журнале и которое он считал своим. В области не отвлеченно-философской, а в суждениях и вопросах современной жизни и окружающей действительности он стоял на одинаковой высоте со своим кружком и в этих пределах имел точно установившиеся взгляды, вполне определенные энергические убеждения, которые так ярко блещут в его поэтических произведениях.

Поэтическую репутацию Некрасова можно считать окончательно установившейся; большое значение и высокую ценность его поэзии можно считать общепризнанными. Против поэзии Некрасова раздавались и раздаются только голоса тех, которые судят о ней исключительно с эстетической точки зрения или даже не с общеэстетической, а с узкоэстетической, исключительно лирической точки зрения и которые воображают не только вопреки литературе всех веков и народов, но и вопреки риторике и пиитике, будто вся поэзия состоит только в лирике. Некрасов — не лирик, следовательно, он — не поэт. Такой односторонней, несправедливой оценке помогает и стих Некрасова. В его стихе нет соловьиных трелей, нет сладкозвучных мелодий и нежной,

серебристой и чарующей гармонии. Стих его силен и энергичен, но прост, естественен, без всяких искусственных вычур и украшений, так сказать, ляпидарен, иногда он даже грубоват и тяжеловат. Это новый аргумент, что Некрасов — не поэт, что его поэзия стоит немногого с эстетической точки зрения.

Действительно, Некрасов не был лириком, или бывал им только редко, так сказать, мимоходом. Прежде всего, в его поэзии не было красивых дум, отвлеченного философского элемента. Высшие философские вопросы, столь волнующие и раздражающие ум, увлекательные самою своею недоступностью и неразрешимостью, не волновали музы Некрасова; его не мучили вопросы в роде следующих:

Sagt mir, was bedeutet der Mensch?
Woher ist er kommen? Wo geht er hin?
Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen? *

Подобные вопросы занимали поэтическую голову даже такого лирика, как Кольцов, не говоря уже о Пушкине и Лермонтове и о мировых поэтах. Но муза Некрасова вся погружена была в вопросы низшего, наглядного бытия, в проклятые вопросы обыденной жизни с ее прозаическими потребностями, злобами, язвами. Далее, у Некрасова фантазия была не такая, как обыкновенно бывает у лириков, не плавающая и не

* Кто же решит мне, что тайна от века?
В чем состоит существо человека?
Как он приходит? куда он идет?
Кто там вверху под звездами живет?

Перевод *Добролюбова* [113]. *(Прим. авт.)*

порывистая; у ней не было лирической вольности и необузданности. Она не уносилась быстрыми полетами в неземные сферы, в заоблачные выси, в страну прекрасных грез и мечтаний и не создавала там неожиданных и необычайных, грандиозных, сказочных образов и картин. Нет, она постоянно витала на земле; она рисовала большей частью некрасивые картины земной, часто жестокой и возмутительной жизни, но зато жизни не фантастической, а действительной, реальной. Наивысший предел полета Некрасовской фантазии — это «Мороз — красный нос». Все силы его фантазии были устремлены на изображение горя и страданий обыкновенных людей и преимущественно обездоленных людей, меньшей братии. Она сама болела и мучилась этими страданиями, живо сочувствовала им и в других возбуждала это сочувствие. И она изображала их так поэтически, ярко, наглядно и осязательно, что действовала не только на ум, но и на чувства читателя, в которого переливались чувства самого поэта и созвучно звучали с его чувствами. Далее, фантазия Некрасова не создавала необыкновенных героев, титанов с демоническими страстями и бурными порывами, из которых вытекают страшные коллизии и шумные трагедии, потрясающие и ошеломляющие нас. Даже в этической области она не создала сатанинских типов людей, гордых своею независимостью, непреклонно упорных, с несокрушимою и неукротимою свободою и силою, смело, даже дерзко вызывающих на борьбу все силы мира и ада, все власти земные и преисподние, не преклоняющихся перед бессмертными и всесильными богами и даже перед главою их,

самим Зевсом, — этих типов Прометеев классических, мильтоновских, шиллеровских, байроновских и других, в которых так ярко выражается могущество свободной, в самой себе имеющей опору человеческой личности, и которые служат таким утешением и отрадой, такой поддержкой и ободрением для столь же непреклонных, но не столь могучих характеров, изнурившихся и изнемогающих в подобной же борьбе за свободу своего духа. В поэзии Некрасова мы видим средних, обыкновенных, добрых или злых людей, достоинства, недостатки и все хорошие или дурные деяния которых не очень превышают средний человеческий уровень. Все геройские подвиги добрых большею частью состоят только в том, что они стойки, мужественно переносят свое обыкновенное горе и свои обыкновенные страдания или же глубоко сочувствуют таким же страданиям и горю других. Но зато это все — люди вполне естественные, попадающиеся на каждом шагу, близкие и родственные нам, и мы близко принимаем к сердцу их мысли и чувства, их радости и горе. Столь излюбленная лирическими поэтами и столь привлекательная для большинства тема о любви между разными полами — почти вовсе не затронута поэзией Некрасова; он касается ее изредка, так сказать, мимоходом и как будто только потому, что такой повсеместной, общераспространенной темы уж никак нельзя было избежать и обойти. Муза Некрасова не воспевала прелестей любви, ее упоений и восторгов, ее мук и страданий; она не давала нам увлекательных картин мирно воркующих голубков или влюбленных, пожираемых пламенною

страстью, вечно неразлучных в жизни и в смерти или вечно и невыносимо страдающих в разлуке. Нет в поэзии Некрасова и прелестных картинок природы, дыхания эфиров, трелей соловья, благоуханья роз, ночной таинственности и истомы, багряных зорей и других восхитительных уголков природы, обыкновенно составляющих в лирике подходящую рамку для увлекательных картин любви на лоне природы. Ее более занимала общая человеческая любовь, любовь ко всякому ближнему без различия пола, особенно к страждущему и обремененному.

Вообще поэзия Некрасова не была светлою, веселою и жизнерадостною, а была мрачна и угрюма; сатира ее и юмор почти всегда отдавали элегией. Его лира не была украшена яркими цветами и красивыми лентами, а была почти всегда окутана трауром и плерезами. Ее излюбленными темами были страдания, горе и печаль. Но и такие неприятные сюжеты настоящая эстетическая, т. е. лирическая, поэзия может трактовать приятно, весело и красиво. Изображая такие сюжеты, она не нагонит на читателя тоски и печали, а, напротив, облегчит его душу, повергнет его в грустную, но приятную задумчивость и истому. Он испустит из своей груди несколько тяжелых, сочувственных вздохов, прольет несколько слез умиления и тем вполне облегчит и успокоит свою взволнованную печальными картинами душу. Поэзия Некрасова не может дать таких эстетических впечатлений; изображаемые ею возмутительные и скорбные картины вызывают не одни только вздохи сочувствия, не одни слезы умиления, не успокаивают

души, а, напротив, волнуют и терзают ее, вызывают чувства деятельного сострадания, неудовольствия, негодования, злобы или мести. Очень понятно после этого, почему эстетические критики так недовольны поэзией Некрасова и предпочитают ему такие поэтические посредственности, как Фет, Майков и даже Апухтин. Человек усталый, измученный злободневной суетой, почувствовавший отвращение к пошлой житейской прозе, расстроившийся первы в суете и борьбе обыденных интересов, хочет отдохнуть, успокоиться и хоть на время забыться и для этого удаляется в светлую поэтическую область, где нет ни печали, ни воздыхания; хочет подышать живительным и успокоительным ее воздухом и упиться целебным бальзамом сладких поэтических вымыслов. Он берет своего любимого лирика, надолго погружается в чтение его и вполне достигает цели: тревога его души смиряется, морщины на его челе расходятся и первы успокаиваются; он облегчен и доволен. Поэзия произвела на его душу такое же действие, какое произвел бы на его тело, а может быть и на душу валериановый настой или стакан любимого хорошего вина. Поэзия Некрасова не годится для такой цели; она не может служить успокоительным и анестезирующим бальзамом для взволнованной и ищущей успокоения души; напротив, еще больше волнует и возбуждает ее, вызывая не поэтическое забытье, а разного рода неприятные и горькие чувства.

Таким образом Некрасов был поэтом односторонним; только отчасти он был лириком, а главным образом и преимущественно он был

дидактическим поэтом. Это, конечно, эстетический недостаток. Лирический элемент, лирические мотивы и типы сделали бы поэзию Некрасова еще разнообразнее, сообщили бы ей большую прелесть и увлекательность. Но в этой же односторонности его поэзии и состоит ее достоинство, ее сила и ее великая заслуга. Сконцентрированная и сгущенная в одной специальной области, она приобрела тем большую напряженность и производила тем больший эффект. И как знать, если бы Некрасов живее интересовался и сильнее увлекался областью лирической поэзии, универсальными и общечеловеческими мотивами и образами, то, может быть, он не так живо принимал бы к сердцу менее обширные, но более насущные и непосредственно родные нам интересы. Поэзия Некрасова именно вследствие своего дидактического характера и боевого настроения действует на читателя сильно, неотразимо и благотворно. В самом деле, она не убаюкивает читателя, не клонит его к приятной дремоте, к сладкому эстетическому сну, не располагает его к квиетическому спокойствию, к мечтательной задумчивости, не приводит его в поэтическую истому и упоение. Она будит в нем не всеобъемлющую и потому почти беспредметную мировую скорбь и не безграничную и потому тоже почти беспредметную мировую любовь, «*целующую*» не только «*землю*», но и всю вселенную. Нет, она будит даже сонного читателя, возбуждает, волнует его, вызывает порыв к энергической деятельности, зарождает в нем желание помочь повседневному горю, но не мировому неопределенному горю, а тому местному действительному

и осязательному горю, которое она изображала так поэтически, так ярко, живо и образно и с таким искренним и глубоким сочувствием. У кого преобладают эстетические чувства и потребности, кто ставит их на первый план, тот в поэзии Некрасова или вовсе не найдет или найдет мало пищи для себя. Но кто выше всего ставит этические чувства, кому дорого напряжение, укрепление и закаливание их, тот найдет себе полное удовлетворение в поэзии Некрасова и высоко оценит и полюбит его.

Поэтические заслуги Некрасова общеизвестны и общепризнаны; но этого нельзя сказать об его не менее значительных заслугах в области журналистики. А между тем и они очень важны. Некрасов был идеальным редактором-издателем и довел свой журнал «Современник» до почти идеального совершенства. Конечно, в этом деле ему много помогли его сотрудники; но во всяком случае он был здесь инициатором и центром, окружившим себя такими сотрудниками. И честь выбора подходящих к редакторским целям сотрудников всецело принадлежит ему. Что Некрасов привлек в свой журнал Белинского, это не было особой заслугой с его стороны и не служило доказательством его редакторской проницательности. Литературная репутация Белинского тогда уже прочно установилась в литературных кругах, общим голосом которых был признан его критический талант, и таким образом Некрасов следовал только общему голосу, приобретая Белинского для своего журнала. Если

бы Некрасов предоставил свой журнал в распоряжение Чернышевского и Добролюбова уже после того, как они заявили себя такими дельными, серьезными и талантливыми журналистами и публицистами, то в этом также не было бы никакой заслуги. Но Некрасов привлек Чернышевского в «Современник» еще тогда, когда Чернышевский был просто скромным сотрудником в «Отечественных Записках» Краевского, который не пускал его дальше библиографии. Вне же журнальной сферы Чернышевский казался ученым неудачником, который позорно провалился со своей магистерской диссертацией «Эстетические отношения искусства к действительности» и не получил искомой ученой степени. Но Некрасов не смутился этим; пригласивши в свой журнал и поближе узнавши этого ученого неудачника, он сразу оценил его и предоставил ему критический отдел в журнале. Добролюбов в глазах литераторов, сверстников и друзей Некрасова был мальчишкой, не имевшим солидной подготовки и подкладки и умевшим скрывать отсутствие их запосчивостью и самоуверенностью. Но Некрасов тоже сразу оценил и этого мальчишку и своим опытным редакторским взглядом увидел в нем драгоценного сотрудника и принял его в состав редакции. Он сошелся и сблизился с Добролюбовым больше, чем с Чернышевским, и Добролюбов с своей стороны очень привязался к нему и подружился с ним. В одном из писем Добролюбова к Чернышевскому есть такое место: «А письмо его (Некрасова к Добролюбову) недоброе (уведомляло о болезни с предчувствием смерти)... Не дай бог никому

получать такие записочки за границей от близких людей. Успокаивает меня только то, что вы ничего не говорите о его болезни. Но пожалуйста напишите мне в Одессу, что он и как. Ведь кроме вас да его у меня никого нет теперь в Петербурге. В некоторых отношениях он даже ближе ко мне» [114]. Общество этих двух сотрудников или, вернее, соредакторов было для Некрасова новой высшей школой, довершившей его самообразование, еще более расширившей его умственный кругозор и закрепившей то, что было приобретено им в кружке Белинского. Много он мог вынести из общения с этими людьми, столь богатыми всякого рода новыми идеями и одушевленными энергией и энтузиазмом, особенно при его восприимчивости и чуткости ко всему разумному и доброму.

Предоставление этим двум новым сотрудникам решающего голоса в редакции журнала получает еще большую цену вследствие того, что оно потребовало от Некрасова значительного пожертвования личными расположениями и привязанностями, так как оно вызвало натянутые, а потом даже враждебные отношения между ним и его сверстниками и приятелями. Эти новые сотрудники не только относились к приятелям Некрасова, старым, заслуженным литераторам, без должного почтения и уважения, но еще позволяли себе посматривать на них свысока, относиться к ним покровительственно, как относились в известном романе «*дети*» к «*отцам*», как Базаров — к родителям Аркадия и к его почтенному дядюшке. Некрасов же, невзирая на это, вполне подчинился влиянию новых сотрудников, плясал

под их дудку, что, конечно, не могло не оскорблять его приятелей. Некрасову, видимо, не хотелось прерывать всякие связи, а тем более враждовать с давнишними приятелями, и он всячески старался устроить между ними и новыми сотрудниками хоть какой-нибудь мир, хоть какой-нибудь modus vivendi. Для этого он, между прочим, устраивал обеды, на которые приглашались обе враждующие стороны; тут бывали: Тургенев, Панаев, Гончаров, Григорович, Полонский, Анненков, Боткин, Островский и др. На некоторых из этих обедов случалось бывать и мне. Тут было очевидно, что сближение сторон невозможно, что примирение не клеится. Между сторонами не было согласия даже в гастрономическом отношении. Хозяйкой на этих обедах была Панаева-Головачева [115]. И вот на одном обеде она, обращаясь к Чернышевскому, сказала: «Я знаю ваши вкусы, Николай Гаврилович; у меня есть для вас ваши любимые кушанья — щи да каша и хороший квас». Нужно было видеть, с какой миной и с каким обиженным видом литераторы-гастрономы посмотрели на этих плебейских любителей щей да каши, к которым была так любезно внимательна хозяйка. Вместо примирения получалось еще большее обострение отношений, и, наконец, дело дошло до того, что приятели Некрасова поставили ему ультиматум: выбирай — или *мы* или *они*. Некрасов выбрал *они*, и давнишние приятельские отношения кончились полным враждебным разрывом. Мне известно, что уже после этого Некрасов писал Тургеневу дружеское письмо с целью примирения [116]; но неизвестно, отвечал ли или что отве-

чал Тургенев. Как бы то ни было, но примирения между ними не последовало. Впоследствии Тургенев печатно заявил, что не Некрасов отверг его, а он сам отшатнулся от Некрасова, несмотря на то что последний писал ему заискивающие письма и говорил в них, что часто видит его во сне [117].

Обзаведшись двумя надежными соредакторами, Некрасов не только не уменьшил и не ослабил своих редакторских работ и забот, но с бо́льшим увлечением весь отдался ведению журнала. Вместе с Добролюбовым они составляли программы книжек, придумывали темы для статей, разрабатывали разные журнальные проекты, комбинации и планы литературных нападений или отражения враждебных нападений. А между тем Некрасов в не литературной, но начальственной относительно литературы сфере распространял и поддерживал такое убеждение, что он не принимает никакого участия в редактировании журнала, что он интересуется журналом только с материальной стороны, что его сотрудники, что хотят, то и делают, без его ведома и согласия. И такое убеждение действительно держалось в этих сферах. Одна особа сказала однажды Некрасову: «Мы знаем, что вы — человек вполне благонадежный, что вы сами ни в чем неповинны, но что все неодобрительное творит ваш главный штаб, и вся ваша вина только в том, что вы дали полную волю вашему штабу, вовсе не смотрите за ним; поэтому, советую вам...» и т. д. Так мало осведомлена была особа об истинном положении дела; она не знала и не воображала, что в этом главном штабе почти главную роль играл именно сам же Некрасов.

Я познакомился с Некрасовым в 1861 г., когда Добролюбов был за границей и после того как уже было помещено в «Современнике» несколько моих статей. Чернышевский передал мне, что Некрасов желает видеть меня, и при этом сказал, чтобы я как-нибудь отправился к нему, всего лучше пораньше утром. Я пришел к нему утром, в половине двенадцатого. Человек объявил мне, что Некрасов спит еще; но все-таки спросил мою фамилию и пошел доложить. Тотчас же он вернулся и повел меня к Некрасову, который принял меня в постели. Он встретил меня, как говорится, с распростертыми объятиями и с восклицаниями: «Ах, как я рад: уж давно хочу познакомиться с вами, а вы все не являетесь». «Да, батенька, — сказал он, — вы бы еще больше удивились и осудили меня, если бы знали, что я не спал почти всю ночь и занимался такими некрасивыми делами, как картишки. Ничего не поделаешь, — такая уж у меня страсть». Перейдя к деловому разговору, он стал говорить о том, что о моих серьезных статьях он судить не может, но что Чернышевский их одобряет, и он с ним согласен; а ему самому больше нравятся некоторые мои напечатанные библиографические рецензии и нравятся главным образом своим игривым юмористическим тоном, который подходит к тону «Свистка» при «Современнике». «Без Добролюбова, — говорил он, — мы никак не можем соорудить ни одного выпуска «Свистка»; вот бы вы попробовали помочь нам в этом многотрудном деле. Но его нужно сделать как следует, серьезно, а то Добролюбов рассердится и забранит нас: ведь вы знаете, какой он строгий и суровый».

Н. А. Некрасов в 60-х годах

С фотографии из собрания Евгеньева-Максимова

Затем он распространился о том, что в «Свистке» необходимо строго выдерживать тот тон, который задан в нем Добролюбовым, т. е. тон серьезный, важный, ученый, даже слегка педантичный, выражающий самоуверенность и гордое самомнение, а чтобы сатира, юмор и ирония заключались в самом содержании. Мы с ним беседовали довольно долго, придумывали разные темы для «Свистка», остановившись на некоторых, и он поручил мне разработать их, причем несколько раз повторял, что «Свисток» — дело серьезное и важное и что во многих случаях он может действовать сильнее, чем серьезные статьи «Современника». Некоторые мои обработки удовлетворили его, а другие он забраковал. Через несколько времени Некрасов отдал мне визит, чего я не желал, не ожидал, не предполагал и чем он только смутил и сконфузил меня, так как ему пришлось пробираться ко мне в трущобу, на четвертый этаж, в темном и смрадном коридоре, вследствие того что в доме, где я жил, не было еще ватерклозетов, а существовали патриархальные русские устройства подобного рода в холодном коридоре.

С течением времени я ближе познакомился с Некрасовым, встречаясь с ним у Чернышевского и иногда бывая у него на обедах. Он сразу очаровал меня простотою обращения, доходившею до фамильярности и панибратства, совершенно конфиденциальною откровенностью, неожиданною и даже изумительною между не особенно близкими людьми, и, наконец, искренними признаниями и строгим самообличением, обезоруживающим и сильно подкупающим в его пользу. Плетешься, бывало, по Невскому в скромном

затрапезном облачении; вдруг Некрасов — в коляске, на великолепной паре — нагоняет меня и приглашает к себе в экипаж. «Я вас подвезу домой», — говорит он, и затем начинает рассказывать, где он был, зачем сделал или сказал такую-то глупость и т. д. Разговор льется непринужденно, так, как будто это сдут два равных пэра, а не то, что как было на деле: один — знаменитый писатель и важный барин, а другой — безвестный, скромный и невнушительный молодой человек, начинающий журналист.

Между тем, наступили тревожные времена. Некрасов и Чернышевский с нетерпением ожидали возвращения Добролюбова из-за границы. Он возвратился, но не на радость: совсем больной, расстроенный, он спустя недолго умер. Смерть его поразила и глубоко опечалила Некрасова, и он, лишившись помощника, еще с большим рвением занимался журналом. Но «Современник» должен был приостановиться[118] на восемь месяцев. Некрасов упал духом и на лето 1862 г. уехал из Петербурга с мыслью, что едва ли будет возможность продолжать издание журнала. В этой мысли должно было еще более укрепить его то обстоятельство, что в это время сошел с журнальной сцены и Чернышевский, его другой помощник, так что в редакции он оставался только один. Вскоре после этого, еще до возвращения Некрасова в Петербург, до нас, второстепенных сотрудников «Современника», дошли неприятные вести или слухи, исходившие, повидимому, из самых достоверных источников. По этим слухам,

Некрасов, в бытность свою проездом в Москве, уверял своих московских приятелей, что хотя ему и жаль Чернышевского, но он очень рад, что хоть таким непрятным путем избавился от него и от того ярма, в котором держал его Чернышевский, самовольно и самоуправно распоряжавшийся в журнале. Этот слух сообщил мне Г. З. Елисеев и при этом высказал уверенность, что Некрасов, если даже и будет продолжать издание «Современника», то в ином направлении и уж ни в коем случае не пригласит в журнал никого из своих бывших сотрудников. Поэтому он предложил мне принять участие в редактировании вместе с ним новой газеты «Очерки», которую решился издавать Очкин[119], бывший арендатор «С.-Петербургских Ведомостей». Елисеев взял на себя общую редакцию газеты, а мне предоставил политический отдел в ней. В газетах появилось объявление о новой газете с именами Елисеева и моим. Это объявление очень смутило Некрасова, и по приезде в Петербург он тотчас же навел справку у одного общего знакомого, почему мы с Елисеевым вступили в новую газету и разве мы не желаем больше сотрудничать в «Современнике». Этот знакомый сообщил ему, что наш поступок вызван слухами об его речах и жалобах в Москве в кругу его старинных приятелей. Некрасов энергически и решительно опровергал эти слухи и уверял, что все эти отречения его от Чернышевского и от направления «Современника» — ложь и выдумка, что он не говорил приятелям ничего даже похожего, что он решил продолжать «Современник» в прежнем направлении и с прежними сотрудниками и т. д. Затем Некрасов пригласил меня к себе и

разговор начал с того, что объявление об «Очерках» поразило его точно обухом по лбу; затем он стал упрекать меня за то, что я мог поверить таким нелепым слухам о нем, тогда как мне более чем кому-либо другому должны были быть известны те чувства искреннего расположения и глубокого уважения, какие он питал к Добролюбову и к Чернышевскому, так высоко поднявшим его журнал, и тогда как, с другой стороны, я должен знать и те чувства, какие питают к нему его бывшие приятели, которые готовы выдумать и распространять про него всякие нелепости, чтобы только отомстить ему за то, что он отверг их и стал на сторону тех людей, которые им антипатичны и т. д. Несколько раз и с особенной настойчивостью он уверял, что он твердо и бесповоротно решил продолжать «Современник» в прежнем направлении и, конечно, с прежними сотрудниками. Он говорил с таким жаром и таким чувством, что я поверил искренности его слов, и он взял с меня слово, что, несмотря на «Очерки», я буду попрежнему деятельно сотрудничать в «Современнике» и уговорю Елисеева не оставлять сотрудничества в его журнале. В заключение он просил меня подумать о статьях для первой по возобновлении книжки «Современника».

Таким образом дело устроилось прекрасно, к общему удовольствию. Решено было вести «Современник» в прежнем направлении и с прежними сотрудниками. Организована была коллективная редакция с Некрасовым во главе, состоявшая из г. Пыпина, Елисеева и меня; впоследствии в состав ее вошли Салтыков и Ю. Г. Жуковский. Елисеев не хотел, однако, вполне отдаваться

«Современнику» и, по прекращении недолго просуществовавших «Очерков», решился издавать на артельных началах и редактировать газету «Век» [120], тоже просуществовавшую недолго, после чего Елисеев уже вполне отдался «Современнику». В это время уже вследствие совместного ведения общего дела я еще больше сблизился с Некрасовым, еще более узнал и оценил его как редактора. Да, это был образцовый редактор: умный, дельный, энергичный, практический и усердный. Несмотря на все свои клубные и спортивные развлечения и увлечения, он зорко следил за своим журналом и ни в каком случае не полагался беззаботно и безотчетно на своих соредакторов; все статьи он внимательно прочитывал в корректурах, или же только пробегал статьи, если они были индифферентными, заурядными. Затем, в нем не было мелкого редакторского самолюбия или, лучше сказать, амбиции, развитой сильно, до болезненности у других редакторов и издателей, которых постоянно мучит опасение, как бы их не сочли только номинальными, фиктивными редакторами, которые дрожат при мысли, что кто-нибудь может подумать, что ни одни они несут на своих гигантских плечах циклопическую тяжесть издания, но что им помогает, а может быть, даже и руководит ими обыкновенный смертный, простой сотрудник, и которые поэтому, к явному ущербу издания, суют свой нос всюду, даже туда, где они ничего не понимают, во все мешаются, не спрашивают и не слушают советов, действуют по-своему, упрямы без всякого резонного основания, а единственно из желания показать свою самостоятель-

ность и заявить о своей независимости. Им и в голову не приходит, что вся эта боязливая и ревнивая забота о сохранении своей самостоятельности именно и производит то, чего они боятся, устанавливает то мнение о них, которое они хотят предупредить или разрушить. Некрасову было совершенно чуждо подобное самолюбие, подобная амбиция. Он предоставлял своим сотрудникам полную свободу, нимало не стеснял их и не подавал решающего голоса в тех журнальных вопросах и делах, в которых он считал себя некомпетентным. Когда в таких сомнительных случаях обращались к нему за разрешением, он обыкновенно отвечал: «Делайте, господа, как сами знаете; только смотрите хорошенько обсудите дело». И общему решению он подчинялся беспрекословно.

Был, например, такой случай. Давнишний приятель Некрасова, Я. П. Полонский, принес ему для помещения в «Современнике» свою драму «Разлад», сюжетом которой были, между прочим, сцены из польского восстания начала 60-х гг. Некрасов прочитал ее, одобрил и нашел, что ее можно напечатать в журнале, однако без согласия всей редакции не решался печатать и предлагал кому-нибудь из сотрудников прочитать драму и сказать свое мнение. Все отнекивались и почему-то взвалили это дело на меня. Некрасов прислал мне ее при следующей записке: «Пожалуйста, прочтите эту вещь поскорее (т. е. завтра, например, к обеду). Что до меня, то я такого мнения, что ее следует взять в «Современник»: она эффектна, о ней говорят и будут говорить, и относительно содержания (обстоя-

тельство, по которому преимущественно я и препровождаю ее к вам) тоже, кажется, не представляется препятствия. — Но этот вопрос предоставляю окончательно решить вам». Я, не полагаясь на себя, отправился к Елисееву, и мы вместе с ним прочли драму, нашли, что сцены изображены в ней очень односторонне, и притом освещены каким-то странным, неестественным светом, что вообще она слаба и неудовлетворительна, особенно для такого автора, как Полонский, и что печатать ее в «Современнике» не стоит. Я отправился к Некрасову и решительно сказал, что, по моему мнению, драму печатать не следует. (Она была напечатана в «Эпохе», в № 4, 1864 г.). Он совершенно спокойно, без всякой обиды и без всякого самолюбивого неудовольствия просто сказал: «А, если вы находите, что ее не следует печатать, так и не напечатаем: и я ее возвращу Полонскому»[121]. И больше ни слова; дальше пошли обыкновенные разговоры; мы вместе позавтракали и расстались самым мирным образом. Нужно при этом принять в соображение следующее. Редактор, и не какой-нибудь заурядный редактор, не Краевский или Дудышкин, не Корш или Благосветлов, а редактор Некрасов, поэт и специалист по изящной словесности, находит пьесу удовлетворительной и решается напечатать ее в своем журнале. И вдруг какой-то сотрудник, может быть, даже не компетентный, находит, что ее не следует печатать. И редактор беспрекословно подчиняется этому решению своего подручного и находит, что этим он не роняет своего редакторского достоинства и не обижает своего издательского само-

любия! Вот черта, которая редко встречается у редакторов и которая делает большую честь редакторской корректности и добросовестности Некрасова!

Но зато и сотрудники с своей стороны столь же просто, благодушно и внимательно относились к замечаниям, возражениям и протестам Некрасова, принимали их без всяких обид и самолюбивых неудовольствий, и так же охотно подчинялись его решениям и уступали его настоянням в тех случаях, когда он был компетентен и прав. Но и в таких случаях он никогда не прибегал к своей редакторской власти, а действовал убеждением, урезониванием. Если он находил статью неудовлетворительною, неуместною или неловкою, то обыкновенно говорил автору: «Если вы настаиваете и непременно хотите напечатать статью, то я против этого ничего не имею, особенно, если вы подпишете ее полной фамилией; но вы примите в соображение, что скажут наши противники, что подумает публика, какие возможны перетолкования» и т. д. Слушаешь, бывало, такие резоны и возражения Некрасова, человека и редактора многоопытного, прекрасно знавшего и читателя, или, как он всегда выражался, *подписчика*, и литературных соперников, и предержащую власть над печатью,— и невольно согласишься с ним, сдашься на его убеждения. Вследствие его резонов и возражений я не одну свою статью, уже набранную, брал назад и разрывал. То же случалось, например, и с Салтыковым, впрочем, только относительно его фельетонов и мелких заметок.

И Некрасов поступал так не только с нами, заурядными соредакторами, но и с соредакторами

гораздо более авторитетными и внушительными. Был, например, такой случай. Чернышевский написал и отдал в типографию набрать статью под заглавием: «В изъявление признательности. Письмо к г. З—ну», который в своей статье утверждал, что Чернышевский во всех отношениях выше Добролюбова и был его учителем и руководителем. Это возмутило Чернышевского и он сильно и резко порицал З—на. Некрасов прочитал корректуру статьи и послал ее Чернышевскому, написав на ней следующие пометки: «1. Н. Г. В замеченных местах есть фразы, которые можно истолковать тем, что мы вас стеснялн, при вашем вступлении в наш журнал, из почтения к авторитетам. Если это и так, то на Панаева рано и неуместно бросать подобную тень, да и мне, признаюсь вам, лично это не нравится. По крайней мере, *Добролюбова я никогда не стеснял* (курсив в оригинале). 2. Дальше, имена Тургенева, Толстого, Анненкова, Боткина производят в этой статье такое впечатление, как будто вы кадите мертвому с намерением задеть кадилом живых. — Ругайте их в каких угодно других статьях, я ни слова не скажу. Вы имели добрую цель; но, во-первых, вы преувеличили опасность, предстоящую памяти Добролюбова оттого, что Зарин поставил вас выше его, а во-вторых, ужасно будет обидно, если пойдут трепать газетчики имя Добролюбова по поводу этой статейки. Поверьте мне, тон «Полемических красот» [122] не идет к строкам, где мы имеем целью защитить любимого и высоко ценимого человека. Скажу вам мое впечатление от этой статьи: в ней героем являетесь вы, а не Добролюбов,

Я ничуть не против откровенности, не против заявления личного высокого или низкого мнения о самом себе, когда человеку пришла к тому охота; но охота-то пришла не во-время, когда мы взялись защищать другого... и вдруг боязно, чтобы кто не подумал, что «мы ценим себя низко», и на эту тему все заключение. Словом, эти прекрасные две страницы, посвященные вами себе, лучше бы поместить во всякую другую статью. Однако я должен сказать, что начал говорить только с целью сказать то, что у меня отмечено цифрой 1. Все же остальное — мое мнение, которое может остаться без последствий. Я только скажу, что, говоря о человеке, которого мы оба так любим, не излишня никакая щепетильнейшая осторожность. Этим извините настоящие строки, если они вам покажутся не заслуживающими внимания». Вот это типичнейший и яркий образец редакторской самостоятельности, мужества и редакторской тактики Некрасова! Мое мнение, говорит он, такое, а там как хотите. Этого правила он держался всегда. Мимоходом можно заметить, что Чернышевский отчасти согласился с Некрасовым: место под № 1 он сократил и изменил, сделал значительные сокращения и в других местах, но речь о себе в смысле самоосуждения оставил.

Несмотря на многочисленность новой редакции «Современника», она действовала вполне успешно [123]; литературные дела журнала шли плавно, без запинок и неудач. Бывали, конечно, в редакции небольшие семейные раздоры — размолвки,

препирательства и пикировки, например, между Салтыковым и мною [124], но все это оканчивалось мирно, дружелюбно, не оставляя никаких неприятных следов ни в личных, ни в литературных отношениях. Бывали иногда стычки с издательством на почве денежных расчетов; но и они оканчивались мирно, приводили к полюбовному соглашению и к общему удовольствию.

Некрасов довольно часто устраивал редакционные обеды, на которые кроме членов редакции приглашались и другие сотрудники, а также и посторонние лица, артисты, музыканты и т. п. Это были живые, веселые, интересные и поучительные обеды. На этих обедах Некрасов обыкновенно осенью, по возвращении из деревни, читал нам свои новости. Нужно заметить, что лучшие его произведения того времени были задуманы и отчасти обработаны летом в деревне, вдали от столичной суеты, от журнальных и клубных хлопот, забот и развлечений. В его чтении новые его произведения много выигрывали, и мы приходили в восторг, и тем легче, что сами в эти минуты находились в прекрасном настроении. Иногда беллетристы и драматурги, например, Островский, читали здесь свои новые произведения. А то какой-нибудь артист сыграет или споет что-нибудь, или актер представит какую-нибудь комическую сценку, или Садовский, в бытность в Петербурге, произнесет рассказ из народного быта, или, наконец, Горбунов представит генерала Дитятина. Словом, это были обеды не только литературные, но и артистические. На этих же обедах происходили редакционные совещания, обсуждались и частные редакционные

и общие литературные, политические и всякие другие вопросы. И здесь я постоянно удивлялся чуткости и восприимчивости Некрасова, его поразительной способности и умению сразу схватывать всякий предмет, всякую мысль, так сказать, ловить их на лету. Во время этих рассуждений и споров Некрасов бывало молчит; но вот кто-нибудь вскользь выскажет дельное замечание или новую, оригинальную мысль, и Некрасов даже подскочит на своем кресле, подхватит эту мысль, дополнит и разовьет ее с таким искусством, что приведет в изумление самого автора мысли. Вот, например, после мастерского и эффектного прочтения одного беллетристического произведения самим автором все пришли в восторг и единодушно хвалили произведение. На другой день в редакции один соредактор мимоходом заметил, что мысль произведения не совсем ясна. Некрасов подхватил это замечание, развил его и доказал, что мысль произведения не только туманна, но и фальшива, что его личное впечатление с самого начала было неудовлетворительное, а вот он теперь ясно понимает причину этой неудовлетворенности и т. д. В другой раз горячо дебютировался вопрос, как объяснить некоторые, повидимому, странные пункты в первой части романа *Что делать;* вторая часть еще никому не была известна. Предлагалось несколько остроумных решений; этот же соредактор высказал почти с неуверенностью свою, повидимому, маловероятную догадку. Но Некрасов ухватился за нее и стал развивать ее столь красиво и убедительно, что его заслушался сам автор догадки. И таких примеров было множество.

Так мы жили и работали мирно и безмятежно, не испытывая никаких особенных бедствий, если не считать маленьких неприятностей с цензурой. А затем мы дождались даже так называемой «свободы печати» и освобождены были от предварительной цензуры за ответственностью редактора и с залогом издателя, что, однако, не очень улучшило наше положение. Некрасов великодушно или предусмотрительно уступил г. Пыпину часть редакторской ответственности, требовавшейся по новому положению о печати. И г. Пыпин имел случай испытать значение этой ответственности. Этот казус Некрасов изобразил в стихотворении «Суд», в котором героем является не г. Пыпин, а вообще поэт [125] Затем по новому же положению о свободе печати «Современник» получил предостережение — memento mori. Но все это были беды относительно небольшие, переносимые, не заставлявшие падать духом ни нас, ни Некрасова. Но вот наступил роковой 1866 год. Общественная атмосфера была страшно наэлектризована; мы упали духом, а Некрасов еще больше. Он сильно боялся, и трудно сказать, за что: за себя ли лично, или за судьбу своего журнала. В нем как редакторе произошло полное превращение: он оставил путь убеждения и товарищеского соглашения, а выпустил редакторские когти и стал показывать редакторскую власть. Для четвертой книжки «Современника» была уже набрана моя статья по поводу вышедшего тогда перевода книги Прудона об «Искусстве». В статье я проводил параллель между взглядами на искусство Прудона и Чернышевского и указал, что во многих пунктах они буквально сходятся между собою [126]. Некрасов

сразу и категорически объявил, что этой статьи он ни за что не напечатает в таком виде, или напечатает только в том случае, если рассматриваемые взгляды на искусство будут порицаемы и опровергнуты, и для образца таких порицаний он сделал в корректуре несколько вставок. Я, конечно, не согласился на это условие, и статья не была напечатана. Этот инцидент заставил нас, сотрудников, сильно призадуматься и ломать голову над разрешением вопроса, по каким побуждениям и соображениям и с какой целью Некрасов решился показать нам редакторские когти и к чему все это поведет. Дальше — больше; представился новый повод для нашего раздумья. Некрасов написал для напечатания в «Современнике» стихотворение «Негромка моя лира», которого от него не требовал Аполлон в виде священной жертвы и которое он нам прочитал. На некоторые наши соображения относительно стихотворения он решительно, демонстративно и с какою-то торжественностью заявил, что стихотворение написано им совершенно искренне и выражает настоящие его мысли и задушевные убеждения, за исключением одного пункта, и он указал при этом на один чисто метафизический пункт [127]. Это заявление ужасно, как громом, поразило нас своею неожиданностью, и у всех невольно мелькнуло подозрение, что Некрасов переменил свои мысли и убеждения и решился перестроить свою лиру на иной лад, петь другие песни и держаться нового направления.

Это опасение скоро оправдалось, повидимому, и фактически. В один прекрасный день Некрасов объявил нам, что он больше не нуждается

в наших услугах и содействии и должен расстаться с нами, что он только для того, чтобы не возвращать подписных денег, доведет журнал до конца года как-нибудь один и без нас, а затем бросит его[128]. При этом он обещал выдать каждому из нас в виде отступного известную сумму денег, и скоро действительно исполнил обещание в некоторой части[129]. Таким образом мы расстались по-хорошему, не враждебно, но и не дружелюбно, без сожаления и с порядочным осадком горечи в наших чувствах вследствие последних инцидентов. После этого вскоре разнесся очень достоверный слух о другом новом стихотворении Некрасова, которого тоже не требовал от него Аполлон. Всего более возмутило нас всех в этом стихотворении то, что поэт в конце его взывал о беспощадной строгости, говорил о каком-то большом зле, которое нужно истребить с корнем. Самые снисходительные люди находили, что этот конец был совершенно не нужен[130]. Боже мой, думал я: что бы было с неумолимо и неподкупно строгим Добролюбовым, если бы это случилось при нем и если бы какой-нибудь злой человек сказал ему: вот каков ваш приятель! Он весь сгорел бы от разочарования и негодования. Мы, сотрудники, после этого окончательно решили, что наши сомнения и опасения оправдываются, что Некрасов перестроил лиру и переменил направление. Но все это — и два стихотворения на перестроенной лире и данная нам отставка — не помогло и не достигло цели, которую, может быть, Некрасов имел в виду: «Современник» был запрещен, на этот раз уже навсегда.

Мы, сотрудники, остались таким образом, как раки на мели, без дела. В общем интересе мы дали слово действовать дружно, сообща, всей артелью, не запродаваться никуда в одиночку, а сразу, гуртом. В этом соглашении Салтыков не участвовал и, кажется, даже не знал о нем. Вполне полагаясь на своих сотоварищей и верно рассчитывая на то, что раз артель где-нибудь пристроится и я буду пристроен, — я беззаботно отправился за границу и пробыл там довольно долго. Спустя несколько времени мои товарищи по «Современнику» сообщили мне, что у Некрасова есть план издавать какой-то журнал, но что он не желает принимать в этот журнал нашу артель, а хочет взять только кого-нибудь одного и для этого обращался уже то к г. Пыпину, то к Ю. Г. Жуковскому, но они не согласились итти в одиночку и, действуя сообща, предложили Некрасову такие условия, на которые он не согласился. Переговоры с ним велись довольно долго, но не привели ни к чему. Наконец товарищи огорошили меня известием, что Некрасов соединился с Краевским в «Отечественных Записках», что Елисеев отбился от артели и вступил в сепаратное соглашение с этими союзниками. Эта комбинация казалась нам чудовищною, неестественною, невозможною. Соединяются два полюса, два отъявленных врага, личных и литературных, два журнальных соперника, два ожесточенных конкурента, и связующим звеном между ними служит *наш* Елисеев. Не хотелось верить такому химерическому союзу. Особенно я не хотел верить, что Елисеев решился на такой шаг, не посоветовавшись со мною или хоть не уведо-

мив меня о нем. Однако скоро оказалось, что этот союз, эта невозможная комбинация состоялась. Явилось объявление об издании «Отечественных Записок», в котором было напечатано черным по белому, что в них будут помещать стихи Некрасов и статьи Елисеев. Это чудо поразило нас и поставило втупик, несмотря на то, что мы были уже некоторым образом предупреждены о нем [131].

Особенно смущало нас при этом и наводило на разные подозрения то, что Некрасов не хотел взять всей нашей артели, а взял с собой в журнал Краевского только одного из наших. Мы решили, что в журнале появятся песни уже на перестроенной лире и в нем будет провозиться контрабанда Краевского под флагом Некрасова и Елисеева, что принципиальных уступок со стороны Краевского не может быть, что журнал будет петь в унисон с «Голосом», этим «Куриным эхом», как прозвал его Салтыков. Мы поэтому были уверены, что Елисеев не будет иметь влияния в журнале и что он взят, так сказать, для фирмы, для вывески, для символического указания на то, что в «Отечественных Записках» будет нечто напоминающее о «Современнике». И предчувствия наши подтвердились первыми книжками «Отечественных Записок» новой редакции [132]. Меня лично этот инцидент поразил в самое чувствительное место, порвал дорогую сердечную связь. С Елисеевым я был в более близких, более дружественных отношениях, чем с остальными товарищами, был очень привязан к нему, и мы всегда действовали заодно, сообща, вместе работали в «Очерках», вместе общими силами

поддерживали «Век», во всяких вопросах и спорах всегда были на одной стороне. И вдруг после всего этого другие товарищи всегда держали меня au courant всех своих литературных и журнальных планов и переговоров и, наконец, мы всею артелью поступили в один несчастный журнал [133], а он, не сказавши и не написавши мне ни единого слова, оставил артель и вступил в сепаратную сделку. Этого я бы скорее мог ожидать от других товарищей, а от него никогда. И однако же...

Под живым, неотразимым впечатлением всех указанных инцидентов, движимые всякими сомнениями и опасениями и поддаваясь влечению взволнованного, возмущенного и оскорбленного чувства, мы с Ю. Г. Жуковским решились издать известную полемическую брошюру против Некрасова: «Материалы для характеристики современной русской литературы. I. Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым М. А. Антоновича. II. Post scriptum. Содержание и программа «Отечественных Записок» за прошлый год. Ю. Г. Жуковского. Эта брошюра в свое время наделала много шуму и возбудила сильное неудовольствие против нас со стороны защитников Некрасова, ставивших нам в бесчестие нашу брошюру.

Между тем время шло; наши сомнения и опасения относительно Некрасова не оправдались. Он и не думал перестраивать своей лиры на иной лад, но продолжал в прежнем ладе петь песни, столь же сильные и энергичные, столь же звучные и возбуждающие, как и его прежние песни. Таким образом оказывается, что диссонан-

совые стихотворения Некрасова не выражали его искренних чувств и убеждений, а были плодом его временного, минутного упадка сил, мимолетного отречения от себя и измены себе шагом, сделанным под гнетом необычайных, ошеломляющих обстоятельств, и, может быть, под влиянием желания спасти свой журнал, чего бы то ни стоило. Общим итогом и характером своей поэтической деятельности Некрасов вполне искупил как этот свой грех, так и другие свои недостатки. Его огромные заслуги во много крат превышают и покрывают его однократное отречение; всею своею деятельностью он заслужил полное всепрощение. В истории мы нередко видим примеры людей выдающихся, с характером вообще твердым, стойким, но подвергающихся временным припадкам отречения, даже неоднократного, что, однако, не умаляло ценности, важности и благотворности общего итога всей их жизни, и история при своих приговорах и оценках игнорировала и совершенно забывала их временные колебания и отречения.

Таким образом мы ошиблись относительно Некрасова. Вопреки нашим опасениям, он снова пошел твердым и бодрым шагом по своему прежнему пути. За это честь ему и слава! Но я имею смелость думать, что и на нашу долю в этом деле выпали не бесчестие и бесславие, как утверждали и утверждают строгие только относительно одних нас судьи, решительно не желающие принять во внимание тех обстоятельств, которые в глазах всякого беспристрастного человека должны были иметь смягчающее для нас значение. Я уверен, что люди, справедливые и

строгие относительно литературной этики, не осуждали и не осуждают нас, не признают нас не заслуживающими снисхождения и согласятся, что, не обладая даром пророчества и предвидения, мы имели достаточно основания поступить в данный момент так, как мы поступили. И я решительно не знаю, как бы поступили на нашем месте люди, осуждавшие и осуждающие нас; ужели они к тому, что нас возмутило, отнеслись бы хладнокровно, индиферентно или даже одобрительно? Я также уверен, что Елисеев, несмотря на то что он был заинтересованной стороной, в глубине души и в совести не осуждал нас [134]; так как я очень хорошо знаю, что он был в высшей степени чуток и неумолимо строг ко всякому диссонансу и фальши, к льстивому тону лиры. Я хорошо помню презрительные и негодующие слова, напечатанные им в одном из «Внутренних обозрений» в «Современнике» за 1861 г. «Утомленные всем этим до последней возможности, вы находите, наконец, свободную минуту и думаете употребить эту минуту на освежение сил своих литературой. Вы берете стихотворение поэта, когда-то доставлявшее вам удовольствие своею оригинальностью, свежестью мотивов, начинаете читать; но из-за строк на вас неприязненно выглядывает образ поэта, который давно уже успел превратиться в калику перехожего, толчется в передних милостивцев и пишет стишки *из-за подачки*... Вы с отвращением бросаете под стол ненавистную вам книгу... Боже! где же искать непоколебимых убеждений, если их нет даже между тем, которые причисляют себя к жрецам истины и поэзии?..» Да я думаю даже,

что у самого Некрасова бывали минуты, когда он готов был если не простить, то хоть извинить нас. Я основываю такое предположение на том, что он человека, укорявшего его за дисгармонические стихотворения, называл своим «другом» [135].

Но как бы то ни было, я откровенно сознаюсь, что мы ошиблись относительно Некрасова: он не изменил себе и своему делу, но продолжал вести его горячо, энергично и успешно, — за что ему честь, слава и вечная память в летописях русской литературы.

VII. РЕДАКЦИЯ «СОВРЕМЕННИКА» В 1866 г.[136]

(По поводу статьи г. Евгеньева)

Прежде всего по поводу статьи г. Евгеньева под этим заглавием, напечатанной в № 1 «Голоса Минувшего» за 1915 г., нужно сказать, что она не дает точного и полного представления о редакции «Современника» после Добролюбова и Чернышевского. Автор статьи, во всем и без всякой критики соглашаясь с Елисеевым, освещает эту редакцию каким-то страшным светом и резко выставляет только одну теневую сторону ее. И Елисеев, и автор статьи игнорируют или замалчивают тот важный факт, что во главе и новой редакции стоял попрежнему сам Некрасов, как всеправный собственник журнала. Он имел в редакции первый, не только преобладающий, но и решающий голос. Это был властный президент редакции. Другие члены редакции высказывали только свои мнения и советы, а он постановлял по ним свои решения[137]. Словом, он был главным руководителем журнала. Может быть, при Чернышевском и Добролюбове он не считал себя в праве удерживать первенство в редакции и не признавал себя столь компетентным и опытным, как они, и потому, вероятно, соглашался и с теми их мнениями, которых он, может быть, и не разделял. Но и в это время он внимательно следил за журналом и прочитывал в корректуре

все статьи не только крупные и серьезные, публицистические, но и всякие мелкие заметки, рецензии, какие бы то ни было, и т. п. Я имею много доказательств этого.

Очевидно, что после Чернышевского и Добролюбова внимание Некрасова к журналу еще более усилилось, и он еще пристальнее стал следить за его редакцией, за «новыми руководителями журнала», как их называет г. Евгеньев. Некрасов этих новых руководителей, конечно, не считал ничтожествами, но, во всяком случае, совершенно основательно ставил их ниже прежних руководителей. И он имел поэтому полное право усилить свою редакторскую власть и дать преобладающее и решающее значение в делах редакции своему голосу. За этими начинающими птенцами редакции, думал Некрасов, нужно смотреть да смотреть в оба глаза, а то они по неопытности могут натворить много неловкостей и ошибок. И новые руководители это сознавали, понимали и считали основательным и справедливым. У меня была написана статья, в которой я проводил параллель и показывал сходство, доходившее в некоторых пунктах до тожества, между взглядами по литературно-эстетическому вопросу Прудона и Чернышевского. Некрасов забраковал эту статью, и она не была напечатана. Одним словом, и после Чернышевского и Добролюбова при новых руководителях главный руководитель остался прежний. По существу редакция не изменилась.

Вот эту-то характерную черту положения новой редакции «Современника» и Елисеев и г. Евгеньев игнорируют или замалчивают. И вслед-

ствие этого они, порицая недостатки, промахи и ошибки журнала, приписывают их только новым членам редакции, только их одних обвиняют во всем, не привлекая к ответственности ни самого Некрасова, ни его ближайшего единомышленника Елисеева. Новые руководители, говорит г. Евгеньев, не удержали журнала на прежней высоте, понизили его публицистический уровень, хотя сам же он до знакомства с записками Елисеева в своих статьях находил, что уровень журнала не очень понизился против прежнего, — что косвенно подтверждается и тем, что при новых руководителях существование журнала оказалось невозможным. Но если мы согласимся, что при новых руководителях журнал действительно упал низко, кто же в этом виноват? Прежде всего и больше всего прежний руководитель журнала — Некрасов и потом его ближайший единомышленник — Елисеев. Новые руководители, говорит Елисеев, ничего не писали по польскому вопросу, замалчивали его*. А что же смотрел Некрасов, почему он терпел это молчание и не потребовал от новых руководителей статей по этому вопросу? Почему же молчал Елисеев, которого и Евгеньев называет «одним из членов редакционной коллегии», находившей это молчание «величайшей ошибкой»? Почему же он не постарался убедить Некрасова и своих сочленов, что их молчание есть величайшая

* Это могло отчасти объясниться цензурными препятствиями. Известно, что «Время» было запрещено 23 мая 1863 г. за статью Страхова именно по польскому вопросу. *Ред.*

ошибка? И если они не убедились его словами, то он сам должен был возвысить свой голос, исправить эту ошибку и писать статьи по польскому вопросу, говорить о нем в своих обозрениях, где было надлежащее место этому вопросу[138]. Поэтому, обличая Елисеева, новые руководители могли бы сказать ему: врачу, исцелися сам! — Здесь мимоходом можно припомнить, что польский вопрос начал разгораться еще при Чернышевском. Аксаков в своей газете напечатал воззвание к полякам, начинавшееся так: «Безумные поляки»*. На одном из общих обедов в тогдашнем литературном клубе, который назывался шахматным, Чернышевский читал с особенным ударением эту статью, обращаясь к литераторам-полякам, Спасовичу и др. А в «Современнике» умолчал об ней, не отозвался на нее. Поэтому и Чернышевского можно обвинять в редакционной величайшей ошибке.

Далее г. Евгеньев обвиняет деятелей «Современника» в отсутствии солидарности во взглядах и в подтверждение этого обвинения ссылается на несомненное для него свидетельство Елисеева, который утверждает, что в «Современнике» была помещена статья Жуковского по женскому вопросу, в которой он относится отрицательно к социологическим мечтам героини романа «Что делать?», а может быть и самого автора его. Помещение этой статьи, утверждает Елисеев, было прямо бестактно после помещения романа

* По поводу их притязаний на северо-западную и юго-западную Русь; см. «День» 1861, № 2 (21 октября), стр. 14. *Ред.*

Чернышевского, вследствие ее существенного противоречия с романом. И здесь опять-таки Елисеев неточно и неверно освещает сообщаемый им факт [139]. Жуковский уверял, что женское дело нужно начинать не с отвлеченных мечтаний Веры Павловны. Как известно было, вероятно, и самому Елисееву, в основе всего социологического мировоззрения Жуковского лежало знаменитое, но перевернутое вверх ногами изречение: не об одном только хлебе жив будет человек. Основное же убеждение Жуковского было, что человек без хлеба не только не может действовать планомерно, но вовсе не может жить, что ему, мучимому голодом, не удастся никакое начинание и предприятие. Это, повидимому, трюизм. Но как часто об нем забывают последователи принципа не об одном только хлебе. Ту же мысль проводил Жуковский и в своей статье по вопросу молодого поколения и тоже говорил, что и для учения хлеб, материальные средства нужны прежде всего, что даже научные дисциплины имеют в виду заработок хлеба [140]. И он был прав, так как из-за недостатка хлеба, т. е. материальных средств, около тысячи юношей исключается из учебных заведений за невзнос платы. Ту же мысль он проводил и в указанной статье по женскому вопросу, который, по его мнению, прежде всего сводится к вопросу о хлебе, т. е. материальном достатке и обеспечении. И просто непонятно, откуда это взяли г. Евгеньев и Елисеев, будто бы тогда нашлись интеллигентные учащиеся женщины, которых статья Жуковского свела с ума, и они бросили учиться. Разве Жуковский говорил, что не надо учиться?

Но признаем статью Жуковского действительно направленной против «Что делать» и согласимся, что напечатание ее было бестактно. А все-таки и при этом возникает вопрос: кто же виноват в этом? Ведь Жуковский тогда не входил еще в состав редакции. Значит статью приняли и поместили все те же руководители — Некрасов и Елисеев, и значит они — главные виновники допущенной бестактности. В довершение всего, помещенная в статье заметка Елисеева, напечатанная им в его обозрении, по духу и тенденции много смахивает на статью Жуковского и не согласуется с общим направлением «Современника», на что и было указано ему лицами, близкими к редакции «Современника». И вот строгий обличитель других принужден был признать «всю нелепость» своей заметки и таким образом обвинить себя и в бестактности и в отсутствии солидарности во взглядах с своими соредакторами [141].

Но помимо всего этого, в рассматриваемых делах есть одно важное обстоятельство, о котором Елисеев ничего не сообщает в своих воспоминаниях. Сам Елисеев в одном из своих обозрений (1863 г., т. 98, «Внутреннее обозрение», стр. 339—403) отнесся скептически и отчасти иронически к «Что делать», гораздо строже, резче и неодобрительнее, чем Жуковский, и посвятил на это несколько страниц [142]. Указав на то, что некоторые наши беллетристы пытались чересчур идеализировать русскую женщину, Елисеев говорит, что их можно простить за это. «Мы, — продолжает Елисеев, — не можем простить за поддержку общественной идеализации в этом случае,

а следовательно, и за распространение бесчисленных иллюзий только автору «Что делать?» — Чернышевскому. Он так далеко пошел в идеализации женщин, как далеко у нас никто не заходил никогда». В романе описывается, как развивалась любовь и красота из просто половой формы в высшие идеальные формы. На это Елисеев возражает так: «Но это постепенное развитие красоты и ее понимания происходило не у нас, — потому-то расчленение красот, которое представляет автор, совершенно чуждо нашего общественного сознания. Но Чернышевский не довольствуется и этою выходящею из всякой меры идеализациею. Он идет гораздо далее». Выписав из романа изображение царицей мира ее идеалов, Елисеев на это отвечает так: «Конечно, все это в абстракте мысли, в идеале фантазии прекрасно; но покорнейше прошу вас отыскать что-нибудь похожее на это в действительности». Далее Елисеев иронизирует таким образом. Он предполагает, что всякая окончившая курс институтка, прочитавши роман, вообразит, что она и есть царица мира. А какой-нибудь молодой человек увлечется ею и женится на ней. Тогда-то и окажется, что царица мира есть низменная Федора или Лукерья, которая на все идеалы только «будет огрызаться». Это очень похоже на то, что учащиеся женщины, прочитав статью Жуковского, перестанут учиться. Таковы, заключает Елисеев, «бывают печальные последствия всех идеализаций». К числу таких печальных идеализаций он относит и реформы Петра I. Действительно, сходство между этими печальными идеализациями поразительное. Вот видите, как

неубедительна критика Елисеева на роман Чернышевского. И это еще самый снисходительный приговор над нею, с которым, наверное, согласится в душе и сам г. Евгеньев. И это сделал Елисеев, состоящий членом редакционной комиссии! Как назвать этот поступок: отсутствием солидарности, бестактностью, величайшею ошибкою или нелепостью? На этот вопрос может быть только один несомненный ответ.

Вообще, какое бы обвинение ни выдвинули против новых членов редакции г. Евгеньев и Елисеев, всегда оказывалось, что оно вполне применимо и к Елисееву. Вот еще маленький пример. Евгеньев доказывает, что Чернышевский и Добролюбов были близкими, сердечными и преданными друзьями Некрасова, а из новых редакторов ни один не только не питал к нему дружеских чувств, но не желал лично сблизиться с ним по-приятельски. А все они, напротив, не только относились к нему холодно, но иногда делали ему личные неприятности и оскорбления своими неосновательными подозрениями. В одном из таких оскорблений участвовал и Елисеев, в чем он горько раскаивается в своих воспоминаниях. На эти обвинения и укоризны новые редакторы в свое оправдание могли бы указать на то, что такие люди, как Чернышевский и Добролюбов, весьма редки, и с ними никак не могли равняться заурядные люди, новые редакторы. А потому и Некрасов, естественно, не мог чувствовать к ним такого влечения, как к старым редакторам. Значит отсутствие дружбы могло зависеть и от самого Некрасова. Да и дружба самого Елисеева с Некрасовым ничем еще не доказана. А такая

дружба была для него более вероятна и возможна, чем для новых редакторов, так как они находились в близком литературном общении с Некрасовым в течение лишь трех или четырех лет, а Елисеев находился в близких и постоянных литературных сношениях, сотрудничал и редакторствовал с Некрасовым в течение гораздо более продолжительного времени. Значит опять можно было бы воскликнуть: врачу, исцелися сам!

По поводу этих разглагольствований о дружбе невольно вспоминается следующий факт. Перед отправлением Чернышевского в ссылку в Сибирь Елисеев решил и убедил меня ходатайствовать о разрешении нам прощального свидания с Чернышевским. Узнав об этом, Некрасов уговаривал нас отказаться от этого ходатайства, которое Чернышевскому не принесет никакой пользы, а нам может очень повредить. Но несмотря на это устрашение мы возбудили ходатайство, которое увенчалось успехом, и свидание было нам разрешено. На свидании Чернышевский сказал нам, что ему хотелось бы повидать Некрасова, чтобы условиться относительно статей, которые он будет присылать из ссылки под псевдонимом, и спросил, явится ли к нему на прощанье Некрасов. Мы откровенно отвечали, что не только не явится сам, но и нас отговаривал являться на свидание [143].

В доказательство оскорблений, нанесенных Некрасову новыми редакторами, Елисеев приводит в своих записках один случай, который он называет ревизией счетоводства «Современника» — название очень неточное и вовсе не подходящее для этого случая. И этот случай он опи-

сывает неверно, тенденциозно и с предвзятою целью и неверно представляет мотив, которым был вызван этот случай. Елисеев говорит, что Некрасов будто бы «жаловался на бедность доходов журнала, на недостаток денег» и на возражения ему предложил будто бы соредакторам произвести ревизию конторских книг журнала, и они будто бы произвели эту ревизию, которую он называет *неприличной,* и при воспоминании о которой у него выступает краска на лице. Прежде всего, спрашивается, почему, по какому мотиву и с какою целью Некрасов сделал указанное сообщение? Потом, что значит бедность доходов журнала и недостаток денег и как сотрудники поняли эти неопределенные жалобы и почему они заинтересовались этим заявлением? Далее, что же оказалось в результате ревизии, убедились ли или не убедились ревизоры в бедности доходов, спрашивал ли Некрасов у них ответ или не спрашивал, и они дали ему какой-нибудь ответ или ничего не отвечали? Наконец, каков же был окончательный результат всего этого случая, или же случай окончился ничем? Ни на один из тех естественных и напрашивающихся вопросов Елисеев не дал ответа. Уже одно это не может не вызвать подозрения, что в повествовании Елисеева что-нибудь да не так. И, действительно, многое не так.

Ни сам Некрасов, ни заведывавший хозяйственной частью журнала, инженер Панаев [144], никогда не жаловались на бедность доходов, на убыточность журнала, «на значительные дефициты», о которых с непреложностью утверждает г. Евгеньев, но которые на деле не существовали. Пусть

г. Евгеньев сообразит, каковы могли быть дефициты у «Современника» в те годы, когда он получал годичную подписку, а издавался только несколько месяцев [145]. При заключении условий с соредакторами в конце каждого года на следующий год Некрасов назначал им гонорар за статьи и за редакторство, по тому времени очень удовлетворительный. Затем при следующем свидании говорил: «А вот что, господа, я должен сказать вам по зрелом размышлении: наши условия будут иметь силу только в том случае, если число подписчиков на следующий год не будет меньше, чем в этом году». Но ни разу эти условия не изменялись и тогда, когда число подписчиков было больше. И в данном случае Некрасов ни слова не говорил о бедности доходов и о значительных дефицитах, а так просто, среди другого разговора, как будто мимоходом, сказал, что у «Современника» много должников, что вот посмотрите сами составленный Панаевым список должников, и больше ни слова. В это время у него были Елисеев, Жуковский и я. Елисеев взял список и, не взглянув на него, положил в карман, и разговор продолжался прежний, как ни в чем не бывало. Затем мы отправились к Елисееву для рассмотрения полученного от Некрасова документа. Взглянув на документ, Елисеев страшно расхохотался и едва мог выговорить: «Да это вовсе не отчет, который я предполагал и который можно было бы проверять, а список должников журнала, и во главе их — вы»,— сказал Елисеев, обращаясь ко мне. Это был лист бумаги, исписанный крупным писарским почерком и имевший такое заглавие: «Редакции должны

к 1-му Генваря 1865 года». Елисеев продолжал смеяться и пропизировал над этим документом. «А я думал, — говорил он, — что это годовой отчет, баланс журнала, что в нем будет показано, сколько получено от подписчиков, сколько израсходовано и сколько осталось или нехватило, а вот оказывается, что это список должников». В этом списке, действительно, значился, между прочим, и я, задолжавший будто бы 39 р. $5^1/_2$ к., и Головачев в сумме 8 р. $27^1/_2$ к. — вот какова точность. Долго подтрунивал надо мною Елисеев; этот, мол, документ направлен против вас! Это вам напоминание и упрек, что вы скаредничаете, не хотите платить долгов и ждете, чтобы вам громко напомнили о них и т. д. Я решительно не знал, что такое этот долг, но объяснения его не спрашивал ни у Некрасова, ни у Панаева. Между прочим, Елисеев, полушутя, полусерьезно, сказал: «А знаете что, — возьмем эти долги на себя, уплатим их Некрасову, но с условием, чтобы он передал нам весь журнал». Это замечание Елисеева послужило переходом и поводом к серьезным обсуждениям о денежной стороне журнала. Елисеев и Жуковский, вооружившись карандашами, стали проектировать сметы издания журнала, составлять баланс, высчитывать возможные прибыли и убытки и несколько листов исписали цифрами и выкладками. Эти листы, так же как и список должников, каким-то образом сохранились у меня до сих пор. Дальнейшее обсуждение предполагалось у меня, поэтому и документы были вручены мне. Но это обсуждение не состоялось. Мы не придали значения этой истории, отвлекли от нее наше внимание и скоро совсем ее забыли.

И вот фантазия Елисеева из этой простой невинной и незначительной истории нарисовала в его воспоминаниях такую картину: «И вот гурьбой все мы, сотрудники... отправились к Панаеву». Гурьба состояла из пяти или шести человек и в том числе оказался почему-то Слепцов, вовсе не принадлежавший к составу редакции, и Головачев, действительно состоявший при редакции, но не в качестве члена ее, а в качестве только секретаря. Кто же и на каком основании дал им право втиснуться в состав ревизионной комиссии? Ответа нет. «Панаев принял нас любезно, раскрыл все книги... Мы, *незнакомые с бухгалтерским счетоводством,* шутили, спорили, смеялись над теми qui pro quo, которые получались в наших понятиях по объяснениям Панаева к терминам бухгалтерии». Кто придумал и признал необходимым для ревизии целую гурьбу ревизоров? Гораздо целесообразнее было бы послать на ревизию одного Жуковского, знавшего терминологию бухгалтерии. Наконец и здесь непрерывно звучит все тот же неотвязчивый вопрос: что же было результатом ревизии, сделали ли ревизоры Некрасову доклад о ней и какую резолюцию на этом докладе положил Некрасов? Таким образом в рассказе Елисеева о ревизии есть черты, не говорящие в пользу его достоверности [146].

Другой пример «унижения» Некрасова «его сотрудниками», по рассказу Елисеева, состоял в том, что он и я, узнав о том, что Некрасов после временного закрытия «Современника» решил изменить направление журнала и расстаться с прежними сотрудниками, отказались от участия в «Современнике» и перешли в газету Очкина

[«Очерки». *В. Е.-М.*]. В своем рассказе Елисеев вполне отожествляет меня с собою и все свои мысли, чувства, требования и решения приписывает мне, что совсем неверно. По рассказу Елисеева, к Некрасову со всех сторон приставали с вопросом, за что приостановлен его журнал Вероятно, эти вопрошатели были очень наивные люди, не знавшие и не читавшие «Современника» и совсем не сведущие в официальных печатных делах. А иначе Некрасов мог бы им отвечать: «Да вы сами должны знать, за что!» А он будто бы отвечал, что не знаю, «верно, моя консистория что-нибудь в нем напутала». Но он не всегда давал такой ответ, а в некоторых случаях, как это узнал Елисеев из самых достоверных источников, заявлял, что он решился изменить направление журнала, расстаться с нынешними сотрудниками. Когда мы узнали об этом, то будто бы, по его рассказу, «очень этим обиделись, обиделись до того, что порешили не участвовать в «Современнике», если бы он и открылся». Может быть, Елисеев и обиделся, но я, говоря по чистой совести, не только не обиделся очень, но и вовсе не обиделся, и не давал зарока ни под каким условием не работать в «Современнике». Я даже не понимаю, чем тут можно обижаться, даже еще очень [147]. Ведь Некрасов — полный хозяин журнала и волен делать с ним, что ему угодно. Ведь он мог продать журнал другому издателю, который мог без церемонии выдворить нас из журнала, и мы тоже должны были очень обижаться. Я принял предложение Елисеева участвовать в «Очерках», где он был редактором, не по чувству обиды, а про-

сто из опасения лишиться заработка. Елисеев утверждает, что он и я не обиделись бы, если бы Некрасов исполнил такое наше желание или требование. «Наша честность желала, чтобы Некрасов явился *подвижником первых времен христианства,* т. е. предстал перед надлежащим начальством, объявил ему, что ничего напутанного в «Современнике» нет, что все, что там напечатано, и есть сама святая истина..., и что *член консистории,* который написал и позволил другим написать, все это *сделал по его желанию и по требованию*». Вот какие свои странные чувства и желания он совершенно произвольно приписывает и мне. Я уверен, что всякий поверит мне, что ничего подобного тому, что чувствовал и желал Елисеев, мне и в голову не приходило, что это — набор напыщенных фраз. Единственное мое желание и требование от Некрасова было то, чтобы он продолжал журнал попрежнему. И когда он уверил меня, что журнал будет продолжаться при прежних сотрудниках, то я с удовольствием заявил, что его решение меня успокоило и обрадовало, что мне нечего больше желать. И даже пожалел, что дал согласие участвовать в «Очерках». Елисеев, несмотря на свой зарок ни в каком случае, даже при возобновлении журнала, не участвовать в нем, тоже охотно согласился продолжать свое участие. И вот как он мотивирует свое решение: «Мы, наконец, смиловались над бедным Некрасовым». И здесь опять Елисеев вместо *я* написал *мы* совершенно неосновательно. Я, совсем напротив, не «смиловался» над Некрасовым, а почувствовал к нему благодарность и еще большее уважение, и притом

не к «бедному», а к мужественному и великодушному.

Вот еще один и последний из описанных Елисеевым примеров жестоких оскорблений, нанесенных будто бы Некрасову его постоянными сотрудниками. Некрасов в клубе приветствовал графа Муравьева стихами. «Нас», — говорит Елисеев, — эта история повергла в великое уныние. В первый редакционный день мы явились в редакцию с мрачными лицами. Напрасно Некрасов хотел перед нами оправдаться... Но нам претила сама инициатива и факт этого приветствия...» Значит Некрасов не был оправдан? А какой же приговор ему вынесли его сотрудники и к какому наказанию его присудили? Ушли из журнала или дали ему снисхождение и остались работать в журнале? Елисеев утверждает, что «сотрудники, возмущенные одой Муравьеву, покинули Некрасова». Это неверно. На деле, фактически этот строгий суд кончился тем, что сотрудники единогласно решили попрежнему продолжать работу в журнале [148]. И они, действительно, продолжали ее до тех пор, пока сам Некрасов не попросил сотрудников удалиться из его журнала. И как я писал в свое время и как это приведено в статье г. Евгеньева, сотрудники расстались с ним мирно, по-хорошему. Если бы они вздумали дерзить и грубить ему и упорно отказываться от сотрудничества, в таком случае Некрасов сказал бы им: «Не хотите сотрудничать, — ваша воля, прощайте!» Но он объяснил им свой план и мотив отказа сотрудников; признал, что он нарушает заключенные с ним условия, лишает их работы и потому чувствует себя обязанным выдать им

отступного и, действительно, выдал. Ничего этого не было бы, если бы возмущенные сотрудники сами ушли, перегрызшись с Некрасовым, как это настоятельно утверждает Елисеев.

Впоследствии у самого Елисеева улеглось и погасло возмущение литературными преступлениями Некрасова, которые он простил, «наконец, сжалился над бедным Некрасовым» и вместе с ним принялся работать в «Отечественных Записках». Из трех других новых редакторов «Современника» Некрасов не пригласил в «Отечественные Записки» ни одного и ни одному из них Елисеев не сообщил о своем соглашении с Некрасовым, что заставило их признать, что Елисеев поступил не по-товарищески.

Говорить о воспоминаниях супруги Елисеева я не буду, хотя и в них есть много неверностей и неточностей, которые не могут быть поставлены в вину лично ей, и вот на каком основании. При существовании «Современника» я очень близко был знаком с нею, виделся часто и потому часто разговаривал, беседовал и спорил с нею по разным вопросам и, между прочим, по житейски-литературным. Поэтому я отлично знал ее интеллигентный уровень и характерные его черты. Знал также и ту вербальную, как теперь принято говорить, плоскость развития, на которой она стояла, ее стиль и манеру передачи того, что она хотела сообщить. На основании этого знания я с значительною уверенностью предполагаю, что ее воспоминания изложены не ею самою, а кем-нибудь другим с ее слов, с разными прикрасами, преувеличениями, переделками и фактическими неточностями[149]. Воспоминания ее излагало,

очевидно, бойкое перо, а у нее было перо не бойкое. Такое же подозрение, к слову сказать, я имею и относительно воспоминаний Панаевой-Головачевой. И они тоже написаны бойким пером, а у нее перо было тоже не бойкое.

В заключение одно последнее замечание. Г. Евгеньев совершенно произвольно и неверно утверждает, будто я с Жуковским основал Тибленовский журнал «Современное Обозрение» и участвовал в нем. Я, напротив, утверждаю, что я ни в основании журнала, ни в ведении его не участвовал.

VIII. ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Н. С. РУСАНОВА «П. Л. ЛАВРОВ»[150]

(«Былое», 1907, февраль)

В настоящей заметке я имею в виду указать на небольшие неточности, вкравшиеся в указанную статью г. Русанова и касающиеся некоторых эпизодов моей литературной деятельности. В этой статье г. Русанов, между прочим, пишет:

«Духовному вождю (разумеется Н. Г. Чернышевский) тогдашней революционной (?) интеллигенции, очевидно, казалось, что Лавров чересчур завертывает прогрессивный характер своих воззрений в аппарат излишней эрудиции, сбивая тем лишь с толку русскую читающую публику, для которой, по мнению Н. Г. Чернышевского, нужны прежде всего ясные и определенные взгляды. А ученики Чернышевского преувеличивали такое отношение Николая Гавриловича и доходили, раз ступив на такую почву, уже *до явной несправедливости*. (Курсив мой. *Авт.*). Так, когда П. Л. Лавров, прочитав в 1860 г. в пользу Литературного Фонда — одним из первых членов которого он был — три публичные лекции о значении философии (три беседы о современном значении философии, напечатанные в «Отечественных Записках» 1861 г.), он подвергся *резкой критике* (курсив мой. *Авт.*) М. А. Антоновича. И

последний повторил *нападение на Лаврова* (курсив мой. *Авт.*) по поводу «Русского Энциклопедического Словаря», начавшего выходить в 1861 г. под общей редакцией Краевского, при редакции по философскому отделу Лаврова, скоро ставшего главным редактором. Тут, что называется, *своя своих не познаша* (курсив мой. *Авт.*); в то время как архиереи и светские доносчики, в роде Аскоченского, призывали на голову Лаврова правительственные громы за безбожие, проповедуемое «Энциклопедическим Словарем», и требовали наказания церковной анафемой (?) и царской каторгой, Антонович обрушивался на редактора Словаря за умеренность его взглядов. Насколько эта полемика против Петра Лавровича *держалась на недоразумении* (курсив мой. *Авт.*), видно было из того, что вскоре после того *сам* Антонович *предложил Лаврову* (курсив мой. *Авт.*) свое сотрудничество в «Словаре» и дал, между прочим, статью об Евангелиях, которая, подобно многим вещам Антоновича, была написана очень ясно и талантливо и произвела в свое время большой фурор».

Совершенно верно, что я подверг резкой, может быть даже очень резкой, критике не только указанные три беседы, но и всю тогдашнюю философию Петра Лавровича Лаврова («Современник» 1861, № 4). Но к этой критике никоим образом не может быть применено изречение: «своя своих не познаша». Точно так же она вовсе не была плодом *недоразумения*. И я смею думать, что в ней не было не только *явной*, но даже и скрытой *несправедливости*. Не нужно упускать из виду, что Лавров в тогдашних своих первых статьях по философии был далеко не тем, чем он является

в последующих и особенно в последних его статьях. Лаврова по тогдашним его философским воззрениям я ни в каком случае не мог и не имел основания считать *своим*, равно как и он по моим статьям в «Современнике» не мог признавать меня *своим*. Мы были люди разномыслящие, философские противники, и я резко критиковал *не своего единомышленника, а своего* противника. И никакого *недоразумения* тут и не могло быть. Моя критика, по моему искреннему убеждению, была вполне добросовестна, чистосердечна и руководилась справедливыми побуждениями, исключавшими всякую несправедливость. Все мои утверждения я доказывал подлинными словами Лаврова, так что читатель имел полную возможность проверить меня. Да наконец, кто же как не тот же Чернышевский напечатал мою статью в «Современнике». Если бы он заметил в ней хоть малейшие признаки недоразумения, пристрастия или несправедливости, то он или не напечатал бы ее или предложил бы мне переделать ее.

В своей статье я старался изобразить два типа наших тогдашних философов, старых и новых. Самым выдающимся представителем новых философов я признал Лаврова и поставил его гораздо выше Эдельсона и даже Страхова, о котором сказал только несколько слов [151]. Я думаю, что с моей стороны это была справедливость относительно Лаврова. Далее, я отдал полную справедливость новым философам, значит главным образом Лаврову, и поставил их бесконечно выше старых. Именно я писал: «Наши новые философы составляют совершенную противоположность старым; они не верят *абсолюту* (последнее

слово вставлено по цензурным соображениям Чернышевским, а у меня в рукописи было: *во внемировое и управляющее миром существо)*, не толкуют о безусловных вечных идеях, не слишком убиваются из-за ограниченной морали, никого не пугают страшными привидениями, хотят быть современными, придерживаются новых философских систем, признают полноправность философии и самозаконие разума, который знает только себя и никому подчиняться не обязан». И в другом месте я писал о Лаврове: «С целью предупредить и отвратить его (Лаврова) от эклектизма и сделаны были нами некоторые замечания, за которые г. Лавров не будет на нас в претензии, судя по его искренности и по тому философскому благородству, просто рыцарской мыслительной честности, которая заметна почти на каждой странице его статей». И наконец одну отрасль философии Лаврова я характеризовал так: «О практической философии Лаврова мы не будем говорить; правила ее заслуживают полного уважения и делают большую честь высоким практическим идеалам г. Лаврова; но метафизические основания, из которых выведены эти правила, тоже неудовлетворительны». Приведенные отрывки показывают, что мою критику можно характеризовать как угодно, что она, может быть, была очень резка, несдержанна, придирчива, запосчива, непочтительна — и все такое; но назвать ее несправедливой — это в высшей степени несправедливо.

С чем я был согласен в статьях Лаврова, против того я не возражал и, может, не все то указал в своей статье. Я главным образом имел в виду всю философскую систему, все общее миро-

созерцание Лаврова. И эту систему я находил — справедливо или нет, это другой вопрос — совершенно неудовлетворительной. Прежде всего, Лавров много занимался вопросом, что такое философия; и после долгих рассуждений дал на него такой ответ: «Философия есть процесс отожествления мысли, образа и действия». Назвать это определение набором непонятных слов, как это сделал я, ужели это будет несправедливость? — Вся теоретическая философия Лаврова была в то время компромиссной мозаикой отдельных отрывков из разных философий. Прежде всего, он признает основной принцип кантовой философии: «Мы не можем знать сущности вещи, а знаем только явления». Следуя Гегелю, Лавров утверждал: «Все сущее представляется нам фактом феноменологии *нашего* духа». Чистый гегельянец, впрочем, вычеркнул бы из этой фразы слово *нашего*, а вместо его поставил бы *всеобщего* или *абсолютного*. «С тех пор, — говорит Лавров, — как человек убедился (вот видите: не философы, а вообще человек, так сказать, человечество), что он сознает не сущность вещей, но только явления, и даже не внешние явления, а только внутренние собственного процесса мышления, чуствования, желания, с тех пор необходимость психологии, как центра всех прочих миров (?), представлялась более и более ясно человеку». Это преувеличенное значение психологии Лавров позаимствовал у существовавшей в то время школы эмпириков-субъективистов, которые все основали на внутреннем опыте и наблюдении над собственной душой, субстанционально отличной от тела, и которые вообще

были крайними спиритуалистами. Они и упрекали идеалистов, как упрекал их и Лавров, будто они не придавали психологии первенствующего значения и не занимались внутренним самонаблюдением и самопознанием. Но почему в основе не только всей философии, но и «всех прочих миров» должна лежать спиритуалистическая психология, а не антропология, например, как требовал Фейербах или Чернышевский, — этого не разъяснили и не доказали ни эмпирики-субъективисты, ни Лавров. Наконец Лавров не прочь бы был включить в свою философскую коллекцию даже материализм, против которого он вообще ратовал и привел много ходячих и своих собственных возражений и который, по его мнению, призывает человечество «уверовать и поклониться новому кумиру — веществу». И после этого он произнес такой приговор материализму: «Как метафизическая теория, материализм, имея преимущество пред некоторыми другими учениями, не полон, потому что не обнимает теории явлений сознания. Следовательно, *пока* нельзя на нем остановиться, как нельзя остановиться ни на одной из существующих систем идеализма». А если материализм имеет преимущества перед другими учениями и если нельзя остановиться на идеализме, то почему же тогда не остановиться на материализме? А иначе на чем же окончательно остановиться?

Итак, тогдашняя философия Лаврова представляла собою несцементированный конгломерат из нескольких кусков, отбитых от разных философских систем; в нем рядом лежали идеализм, спиритуализм и отчасти даже материализм.

Такая разношерстная философия казалась мне неудовлетворительной, нелогичной, непоучительной и непрогрессивной. Я был вполне убежден, что она может произвести только путаницу и сумбур в головах читателей, особенно тогдашних, совершенных новичков в философии. И потому я считал своим долгом бороться с такой философией и дискредитировать ее в глазах читателей. Г. Русанов рассказывает в своей статье, что однажды, когда он представил Лаврову для напечатания в журнале «Вестник» [152] продолжение своей статьи, начало которой уже было напечатано в этом журнале, то Лавров забраковал это продолжение, возмутился им и грозил отказаться от редакторства, если продолжение будет помещено в журнале. Впоследствии, когда г. Русанов познакомился с Лавровым, последний по поводу продолжения сказал ему, что он лично ничего не имел против него и что если он дал «чересчур резкий отзыв» о продолжении, «то делал это в силу сознания долга...» Вот это и я имею право сказать про мой, может быть тоже чересчур резкий, отзыв о философии Лаврова.

Но помимо неудовлетворительной философии в статьях Лаврова было не мало ересей уже не философских, а чисто научных, совершенно определенных, относительно которых уже невозможны были никакие сомнения, возможные относительно умозрительных сюжетов философии. Вот, например, что писал Лавров: «Для явлений, обозначаемых названием духовных, материализм может быть в теперешнем состоянии науки *только вреден* (курсив мой. *Авт.*), потому что отклоняет большинство ученых от точных психологических исследований,

возможных и теперь, чтобы гнаться за мечтою, которую физиология еще очень долго не в состоянии выполнить». И это было написано в то время, когда уже зарождалась новая наука психо-физика, которая стремилась органически слить материалистическую физиологию со спиритуалистической психологией. И написано было после того, как материалистическая физиология дала опытные доказательства, подтверждающие в известном смысле основной принцип Канта, и показала, что мы не знаем не только сущности вещей, но не знаем непосредственно даже явлений вещей и их действительного отношения к нам, на что указывал знаменитый Гельмгольц [153]. Далее Лавров, подобно старым философам, признавал, что в природе существует причинная целесообразность, что в ней все совершается по кем-то предустановленной гармонии и по кем-то предначертанному плану. И на этом основании он писал вот что: «Один пункт в развитии организмов служит для противников материализма *могущественным* (курсив мой. *Авт.*) аргументом. Это — присутствие известного плана в развитии. Организмы строятся по некоторому первообразу (?)». Это было напечатано в то время (1861), когда уже явилась на свет (1859) теория Дарвина [154], которая уже имела блестящие успехи в ученом мире, но с которою Лавров, вероятно, с ще не был знаком в то время. Меня, в то время горячего последователя и поклонника дарвинизма, просто возмутил этот аргумент, признававший предначертанный план и какой-то первообраз в эволюции органических форм, и потому я ответил Лаврову репликой, может быть, несдержанной и

чересчур резкой: «Что же касается присутствия плана в развитии организмов, то, представьте себе, материалисты видят в нем могущественное доказательство в пользу своего принципа; по всей вероятности, они не читали статьи г. Лаврова; по их словам, оно свидетельствует о том, что разнообразные организмы произошли от одного организма, и это единство их происхождения обнаруживается их сходством и тем именно указывает на развитие и происхождение организмов из одного общего источника. Посмотрите, с какой радостью они ухватились за Дарвинову теорию видов: эта теория и другие в том же роде, — прочитайте Льюиса в «Русском Вестнике», — [155] по их мнению, очевидно, докажут, что рыбы и птицы не появились самостоятельно и независимо друг от друга и высшие животные появились не независимо от низших форм, а что все организмы произошли от нескольких первоначальных типов и даже от одного; оттого-то, что они выросли, так сказать, из одного корня и имеют общее начало, нам и кажется, что они строятся по некоторому первообразу. Как ни видоизменяли их внешние обстоятельства, но не могли уничтожить признаков их общего происхождения; общий тип организмов — это то же, что фамильное сходство в некоторых семействах, сходство между бурбонскими носами и подбородками». Далее, для меня было большим сюрпризом встретить в одной статье Лаврова такую непростительную для него научную ересь: «Механическая теория материалистов, — писал он, — еще далека от своего осуществления в самой области явлений, подлежащих чувствам. В явлениях света не доказано

прямым наблюдением существование волнообразного движения». Напротив, очень доказано: измерена даже длина волн и волнами объяснена интерференция света. А в настоящее время доказано, что электрические герцовские лучи тоже настоящие волны. Эта ересь сильно поколебала в моих глазах ученый авторитет Лаврова.

Все изложенное дает мне право еще раз повторить, что моя критика философии Лаврова и разных его утверждений не была недоразумением и к ней вовсе не применимо изречение «своя своих не познаша». Впоследствии, после личного знакомства с Лавровым, в беседах и спорах с ним я убедился, что он постепенно освобождался от эклектизма и старался придать своему мировоззрению более цельный, однородный и научно-состоятельный вид. И мы сошлись с ним если не во всем, то во многом в области философии. Г. Русанов свидетельствует, что «по мере того, как деспотизм все больше и больше снимал с себя либеральную маску, Лавров все далее и далее *передвигался влево*» (курсив мой. *Авт.*) и что «в начале 60-х гг. взгляды Лаврова подверглись первому наиболее заметному преобразованию на пути от либерализма к социализму». Вот такая же эволюция произошла и в философии Лаврова; он очень полевел и в этой области. Если бы Лаврову в старости показали его стихотворение «Отзыв на манифест», о котором говорит г. Русанов и которое целиком напечатано в той же книжке «Былого», то он наверное сказал бы: «это я написал тогда, когда легковерен и молод я был». Я думаю, что он сказал бы то же самое и про свои первые философские статьи.

Что же касается «Энциклопедического Словаря», то г. Русанов представил дело таким образом, как будто в то время, когда архиереи и светские доносчики грозили «Словарю» анафемой и каторгой, я с своей стороны поджигал и подбивал редакцию его к неумеренности, т. е. был в некотором роде провокатором из-за враждебности моей к Лаврову, и как будто «Словарь» был для меня только поводом и предлогом повторить «нападение на Лаврова» и «обрушиться» на него. Все это крайне не точно. Рецензия на «Словарь» была напечатана анонимно («Современник» 1861, № 7), без моей подписи; но она действительно написана мною и я признаю ее своею. Рецензия говорит *только* о I томе «Словаря», который был редактирован не Лавровым. И потому в рецензии я судил и рядил вовсе не о Лаврове, а о неизвестной безличной «редакции», и если обрушивался на кого-нибудь, то на эту «редакцию», но никак не на редактора и в частности на Лаврова. И обрушивался я на редакцию за весьма многое, но никак не за умеренность ее взглядов. Наш спор можно было бы решить моментально; мне следовало бы только сказать: прочитайте, читатели, мою рецензию, и вы увидите, что в ней нет ничего того, что говорит г. Русанов. Но, к сожалению, это значило бы требовать неисполнимого, невозможного. Поэтому я поневоле принужден хоть кратко указать, что содержится в моей рецензии. Прежде всего я упрекал редакцию за то, что она не уяснила себе и не определила плана и существенного характера своего издания. «Словарь» мог бы быть или просто справочной книгой, перечнем голых фактов, без вся-

кого освещения, без всяких обсуждений и толкований, или же книгой поучительной, по которой можно было бы изучить те или другие сюжеты и почерпнуть из нее такой или другой взгляд на них. Редакция говорила в предисловии, что она желает дать то и другое, — что я считал невыполнимым и не по силам редакции, и что поэтому было бы лучше, если бы редакция держалась одной какой-нибудь цели и тем более, что сама редакция, повидимому, склонялась в пользу голой фактичности и говорила: «Мы стремились не проповедывать какое-либо учение (?), но поставить читателя на современно научную (?) *фактическую точку зрения*». Затем я упрекал опять-таки редакцию, а не редактора и не Лаврова, за то, что она напихала в «Словарь» разный негодный хлам и всякую дребедень, никому не нужную и совершенно лишнюю, что она не выполнила данного ею обещания подробно говорить о русских сюжетах. Как на пример хлама я указал на такую статью: «*ААА*, химическая аббревиатура. Под этими тремя буквами в старинных химических сочинениях понимали амальгаму, сплав металлов с ртутью». А как на доказательство неисполнения обещания редакции я указал на то, что, например, Августину отведено больше печатного листа, а нашему протопопу Аввакуму только четыре странички. Упреков же редакции «за умеренность» не было в рецензии никаких, ни явных ни даже сокровенных, эзоповских. Что у меня не было предвзятой враждебности к «Словарю» — это доказывают, между прочим, следующие места: «Впрочем, справедливость требует сказать, что в I томе «Словаря» есть несколько статей очень дельных, соста-

вленных тщательно, с знанием дела...» — «Статья об аграрных законах составляет блистательное исключение из всех статей исторических... она изложена ясно и отчетливо, без ученых замашек и ежеминутных ссылок на ученые авторитеты...» — «Статьи по расколу также заметно выступают из кучи других статей и имеют в себе задатки для того, чтобы быть интересными». Кончил я свою рецензию следующими словами:

«На-днях вышел второй том «Энциклопедического Словаря». Он похож на первый, несмотря на перемену общего редактора. Это мы хотим объяснить тем, что много метериалов новый общий редактор получил по наследству от прежнего. Чтобы судить о будущности «Энциклопедического Словаря» при новой общей редакции, надобно подождать третьего тома, при составлении которого г. Лавров будет менее спутан рухлядью, заготовлявшеюся еще при г. Краевском».

После всего этого утверждать, что я по поводу и под предлогом «Словаря» «повторил нападение» и обрушился лично на редактора «Словаря» и именно на Лаврова, — по моему мнению, неверно и несправедливо. Так же точно неверно и несправедливо то, будто бы «сам Антонович предложил Лаврову свое сотрудничество в «Словаре». Я всегда отлично понимал, что предлагать свое сотрудничество — дело рискованное и навязчивое; а в данном случае это было бы большой бестактностью и даже некоторым нахальством. Предлагать кому-нибудь сотрудничество в деле, по поводу которого обрушивался на него за это дело, — это было бы чем-то неслыханным. Я никогда и ни к кому не навязывался с своим

сотрудничеством. И в данном случае Лавров предложил мне сотрудничество, и я, склонившись на его очень резонные, основывавшиеся и на моей рецензии убеждения, принял его предложение.

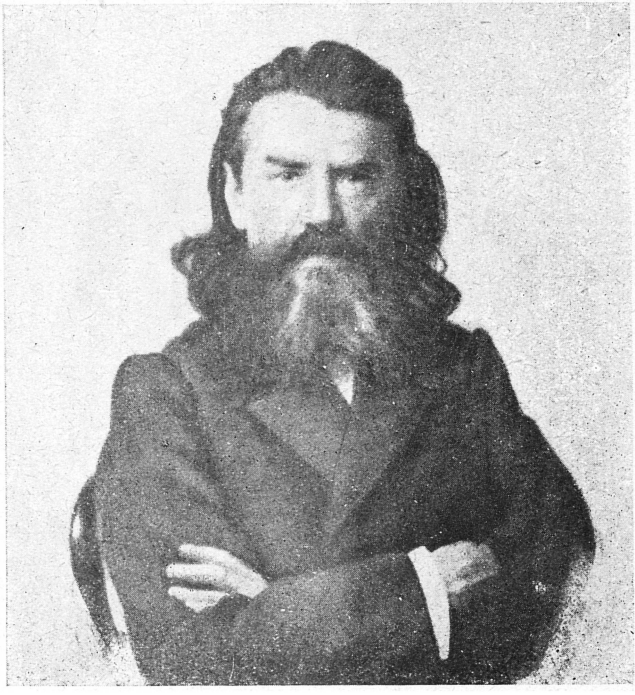
Далее г. Русанов говорит, будто моя статья об Евангелиях «произвела в свое время *большой фурор*». Это тоже неточно. Действительно, статья обратила на себя внимание столичных читателей — о провинциальных ничего не знаю — главным образом тем, что в ней были приведены решительные и резкие факты, сильно колебавшие традиционное понятие о Евангелиях. Но сказать, что статья произвела «*большой фурор*», — это преувеличение.

Г. Русанов в своей статье мимоходом коснулся одного сюжета, к которому я также был прикосновенен. «Когда в Петербурге, — рассказывает он, — стало основываться Общество женского труда, при ближайшем участии Стасовой, Анны Павловны Философовой [156] и графини Ростовцевой, приглашенный в члены Лавров представил в свою очередь список новых членов. И характер этих членов, навербованных почти исключительно из нигилисток, показался учредительницам настолько страшным, что они отказались принять кандидаток Лаврова. На это последний ответил резкою речью о филантропии праздных барынь и насущной потребности в труде деловых женщин». В числе учредительниц была еще А. Н. Энгельгард, горячая и энергичная пионерка по женскому делу. Я также предполагался в члены общества; но я сам не навязывался в члены, а меня опять-таки пригласил и убедил вступить в общество тот же Лавров. На тех предвари-

тельных собраниях, на которых я присутствовал, Лавров не предлагал в члены нигилисток и не произносил обличительной речи. Но действительно в возникавшем обществе сразу образовались две враждебные партии, которые не могли согласиться и спеться между собою. Так, на одном собрании одна партия предлагала в председательницы общества даму из высшего круга, а другая протестовала против этого и требовала, чтобы председательницей была избрана наборщица Нагорнова. Лавров действовал при этом нейтрально и даже в примирительном духе. Должен сознаться, что я по своей бестактности, но неумышленно и непамеренно, мешал примирению. Когда на этом собрании Лавров представил меня одной из учредительниц и рекомендовал как усердного члена и когда она стала благодарить меня, то я ответил ей такой репликой: «Мадам, не вы должны благодарить нас, а напротив, мы должны быть глубоко благодарны вам за то, что вы, движимые гуманными чувствами, решились притти на помощь нашим женщинам, которые знают труд не по наслышке только, которые работают до изнеможения, чтобы добыть себе скудное пропитание; поэтому мы, мы должны быть благодарны вам, а не вы нам». И я внутренно гордился и воображал, какой ловкий комплимент я отпустил светской даме. Но увы! оказалось, как объяснили мне приятели, что это не комплимент, а если не оскорбление, то, во всяком случае, не тонкая, но злая ирония.

Г. З. ЕЛИСЕЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ



Г. З. Елисеев в 60-х годах

С фотографии из собрания Евгеньева-Максимова

Г. З. ЕЛИСЕЕВ И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ

Имя Григория Захаровича Елисеева почти неизвестно современному читателю. Да и не мудрено. Единственная попытка издать его сочинения не могла осуществиться. Первый том Собрания сочинений Г. З Елисеева, изданный в 1894 г., был уничтожен цензурою. А кто станет читать старые журналы 1860 — 1870-х гг.? Но даже в те годы, когда зачитывались «Внутренними обозрениями» некрасовских журналов, их автора знали сравнительно немногие. Елисеев предпочитал в своем деле журнального публициста выступать анонимно. Поэтому популярность его не выходила из узких пределов литературного круга. А в этом узком кругу имя Елисеева пользовалось известностью и уважением. Его трудами и уменьем ориентироваться в хаосе текущих событий держались самые современные, самые злободневные отделы влиятельнейших журналов.

Григорий Захарович Елисеев был публицистом в каждой строке своих писаний. Он весь стоял в современности, в потоке общественной жизни, литературы и журналистики. Он говорил: «Для нас самый главный вопрос ведь не в будущем только, а именно в настоящем, и я могу сказать: даже исключительно в настоящем».

Все его литературные писания — и «Внутренние обозрения» «Современника», а затем «Отечественных Записок», и сатирические фельетоны «Искры», и передовые статьи газет «Век» и «Очерки», и статьи истори-

ческие, и экономические, и историко-литературные, при всем разнообразии тем, материала и жанра (от фельетона до исследования), были объединены одной общей чертой — публицистичностью. Для всех них характерно стремление найти в окружающей действительности хоть какую-нибудь точку опоры для практического воздействия на современную жизнь.

Естественно, при таких условиях, что основное содержание писаний Елисеева составляли факты повседневной жизни, получавшие в них освещение и оценку. Но для того чтобы правильно разбираться в текущих событиях, каждый публицист, по мысли Елисеева, должен испытать себя «в следующих двух вещах: 1) есть ли у него какое более или менее цельное и стройное общественное миросозерцание, в верности которого он убежден искренно и убежден настолько, что в нем не зарождается никакого сомнения, что рассматривание текущих общественных явлений, дел, вопросов с точки зрения этого миросозерцания будет приносить несомненную пользу обществу, будет, прилагаемое к практике жизни, поднимать уровень морального и материального развития общества; 2) честен ли он и стоек в этой честности настолько, чтобы не изменять своему миросозерцанию никогда, ни ради страха, корысти, дружбы, вражды и т. п.» («Внутреннее обозрение», «Отечественные Записки» 1877, № 7).

Никто лучше не удовлетворял этим требованиям, как Г. З. Елисеев. Это ставило его «обозрения» и «хроники» в «Искре», «Современнике», «Отечественных Записках» на исключительную высоту. Даже при беглом сопоставлении с обозрениями и хрониками других журналов (ср. хроники Гайдебурова, Ив. Дмитриева, Капустина и др. или хроники тех же «Отечественных Записок», когда их вели Демерт — в период 1869—1874 гг.

и Кривенко — во время болезни Елисеева с 1881 по 1884 г.) видно, насколько шире, острее, а главное — выдержаннее и дельнее были обозрения Елисеева.

Чем же определялись их выдержанность и направленность?

В одной из своих «Хроник Прогресса» Елисеев так определил свое отношение к науке: «Мы смотрим на науку, как на орудие, посредством которого можно братски разделить между всеми людьми блага знания, добра, материального довольства» («Искра» 1862, № 31). «Мы думаем, что истинная ученость, — писал он об этом же в другом месте, — самая глубокая, может привести человека только к тому убеждению, что единственное прочное благо на земле — тем или другим образом *служить* человечеству, *своим меньшим братьям*... (Курсив везде наш. *Г. Т.*). Итак, читатель, побольше и побольше любви к человечеству, *особенно к тому, которое мы привыкли считать за двуногих, не имеющих с нами ничего общего*. В этом состоит венец истинного знания и истинной мудрости» («Современник» 1861, № 3).

Елисеев приветствовал только те явления общественной жизни, которые, хотя бы частично, может быть очень незначительно, служили на пользу обездоленных и неимущих братьев. Елисеев считал, что при рождении нового, пореформенного порядка каждый общественный деятель обязан ратовать за то, чтобы этот порядок создал необходимые условия для наиболее справедливого, для наиболее равномерного перераспределения богатств. Эта точка зрения определяла отношение Елисеева к происходящим реформам и ко всему «новому» той бурной эпохи.

Публицистическая позиция Елисеева была позицией представителя определенной социальной группы, пози-

цией разночинца-демократа, ставшего на сторону крестьянской революции. Он оставался ей верен во всех своих писаниях — писал ли он о древней Русской Правде или о реакционной вылазке Писемского-Безрылова, о комической опере XVIII века или о суде над Верой Засулич. «Я не знаю писателя, — замечает Михайловский в своих воспоминаниях, — который имел бы большее право на титул настоящего, кровного демократа, чем Елисеев» (Н. К. Михайловский. «Литературные воспоминания и современная смута», т. I, гл. XII).

В литературу Елисеев вступил почти одновременно в журнале Некрасова — «Современник» (декабрь 1858 г.) и в сатирическом еженедельнике В. Курочкина и Н. Степанова — «Искра» (январь 1859 г.). И если в «Современнике» за первые два года его участие выразилось лишь в нескольких отдельных статьях, то в «Искре» он сразу же становится постоянным сотрудником и членом редакции.

Та волна общественного подъема, которой характеризуются годы от падения Севастополя до опубликования крестьянской реформы, вызвала стремление к всестороннему раскрепощению личности и быта, критическое отношение ко всем порождениям крепостничества. Одним из результатов этого стремления явилось быстрое и широкое развитие обличительной литературы.

Если Добролюбов громил обличителей за их крохоборство и неумеренный оптимизм, то отсюда отнюдь не следует заключать, что все обличители заслуживали подобного отношения. На ряду с обличителями либерально-буржуазного направления, шестидесятые годы выдвинули не мало обличителей демократов и радикалов. К ним принадлежал Елисеев в годы его

сотрудничества в «Искре». Роль первого публициста «Искры», которую он занял вскоре по выступлении на этом поприще, с каждым номером приобретала большее и большее значение в общей структуре журнала. И если за первые два года (1859—1860) сатирическая публицистика Елисеева только нащупывала свои пути, то с 1861 по 1863 г. ее значение в «Искре» становится первенствующим. Именно публицистика Елисеева создавала идеологическое лицо «Искры», ставила ее в один ряд с самыми серьезными органами современной прессы. «Не благодаря ли главным образом Елисееву, — правильно замечает М. К. Лемке в своей статье об «Искре» (см. его «Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия» СПБ. 1904, стр. 43),—«Искра» имела серьезное публицистическое значение, к ее голосу прислушивались, хотя и затыкали уши?»

К первому же пятилетию литературной деятельности Елисеева относятся его попытки участвовать в газетной прессе.

В конце 1861 г. у группы литераторов возникла идея организации артельного еженедельника. Тридцать участников группы выбрали Елисеева редактором этого будущего журнала. В Центрархиве сохранилось (в деле за № 311 главного управления цензуры от 8 октября 1861 г.) ходатайство коллежского советника Григория Елисеева о дозволении ему издавать журнал «Мирской Толк» и отказ главного управления цензуры. Вскоре аналогичное заявление было подано другим членом артели М. М. Стопановским, тоже искровским публицистом (зав. отд. сатир. корреспонденций), но и на него был получен аналогичный отказ. Но в феврале 1862 г. артель арендовала у П. И. Вейнберга еженедельник «Век», первый номер которого и вышел 18 фев-

раля уже под редакцией Елисеева. Содержание статей «Века», принадлежащих Елисееву, было теснейшим образом связано с происходящими реформами: они или были направлены против реакционных дворянских вылазок Безобразовых и др., или представляли собою практические предложения к предстоящей судебной реформе. Но через два месяца после своей организации «Век» прекратился из-за недостатка средств...

Елисеев мечтал о возрождении «Века», но оно не осуществилось, может быть отчасти и потому, что в конце года Елисееву было предложено редактировать ежедневную газету «Очерки»*.

Передовые статьи «Очерков» не похожи на передовые других газет. Это, собственно, одна большая статья, разрабатывающая стержневые темы крестьянского вопроса.

Просуществовав около трех месяцев, 9 апреля 1862 г. «Очерки» прекратились. Боясь ответственности за радикальное направление, взятое Елисеевым, издатель-

* Кстати отмечу ошибку М. К. Лемке (см. его книгу «Эпоха цензурных реформ», стр. 145), обойденную молчанием в последней, да и единственной статье об «Очерках» (см. Брейтбург. «К Истории газеты «Очерки». «Русская журналистика». I. Шестидесятые годы. «Academia», 1930, стр. 51—71). Лемке, сообщая об инциденте в цензурном комитете по поводу несоответствия программы объявлению, замечает, что «участие Елисеева, конечно, и *не подозревалось*». (Курсив мой. *Г. Т.*). Между тем об участии Елисеева было открыто опубликовано в объявлениях об издании газеты «Очерки», где сказано, что «в трудах редакции принимают непосредственное и деятельное участие М. А. Антонович, известный своими философскими и критическими статьями в «Современнике», и Г. З. Елисеев (Грыцько), участвовавший там же, первый по политическому, второй по внутреннему отделу газеты» (см. «Искру» 1862, № 41).

редактор А. Очкин перепродал подписчиков редактору «Современного Слова», г. Писаревскому. Елисеев об этом узнал только на следующий день после сделки.

В «Современнике», как было уже сказано выше, Елисеев начал работать с конца 1858 г. Он помещал в нем статьи исторические, публицистические, историко-литературные и экономические. А с 1861 г. он начинает вести в журнале ответственнейший публицистический отдел «Внутреннее обозрение». С конца 1863 г. Елисеев уходит из «Искры», отдав всего себя сначала «Современнику», а затем «Отечественным Запискам».

По своим общим взглядам Елисеев был одним из типичнейших представителей разночинцев-демократов, в центре внимания которых стояли судьбы пореформенного крестьянства.

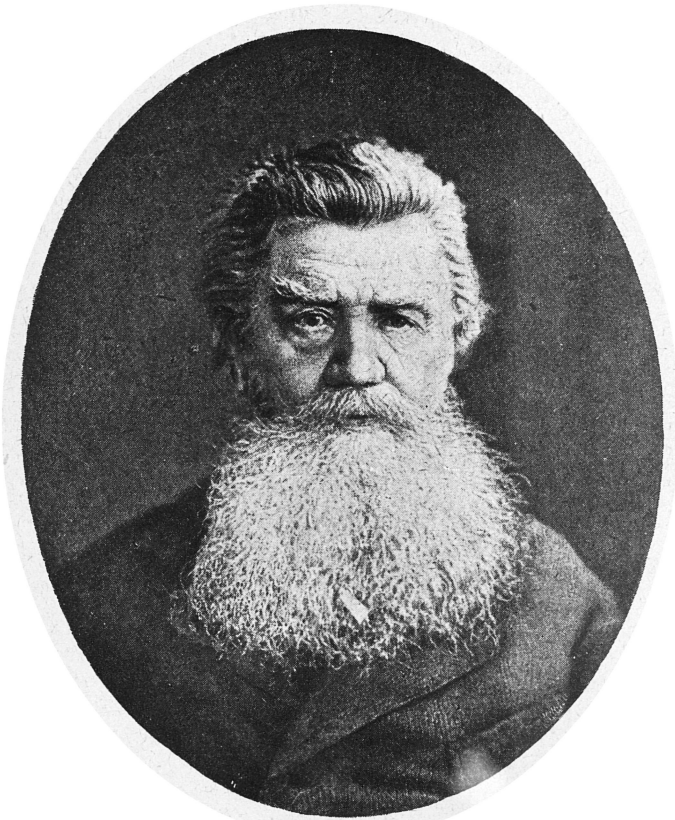
Но в лагере разночинцев-демократов Елисеев отличался умеренностью и легализмом: это был типичный «реальный» политик, нередко допускавший в своих заботах о реальном и немедленном улучшении быта крестьянства оппортунистические и приспособленческие ноты. Теоретические вопросы занимали его очень мало, социализм был для него не более как благородной утопией, с которой нечего делать в сутолоке текущего дня. Его сила и значение были в умении освещать всю сумму общественно-политических условий существования России с точки зрения непосредственных интересов крестьянской массы, во внимании к экономическому положению этой массы, в подлинном демократизме, которым пронизаны были все его работы в «Современнике» и «Отечественных Записках».

«Елисеев, — правильно говорит Н. К. Михайловский, — был силен знанием практической жизни и уменьем разбираться в текущих житейских явлениях, освещая

их с точки зрения требований новой, проснувшейся на Руси жизни. Эта именно черта привлекла к его «Внутренним обозрениям» общее внимание и сделала их одним из важнейших отделов «Современника». Он был, можно сказать, создателем этого отдела не только в своем журнале, а и вообще в журналистике». Что касается оппортунизма и фетишизма легальности, которые отличали Елисеева, то они особенно ярко сказались на его отношении к «муравьевским» стихам Некрасова и на его общей оценке «Что делать?» Чернышевского; в печатаемых ниже отрывках из воспоминаний Елисеева эта черта народнического публициста нашла себе рельефное выражение.

Девяти лет Елисеев остался круглым сиротой. В небольшом сибирском городке Таре Тобольской губернии, после нескольких лет нищенской и полуголодной жизни в нетопленной бане, умерла мать Григория Захаровича. Отец его, священник с. Спасского Каинского округа Тобольской губернии, умер в первый год рождения ребенка. После долгих хлопот духовное начальство признало мальчика-сиротку, определив его в духовное училище при Тобольской епархии. Немудрено, что почти не сохранилось сведений о детстве и юности Елисеева. Даже год рождения вызывает сомнение. Историк Казанской духовной академии называет 1819 г., а биограф Елисеева — Кривенко — 1821 г. Мы склоняемся ко второй дате, ибо на нее указывает сам Елисеев, а также официальные документы.

Проявив большие способности и желание учиться, Елисеев одним из лучших окончил духовное училище и затем так же хорошо — семинарию. Хотел заняться медициной, но духовное начальство не отпустило его, определив в Московскую духовную академию. Успешно окончив и ее, Елисеев был назначен 12 декабря 1844 г.



Г. З. Елисеев в старости

баккалавром по русской церковной истории и еврейскому языку в Казанскую духовную академию. За период преподавания в Казанской духовной академии, кроме курсов по русской церковной и гражданской истории, Елисеев занимался научной работой, облюбовав некоторые темы из церковной истории края. Результатом этой работы явилась книга, изданная в 1847 г., — «Жизнеописание святителей: Гурия, Германа и Варсонофия казанских и свияжских чудотворцев...» (Казань. Унив. тип. 1847, стр. 94+12), а в 1849 г. — «Краткое историческое сказание о чудотворных иконах Казанской, Семиозерской (Смоленской), Грузинской (Раифской) и Мироносицкой» (М. Унив. тип. 1849, стр. 66+4) *.

Произвол духовного начальства, который, как вспоминает Елисеев, «время от времени внезапно в мирный порядок жизни врывается точно стихийная сила, ставящая все вверх дном» (Г. З. Елисеев. «Из прошлого двух академий». «Вестник Европы» 1891, № 1), поездки в Петер-

* В 1878 г. Суворин в «Новом Времени» попрекнул Елисеева за эти труды, спрашивая, когда же Елисеев был искренним — во времена ли писания книг о святителях или теперь, когда он пишет внутренние обозрения. Елисеев на это отвечал, что он не стыдится своих прежних работ и что хотя миросозерцание его с тех пор сильно изменилось, но моральные истины он исповедует те же: «Вы, г. Суворин вытаскиваете из моих литературных трудов за тридцать слишком лет назад составленное мною жизнеописание первых казанских архиереев, людей даже с гражданской точки зрения достойных всякого уважения и ому, что они для культуры и развития края сделали более, чем сколько делали не только тогдашние воеводы, но чем сколько делают и нынешние генералы. — Но, подумайте, г. Суворин, каких ничтожных людей вы ни прославляете теперь — в настоящее время, сегодня, вчера, каждый день. Каких ничтожностей вы ни выдаете за доблести» («Отечественные Записки» 1878, № 4).

бург для собирания материалов в архиве Синода создали тягу от церкви, от науки и профессорства в современную жизнь. Заблаговременно, еще в 1850 г. уйдя по болезни из духовного звания, Елисеев 9 февраля 1854 г. бросает свое преподавание в академии и уже в марте того же года уезжает в Сибирь на должность Омского окружного начальника. По самому характеру службы ему приходилось исполнять поручения главным образом в среде крестьянства. Здесь-то, за трехлетнюю службу в Сибири, Елисеев почерпнул знакомство с практической жизнью, с жизнью крестьянства, которое ему так пригодилось во всей литературной деятельности. В декабре 1857 г. Елисеев выходит в отставку по болезни и приезжает в Петербург. В конце 1858 г., написав первую свою статью («О Сибири»), он отнес ее в «Современник». Статья была напечатана, Елисеев обратил на себя внимание литературных кругов, и через два слишком месяца мы видим уже его в качестве постоянного сотрудника сатирического журнала «Искра». С тех пор журнальная работа Елисеева не прерывалась почти четверть века, и только в начале 80-х гг. Елисеев должен был отойти от нее. В апреле 1881 г. его постигла неожиданная и тяжелая болезнь. «У него произошла закупорка какого-то мозгового сосуда и отсюда параличные явления. Врачи думали сперва, что он не выживет, но вскоре он настолько поправился, что мог выехать за границу» (С. Кривенко. «Литературные воспоминания и характеристики». «Русская Мысль» 1901, № 7).

Больше трех лет Елисеев не мог заниматься литературной деятельностью. Измученный болезнью, соскучившийся без дела, Елисеев, повидимому, только и мечтал о том, чтоб вернуться в «Отечественные Записки». «Вы все-таки расспросите у Боткина, — писал

он Салтыкову в апреле 1882 г., — что он скажет вам о том, могу ли я приехать в Петербург». И с тревогой спрашивал о журнале: «Вы не пишете в вашем письме, что вы думаете делать с «Отечественными Записками». Прикончите их или нет в нынешнем году»; дело в том, что в 1883 г. кончался срок контракта Салтыкова и Елисеева с Краевским. Но болезнь позволила приехать Елисееву в Петербург только после запрещения «Отечественных Записок».

Повидимому, потребность в литературной работе, болезнь, продолжавшая напоминать о скором конце и отсутствие близкого журнала — натолкнули Елисеева на мысль о мемуарной эпопее, посвященной виденному и пережитому. «Что же делать, — писал Елисеев в приводимом Михайловским отрывке автобиографии, — маленькой личности для собственной самозащиты и для защиты самого дела и лиц, которые с ним стояли около него. Как, если не предупредить совершенно, то, по крайней мере, ограничить до известного минимума как те легковесные приговоры об известной эпохе и действовавших в ней лицах, так и тот бесчестный лай, который поднимают на них достоверные свидетели с бухгалтерскими книгами в руках. Мне кажется, самое лучшее, что она может сделать, это взяться за перо, и, насколько помнит, правдиво изобразить свою жизнь, по крайней мере, в выдающихся ее моментах в связи с теми событиями и лицами, с которыми она соприкасалась» (Сочинения Г. З. Елисеева, т. I, М. 1894, стр. 5).

Но болезнь и старость мешали задуманному плану. В результате за шесть лет работы (1885—1891) получился ряд отрывков без начала и без конца, частью исследовательского, частью публицистического, частью мемуарного характера. Повторения и текстуальные

совпадения заставляют воспринимать эти отрывки как части одного неосуществленного целого.

Часть рукописей представляет собою незаконченные отрывки исторических и публицистических статей. Они не имеют особого интереса для современного читателя, главным образом потому, что сохранились в недоработанном и незавершенном виде. Это в большинстве своем статьи историко-культурного характера, освещающие первую четверть XIX века. Остальная часть рукописей представляет собой наброски воспоминаний, заключающие в себе много интересных эпизодов и характеристик.

Первой по написанию является заметка, вызванная выпадом каракозовца И. А. Худякова против Н. А. Некрасова в его автобиографии, прочитанной Елисеевым, повидимому, еще за границей (Автобиография Худякова вышла в Женеве в 1882 г.). Заметка эта, с существенными (по цензурным соображениям) пропусками и с неверным объяснением повода ее написания была напечатана П. Якубовичем (Мельшиным) в 1902 г. в журнале «Русское Богатство», а затем в его книге: «Н. А. Некрасов и его литературная деятельность» (СПБ. 1907). Эту заметку в полном, неискаженном виде мы помещаем в приложениях к нашей книге.

Смерть Каткова в 1887 г. заставила Елисеева набросать воспоминания — статью о Каткове и его деятельности. Статья эта, сохранившаяся в автографе и копии, не имеет ни начала, ни конца. В отрывки чисто публицистического характера, разбирающие столкновения Каткова с цензурой, характеризующие начало его деятельности, взаимоотношения с Белинским и основную линию его жизни, начиная с 1861 г.— отыскание польской интриги — вкраплены мелкие воспоминания о личных встречах, об объявлении крестьянской

реформы, о выстреле Каракозова и др., в большинстве своем повторяющие аналогичные эпизоды других мемуарных отрывков. Для публикации она не представляет интереса.

1889 г. был годом смерти целого ряда литераторов, в том числе столь близких Елисееву Н. Г. Чернышевского и М. Е. Салтыкова. Под впечатлением этих смертей работа Елисеева над воспоминаниями приняла особо интенсивный характер.

К несчастью статья — воспоминания о Чернышевском не осуществлена Елисеевым. Дело не двинулось дальше собирания биографических материалов. Отдельные упоминания, а также противопоставления Чернышевского новой редакции «Современника», разбросанные по различным черновикам, носят случайный характер. Так что использовать что-либо из этих материалов для печати чрезвычайно затруднительно.

Воспоминания о Салтыкове, как и большинство мемуарных рукописей Елисеева — без начала и без конца. Вернее, для начала подходит целый ряд вариантов. По-видимому, часть из этих воспоминаний была написана до смерти Салтыкова, а часть явилась непосредственным откликом на его смерть. Один из черновых набросков начинается словами: «Россия схоронила вчера М. Е. Салтыкова...» В этих воспоминаниях характеризуются последние годы литературной деятельность Салтыкова, годы редактирования им «Отечественных Записок». Воспоминания почти целиком, за исключением черновых набросков и вариантов, были напечатаны В. Евгеньевым-Максимовым в апрельской книжке «Заветов» за 1914 г. («М. Е. Салтыков в письмах к Гр. Зах. Елисееву», стр. 22—48 и «М. Е. Салтыков-Щедрин», стр. 49—62). Отчасти по недостатку места, отчасти потому, что воспоминания о Салтыкове

относятся к другой эпохе, к 80-м гг., нам приходится воздержаться от перепечатки этих воспоминаний, отсылая интересующегося читателя к указанной книжке «Заветов» за 1914 г.

Тоже навеянной могилами является рукопись, имеющая форму ответа и начинающаяся словами: «Ты говоришь». В противовес могилам литераторских мостков Волкова кладбища, Елисеев вспоминает о бесчисленных обличителях 60-х гг., бесконечных литераторах-обывателях, характеризуя интересное явление прихода в литературу мелкобуржуазной богемы предреформенных лет. Эта рукопись упоминается в статье Н. К. Михайловского о Елисееве, в которой приведена из нее небольшая выдержка. В приложении к нашей книге воспроизводится наиболее существенная часть статьи «Ты говоришь».

Наконец основной, самый большой по величине мемуар, частично повторенный в целом ряде черновых набросков, посвящен вопросу о разрыве между членами бывшей редакции «Современника» при организации «Отечественных Записок» с описанием последних лет «Современника» (с 1863 по 1866 г.) и первых лет «Отечественных Записок».

Читая эти воспоминания Елисеева, не надо забывать, что они написаны через двадцать лет после описываемых событий и что на них густой тенью легла атмосфера реакции 80-х гг. В центре рассказа стоит конфликт между Жуковским и Елисеевым. Жуковский не считал нужным привлекать Елисеева в состав редакции организуемого журнала. Образ действий Жуковского в данном случае логически вытекал из идеологических позиций обоих публицистов. Ю. Жуковский не мог надеяться сделать «Отечественные Записки» своим журналом, пока в нем будет играть роль Г. З.

Елисеев. Жуковский шел на разрыв с Елисеевым и добился его, но «Отечественными Записками» завладеть ему не удалось. Он никак не ожидал, что Некрасов предпочтет трем членам редакции одного Елисеева.

Характеристика Жуковского в воспоминаниях Елисеева в некотором смысле может быть названа пристрастной. Елисеев совершенно правильно отмечает как противоречия статей Жуковского с программою «Современника», так и его поправение, выразившееся в программе «Современного Обозрения» и во вступлении к сочинениям Иеремии Бентама. Но Елисеев характеризует идеологические колебания Жуковского, как резкие salto mortale, объясняя их личными качествами его характера — карьеризмом. Это не совсем так. Поправение Жуковского было не столь резким. Уже в 1865 г. в передовых статьях газеты «Народная Летопись» Жуковский выступил с точкой зрения, которая при внимательном анализе могла свидетельствовать о начавшемся его отходе от позиций «Современника». Вот к каким выводам приходит современный исследователь этой газеты Б. Козьмин: «Жуковский, с его проектом развития в деревне мануфактурных промыслов, должен быть причислен к тому направлению народничества, которое отражало интересы не малоземельного и маломощного в экономическом отношении крестьянина, не обедневшего и полуголодного батрака (каким было, например, народничество бакунинского типа), а интересы крепкого хозяйственного мужика. Жуковский чувствовал, что обязательное участие в производительных кооперативах малоземельных и обедневших крестьян может принести этим кооперативам скорее вред, чем пользу. Социальная утопия Жуковского — это утопия хозяйственного мужичка, испуганного развитием фабрично-заводской промышленности и одновременно

с этим стремившегося упрочить и расширить свое экономическое преобладание в деревне» (Б. Козьмин. Газета «Народная Летопись». Русская журналиска. I. Шестидесятые годы. «Academia», М.—Л. 1930, стр. 103).

От этой защиты интересов крепкого, хозяйственного мужичка вполне естественным был переход к превознесению бентамовской философии и к замене вопросов распределения богатств вопросами их накопления, что в воспоминаниях Елисеева представлено как неожиданный и ничем не подготовленный поворот Жуковского.

Таким образом путь, которым шел Ю. Жуковский, уводил его от идеологии разночинца-демократа к чисто буржуазному либерализму. В момент организации «Отечественных Записок» Жуковский был уже достаточно далек от демократизма «Современника», что, повидимому, и заставило его добиваться исключения из редакции демократа Елисеева. Дальнейшее следование по наметившемуся пути «этого курьезного якобы энциклопедиста Жуковского», как писал о нем К. Маркс в 1877 г. (см. «Письма К. Маркса и Ф. Энгельса к Николаю —ону», СПБ. 1908, стр. 16), и привело его к ярому протесту против «Капитала» К. Маркса.

Мы остановились на Жуковском, потому что он являлся представителем «большинства бывшей редакции» в переговорах с Некрасовым. Пыпин, вся литературная деятельность которого в свою очередь говорит об эволюции слева направо, был, надо думать, с ним вполне солидарен. Антонович не присутствовал при переговорах, получал информацию от Жуковского и, может быть, именно поэтому держал его сторону.

Некрасов не пошел на соединение с ними. Во первых, он умел часто, может быть, не рассуждением, а каким-то чутьем угадывать, что в данный момент правильнее

лучше, прогрессивнее. Затем, понятно, весьма существенную роль играли те материальные требования, которые были выставлены Жуковским. Мы убеждены, что указания Елисеева о требовании Жуковским половины дохода будущего журнала — соответствуют истине. Наивно выглядит рассказ анонимного биографа Ю. Жуковского (см. Ю. Жуковский. «XIX век и его нравственная культура». СПБ. 1909), что Некрасов предложил им ухудшенные против «Современника» условия работы и что Жуковский и Пыпин отказались, возмущенные кулачеством Некрасова.

Слишком хорошо известно, что Некрасов никогда не жалел денег для привлечения тех сотрудников, которые были ему нужны. И если бы причиной разрыва действительно являлся один «вопрос о четвертаках», то это значило бы, что предъявленные Некрасову требования должны были быть очень велики.

Кроме этой основной темы, воспоминания Елисеева повествуют об аресте автора во время каракозовского следствия, об отношении сотрудников к Некрасову, об организации Тибленом журнала «Современное Обозрение» и о многом другом, давая интересные характеристики и освещая малоизвестные факты.

К несчастью, несмотря на то, что эти самые обширные воспоминания переписаны набело женою Елисеева, причем на этом беловом тексте сделаны некоторые поправки рукою Григория Захаровича, — они имеют все отрицательные качества остальных рукописей Елисеева. В них так же часто теряется нить повествования, так же часты повторения и длинноты, так же как и в большинстве рукописей отсутствуют определенное заключение и начало, таким образом они имеют качества черновиков, не предназначенных в таком виде для опубликования.

Вот почему, подготовляя текст к печати, нам пришлось разбить рукопись на главы, дать им соответствующие заглавия, выкинуть некоторые повторения и не доведенные до конца экскурсы, исправить отдельные синтаксические и стилистические описки и перемонтировать ее части.

Воспоминания эти целиком печатаются впервые, отдельные же цитаты из них были опубликованы в воспоминаниях П. К. Михайловского и главным образом в статьях В. Евгеньева-Максимова («Голос Минувшего» 1915, № 1, и 1916, № 2).

Органическим завершением характеристики нового руководства «Отечественными Записками», данной в вышеупомянутых воспоминаниях, представляет собой статья «Некрасов и Салтыков», опубликованная Михайловским в 1893 г. (см. «Русское Богатство» 1893, № 9). Эту статью мы перепечатываем самостоятельной, заключительной главой воспоминаний Елисеева.

Для заполнения пробела, получившегося из-за отсутствия оценки брошюры Жуковского и Антоновича — «второго провала» этих писателей, по выражению Елисеева, приводим в качестве соединительной главки начало из елисеевского «Ответа на критику», написанного им по выходе этой брошюры (см. «Отечественные Записки» 1869, № 4).

Г. Тизенгаузен

ВОСПОМИНАНИЯ Г. З. ЕЛИСЕЕВА

I. АНТОНОВИЧ И ЖУКОВСКИЙ В «СОВРЕМЕННИКЕ»

Между «Современником», возобновившимся с 1863 г., и прежним «Современником» было мало общего. Правда, цель осталась та же, и весь наличный персонал журнала, оставшийся от прежнего «Современника», так же искренно и горячо ратовал за ту же цель, что и прежде, но прежней души «Современника», в нем действовавшей, всем управлявшей и направлявшей, уже не было. Этою душою «Современника» был до сих пор Н. Г. Чернышевский, но он при закрытии журнала в 1862 г. был арестован и заключен в крепость. Его мог бы заменить, хотя, впрочем, тоже не без ущерба для журнала, единственный человек из всего персонала сотрудников «Современника» — Н. А. Добролюбов, обладавший менее обширными сведениями, чем Чернышевский, но одаренный таким же метким боевым взглядом, как он, взглядом, необходимым для того, кто становится во главе такого журнала, как «Современник», находившийся в постоянной борьбе за твердо и неуклонно проповедуемые им новые идеи и принципы. После Чернышевского только Добролюбов и сумел бы ориентироваться среди разнообразных, быстро менявшихся тогда течений жизни и взглядов правительства и дать приспособительно к этому сообразное направление

или, вернее сказать, «modus vivendi» журнала. Но Добролюбов умер еще осенью 1861 г. Остальной персонал сотрудников «Современника» составляли все люди более или менее ординарные, хорошие работники по разным детальным частям журнала и специальностям, но не имевшие ни верного глазомера, чтобы надлежащим образом оценивать все тяготеющие над журналом сторонние влияния, ни таланта уметь находиться и умно вести себя среди этих влияний, итти, когда представляется возможность, прямым путем к цели, когда угрожает опасность — окольною дорогою, не лезть в ненужную, бесплодную борьбу, прямо опасную, когда ничего нельзя было ожидать, кроме поражения и закрытия журнала.

Ни мы, остальные сотрудники «Современника», ни тем более Некрасов не думали, что поведем журнал с таким тактом и уменьем, как он велся при Чернышевском, тем не менее все надеялись, что журнал, поставленный прежде хорошо, сам собою пойдет недурно, а кроме того, не без надежд в будущем были относительно Антоновича. Думали: человек он еще молодой, пообтрется, приловчится, присмотрится, и со временем из него выработается достойный преемник Чернышевского. Антонович был человек, действительно, даровитый. Еще на школьной скамье в Петербургской духовной академии, где он кончил курс, он чувствовал недостаточность преподаваемых там знаний и стал заботиться о своем самообразовании, которое продолжал неутомимо и сделавшись литератором, и настолько успел в этом уже в 1861 г., что Чернышевский возлагал на него большие надежды в будущем. В 1861 г.

напечатаны были в «Современнике» следующие статьи г. Антоновича: 1) «Современная философия», по поводу философского лексикона Гогоцкого, напечатанная в февральской книжке журнала, 2) «Два типа современных философов», по поводу «Трех бесед о современном значении философии» П. Л. Лаврова — в апрельской и 3) «О Гегелевской философии» по поводу перевода книги Гайма «Гегель и его время» — в августовской.

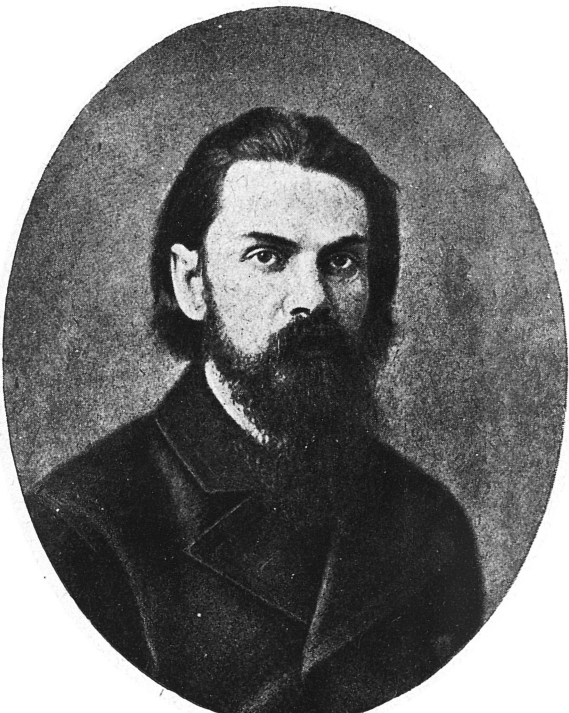
Эти три статьи были едва ли не самое лучшее из всего, что написал Антонович за все время своей работы в «Современнике» до конца журнала. После известной статьи Чернышевского «Антропологический принцип в философии», появившейся в 1860 г. в «Современнике», было для всех ясно, какой философской теории журнал отдавал предпочтение, тем не менее личная убежденность в верности этой теории, не допускавшая никакого сомнения, сквозившая во всех упомянутых статьях, заставляла думать, что автор доработался до убеждения в ее верности самостоятельно, собственным размышлением. Кроме того, в означенных статьях видна была сила критической мысли, основательное знакомство с разными философскими теориями, умение самые темнейшие и запутаннейшие из них по построению и терминологии перевести на общепонятный язык, сделать для всех ясным; все это обратило внимание читающей публики на молодого, так блистательно дебютировавшего критика. Но если первые статьи молодого Антоновича поставили его сразу подле Чернышевского, сделав его таким же alter ego Чернышевского в тяжелой и опасной полемике с враждебными философскими

теориями, каким alter ego его был Добролюбов в области литературной критики и полемики, то еще более надежд возлагал на него Чернышевский в будущем. Антоновичу в 1861 г., когда он написал означенные статьи, так блистательно, поражая знаменитых ученых последователей энциклопедистов старых философских систем, было всего 25 лет от роду. Ему вполне освещен был прямой и верный путь к приобретению знания, он мог итти по нему закрыв глаза, не сбиваясь направо и налево, ему доступны были все необходимые для этого источники и средства, всегда был подле него, в случае каких-нибудь случайных недоразумений и сомнений, такой надежный, высокоталантливый руководитель, как Чернышевский. При подобной обстановке чего нельзя было ожидать в будущем от даровитого Антоновича! Чернышевский, потративший много времени на то только, чтобы выйти на настоящую дорогу, имел основание сказать, что завидует Антоновичу, между прочим, потому, что чувствует, что он пойдет дальше его, опередит его [1]. Это был некоторым образом аттестат зрелости, выданный Чернышевским Антоновичу, и Антонович сильно старался оправдать его. Он занялся основательным изучением новых языков, знакомился с политическим устройством и современным состоянием европейских государств, внимательно штудировал новую историю, но в особенности налегал на естественные науки, популярные статьи по последним стал помещать в «Народном Чтении»[2] уже в 1861—1862 гг. В «Народном» же «Чтении» в 1862 г. он, за смертью Добролюбова, дебютировал в качестве литературного критика

по поводу выхода в свет романа Тургенева «Отцы и дети»[3], а статья его «Асмодей нашего времени» печаталась в мартовской книжке «Современника»[4]. Не знаю, сам ли Антонович напросился на эту работу или Чернышевский, находясь под обаянием его критических философских статей понадеялся, что он справится и с критикой произведения беллетристического, только задача вышла для Антоновича не легкая, совсем не подходящая к его критическому таланту, по натуре своей, если можно так выразиться, вполне прямолинейному, способному рубить прямо и грубо с плеча и терявшемуся там, где нужна была работа более тонкая, требовавшая приличных подходцев, сноровки и мягкости приемов. А такая именно работа предстояла теперь. Во-первых, автор «Отцов и детей» был до сих пор постоянный почти сотрудник «Современника», художественный талант которого не подлежал никакому сомнению не только в глазах «Современника», но и всей читающей публики. Еще недавно «Современник» устами его даровитейшего критика Добролюбова признал за талантом Тургенева особенную чуткость угадывать, подмечать в литературе вновь возникающие явления общественной жизни. Новое произведение Тургенева, напечатанное в «Русском Вестнике», повидимому, вполне соответствовало этой аттестации «Современника». Оно было так талантливо написано, что публика зачитывалась. Оно первое определило для нее происходившие в обществе брожения, выведши перед ним на сцену действовавших в этом брожении лиц с их взглядами, стремлениями. Лица эти представлялись так метко и верно

очерченными, что казались выхвачены живьем из самой жизни. Так стояло дело с одной стороны. С другой же стороны, еще задолго до появления нового романа на страницах «Русского Вестника», в литературных кружках стали ходить слухи, что Тургенев, разошедшийся тогда с Некрасовым и сильно недолюбливавший Чернышевского и особенно Добролюбова, пишет новый роман с целью осмеять направление «Современника», главным героем выведен один из редакторов «Современника», именно Добролюбов, остальные лица взяты из его поклонников в среде молодого поколения; слухи прибавляли, что роман пишется по инициативе Каткова[5], что Тургенев ведет с ним переписку о разных лицах романа, в особенности личности главного героя и сообразно тому делает поправки. Слухи о таком бесчестном образе действий Тургенева, конечно, не могли не раздразнить редакции «Современника»; насколько, однако, справедливы эти слухи, она проверить не могла; — да если бы даже и вполне в них удостоверилась, она могла иметь их в виду про себя при рассмотрении романа Тургенева, а печатно высказывать не могла.

От критика требовалось большое искусство, чтобы не впасть в прямое противоречие с прежними отзывами «Современника» о Тургеневе, как выдающемся художественном таланте, владеющем при этом особенным чутьем угадывать нарождающиеся движения в обществе, а тем более не стать в совершенно абсурдное положение к новому роману, отрицая перед восхищающеюся им публикою в нем всякую художественность.



Ю. Жуковский

Писарев в «Русском Слове» [6] сумел отчасти избегнуть этих неудобств. Он признал новый роман и вполне художественным и признал и то, что автор верно почувствовал движение новой жизни в старом обществе, но только не понял вполне этого движения, потому что сам автор — человек старого склада жизни и новых нарождающихся явлений не мог понять. Взгляд в основании был совершенно верный; Писарев только сам, увлекшись внешнею художественностью романа, недостаточно вник в фальшь характеров рисуемых Тургеневым личностей и в их неверную постановку и отнесся к этой фальши снисходительно.

Антонович не счел нужным входить в какие бы то ни было объяснения о признаваемом всеми художественном таланте Тургенева, ни о прежних статьях по этому предмету «Современника», ни, наконец, об общем увлечении публики, восхищавшейся художественностью нового произведения Тургенева. К общему удивлению всех он начал свою критику с того, что объявил, что в романе «Отцы и дети» нет никакой художественности, что все выведенные в нем лица — не живые лица, а отвлеченные идеи и взгляды, олицетворенные и названные собственными именами, что весь роман написан преднамеренно, с целью осмеять и унизить молодое поколение и выставить превосходство пред ним старого во всех отношениях. Указав потом подробно, в чем злобно искажены и опошлены личности детей и в чем сочувственно прикрашены и обелены отцы, критик говорит, что и в таком фальсифицированном виде отцы оказываются в романе Тургенева ничуть не лучше детей. В заключение критик

говорит, что Тургенев не понял происходящего перед ним движения, не был научно подготовлен к тому, чтобы ориентироваться среди разнообразных толков общества об этом движении и понять суть, поэтому он доходит до таких нелепостей, что может отрицать в молодом поколении даже любовь к природе и свободе, признав их достоянием старого поколения. В общем критика Антоновича похожа не столько на литературную статью, сколько на судебный доклад по обвинению Тургенева в злостном оклеветании молодого поколения, но доклад сделан был доказательно, обстоятельно и спокойно. Он не имел никаких блестящих достоинств, показывал даже, напротив, неспособность автора быть критиком беллетристических произведений, но как мнение «Современника», тщательно обработанное и толково изложенное, достиг своей партийной цели.

Название или, правильнее сказать, кличка: «Асмодей нашего времени», с которою появилась статья Антоновича в журнале, дана им не случайно и не без злого умысла. Дело в том, что в романе никто этим именем не называется и в нем, как показывает самое его название, никакая индивидуальная личность не выдается за героя. Героями являются две личности собирательные — и отцы и дети. Потому при первом взгляде на статью впечатление получается такое, что «Современник» окрестил этим именем самого Тургенева для вящшего его унижения в глазах читателя. Только по осилении всей статьи Антоновича, составляющей три слишком печатных листа, и притом на последних ее страницах читатель узнает, что таким именем назывался изданный

назад тому четыре года роман известного ретрограда Виктора Ипатовича Аскоченского [7], осмеиваемого в то прогрессивное время единодушно всей журналистикой, и что название это взято Антоновичем якобы по сходству героя выводимого Аскоченским некоего Пустовцева, с личностью Базарова. Но в действительности между Пустовцевым и Базаровым нет решительно никакого сходства. Базаров был человеком убеждения, пропагандистом идей, которым он предан; он проповедывал их всегда пред всеми, где мог и где представлялся к тому случай, не задаваясь при этом личными целями, скорее даже вредя этим целям. Пустовцев же является просто негодяем, который свои перверсивные идеи внушает одной молодой девушке с единственною целью соблазнить ее, чего и достигает. Несомненно, что все дочитавшие внимательно до конца статью Антоновича ясно увидели, что в приравнивании Базарова к Пустовцеву Аскоченского не было другой цели, как третировать Тургенева, ставя его относительно понимания новых идей и людей на одну доску с презираемым всеми Аскоченским, даже ниже его. Быть может, в видах того вредного влияния, какое мог иметь и действительно имел роман Тургенева на отношение общества и литературы к пропагандируемым «Современником» идеям это было и нужно, но ошибка Чернышевского состояла в том, что он не произвел казни над Тургеневым сам: несмотря на свою жестокость в подобного рода критиках, он сделал бы это гораздо умнее и приличнее, а главное, не поселил бы и не утвердил бы в Антоновиче того самомнения, что он способен быть таким

же компетентным и основательным критиком при рассмотрении беллетристических произведений, каким был относительно сочинений философских. Впоследствии, когда Антонович занял роль критика «Современника», он опустился до площадной перебранки с разными газетами и журналами, в том числе и с «Русским Словом»: когда последний назвал его «лукошком глубокомыслия», укоряя его за «Асмодея нашего времени» и говоря, что этою статьею он добивался роли первого критика в «Современнике», то Антонович с своей стороны, называя критика «Русского Слова» бутербродом глубокомыслия, отвечал на это, что он никогда не имел и мысли добиваться этого, что в то время, когда напечатана была его статья на Тургенева, редакцией «Современника» заведывало исключительно и безраздельно одно лицо, от которого вполне зависело принять и напечатать или отвергнуть эту критику, и что, если бы это лицо было не согласно с критикою Антоновича, оно бы, конечно, ни за что ее не напечатало («Современник» 1864, декабрь). Вот какую прыть получило самомнение Антоновича оттого только, что статья его о Тургеневе одобрена была Чернышевским.

Но этим не ограничивалось то зло, которое причинило Антоновичу одобрение его статьи о Тургеневе Чернышевским. Антонович понимал, как высоко ценил Чернышевский критический талант его, когда ему, не занимавшемуся до сих пор рассматриванием беллетристических произведений, поручил рассмотрение произведения первого нашего поэта и всеобщего любимца публики и притом произведения не какого-нибудь заурядь-

ного, а самого капитального, разрешавшего самый болезненный вопрос злобы дня, долженствующий повлечь за собою громадные последствия в литературе и обществе. И когда критика Антоновича настолько удалась, что Чернышевский одобрил ее и напечатал, то Антонович вырос в собственных своих глазах, он стал смотреть на себя, как на прирожденного критика и для беллетристических произведений, в своей критике на Тургенева увидел chef d'oeuvre критического искусства, и ту уголовную манеру критики, которую он употребил относительно Тургенева, где автор притягивается к суду и где составлялся обстоятельный протокол по всем пунктам его уклонения от истины, исповедуемой критиком, и затем он подвергался личной распеканции,— такую манеру критики он признал единственно верною и полезною. А так как для такой уголовной критики годились более сочинения отрицательного, чем положительного достоинства, более всего пищи находила себе эта критика в мелких произведениях периодической прессы, занятой преимущественно злобою дня, то критика естественно должна была спуститься до личной полемики. А так как предметы, по которым приходилось вести полемику, большею частью были достаточно разъяснены и никакой надобности в составлении обстоятельного протокола об отступлении автора в тех или других пунктах от истины не оказывалось, то и оставалось ограничить полемику распеканцией провинившегося автора, но так как немногие авторы позволяли безответно распекать себя, большая часть, напротив, раздражалась ими, то полемика превращалась в простую

площадную брань, дошедшую, наконец, до лукошек, бутербродов и т. д.

Эту манеру уголовной критики и положил в основу «Современника» Антонович, ставши во главе его. На его обязанности лежало теперь писать передовые критические статьи, составлявшие душу журнала, разъяснявшие его взгляды и стремления вообще, и его решения по важным вопросам дня, волнующим общество. В прежнее время эти статьи писались большею частью по поводу тех или других выходивших в свет книг, обративших на себя внимание журнала, но подробным разбором их никогда почти не занимались, предоставив это дело библиографии журнала. В самих же статьях выяснялись то те, то другие свойства современного общества на основании данных, представляемых вышедшим в свет тем или другим поэтическим произведением, или проводился новый взгляд на науку, в противоположность или в подтверждение тому вышедшему в свет научному произведению, о котором шла речь. Таким критическим статьям, богатым идеями и содержанием, которыми все увлекались и которыми гордился и имел право гордиться старый «Современник», положен был конец. Критический отдел по мысли Антоновича сделался уголовным, но не удержался даже на степени критического уголовного суда, где бы рассматривались признанные подлежащими этому суду сочинения и составлялись бы такие же обвинительные о них судебные протоколы, каким был протокол, составленный о романе Тургенева «Отцы и дети», а превратился прямо в полицейскую съезжую, куда Антонович

выходил на личную расправу с разными сочинителями.

Одним словом, в новом заправиле «Современника» в течение трех лет его вполне самостоятельной, свободной деятельности не выразилось никаких задатков, ни даже случайных порывов и стремлений мысли к созиданию какой-нибудь новой или упорядочению или лучшей организации прежде уже существующей деятельности в жизни ли, в науке или в литературе, а оказалась одна только сильно бьющая полемическая струя с задором и нескрываемым желанием разнести противника во что бы то ни стало. Составитель нового словаря писателей Венгеров весьма метко охарактеризовал тогдашнее основное направление мысли Антоновича, назвав его разносителем. Насколько этот разносительный талант лежал лично в натуре Антоновича, насколько привитию и развитию его способствовало воспитание и господствовавшее направление литературы 60-х гг. преимущественно обличительное, разбирать это здесь было бы долго. Но несомненно, что самостоятельное, на полной своей воле его хозяйничанье в «Современнике» дало возможность разрастись этому таланту до невероятных размеров и в таком виде окрепнуть и утвердиться, если не навсегда, то на очень долгое время. Оставайся Антонович простым сотрудником под руководством такого умного человека, как Чернышевский, то он разносительный талант Антоновича держал бы в должных границах, во-первых, тем, что направлял бы его только на такие явления, которые по громадности своего вредного влияния на общественные умы и нравы требуют самых стре-

мительных ударов уничтожающей критики, и не давал бы ему возможности относиться подобным образом к явлениям, менее вредным и тем более совсем незначительным по количеству или качеству своего вредного влияния на общество; во-вторых, во всяком случае, когда к тем или другим вредным явлениям примешиваются известные выдающиеся личности, деятельность которых в других случаях заслуживает уважения, соблюдать в отношении к ним необходимый декорум. Сдерживаемый постоянно в таких пределах, г. Антонович мало-по-малу приучился бы более сдержанно относиться к проходящим перед ним явлениям и в конце концов из ярого разносителя превратился бы, если не в полемиста-джентльмена, то в полемиста приличного, с которым можно говорить, не боясь скандала.

Теперь без такой предварительной подготовки, получив в полное самостоятельное заведывание вместе со всем «Современником» преимущественно критический отдел его, Антонович и дал полную волю своему разносительному таланту. Каждый месяц в этом отделе непременно кого-нибудь из литераторов подвергали распеканции. Иногда эта распеканция делалась без всякой причины — просто ни за что, иногда по причинам, настолько ничтожным, что в серьезном журнале можно было позволить себе разве только в шутку сказать слова два; между тем, всем этим мелочам г. Антонович давал огромную цену и исписывал по поводу них множество страниц. Этого никакими соображениями нельзя было объяснить, кроме разве как личным темпераментом Антоновича. Почему из тысячи текущих явлений, о которых

можно и должно было говорить в солидном журнале, избираются самые мелочные, вовсе никакого внимания не заслуживающие и о которых, пожалуй, стыдно и неприлично говорить передовому журналу. Между тем именно этими только мелочами был занят ум г. Антоновича. И производить за подобные мелочи расправу над всеми противниками, делать им всевозможные распекации стало органическою потребностью Антоновича, его удовольствием.

Чтобы не быть голословным, я приведу здесь один из примеров таких его распекаций. Расправа и распекация Антоновича началась с первой книжки обновленного «Современника».

Первая книжка была двойная — за январь и февраль. В ней Антонович поместил две статьи: одну — «Литературный кризис» под собственным именем, другую — без имени, под названием «Краткий обзор журналов за прошедшие восемь месяцев». В первой статье Антонович, стараясь воздержаться от брани, просто констатирует факт, что после бывших пожаров со времени закрытия «Современника» в журналистике произошла реакция, что большая часть ее из либеральной превратилась в консервативную и даже ретроградную и т. д. Статья вышла вялая, бесцветная. Чтобы видеть всю бедноту ее, стоит прочесть в этой самой книжке статью «Наша общественная жизнь», написанную Салтыковым, которая занимается исключительно констатированием того же факта, которому посвятил свои статьи Антонович. В безымянной статье «Обзор журналов», поговорив о том, что журналы во время молчания «Современника» никаких новых дельных вопросов не

поставили и не разрешили, он потом подвергает своему специальному рассмотрению «Русский Вестник», «Отеч Зап.» и «Время». Дав по пинку каждому из этих журналов, первому — за вполне заявленное им теперь ретроградное направление, второму — за отсутствие направления, третьему — за хвастовство каким-то якобы направлением, которого в самом деле вовсе не имеет, Антонович затем con amore останавливается на Громеке [8] и производит над ним расправу. За что? А вот за что: перед началом каждого нового года в литературных кружках обыкновенно появлялись разные слухи об имеющих появиться в будущем году новых журналах или о закрытии старых; о разных предстоящих личных переменах или преобразованиях в последних. Зачастую эти слухи выпускались и распространялись завистью и враждою с целью повредить успеху подписки тех журналов, которые хорошо шли. У «Современника» было более врагов и завистников, чем у какого-нибудь другого журнала. И в обыкновенное время пред наступлением нового года о нем сочинялось много неблагоприятных слухов. Теперь он был в особом исключительном положении, самом удобном для сочинения самых неправдоподобных слухов. В мае 1862 г. он был по случаю пожаров закрыт на восемь месяцев. Срок его молчания должен был кончиться в конце февраля 1863 г. Между тем причина пожаров оставалась и к концу 1862 г. не открытою, по крайней мере, не объявленною; арестованный по случаю пожаров Чернышевский все еще оставался под стражею; все общество и журналистика под влиянием романа Тургенева «Отцы и дети» били тревогу о вреде нигили-

стического направления, проводимого «Современником». При таком положении очень натурально было в конце года появиться слухам о том, что правительство решило более не терпеть этого журнала и положило закрыть его окончательно. В виду этих слухов добродетельный Громека в ноябрьской книжке решился замолвить перед правительством слово за «Современник», насколько умел и как умел; он вполне добросовестно доказывал, что уничтожить в литературе целое направление «Современника» несправедливо и невыгодно для правительства и что ему представляется даже невероятным, чтобы правительство, имеющее в виду уничтожить цензуру, могло иметь такую мысль. В заключение Громека просит, чтобы цензура «не воспрепятствовала этим откровенным и доброжелательным строкам дойти по назначению». Какими бы мотивами ни было вызвано это ходатайство, во всяком случае оно было доброжелательное [9]. В видах не только личной пользы каждого журнала, но в видах простого литературного декорума, надобно было желать, чтобы доброжелательные отношения существовали в журналистике, чтобы в случае кары, постигшей какой-нибудь журнал, другие, несмотря на частные личные счеты, говорили, насколько могли, за опального и старались выручить его из беды. И вдруг на этого самого Громеку, решившегося замолвить слово за «Современник», обрушился со всею яростью Антонович за то, как он смел это сделать. «Какое великодушие, какая храбрость!» — восклицает Антонович. — «Современник» гнушается вашим ходатайством». «Ваше ходатайство есть фарс, но фарс ловкий и

искусно рассчитанный на то, чтобы уронить противника и возвысить себя», и т. п. Таких любезностей Антонович наговорил Громеке несколько страниц. Эта дикая расправа, учиненная Антоновичем положительно без всякой причины над человеком, желавшим заявить, как он умел, сочувствие к опальному журналу, как собрату в журналистике, ошеломила всю журналистику, хотя солидарные с «Современником» журналы, конечно, не протестовали, объясняя для себя эту дикость горечью, которая накопилась в сердце критика в течение восьмимесячного принужденного молчания, тем более что ни «Русский Вестник», ни «Отеч. Зап.», ни сам Громека не пользовались их сочувствием.

Таким образом грызня беспричинная, ненужная, вредная легла с самого начала в основу критического отдела «Современника». Чем далее шло время, тем более Антонович входил во вкус этой грызни. Наконец эта грызня дошла до того, что г. Антонович в 1865 г., по остроумному выражению покойного М. Е. Салтыкова, отправным пунктом полемики между «Современником» и «Русским Словом» поставил положение, что Благосветлов имеет обыкновение спать в передних на барских шубах; говоря проще, дошел прямо до площадной брани. Казалось, далее итти было некуда; но г. Антонович, ослепленный самомнением о своем критическом понимании, не видел той грязи, в которую попал. Напрасно некоторые из сотрудников «Современника», в том числе и я, говорили ему, чтобы он бросил эту грызню, бесполезную и неприличную для журнала; напрасно некоторые из читателей журнала при-

сылали в редакцию журнала ругательные письма за эту грызню. Антонович печатал эти письма и продолжал делать то же, что и прежде.

Несомненно, что эта постоянная грызня г. Антоновича сильно вредила «Современнику». Говорили, что именно вследствие ее подписка на «Современник», доходившая при Чернышевском до семи тысяч, упала в возобновленном «Современнике» на четыре тысячи и выше этого не подвигалась никогда до самого его конца. Вероятно, отчасти это и справедливо [10]. Но было не мало и других причин, которые способствовали падению «Современника» в глазах общества, хотя устранение этих причин лежало на том же Антоновиче как главном руководителе журнала.

Но прежде чем говорить об этом, я должен сказать несколько слов о Ю. Г. Жуковском.

Ю. Г. Жуковский выступил на литературном поприще в 1859 г. в сборнике «Весна» (на 1859 г.), издаваемом им самим с несколькими друзьями, молодыми людьми. Здесь была помещена им замечательная по времени статья — ибо это было как раз перед освобождением крестьян, — в которой молодой автор на основании своеобразно истолкованных исторических фактов доказывал, что Россия основалась на крепостном праве, которое проникло во всю ее жизнь, во все отношения и учреждения, что надобно очень и очень подумать о том, чтобы уничтожить его. Статья не обратила внимания тогдашнего общества, но «Современник», зорко следивший за литературою, приметил недюжинные способности в авторе, порекомендовал ему почитать кой-какие статьи в «Современнике», опровергавшие его взгляд [11].

Было ли мнение, высказанное г. Жуковским в «Веспе», действительным его убеждением, или это была только проба его молодого пера, желавшего блеснуть оригинальностью нового взгляда, как бы то ни было, но вскоре он делается сотрудником «Современника». Знакомый с иностранными языками, он наполняет журнал классными учебными сведениями богатого багажа иностранной учености и время от времени делает иные вклады в «Современник» статьями по политической экономии и политическим наукам. За недостатком специалиста по этой науке, в то время самой модной, он делается в «Современнике» человеком нужным. Он примечает это, и у него является мысль занять место арестованного члена консистории [12] и сделаться таким же воротилой в «Современнике», каким был тот. Конечно, это было с его стороны чудовищным самомнением. Арестованный член консистории был палата ума, безукоризненных и непоколебимых нравственных принципов, наконец, открытое благородное сердце, полное любви ко всем, самоотверженья. А он чужд всякой самостоятельной мысли в жизни и в своих «ученых упражнениях», самых шатких моральных принципов и правил, и эгоист до мозга костей. Но кто же из литераторов не ценил себя выше той цены, какой стоит. И кто не старался о том, чтобы и литературный рынок признал такую оценку. С этим неразрывно связано увеличение гонорара, следовательно, увеличение средств к жизни. Г. Жуковский употреблял все средства, чтобы установить на литературном рынке себе ту цену, в которую он себя ценил. Он издавал отдельными книжками те ученые упражнения,

которые помещал в «Современнике». Публика их не оценила. Он инсинуировал среди простодушной компании честных сотрудников «Современника» о громадных барышах, получаемых Некрасовым от журнала, и ходил вместе с ними поверять бухгалтерские счеты «Современника», чтобы принудить Некрасова к плате высшего себе гонорара. Но Некрасов оказался на этот раз кремнем. Чтобы победить упорство Некрасова, заставить его оценить себя в ту именно цену, в какую он сам себя ценил, Жуковский является, как раз накануне каракозовской истории, самым ярым пропагандистом прогрессивных идей, каким никогда не бывал доселе; с шумом и треском пишет он несколько таких фельетонов[13]; в сущности фельетоны представляют собою больше отчаянное многословие и пустословие, полны мыслей заурядных, высказываемых тогда ежедневно чуть ли не во всех газетах и журналах, и во всех фельетонах едва ли найдется две-три дельных собственных мысли. Но они написаны горячо, бойко, с наскоком и возбудили общую сенсацию своей краснотою. За один из этих фельетонов, кажется, самый неудачный, представляющий вместо ответа на вопрос общее место, автор был привлечен к суду.

Жуковский ставил себе целью доказать Некрасову, что он по своим талантам и сведениям ничуть не ниже упомянутого арестованного члена консистории, что он именно то искомое лицо, которое Некрасов потерял в этом члене.

Вот в этом именно самомнении, в этой крайне преувеличенной оценке своих талантов и знаний, а вместе с тем и великих якобы услуг, состоял

главный недуг двух из сотрудников «Современника», из которых один, Антонович, был призванным вождем его, а другой, г. Жуковский, самопроизвольно в последнее время «Современника» всеми силами старался попасть в вожди его. Когда я говорю о самомнении этих двух сотрудников «Современника», то никак не хочу этим сказать, чтобы этого самомнения не было и у других сотрудников. Напротив, я убежден, что без самомнения, т. е. без преувеличенной оценки своих достоинств, не может обойтись ни один сколько-нибудь способный литератор. Весь вопрос в том, насколько это самомнение сопровождается действительными достоинствами того лица, которое его имеет, и настолько ли это лицо умно, чтобы понимать, что даже едва приметная косвенная похвала своим достоинствам, высказанная без нужды, делает человека смешным в глазах других людей; если же самовосхваление начинает проскальзывать и повторяться часто, то и при действительных достоинствах, в силу которых делается это самовосхваление, оно производит в других неприятное ощущение. Если же это самовосхваление принимает тон совсем неприличный, если автор начинает говорить о своих достоинствах с апломбом, с надменностью, порицая притом других, если при этом еще и достоинства, им себе приписываемые, не только не очевидны для других, но и весьма сомнительны, то такое самомнение, переходящее в надменность даже в людях, более или менее сочувствующих автору, невольно возбуждает отвращение к этому действительно крайне неприятному в людях недостатку, и тем более неприятному, чем симпа-

тичнее люди, которые им страдают, по тому ли делу, которому они служат, или по своим дарованиям; людей же враждебного лагеря этот недостаток прямо приводит в ярость, порождает в них ненависть, месть, желание напакостить, чем могут, противнику, облить его грязью, запачкать, уничтожить. В таком именно положении в последнее время находился «Современник» и, я думаю благодаря в значительной части той падменности, которую приняли по отношению к остальной литературе не только враждебной, но и сочувствующей ему, г. Антонович и г. Жуковский.

II. ОШИБКИ НОВОГО РУКОВОДСТВА ЖУРНАЛОМ

Русское общество с 1863 г. изменилось до неузнаваемости. А возобновленный «Современник» остался при своей старой программе, главная задача которой состояла в том, чтобы кричать всем во всеуслышание неумолчно, что общество тогда только будет благоденствовать, когда научится жить по-божьему, а по-божьему жить, значит: «тебе кусок, ему кусок, мне кусок», одним словом, когда ни один самый ничтожный член общества не будет обделен, и будут все иметь по куску.

Но одним криком не всегда можно достигнуть, чего желаешь. Иногда для пользы именно дела нужно смягчить этот крик, даже на время сдерживать его в виду бесчисленного множества других криков, отвлекающих от него внимание общества и заглушающих его, и обращать все внимание на прекращение этих криков, чтобы восстановить тишину и дать возможность обществу снова спокойно слышать тот главный крик, от полного внимания и следования которому зависит все его благоденствие. Одним словом, требовалось полное внимание к существующему положению общества и то или другое усиление или смягчение самого главного основного крика применительно к этому положению.

1863 г. открылся польским восстанием, которое привлекло внимание всего общества к польскому вопросу. На отношения наши к полякам в нашем обществе и литературе выработалось два взгляда: взгляд Екатерины, которая, победив Польшу вместе с Пруссией и Австрией и присоединив значительную часть ее к России, смотрела на Польшу, как на страну, закончившую свое политическое существование; и взгляд императора Александра I, который, признавая совершенно справедливым присоединение к России областей, принадлежавших прежде России и населенных большею частью народом русским, отторгнутым Польшею от России во время невзгод последней, находил, однакож, политическою ошибкою со стороны России содействовать уничтожению Польши как государства. По его взгляду, Польша, притом с ее дружественным отношением к России, необходима как передовой пост и оплот при возможных случайных нападениях со стороны враждебных западных государств, каковое угрожало тогда со стороны Франции в лице Наполеона I. Притом в поляках как народе, нам единоплеменном, приобщившихся к европейской цивилизации ранее нас на много столетий, он видел лучших союзников и учителей для России в шествии по пути прогресса. Задумав преобразовать Россию по европейскому масштабу, он хотел предварительно создать по этому же масштабу Польшу. Для этого, собрав в одно целое все области, составлявшие собственно Польшу, которые можно было собрать, он создал из них отдельно от России царство польское, дал ему особенную конститу-

цию, соединив ее с Россией только лицом одной и той же верховной власти. Все это сделал Александр I, несмотря на то, что при нашествии Наполеона на Россию Польша стала во враждебные отношения к России, умножив собою полчища Наполеона, опустошавшие Россию. Александр такое враждебное чувство поляков по отношению к России считал весьма естественным после раздела Польши Екатериною и надеялся, что, когда он восстановит политическое существование Польши, чувства поляков относительно России из враждебных сделаются дружественными. Надежды эти не осуществились ни при жизни Александра, ни после него, но они продолжают жить постоянно и живут доныне в более или менее значительной части нашего общества.

В особенности они оживились и увеличились в начале эпохи нашего возрождения, когда все находились в ожидании, что с освобождением крестьян Россия устроится на новых основаниях, на которых устроится и Польша, и оба родственные народа, русские и поляки, станут жить по-братски. Эти надежды разделял и «Современник» и симпатично относился к полякам, держась взгляда, установленного на Польшу Александром I.

В начале 1863 г. коварное нападение польских мятежников[14] на русские войска, квартировавшие в Польше, произвело в России взрыв всеобщего негодования. Под впечатлением такого настроения русского общества и в виду претензий поляков, заявивших требование, чтобы Польша была отделена от России в полном своем составе, в каком она была до разделения, происшедшего при Екатерине, т. е. со включением в нее

и русских провинций, исконно принадлежавших России, «Московские Ведомости» стали доказывать, что отдельное существование Польши невозможно, что при отдельном ее существовании, сколько-нибудь самостоятельном, она всегда будет мечтать о присоединении к ней русских провинций, когда-то временно ей принадлежавших, и будет поэтому всегда непримиримым врагом России, что для окончательного ее успокоения нужно отнять даже и те немногие права на отдельное существование, какие оставлены были Николаем после восстания 1830 г., и необходимо слить вполне с Россией самое царство польское, как и все другие завоеванные Россией области, одним словом, проводили взгляд Екатерины. «Современник» при своем восстановлении держался, конечно, своего прежнего взгляда, но во время войны, которая началась немедленно после восстания, ему нельзя было, что называется, кричать под руку, т. е. высказывать вполне взгляд на Польшу императора Александра I, сильно отступающий от взгляда Екатерины, вследствие сильного брожения умов в обществе, возбужденного, кроме восстания поляков, еще тою странною поддержкою, которую претензии на отдельное от России существование Польши со включением в нее и наших русских провинций — нашли во Франции и Англии, грозившихся России чуть не войной. Вопрос об отношении России к Польше, с одной стороны, «Московскими Ведомостями», проводившими взгляд Екатерины, с другой — угрожающими требованиями иностранных кабинетов, поддерживавших польские претензии, отдавался на апелляционное решение русского

общества, которое и не замедлило последовать в бесчисленных адресах, последовавших со всех концов России. Все эти адресы твердо говорили против раздела России и против иностранного вмешательства в отношения России к Польше, но не высказывали вражды к полякам как национальности, напротив, в некоторых адресах, как, например, Самарском, высказывалось сочувствие к ним как к единомышленникам. «Но в самый разгар борьбы,— говорилось в адресе, — ненависть к ближайшим ее виновникам не найдет доступа в наши сердца... Мы сбережем для лучшего времени сознание нашего племенного единства с поляками».

Это был момент, когда «Современник» должен был начать говорить об отношении России к Польше. Я говорю должен был, потому что журнал, самый распространенный в России и имевший самое сильное влияние на общественное мнение, не мог не высказать своего взгляда на предмет, занимавший тогда все умы и сердца. Он должен был высказать мотивы, по которым находил нужным не касаться этого предмета в первые месяцы восстания; объяснить, почему он считает долгом говорить об этом теперь; разъяснить на основании адресов различные взгляды, существующие в обществе по отношению России к Польше; выяснить их исторически, высказать свой взгляд на предстоящее устройство Польши. Одним словом: отношениям к Польше он должен посвящать, по крайней мере, каждые два и три месяца по одной особой статье, пересматривая все появившиеся новые взгляды и мнения с своей точки зрения. Но отмалчиваться, ни слова не говорить по польскому вопросу

«Современник» никак не мог. Молчание непременно должно было отнять от него престиж преобладающего значения перед другими журналами и газетами, отнять у него ту гегемонию над ними, которую он имел доселе в глазах общества. Этого мало: в правительстве это молчание необходимо должно было возбудить недоверие к журналу, поселить в нем подозрение, что журнал дружит или, по крайней мере, думает заодно с подпольными листками, которые требовали тогда не только отделения Польши от России, но и присоединения к ней тех принадлежавших русским областей, где большинство выскажется за присоединение к Польше.

И несмотря на все это, «Современник» молчал, молчал упорно [15], не обмолвился ни одной статьей по польскому вопросу ни до подачи адресов, ни после подачи адресов, когда восстание было подавлено, и когда началась речь о том, какой устроить новый modus vivendi с Польшею. Мнения об этом сильно расходились в обществе. Даже такие несомненные патриоты-консерваторы, как покойный Юрий Самарин и Аксаков, склонялись в сторону взгляда императора Александра I, т. е. желали даровать широкую автономию полякам внутри собственно царства польского. Многие из высокопоставленных лиц, стоявших у кормила правления, желали того же. Покойный государь долго колебался, не высказывая своего окончательного решения. Один Катков неустанно, изо дня в день, твердил одно и то ж, что Carthago delenda est, что всякая автономия в Польше должна быть уничтожена, что она должна быть окончательно уравнена во всех

правах со всеми другими провинциями и окончательно слиться с Россией. Всех, кто не согласен был с этим его взглядом на Польшу, он, по своему обыкновению, называл прямо изменниками отечества. Не только самая сила вещей, порождавшая в обществе двойственность и недоумение относительно будущего устройства Польши, но и естественное чувство справедливости защитить правое дело, наконец, чувство самосохранения и опасения быть зачисленным свирепствующим Катковым без дальнейших околичностей в число «изменников отечества»,—все это вынуждало «Современник» твердо отстоять свой взгляд на польское дело, обставить его исторически и стойко защищать, отражая все нападения и возражения «Московских Ведомостей».

Несмотря на все, «Современник» упорно молчал, и промолчал все время, когда решительно устраивалась судьба Польши. Даже известная брошюра Шедо-Ферроти «Que ferait on de la Pologne», рассылавшаяся министром народного просвещения по всем учебным заведениям безденежно, не заставила его высказать своего мнения по польскому вопросу [16].

Это упорное молчание «Современника» по польскому вопросу было величайшей его ошибкою. Я думаю, что преимущественно за эту именно ошибку он потерял почти половину своих подписчиков. С семи тысяч подписчиков подписка его пала на четыре тысячи человек и выше этой цифры не поднималась вплоть до его закрытия. Понятно, что симпатия публики не могла не охладеть к журналу, который не хотел ни слова говорить о той злобе дня, которая

занимала ум и сердце в продолжение нескольких лет.

Но это не все. Польский вопрос был, несомненно, одним из главных вопросов, который не мало смущал администрацию и вообще не особенно благосклонно относившуюся к «Современнику», и давал ей повод в его упорном молчании по этому вопросу заподозревать скрытую враждебность к действиям правительства. Это самое давало сильный перевес в глазах правительства Каткову даже в то время, когда он вел борьбу с министерством из-за польского вопроса, потому что Катков, как бы ни смотрело правительство на его мнение по польскому вопросу, держал свои карты открыто. Он ничего не скрывал: было всем очевидно, что он и по польскому вопросу борется против министерства только потому, что устройство Польши по своему плану считает более полезным для России. Поэтому, когда государь склонился на план Каткова, убедившись по той ненависти, которую высказывал Катков в разыскании виновников по каракозовскому делу, в безграничной привязанности его к себе и стал спрашивать его мнения по важным государственным делам, судьба «Современника» этим самым была решена. Если бы он и не был прекращен во время каракозовской истории, он все-таки далее конца 1866 г., наверное, не прожил бы.

Рядом с упорным молчанием относительно польского вопроса, «Современник» позволил себе сделать другую не меньшую бестактность. Он не определил точно своего отношения к так называемому молодому поколению. Пока существовал

первый «Современник», под молодым поколением разумелись исключительно студенты всех учебных заведений, преимущественно университета. Н. Г. Чернышевский стоял к ним очень близко, лично и непосредственно руководил ими и, когда было нужно, горячо защищал их. Он знал, что делает и пишет. Но когда Чернышевский был арестован, всякие непосредственные личные отношения «Современника» со студентами прекратились. Кроме того, самое понятие о молодом поколении очень расширилось и, можно сказать, совсем подменилось. Со времени петербургских пожаров и выхода в свет романа Тургенева «Отцы и дети» в представлении малообразованной публики студент и нигилист стало значить одно и то же, и молодым поколением стали называться все молодые люди учебного возраста — учились ли они — или не учились, все равно. Таких молодых людей с открытием свободного университета набралось в Петербурге со всех концов России бесчисленное множество. Все они, конечно, прибыли в Петербург с желанием учиться. Но многие до того были не приготовлены, что они не могли слушать лекций даже в свободном университете, и так как этот свободный университет вскоре закрыли, то тем более не могли поступить ни в какое высшее учебное заведение, где требовался предварительный экзамен, — и они остались в Петербурге без всякого дела. Вместе с громадным наплывом в Петербург молодых людей мужского пола, прибыло сюда очень значительное число девушек учебного возраста, также с желанием поступить в высшие учебные заведения для дальнейшего своего образования,

Этим уже положительно негде было учиться. Их не принимали ни в какое мужское высшее учебное заведение, но, если бы и приняли, то и в таком случае их предварительная подготовка была так ничтожна, за неимением в то время средних учебных заведений для женщин, кроме нескольких институтов, что они и не могли бы поступить в них. И девушки должны были остаться в Петербурге также без дела.

Так пусть читатель вообразит себе эту массу молодых людей обоего пола, проживающих в Петербурге без всякого дела, людей, внутренно огорченных и недовольных тем, что им заперты двери во всех учебных заведениях для учения, при страстном желании учиться, и при этом готовых, может быть, и не без основания, но по молодости лет, не принимая во внимание никаких смягчающих обстоятельств, обвинить правительство в том, что оно не приготовило для них никакого выхода и заставляет их напрасно губить молодые годы. Как можно было ручаться, что в этой громадной массе молодых людей, нисколько не дисциплинированных, не найдется какой-нибудь горячий темперамент и не сделает какого-нибудь эксцесса и именно эксцесса, при тогдашнем крайне либеральном настроении всего общества, политического. Понятно, что журнал никак не мог брать под свою защиту всего молодого поколения, а, напротив, он должен был твердо и решительно разъяснить, в каком состоянии находится молодежь, и что он может ожидать от нее всяких эксцессов, которых он никак не может ни хвалить, ни оправдывать. Но «Современник» этого не сделал.

К счастью, сидевший в крепости бывший руководитель «Современника», думая о состоянии скопившейся в Петербурге в бесчисленном количестве молодежи, остающейся без всякого дела, и боясь, что она легко может пуститься совсем в нелегальную политику, решился дать ей дело совсем безопасное в глазах правительства и вместе с тем крайне полезное для ее развития в будущей практической деятельности. Как бы отвечая на вопрос шатавшейся без дела молодежи, в бесплодных размышлениях найти какое-нибудь дело, он написал роман «Что делать?»[17].

Никакой манне небесной не обрадовались бы так люди, погибавшие от голода, как обрадовалась этому роману молодежь, доселе бесцельно шатавшаяся по Петербургу. Он был для нее точно озарением, посланным свыше. Они начали делать именно то, что должны были делать по прямому смыслу романа в настоящем. Начали образовываться ремесленные мастерские и другого рода артели: швейные, переплетные, сапожные, издательские и т. д. Но роман этот распадался на две части: в одной он учил, что нужно делать в настоящем, в другой он показывал, что может произойти в том обществе, которое будет точно следовать его наставлениям, во времена отдаленнейшие, положим, через тысячу лет и более, говоря другими словами, во всей второй половине была просто мечта или утопия.

«Современнику» оставалось только умненько распорядиться тем добром, которое давал ему Чернышевский. Прежде всего ему необходимо было предпослать роману «Что делать?» обстоятельное предисловие, в котором подробно объяс-

нить, что называется утопией и какой смысл имеет печатание утопии вообще, представить примеры таких утопий в прошедшем, — одним словом, сделать то же, что сделал «Вестник Европы» с напечатанной им в апрельской книжке нынешнего года американской утопии «Новая фантазия на старую тему»[18], а в заключение этого предисловия сказать, что такою именно утопией «Современник» считает в романе Чернышевского сны Веры Павловны и не дает им никакого практического значения.

Мне скажут: хорошо критиковать спустя двадцать пять лет после совершившихся событий, а сделал ли бы я так, как говорю теперь, сам в то время, если бы стоял во главе «Современника». О, нет никакого сомнения, что я не сделал бы. Все мы делаемся умны из опыта. Я полагаю, что и «Вестник Европы» сделал необходимое предисловие к новой американской утопии, имея в виду старый опыт, постигший «Современник» за напечатание романа Чернышевского без такой предосторожности. Я напечатал бы, как и Антонович, так же бестактно, как и он, отмолчался бы от польского вопроса. Но ведь не могу же я теперь, когда прозрели мои очи, считать совершенством в «Современнике» то, что было его недостатком, и не могу я говорить, что г. Антонович был дельным руководителем «Современника» только потому, что и я на его месте мог быть таким же плохим, как и он.

Но вот, что могу сказать наверное, что и в то время, находясь во главе «Современника», никак не дал бы места статье Жуковского «Затруднения женского дела», напечатанной в ноябрьской

книжке «Современника» за 1863 г. Статья эта даже в чисто литературном отношении, хотя она была написана менее суконным языком, чем другие статьи г. Жуковского, не стоила медного гроша. Она была вызвана исключительно желанием автора порисоваться своими сведениями по рабочему вопросу, оказавшимися, однако, в статье далеко не обширными, но зато вся статья наполнена препепрятными ломаньями автора на каждом шагу. С этого ломанья он и статью начинает. «Вы не думайте, — говорит он читательницам,— что, говоря о женщине, я буду вооружаться против браков, не думайте и того, чтобы я стал уверять вас, что, получив высшее образование, вы получите права и будете участвовать в делах правительства. О, нет, — я не такой поклонник женщин, как Джон-Стюарт Милль, который отстаивает их права на это, но и не такой их ненавистник, как Прудон, который пытался доказать их радикальную ограниченность. Нет, я скажу просто, что никакое знание и никакой труд нисколько вам не помогут изменить вашего ничтожного положения на лучшее. Потому что у вас нет экономического достатка, и приобресть своим трудом вы его никогда не можете».

Далее идут календарные сведения о том, что на рынке заработная плата женщины по сравнению с мужскою всегда ничтожна, так что она не может иначе жить, как на заработную плату мужчины. Конкуренция с мужчиною только понижает заработную плату мужчины, следовательно, уничтожает возможность лучше содержаться на заработок мужчины. Ассоциации женщин даже по образцу лассалевых ассоциаций ничего не помогут.

И мастерские Веры Павловны и вообще женские общества труда — вещи милые, но совсем бесполезные.

«В заключение я должен сказать вам, милые читательницы, что, если мужской рабочий вопрос теперь стал уже на очереди, то женскому рабочему вопросу далеко еще до этого. По мужскому рабочему вопросу, с одной стороны, буржуазия потеряла веру в свои идеи и теории; с другой — сам рабочий сделался пролетарием, т. е. сознал ненормальность своего положения; но в женском рабочем вопросе, нет еще и этих самонужнейших факторов для его движения. Тяготятся ли сами женщины своим положением, это еще вопрос, а вследствие этого и мужчина, который по отношению к женскому вопросу то же самое, что буржуазия по отношению к рабочему, в общественном мнении стоит непоколебимым в своих прежних правах относительно женщин». «Таким образом, — говорит автор, — читательница скажет, что дело женской эмансипации — дело невыполнимое. Нет, отвечаю, — заключает автор, расшаркиваясь перед нею, как кавалер, — весьма выполнимое, если ты подумаешь только, как за него взяться, и направишь путным образом свое неоспоримое влияние на мужское сословие...»

Трудно сказать, что скрывалось за этими точками. Потому что трудно придумать: какую такую придумал он посоветовать женщинам меру, чтобы они могли путным образом направить свое неоспоримое влияние на мужчин. Хотел ли он сказать прямо пошлость, придумал ли он какой-нибудь остроумный, смешливый план, столько же неисполнимый, сколько и нелепый, или это были

просто хлесткие пустые слова, брошенные на ветер, — неизвестно. Можно предполагать и то, и другое, и третье. Потом автор, хотя и закончил статью словами: «но об этом когда-нибудь в другой раз», но этому другому разу не суждено было случиться до самого конца «Современника». Очевидно, что и самому ему стыдно было снова начать речь об этом предмете, если он, как мы предположили, не мог сказать ничего, кроме пошлости или какого-нибудь смешливого и нелепого плана, или просто говорить было нечего.

Статья Жуковского, как очевидно из переданного мною ее содержания, принадлежала к числу статей, нисколько не подходящих к программе «Современника». Он не только не должен был помещать этой статьи на своих страницах, но должен был бы заняться ее опровержением даже в том случае, когда бы она явилась на страницах другого журнала. Одной из главных задач «Современника» было всеми мерами будить целые века спавшее русское общество, расшевелить его мысли, пооштрять к просвещению, к деятельности. Для каких женщин могла быть нужна статья г. Жуковского, проповедывавшая ненужность просвещения и бесполезность, даже вред всякого женского труда? Конечно, не для русских крестьянок-работниц, которые по отношению к рабочему европейскому вопросу составляют совершенно особую статью, да и никаких ни книг, ни журналов за неграмотностью не читают. Следовательно, он написал статью для русских культурных женщин. Но культурные женщины до сих пор и учились мало, и к труду никакому почти совсем не прикасались. К тому и другому их

надобно было заохочивать, побуждать, поощрять, о чем старался до сих пор «Современник». Следовательно, статья г. Жуковского шла прямо ему вразрез. Но этого мало. Помещение ее было прямо бестактно после романа Чернышевского [19]. Она не могла не смутить и действительно смутила как тех женщин, которые успели кое-как приноситься к слушанию лекций в мужских учебных заведениях, так и тех, которые под влиянием Чернышевского начали устраивать разные ассоциации. «Как, все бесполезно, и учиться и работать? — волнуясь, говорили они. — Ничем ничего не достанешь». И от мастерских и артелей Веры Павловны мысль их стала склоняться к снам Веры Павловны.

Обстоятельства заставили и меня принять участие в спорах по этому делу. В марте 1864 г. возникло благотворительное общество с целью приискания работы нуждающимся женщинам, помощи в образовании рабочих ассоциаций, артелей и т. п. Какой-то или какая-то из участвовавших в учреждении этого общества пришел ко мне с его уставом, прося дать гласность этому уставу во «Внутреннем обозрении» «Современника» и вместе с тем сказать по поводу вновь учреждаемого общества несколько слов о пользе рабочих женских артелей, ассоциаций в виду сомнений к этому вопросу, возбуждаемых статьею г. Жуковского. Я без труда на это согласился, потому что г. Жуковский в состав редакции тогда не входил, а был сотрудником журнала приходящим, вольным; кроме того, называть его по имени мне не было никакой нужды, так как среди ультра-прогрессистов было не мало людей,

которые усвоили его взгляды. Мое мнение было некоторою поправкою или оговоркою редакции, делаемою tacito modo по поводу статьи, напечатанной почти полгода назад и стоявшей в разрез с основным стремлением «Современника» вообще будить сонное общество и с романом Чернышевского в частности. Смысл моей заметки, помещенной во «Внутреннем обозрении» по поводу устройства нового благотворительного общества женского труда, был тот, что радикальное целение всяких зол есть, несомненно, дело очень хорошее и самое желательное, но в делах, где таких радикальных средств еще не найдено, не надобно пренебрегать и полезными паллиативами. Представив несколько примеров, какое верное значение могут иметь такие паллиативы в местных делах, я закончил свою заметку следующим замечанием:

«Вообще в рьяном, повидимому, прогрессизме тех из наших ультра-прогрессистов, которые не допускают никаких мер, кроме универсальных, которые всякое зло хотят врачевать в целом роде человеческом, не допуская деятельности местной, вызываемой нуждой, положением, я вижу ту же русскую обломовщину, только щеголяющую в научном кафтане, шитом знакомым портным Тришкой. Нет ничего, на что бы русский человек был так неспособен, как на инициативу. Придумайте какую угодно полезную мысль, какое угодно полезное дело и идите приглашать начать его людей, которые лежат на боку в полной недеятельности. Вы думаете, они сейчас встанут и с радостью пойдут на ваше приглашение? Как бы не так. С первого самого

слова начинается отнекивание. «Да ведь что ж, это дело, — начинает вам говорить тот, к которому вы обратились, — и выгоды принесет не бог весть какие». — «Ну, да хорошо, — возражаете вы, — положим, выгоды небольшие: но ведь теперь ты лежишь, ничего не делаешь, а тут получишь кое-что, да кроме того, выгода уже и то, что дело будет, не будет от тебя пахнуть стоячим, заплесневелым болотом».— «Да, так оно, — отвечает вам, — да все как оно там будет... ведь не было прежде». На том и покончит, что опять ляжет и будет лежать, как лежал. А теперь еще наука такая подоспела совершенно в русских правах, которая утверждает, что можно делать с пользою только тогда, когда всю землю переворотишь. А когда всю землю переворотишь? Ее, известно, никогда не поворотишь: ergo и лежи, душа, в волю».

Во всем этом, что я написал, я не видел, как я уже сказал, ничего особенного, ничего такого, что могло бы остановить внимание других. Вскоре, однако, случай заставил меня взглянуть на дело с другой стороны и показать мне всю неловкость моей заметки.

После выхода каждой книжки у Некрасова были обыкновенно редакционные обеды, на которых присутствовали все постоянные сотрудники журнала и, кроме них, несколько сторонних лиц из близких знакомых Некрасова или Салтыкова. Почти всегдашними завсегдатаями этих обедов из сторонних лиц были А. М. Унковский [20], время от времени участвовавший в «Современнике» своими статьями, и А. И. Европеус [21], который ничего не писал, но называл себя словес-

ным сотрудником «Современника», потому что любил делать критические замечания о разных помещавшихся в журнале статьях. Обеды эти большею частью бывали у Некрасова и, конечно, на его счет, а иногда в известных ресторанах в складчину.

В том или другом случае на них очень изрядно пили, и шампанское очень сильно развязывало языки всех; речь делалась вполне свободною относительно самых щекотливых предметов и некоторым образом вполне братскою: говорили о других в присутствии их самих многое такое, что в другое время себе не позволил бы сказать никто. Не помню, уже на другой или на третий редакционный обед, т. е. спустя два или три месяца после написанной мною заметки, порядочно подвыпивший «словесный» сотрудник «Современника» начинает такую речь: «А я, господа, замечаю, что журнал наш начинает портиться. Братское согласие в нем начинает изчезать». Все навострили уши. «А то как же это иначе назвать. Один пишет в журнале статью, которая в настоящее время для России совсем не годится и которая могла бы найти место в русском журнале разве через 100 лет или 200 лет после нашего времени. Положим, что это не умно. А другой через две или три книжки помещает другую статью в опровержение ее с советом и неподобающими эпитетами по адресу работающего с ним товарища в одном журнале, положим, не называя его по имени, — но ведь все равно, — всякому внимательному читателю видно, о ком идет речь. Это, на мой взгляд, еще менее умно, — и, как хотите, такой

разлад в журнале не годится. Помните, что concordia res parvae crescunt, a discordia...* ну, да что уж говорить, discordia — это плохое дело, это начало распадения журнала». Речь эта шла уже по окончании обеда, когда все столпились в кучу, в обеденной зале, около стоявшего в ней же редакционного секретарского стола. Все были немножко подвыпивши, и говор был общий. Одни более или менее слушали, что говорил Европеус, и смеялись. Другие совсем не обращали внимания. Я, конечно, сознавал всю правду сказанных слов и, как лицо виновное, чувствовал себя сконфуженным. Но в общем речь не произвела заметного впечатления.

* Известная латинская поговорка: Concordia parvae res crescunt, discordia maximas dilabuntur — от согласия малые дела растут, от несогласия и большие распадаются.

III. ОТНОШЕНИЕ РЕДАКЦИОННОГО КРУЖКА К НЕКРАСОВУ

Немногие знают, что «Современник» не просуществовал бы и двух лет, если бы его не охраняла от бесчисленного множества разных напастей умелая и ловкая рука Некрасова, можно сказать, неусыпно о нем заботившаяся. Какие он употреблял для этого меры и средства, пока далеко не всем известно. Но если бы перечислить даже то, что известно, то всякий честный человек, без всякой брезгливости и с наслаждением пользовавшийся плодами его трудов, с отвращением взглянул бы на эти меры и средства и сказал бы: «нет, я к этому не способен, я не мог бы этого сделать, это переворачивало бы всю мою внутренность». Положим так. Но почему мы, честные люди, знаем, что и у Некрасова не переворачивались внутренности от этих мер и средств? Голодный вор, который идет воровать хлеб, чтобы не умереть с голоду, и прокормить себя и свою семью наверное не стал бы воровать, если бы у него было столько хлеба, чтобы питаться ему с семьею. Но если у него нет никаких средств добыть себе пищу, кроме воровства, и приходится без этого погибать с семьей голодом, он по необходимости пойдет воровать. Всякий умный человек борется за свое существование теми средствами и мерами, которые

соответствуют понятиям и нравам данного времени и практикуются всеми или, по крайней мере, большинством. Не осуждаем же мы, а, напротив, благословляем тех великих собирателей русской земли, которые рабски унижались перед ханами и их баскаками, делали в угоду им всякие подлости и не шли на ногах, а ползли ползком перед очи хана, чтобы приобресть его благоволение к русской земле, избавить ее от погрома и разорения. Их поведение было несомненно унизительное, но оно практиковалось ради блага отечества и было в правах и обычаях того времени. Какое же мы имеем право обвинять или осуждать Некрасова за те унизительные средства и меры, какие он употреблял для блага литературы, когда эти меры и средства практиковались большинством общества для своих личных целей.

Говорят, Некрасов заботился о «Современнике» вовсе не для литературы, а для самого себя, для своего обогащения, или эпикурейского наслаждения жизнью. Однако Некрасов умер, не оставив после себя ни гроша. Может быть, у жены малая толика и осталась, на которую она может жить, не прибегая к помощи Литературного Фонда. Но и только. Это ли богатство? Что касается до его эпикурейского наслаждения жизнью, то оно известно всем нам, ближайшим сотрудникам «Современника». Он жил никак не лучше и не роскошнее каждого директора департамента средней руки. По самому точному расчету о доходе «Современника», сделанному одним из сотрудников «Современника», стоящим ныне во главе Государственного банка [22], доход, получаемый Некрасовым от «Современника», не пре-

вышал 20 000 рублей в год. Какое же на эти деньги возможно эпикурейство? Некрасов имел и должен был иметь, в качестве редактора одного из выдающихся в то время журналов, приличную квартиру, держать лошадей, вообще жить прилично ради литературы, иначе разные большие и маленькие люди, власть над литературой имеющие, не стали бы пускать его к себе на порог для литературных объяснений и третировали бы как какого-нибудь рассыльного; затем, для литературы же он тратился на бывавшие у него нередко обеды, ибо все мы знаем, что на этих обедах его лучшими и единственными гостями были люди, имевшие то или другое влияние и отношение к литературе, и потом мы, его сотрудники. Если затем из высчитанных нашим доморощенным политико-экономом 20 000 у Некрасова что-нибудь и оставалось, то ведь всякий почти шеф высшего правительственного учреждения получает ту или другую, смотря по рангу, негласную сумму денег в его личное распоряжение, в которой никому не дает отчета. Мог ли обходиться без такой суммы Некрасов со своими новыми идеями в то только начавшееся время русского прогресса, когда большинство крепостнического общества тяготело к старому строю жизни и не могло отстать от его привычек? Представим себе, что к нему приходит человек, сочувствующий этим идеям и имеющий влияние и отношение к литературе, и говорит: «Не можете ли, Николай Алексеевич, ссудить мне на несколько времени две или три тысячи рублей. Денег нет, а за границу ехать необходимо: жена и дети больны». Разве мог такой умный человек

как Некрасов отказать такому сочувствующему к новым идеям человеку в каких-нибудь двух, трех тысячах рублей? А с другой стороны мог ли Некрасов выдачу такой суммы записать в расход и объявить нам, сотрудникам «Современника». Помилуйте, да мы все, сотрудники «Современника», были честные люди. Честность, была самым лучшим нашим украшением. Мы бы все в один голос закричали: «да это подлость», «это подкуп» и немедленно убежали бы из «Современника»; нам тогда и в ум не приходило: куда нам бежать. Бежали бы из «Современника», да и все. А бежать действительно было некуда. Был единственный журнал, кроме «Современника», который сочувствовал известным идеям, — это «Русское Слово», но редактор этого журнала, Григорий Евлампиевич Благосветлов, был человек очень странный, чтобы не сказать более, и кроме того, несимпатичный. Пристроиться у него навсегда мы ни под каким видом не согласились бы. Некоторые из нас пробовали было основаться самостоятельно — издавать свои сочинения отдельными книжками. Но дело не пошло на лад. Книжки известнейших по журналу сотрудников публика покупала в количестве 400 — 500 экземпляров. В итоге получались гроши, на которые жить было нельзя. А мы хоть не эпикурейцы, как Некрасов, но были избалованы хорошим гонораром, который давал «Современник», и привыкли к некоторым удобствам жизни. Притом уже у всех нас были супруги, которым нужно было дать приличную обстановку.

И вот мы, честные люди, по инициативе нашего политико-эконома, решились заставить

Некрасова именно сделаться таким же честным человеком как и мы. Один раз, когда Некрасов стал жаловаться на бедность доходов журнала, на недостаточность денег и на наши возражения предложил нам поверить его конторские книги, то мы, о срам, вызвались итти и делать самоличную поверку. Признаюсь, при одном воспоминании об этом по малой мере неприличном походе для ревизии конторских книг «Современника» у меня до сих пор выступает краска на лице. Контора «Современника» помещалась в то время в квартире заведывающего конторой, Ипполита Александровича Панаева, недалеко от Технологического института. И вот гурьбой все мы, сотрудники «Современника», — я, Ю. Г. Жуковский, М. А. Антонович, В. А. Слепцов, А. Ф. Головачев, — отправились к Панаеву. Не помню, был ли на ревизии А. Н. Пыпин. Панаев принял нас очень любезно, раскрыл все книги и стал давать объяснения по своим бухгалтерским счетам. Мы, незнакомые с бухгалтерским счетоводством, шутили, спорили, смеялись над теми qui pro quo, которые получались в наших понятиях по объяснениям Панаева к терминам бухгалтерии. Наш поход или, лучше сказать, набег на контору журнала был для нас в некотором роде partie de plaisire и не доставил нам ничего, кроме удовольствия, хотя мы далеко уже были не детьми: младшему из нас, Антоновичу, было не менее 30 лет, я был старше его на 15 лет, возраст остальных варьировал между этими двумя цифрами. Все мы, неглупые, кончившие курс в высших учебных заведениях, дипломированные, сами себя считали людьми умнейшими во всей России. Вдобавок ко всему этому

надобно сказать, что мы вовсе не были злы. Но никому из нас и в голову в то время не приходило: какое жестокое издевательство совершаем мы над Некрасовым. Никто не подумал о том, что должен был передумать и перечувствовать этот человек во время этой ревизии. А еще больше, что он должен передумать и перечувствовать после того, как эта неслыханная не только у нас, но и во всей литературе ревизия сотрудников над кассою своего редактора огласится в литературных и журнальных кружках. Ведь подобная ревизия равносильна объявлению редактора если не доказанным, то подозреваемым вором.

Таких унижений, самых оскорбительных для самолюбия всякого человека, от нашей честности Некрасов претерпел не мало, так что, обращаясь на прошедшее, думаешь, как мог выносить все это Некрасов, чего, я уверен, не вынес ни один из известных мне бывших и существующих редакторов, а тем более не вынес бы никто из нас, считавших себя в праве оскорблять его. Всякий на его месте сказал бы: «да ну вас к чорту, честные люди»; бросил бы все и конец. Тем более и тем скорее сделали бы это мы, бывшие сотрудники «Современника», ибо все мы были с великим гонором и великого о себе мнения. Представлю, однако, и еще несколько примеров унижения Некрасова от нашей честности.

Вместе с пожарами Апраксина двора в Петербурге в 1862 г. и взятием под стражу Чернышевского, «Современник» был остановлен на девять месяцев. Все друзья и враги интересовались знать,

почему остановлен «Современник», и все приставали к Некрасову с этим вопросом; Некрасов всюду, куда являлся, чтобы отвязаться от вопрошающих, отвечал кратко: «да, я не знаю, за что остановили «Современник»; верно моя консистория там что-нибудь в нем напутала». Когда слух этот дошел до нас с Максимом Алексеевичем Антоновичем, мы с ним очень этим обиделись, обиделись до того, что порешили не участвовать более в «Современнике», если бы он и открылся. Я осенью в этом году был приглашен редактировать имевшую открыться с нового 1863 г. газету «Очерки». Антонович согласился писать в будущей газете политическое обозрение и, кроме того, решил искать другой работы. Чем мы тогда обиделись, теперь даже и понять трудно. По существу Некрасов, действительно, ответил так, как стояло тогда дело. «Современником» тогда безраздельно почти заведывал один из членов этой консистории, человек очень умный, даровитый и высоконравственный, которому Некрасов вполне безгранично доверял [23]. Многого, что печаталось тогда в журнале, Некрасов, вероятно, часто не читал за недосугом. И если что напутано было в журнале, то напутала, конечно, консистория. Но своим ответом Некрасов вовсе не отрицал своего согласия с тем, что напутано, а тем более своей главной ответственности за напутанное перед правительством. Со стороны Некрасова дать почувствовать вопрошающим, что он сам все напутал, было бы не только несправедливо, но походило бы на хвастовство, а главное было бы совсем не умно. Ведь если бы дать такой ответ, то ему после не разрешили бы продолжать изда-

ние «Современника». Но мы, конечно, и таким его ответом не удовлетворились бы. Наша честность желала, чтобы Некрасов явился подвижником первых времен христианства, т. е. предстал пред подлежащим начальством, объявил ему, что ничего напутанного в «Современнике» нет, что все, что напечатано, именно и есть сама святая истина, которую он признает умом и сердцем, и что член консистории, который написал и позволил другим написать, все это сделал по его желанию и по требованию. От такого исповедничества арестованному члену консистории никакой бы пользы не было, самому Некрасову никто не поверил бы в его признаниях, а за его рыцарский подвиг его или посадили бы туда же, где сидел член его консистории, или отправили бы временно охладиться в Архангельскую губернию. Как бы то ни было, но когда в конце 1862 г. Некрасов из своего имения приехал в Петербург, его поразила непріятная новость, что мы с Антоновичем оскорблены его поведением и твердо решили отказаться от участия в «Современнике», а я даже законтрактовался работать в газете. Положение Некрасова накануне открытия «Современника» — срок опалы «Современника» истекал в январе 1863 г. — было незавидное. Блестящий штаб «Современника» совсем исчез. Добролюбов умер, глава консистории продолжал сидеть и не было надежды, что он выйдет оттуда. Примыкавший к этому штабу, в качестве некоего многоценного алмаза, на коего все надежды возлагал арестованный член консистории, Антонович ушел из «Современника»; я, хотя и не был алмазом, но тоже, как примыкавший к прежнему блестя-

щему штабу, более или менее был известен тогдашней публике,— также отошел от «Современника». Из старых постоянных сотрудников «Современника» остался один А. Н. Пыпин. Некрасов немедленно отправляется к Антоновичу и ко мне, умоляет нас, чтобы мы не покидали «Современник», и перед каждым из нас, а потом перед обоими вместе он клялся, призывал в свидетельство все, что было для него святого, что никогда он переданных нам слов не говорил, что он привязан и душой и сердцем к идеям, проводимым «Современником», но что как ни дороги для него эти идеи, он не решится без нас продолжать издание журнала, что «если мы не согласимся участвовать в нем, он немедленно закроет журнал. Мы с Антоновичем для него необходимы». Мы, наконец, смиловались над бедным Некрасовым. Я согласился, не оставляя «Очерков», в которых был законтрактован, поставлять «Внутреннее обозрение» в «Современник», а Антонович стать во главу его. Не знаю, знал ли Антонович, но я знал наверное, что Некрасов действительно говорил те слова, которыми мы обменялись. Мне передал их один хорошо знакомый мне человек, который слышал сам эти слова, когда Некрасов говорил в каком то книжном магазине, а этот человек был настолько правдив, и беспристрастен, что в верности и точности переданных сказанных слов сомневаться было бы немыслимо [21]. Для меня было очевидно, что Некрасов лгал, отрекаясь от сказанных слов. И это именно обстоятельство меня очень кольнуло, где-то там в глубине моей души. Хотя я был тогда вполне убежден в моей честности, но мне вдруг

как-то стало не по себе от этой честности. Как, Некрасов, этот лучший русский поэт, которым зачитывалась вся Россия, на песнопениях которого воспитывалось столько поколений, в поэзии которого свет и правду черпал даже я, его сверстник, не говоря уже об Антоновиче, — и вдруг, этот человек поставлен в необходимость раболепствовать перед нами, унижаться даже до лжи... Как хотите, это было характерно.

IV. КАРАКОЗОВСКИЙ ВЫСТРЕЛ. РЕПРЕССИИ МУРАВЬЕВА. ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ

4 апреля 1866 г. последовал каракозовский выстрел в покойного государя. Общество, не ожидавшее ничего подобного, пришло в страшную панику, и большинство, как всегда бывает в подобных чрезвычайных случаях, набросилось на литературу, будучи уверено, что среди нас именно надобно искать виновников покушения. В этом же сначала был, повидимому, убежден и высочайше назначенный верховным следователем по этому делу граф М. Н. Муравьев. Он взялся круто за дело, и все участвовавшие в литературе, конечно, были в трепете, ожидая денно и нощно неизбежного арестования. В особенности должны были трепетать сотрудники «Современника», который считался главным очагом всех перверсивных якобинских идей. Поэтому, когда вскоре после происшествия в Английском клубе, вероятно, в честь высокого доверия, выказанного государем графу Муравьеву в назначении его следователем, последнему давался обед, Некрасову, который был членом Английского клуба, пришла несчастная мысль приветствовать графа Муравьева стихами [25]. Граф принял это приветствие очень недружелюбно. На другой же день об этом разнеслось по всему городу и потом появилось во враждебных

Выстрел Каракозова

С картины Гринера. Из собрания Музея Революции

нам газетах с разными инсинуациями. Нас эта история повергла в великое уныние. В первый редакционный обед мы явились в редакцию с мрачными лицами. Напрасно Некрасов хотел перед нами оправдаться, напрасно читал стихотворение, сказанное перед Муравьевым, указывая, что в нем нет противного нашей честности. Весь смысл стихотворения заключался, помнится, в том, что поэт, обратясь к Муравьеву, говорил: «разыщи виновников и казни их». Другого, конечно, и сказать было нельзя, уж если начал говорить приветствие следователю. Но нам претили самая инициатива и факт такого приветствия, вызванного, очевидно, трусостью. Конечно, мы все трусили не менее Некрасова, и прими граф Муравьев приветствие Некрасова благосклонно, мы бы извинили Некрасову его трусость. Теперь же мы были непреклонны в нашей честности, и он погиб в нашем мнении навсегда. А мы были тогда для Некрасова целый мир. Что мир! Больше целого мира. Мы были для него все. Признай мы поступок его, положим необдуманным, но ничего криминального не заключающим и никакой кары не заслуживающим, каким он действительно и был, Некрасов был бы совершенно спокоен, что бы о нем ни говорили и ни писали другие. Но этого мало: мы были настолько влиятельны для общественного мнения, что если бы мы высказали твердо наш взгляд на поступок Некрасова как на дело совершенно незначащее и никакого внимания не заслуживающее, то общество перестало бы смотреть на него как на дело позорное и немедленно бы о нем забыло. Но наша честность продолжала распространять и усиливать враждебное отношение общества

к Некрасову на основании этого незначащего его поступка. Вскоре вслед за этим был закрыт «Современник», и дела его были ликвидированы. Расставаясь с сотрудниками, ставшими по отношению к нему в враждебное положение, он обещал каждому из трех бывших налицо дать по тысяче рублей. Я в это время был уже арестован и сидел в крепости. Вероятно, в это уже время Некрасов имел в виду, когда вполне успокоится общество от сильного возбуждения, произведенного в нем каракозовской историей, вновь основать журнал. При этом он, конечно, надеялся, что к тому времени его бывшие сотрудники успеют хладнокровно обсудить его необдуманный поступок и, не видя в нем ничего криминального, примирятся с ним. Но этой надежде не суждено было осуществиться. Гроза, последовавшая немедленно за каракозовским выстрелом, сильнее всего разразилась над литературою, преимущественно над «Современником», и произвела в литературном мире вообще, а в том числе и в «Современнике», страшную деморализацию, закончившуюся закрытием «Современника». Ближайшим поводом к привлечению ударов начавшейся грозы на «Современник» были последние фельетоны Жуковского: «О заедании чужого хлеба» [26] и «Вопрос молодого поколения».

Я уже сказал, что г. Жуковский свои упомянутые два красные фельетона написал как раз перед каракозовской историей, в то время, когда заканчивалось новое устройство Польши после бывшего мятежа, и когда покойный Катков с особенною ревностью следил за всеми изменниками и врагами отечества, каковыми он признавал всех тех, кто не соглашался с его взглядом на устрой-

ство Польши. По его мнению, польская интрига крепко захватила в свои руки почти все русское общество, особенно в Петербурге, и направляет здесь все умы и сердца в пользу поляков не только в литературе, но и в значительной части высокопоставленных лиц, стоящих у кормила правления. Даже иностранных писателей и журналистов, бравшихся за защиту польских интересов, не только таких, которые родились в России, как, например, Шедо-Ферроти, но и некоторых французских публицистов, как Эмиль Жирарден [27] и Шарль-де-Мазад [28], появившийся со своею статьею в ... «Revue des deux Mondes» в марте 1865 г., Катков называл лицами переодетыми, подставными, рукою и пером которых водят те же русские изменники, враги русского дела, как он называл их, пользуясь древним языком наших летописей, русские воры. Влияние польской интриги, для Каткова несомненное, видно было даже в том, что в видах лучшего умственного развития народонаселения в польских окраинах — наших северо-западных губерниях — устраивались полные классические гимназии, а в наших центральных губерниях ограничивались большею частью реальными гимназиями, не дающими воспитанникам права поступления в университет; влиянию также польской интриги приписывал он направление постройки наших железных дорог. «Проекты железных дорог на Востоке, — писал он, — не встречают затруднений... Только и знают, что отводят нас обратно к Востоку, только и знают, что спускают нас «вниз по матушке по Волге», тогда как России всего нужнее, чтобы связать ее центральные части с западными окраинами государства

*

и поставить их в неразрывную связь с Европою». Само собой разумеется, разыскивая подобным манером всюду польскую интригу и не стесняясь публично в выражениях очень недвусмысленных, часто очень прозрачных, клеймить как врагов отечества и изменников лиц из вышепоставленных в управлении, в действительности совершенно ни в чем неповинных, Катков вынудил администрацию дать ему предостережение за одну из таких статей в «Московских Ведомостях» от 20 марта. В мотивах предостережения было сказано, что в статье приписываются правительственным лицам стремления, свойственные врагам России, и мысль о государственном единстве высказывается как бы мыслью новой, будто бы встречающей в среде правительства предосудительное противодействие, и что подобные общие, произвольные, бездоказанные и неосновательные нарекания заключают в себе возбуждение недоверия к правительству. Предостережение это было объявлено Каткову 29 марта. Как раз именно в возбуждении недоверия к правительству обличал и г. Жуковский Каткова в последнем своем фельетоне и вместе с тем смеялся над его подозрительностью, вследствие которой он у всякой стриженой барышни в кармане видит разрывную гранату.

Катков не принял сделанного ему предостережения. Он ответил на него обширною передовою статьею, помещенною в «Московских Ведомостях» 3 апреля, которая начиналась так: «Отовсюду мы получаем предостережения. Только что мы получили предостережение через «Revue des deux Mondes», за подписью Шарля-де-Мазад, как уже получаем другое, через петербургский журнал «Совре-

менник», за подписью букв Ю. Ж. Первое... обвиняет нас в распространении революционных элементов, демократизме, социализме и атеизме, другое обвиняет в крепостничестве, реакционном духе и обскурантизме... На предостережения, делаемые нам путем неофициальным, мы можем обращать и не обращать внимания. Что же касается до предостережений, даваемых через полицию, то оставить их без внимания нельзя. Они требуют серьезных объяснений, и мы спешим представить таковые...» [29]. Далее Катков говорит, что на основании закона о печати он считает данное ему предостережение не состоявшимся, так как он его не принимает и не напечатает в начале своей газеты, как он обязан бы сделать в случае его принятия, и на основании того же закона будет продолжать печатание своей газеты в продолжение трех месяцев, платя по 25 рублей штрафа за каждый выпущенный номер газеты. Затем Катков рассматривает обвинения, выставленные против него в мотивах предостережения, и доказывает, что все они неосновательны и ложны.

Дав такую отповедь на данное ему предостережение, Катков не мог не понимать, что делает шаг очень рискованный и опасный. Ибо ему было хорошо известно, что без воли и согласия государя, лично Каткова знавшего и к нему расположенного, министр никак не решился бы дать ему предостережение. Катков, натурально, должен был впасть в некоторое уныние после опубликования своей статьи, и известный друг Каткова, Любимов, посетивший его вечером в тот день, нашел его спокойным, но задумчивым. Разговор шел о прекра-

щении издательской деятельности и предстоящих возможностях. «Если бы не детюшки, — говорил Катков, — я бы не задумался ни перед каким решительным шагом» (*Л.* 332) [30]. Так дело стояло еще вечером 3 апреля 1866 г. Но вот наступило 4 апреля. Разразился каракозовский выстрел. Горизонт лично для Каткова вполне очистился и прояснился. Собравшихся над ним туч как не было. В Москве начались в различных многолюдных собраниях и просто на улицах шумные патриотические овации, продолжавшиеся несколько дней. Одной из таких овацій был удостоен и Катков. Он почувствовал свою силу более, чем когда-нибудь, и начал полною рукою накладывать всем тем, которых считал врагами и изменниками или противниками своих мыслей, что у него сплошь и рядом было одно и то же.

«Петербургскому социалисту, — говорит он в № 83 «Московских Ведомостей», — не нравится изобличение гнусного характера нигилизма «Московскими Ведомостями», он приходит против них в ярость. «В одном кармане стриженой барышни, — говорит он, — московские редакторы видели пучок прокламацій, а в другом — разрывные гранаты». Это сказано почти накануне 4 апреля. Да, действительно, мы видели если не разрывные гранаты в карманах стриженых барышень, то, по крайней мере, тесную связь всего нигилизма с делом государственной измены в Россіи» [31]. Катков сопоставляет статью Мазада со статьей Ю. Ж. в «Современнике» и спрашивает, что общего между французским публицистом и русским социалистом, органом которого служит «Современник». А между тем они сходятся в том, что, издав статьи до

министерского предостережения, как бы заранее рукоплещут прекращению деятельности Каткова. «Итак, — заключает Катков, — это не более, как раскаты одного и того же грома или, лучше одного и того же светила, лишь преломленные различно, каждый в среде, им пробегаемой». Общее светило, — поясняет Катков, — озаряющее и Мазада и «Современник», есть государственная измена: «Мазад стоит за польское дело, а русский нигилизм есть не более как порождение полонизма».

Каткову представлялось несомненным, что каракозовский выстрел был следствием обширного заговора между разными правительственными лицами или деятелями русской печати и вождями партии, которые все согласились на том, чтобы лишить жизни покойного государя. Иначе, каким образом могло быть, писал он, что «вдруг откуда-то дан таинственный «mot d'oráre», и все враждебное русскому делу оживилось. В Париже заскрипели перья гг. де Мазада и Сен-Марк Жирардена, состоящего, как известно, членом польского комитета; в немецких газетах появились слухи о готовящемся в России комплоте помещичьей партии; в России голоса, заинтересованные польским делом, пугали помещиков, что против них замышляется что-то недоброе; как бы в подтверждение этих запугиваний, русскому нигилизму, совсем было присмиревшему, присоветовали собраться с силами и притти в азарт; наконец, зловещий признак, всеми забытое петербургское украинофильство, неожиданно, ни с того, ни сего, встрепенулось и с таким усердием, что после долгого молчания сделалось в петербургской печати как бы вопросом дня, отвлекающим от всего другого.

Какое неведомое дуновение подняло все эти волны?» [32].

В настоящее время никто, конечно, не усомнится, что все эти откровения Каткова были не что иное, как галлюцинации расстроенного головного мозга, но тогда, особенно на первых порах каракозовского следствия, они играли роль несомненных истин, а большинство публики было уверено, что следствие только блистательно подтвердит это ясновидение московского публициста. Избранный по мысли Каткова председателем верховной следственной комиссии для расследования каракозовского дела граф М. Н. Муравьев разделял это убеждение большинства, по крайней мере, относительно литературы, что ясно доказывал тот неблагосклонный прием, с которым он встретил на данном ему Английским клубом обеде сказанное ему в виде приветствия стихотворение Некрасова. Очевидно, что граф Муравьев в этом неудачном приветствии увидел только ловкий маневр отвратить его внимание от литературы и потому счел своею обязанностью обратить на нее строжайшее внимание при следствии.

Слухи о том, что происходило в Английском клубе на данном графу Муравьеву обеде, о стихах, сказанных здесь Некрасовым Муравьеву, и о неблагосклонном отношении Муравьева к поэту, с разными дополнениями и украшениями, быстро разнеслись по городу и только увеличили общую уверенность в виновности литературы, в особенности в избранных муравьевских помощниках следственной комиссии, гвардейских офицерах—людях молодых и в следственной части столько же мало умелых, сколько неопытных. Некрасов скоро

на себе должен был испытать, как неблагоразумно он поступил, выставившись с своим стихотворением пред графом Муравьевым. На другой день после моего ареста Некрасов храбро явился на мою квартиру, чтобы осведомиться: что случилось и как. Я говорю храбро потому, что ни один из моих товарищей, и вообще никто из сотрудников «Современника» не решился этого сделать. Ибо с того самого момента, как известие о выстреле Каракозова стало известно всему Петербургу, все прикосновенные к литературе тотчас поняли, что как бы ни пошло дело следствия, но литература, по установившемуся у нас обычаю, все-таки первая будет привлечена к ответу, и потому все засели дома, стараясь как можно меньше иметь между собою сообщений, исключая, разумеется, случаев крайней нужды. Некрасов прибыл на мою квартиру как раз в тот момент, когда там присутствовал гвардейский офицер, тот самый, который накануне арестовал меня, производил обыск у меня и который теперь отбирал показания у моей жены и прислуги. Гвардейский офицер, при появлении Некрасова, немедленно арестовал его. Жена моя сначала немного смутилась и не знала, что ей делать, но потом, немного подумав, обратилась к офицеру с такою речью: «Господина Некрасова я вижу сегодня лицом к лицу в первый раз. Он мне вовсе незнаком. Он приезжал иногда к моему мужу по делам журнала, но они говорили с мужем глаз-на-глаз в кабинете мужа, и я никогда при этом не присутствовала. Вы вчера пересмотрели тщательно все бумаги мужа и взяли, что вам нужно, точно так же вы можете взять бумаги и у Некрасова и допросить

его, о чем вам нужно, у него на дому. Некрасов — лицо слишком известное не только в Петербурге, а и в целой России. Вероятно, и вы уже учились по его стихотворениям. Он, конечно, никуда не убежит, зачем же вы будете удерживать его здесь без всякой нужды, когда и я его не знаю, ни он меня не знает» [33].

Офицер смутился, не нашел, что отвечать на слова жены, но позвал прислугу и спросил, часто ли бывал у нас Некрасов и действительно ли Некрасов незнаком с моей женой, и, получив от прислуги ответы, вполне подтверждавшие слова жены, отпустил Некрасова. Но потом, продолжая допрашивать мою жену, он одумался и раскаялся в том, что отпустил Некрасова. «А это все вы виноваты, — ворчал он то-и-дело, обращаясь к моей жене с упреком.— Со страху Некрасов очень легко мог бы сказать что-нибудь такое, что послужило бы нитью на раскрытие заговора. Некрасов, наверное, играет тут не последнюю роль» [34].

Я был арестован и отвезен в крепость 28 или 29 апреля. Но самым злополучным временем было не то, когда меня посадили в крепость, — напротив, по заключении в крепость я значительно успокоился, — а время, проведенное от 4 апреля до 29 апреля в тревожном, ежедневном, ежечасном ожидании обыска и ареста, которое не давало покоя ни днем, ни ночью. Тот, кто не жил тогда в Петербурге и не принадлежал к литературным кругам или, по крайней мере, не был к ним так или иначе прикосновенен, не может представить той паники, которая здесь происходила. Всякий литератор, не принадлежавший к направлению Каткова, — а не принадлежала к этому

направлению почти вся тогдашняя литература, — считал себя обреченною жертвою и был уверен, что его со ipso непременно, потому только, что он литератор, арестуют. Так все были убеждены, что граф Муравьев держится вполне взглядов Каткова и следует его указаниям. Сотрудники «Современника», на который Катков смотрел, как на очаг и притон всяких зловредных учений, тем более были уверены в неизбежности такой участи для себя.

Я с г. Ю. Жуковским имел в этом отношении преимущество пред всеми другими сотрудниками «Современника», хотя оба мы, равно как и остальные сотрудники «Современника», ни в чем не были виноваты. Я — потому, что почти за год до каракозовского покушения жил месяца два в Москве в водолечебном заведении доктора Крейзера, где лечился, по методу Присница, холодной водой и где случайно познакомился с некоторыми молодыми людьми, оказавшимися потом привлеченными к каракозовскому делу, к которому привлечен был также и живший в Петербурге один мой земляк и близкий знакомый молодой литератор, занимавшийся собиранием русских старинных сказок и пословиц, Иван Александрович Худяков [35]; Жуковский — потому, что Катков, как мы уже видели, изобразил его в числе главных деятелей и сообщников представлявшегося его расстроенному воображению мнимого каракозовского заговора.

Что касается до меня, то я был уверен, что меня непременно арестуют, и, начиная с 4 апреля, я находился в постоянном нервном возбуждении и непрестанной тревоге, не имея возможности

ничего сделать и ни о чем думать, кроме ожидаемого ареста и неизбежно сопряженных с ним разного рода самых неутешительных возможностей в жизни моей и моей жены и в настоящем и в будущем. Это тревожное состояние увеличивалось существовавшею кругом меня паникою в обществе — каждый день и всегда почти утром приносили известие: сегодня ночью взяли такого-то и такого-то литератора, на другое утро опять взяли таких-то и таких-то и т. д. Эти известия дополнялись каждый почти раз сообщением истинных или придуманных подробностей о жестокости и нахальстве гг. гвардейских офицеров, производивших эти аресты, обыски и выемку. Мало-по-малу чуть не половина известных мне литераторов была взята [36]. Затем стали сообщать слухи о привозимых целыми вагонами арестованных в разных провинциях, особенно в Москве. Стали ходить слухи, что этих привозимых из других городов и Москвы до того много, что полна вся Петропавловская крепость, все тюрьмы, все тюремные отделения при частях. Всеми этими слухами, непрестанно возрастающим тревожным состоянием, бессонными ночами я до того был энервирован, так близко был к полной прострации, что подумывал итти сам просить, чтоб меня заключили в крепость. Но не только в это время, т. е. к концу апреля, но задолго перед моим арестом, а даже вскоре после каракозовского выстрела, я был в таком тревожном нервном состоянии, так был всецело подавлен своею мыслью о предстоящем, что едва видел и слышал, что предо мною происходило. Помню, как во сне, что еще в то время, когда личность Каракозова остава-

лась неизвестною [37] и его выставляли напоказ публике: не признает ли кто его, петербургские литераторы собрались, чтобы составить и подать адрес покойному государю, с изъявлением своих верноподданейших чувств [38]. Назначали, помнится, комитет для немедленного составления адреса, в который избранных было трое: В. Д. Спасович [39], Н А. Колюпанов [40] и я. Я все это время был так расстроен, мысли были совершенно вне того собрания, в котором я был, я совершенно машинально относился к тому, что происходило и говорилось, и не представляю, как составлялся адрес, был ли он написан, был ли принят и отправлен. Одним словом, я до известной степени успокоился и овладел своею мыслью только тогда, когда меня привезли в крепость и посадили в одиночное заключение.

Пробегающий эти строки скажет: да ведь это такая постыдная трусость, какую только можно представить. Да, я должен сознаться, что я далеко не отличался храбростью, и если могу чем утешить себя, то только тем, что, припоминая прошедшее, не припомню никого из людей, которые находились в обстоятельствах подобных моим и вели бы себя храбрее меня; крайняя угнетенность духа была тогда более или менее общею среди литераторов. Кроме указанного выше общего подозрения, тяготевшего вообще над литературой, в участии ее в каракозовском деле, можно указать не мало смягчающих обстоятельств для увеличения тревоги и боязни в тех из литераторов, на которых по тем или другим причинам могло обрушиться это подозрение специально.

Во-первых, такое неслыханное до сих пор в России преступление, как покушение среди белого дня, при множестве народа, на жизнь государя, пагнало на все общество такой страшный ужас и возбудило такую ненависть и озлобление против всех подозреваемых в соучастии в этом преступлении, что это не могло не отразиться еще более страшною паникою в литературе, которая в свою очередь должна была породить страшную деморализацию. Люди ни в чем неповинные стали задумываться над тем: действительно ли они ни в чем неповинны, не позволили ли они в своих писаниях говорить иногда такие мысли и слова, которые могли бросить в преступнике мысль и решение на это покушение. Такое скрупулезное, мелочное копание мысли в том, что ими было в разные времена писано, действительно, открывало если не прямые мысли, то намеки, которые могли заронить мысль о покушении. Из них, естественно, начинал шевелиться шкурный вопрос: «А что, если эти мои мысли или намеки на мысли разроют и опубликуют и по ним обвинят в соучастии в преступлении. Разве это невозможно?». И вот они начинают сторониться и бегать от своих, по их мнению, более их заслуживающих подозрения товарищей, чтобы, с одной стороны, не дать подозрения сторонним лицам думать, что они с этими своими товарищами единомышленники, а с другой — чтобы в якобы откровенных разговорах с последними как-нибудь не обмолвиться, не указать им в своих сочинениях тот corpus delicti, который тяготит их совесть. Как ни постыдна такая деморализация, но она, несомненно, в описываемое мною время существовала

в литературных кружках. Это я испытал на себе. Во-вторых, когда началось следствие по каракозовскому делу, новые судебные уставы, хотя и были изданы, но еще не введены в практику. Следственный процесс по каракозовскому делу велся по старому порядку. Предполагалось, что и верховный суд будет происходить по старому же порядку [41]. Когда я еще сидел в крепости, граф М. Н. Муравьев распорядился очистить для предстоящего суда квартиру коменданта крепости, сказав при этом, что верховный суд будет заменен верховной судебной комиссией под его же председательством, с назначением только новых членов в эту комиссию. Только уже недели через две или три после моего выхода из крепости почему-то началось другое веяние. Государю было угодно, чтобы верховный суд был учрежден по точному смыслу новых судебных уставов, и сообразно с этим уставом состоялось предание суду обвиняемых, а следовательно и поверка произведенного графом Муравьевым следствия. Взялась за дело новая прокуратура, были допущены адвокаты к обвиняемым, избранные ими самими, вообще обвинение приняло совершенно другой вид и характер. Заключенные в крепости и других тюрьмах по каракозовскому делу ожили и стали надеяться, что их вина будет рассмотрена и решена по сущей справедливости. До этого же времени все они находились в унынии и состоянии близком к отчаянию. Даже те, которые были взяты и задержаны в крепости и тюрьмах без всякой причины, не надеялись, что предполагавшаяся судебная комиссия под председательством графа Муравьева оправдает их.

В-третьих, граф М. Н. Муравьев во время своей диктатуры в Северо-западном крае во время польского мятежа так прославился своим своеобразным, лично ему принадлежащим взглядом как на следственный процесс, так и на судебные решения участи подсудимых, что никто не сомневался в полном отсутствии всякой справедливости и законности его действий как при следствии, так и при суде. Говорили, что граф М. Н. Муравьев не гнушался по временам, когда считал это нужным, прибегать даже к пытке, и что он употреблял это средство как в Вильне, так и в Петербурге.

Впрочем, рассказам об употреблении им пытки во время каракозовского следствия я никогда не верил. Но я нисколько не сомневался в том, что тому, кто подвергся в его глазах обвинению, в чем бы это обвинение ни состояло и насколько оно ни было далеко от истины, при обычной юрисдикции графа М. Н. Муравьева, кроме полного оправдания, все возможности открыты, начиная от оставления в подозрении навсегда до виселицы. Это, понятно, никак не могло действовать успокоительно на тех, кто имел подвергнуться обвинению. Тем не менее я, который был твердо уверен, что меня не минует эта участь, искренно желал, чтобы она скорее меня постигла и чтобы меня поскорее взяли и заключили в крепость. Здесь я, по крайней мере, со спокойной мыслью, не тревожимый ежеминутно окружающей меня паникою и разными тревогами дня, мог свободно рассматривать разнообразные перспективы тех возможностей, которые мне предстояли в будущем.

Граф М. Н. Муравьев (Виленский)

С литографии Васнетти

И теперь, когда прошло уже ровно 25 лет со времени каракозовской истории, я все-таки признаю тогдашнее мое положение лучшим сравнительно с положением других моих товарищей по «Современнику», именно тем, что я был посажен в крепость, а они все время следствия по каракозовскому делу оставались на свободе; разумеется, я не имею в данном случае в виду разных неприятных последствий сидения, которые потом наступили и для меня. В особенности я должен сказать об Ю. Ж.; он должен был провести очень неспокойно все время следствия по каракозовскому делу. Обвинение против него было выставлено, как я уже сказал, тотчас после каракозовского выстрела «Московскими Ведомостями» — и какое обвинение? А Катков был тогда человек всесильный, он, можно сказать, направил следствие и руководил им. Что первые моменты следствия прошли благополучно для обвиненного Катковым поименованного сотрудника «Современника» и его оставили нетронутым, это никак не могло его ободрить... Катков каждый день изощрялся в усилиях отыскать виновных и разоблачить польскую интригу до последних нитей и корней. Кто мог поручиться, что не сегодня, так завтра или послезавтра вследствие какой-нибудь ничтожной сплетни его расстроенному воображению представится новая комбинация заговора, и он снова повлечет к ответу Ю. Ж. и Мазада, и светило, их одинаково обоих озарившее. А граф М. Н. Муравьев, полагавший свою обязанность принимать к сведению и исполнению все указания Каткова, конечно, никогда не отказался бы приняться за исследование этой

озарившей вновь Каткова комбинации заговора, тем более, что чем дальше шло следствие, тем Катков все более и более оставался недоволен Муравьевым, недоволен тем, что он не может разыскать той польской интриги, которая по его убеждению была единственною руководительницею каракозовского выстрела. К этому присоединилось еще специальное обстоятельство, которое делало Каткова более опасным для всех обвиняемых в Петербурге, чем в Москве. Катков постоянно был того убеждения, которое, впрочем, и не скрывал, что Петербург — главное исходище и очаг всех революционных стремлений, взрывов и заговоров. Москва же всегда была и остается верною хранительницею всех древних отеческих заветов православия, самодержавия, всецело преданною своим законным государям. Как вдруг выстрел Каракозова обнаружил совершенно противное. Почти все участники каракозовского комплота и так называемой каракозовской организации, его «ада», почти исключительно оказались принадлежавшими Москве, из Петербурга попало сюда лишь несколько единиц. Это сильно аффрапировало Каткова. Все усилия его направлены были к тому, чтобы доказать, что все это революционное общество, порожденное, вскормленное и пригретое Москвою, были люди увлеченные, совращенные по неопытности с пути истины коварною польскою интригою, оставшеюся нераскрытою. Радости его не было конца, когда из показаний, обнаружившихся при судебном следствии, он узнал, что к числу членов «ада» принадлежал домашний учитель Иван Александрович Худяков, живший долгое

время в Петербурге и незадолго до выстрела Каракозова ездивший за границу, обращавшийся там среди русской эмиграции и по приезде оттуда поступивший в члены каракозовского «ада» и перед этими членами «ада» развивший свои преступные мысли о цареубийстве, как показывали некоторые из этих членов. Катков посвятил на раскрытие преступности Худякова, помнится, две передовые статьи [12], изображая его главным подстрекателем и руководителем увлеченных членов «ада». Хотя по произведенному уже судебному следствию верховного суда Худяков оказался настолько неповинным во взводимых на него обвинениях, что верховный суд разделился в окончательном приговоре о нем: одни члены предлагали отдать его по молодости лет на исправление его отцу, другие—сослать его, без лишения прав состояния, на жительство в северную губернию России, как вдруг в это самое время получаются означенные громовые статьи Каткова, изображавшие Худякова главным виновником всего каракозовского дела,—и он приговорен к ссылке на поселение с лишением прав состояния, и только потому, что сделанные судом предшествовавшие соображения не давали ему возможности на отягощение в иной мере участи человека, признанного им почти невинным. Но то, чего не мог сделать суд, дополнила администрация, окружив его на поселении таким жестоким и тяжелым надзором, что Худяков через год или два сошел с ума и умер.

Все это я говорю к тому, что все сотрудники «Современника», как журнала, огулом заподозренного Катковым в участии в каракозовском деле, во все продолжение следствия по карако-

зовскому делу должны были находиться в критическом положении и ни на одну минуту не могли быть уверены, что сегодня или завтра не последуют в тюрьму. В особенности это должно сказать о тех из них, кого Катков признал коноводами, обвиняя в этом участии, и назвал по имени немедленно после каракозовского выстрела. Судя по тогдашнему настроению всего общества, в особенности литературных кружков, я убежден, что они все время следствия провели очень беспокойно и тревожно, не спали ночи, были энервированы до последней возможности, если не до совершенной прострации.

Постоянное нервное раздражение и тревога, продолжавшиеся в течение целых четырех месяцев каракозовского следствия, отразились более или менее сильным деморализующим образом в жизни и деятельности как на многих из тех, которые сидели в крепости, так и тех, которые жили все это время на свободе в ежеминутном ожидании быть арестованными. В иных появился, а во многих надолго или навсегда утвердился тот спасительный страх, который Катков считал великим благом для всех заблуждающихся, какими он признавал всех несогласных с его мнениями, или, говоря другими словами, беспричинная трусость. Люди стали трусить, во-первых, самих себя, т. е. своего либерального образа мыслей, и публично его высказывать, хотя этот образ мыслей не запрещался законом, напротив, вызывался и поощрялся целым рядом введенных в жизнь реформ и новым строем жизни, на основании их возникавшем. Еще было извинительно, когда такую беспричинную трусость выказывал человек, си-

девшей в крепости, немедленно по выходе из крепости, под первым впечатлением отбытого сидения, но потом, в короткое время подышав свободным воздухом, отрезвлялся, приходил в разум и делался самим собою, сохраняя вполне свой образ мыслей и необходимую осторожность в сношениях с людьми сторонними, чтобы не попасть на шпиона-добровольца. Но совсем уже это было непозвинительно, когда даже в сидевшем в крепости трусость эта утвердилась навсегда, заставляла его менять свой образ мыслей и в отношении к другим, даже к тем, которых он хорошо знал, превращала в какого-то зайца. В особенности эта трусость была непозвинительна тем, которые даже и в крепости не сидели, которые натерпелись страху, так сказать, издали, оставаясь на свободе, и у которых, несмотря на это, склад мыслей совершенно изменился противу прежнего и которые стали бегать лиц, очень к ним близких и вполне известных, но сидевших в крепости, — стали бегать их единственно по тому соображению, что раз они будут продолжать свои прежние отношения с ними, то их примут за их единомышленников, заподозрят в каких-нибудь вновь приготовляемых ковах и т. п. Ведь вот какую гнусность в человеческих отношениях влечет за собою этот проклятый шкурный вопрос.

Я не думаю, чтобы в настоящее время была где-нибудь страна, где не было бы совершенно шкурного вопроса. Тем не менее я убежден, что ни в одной европейской стране, кроме Турции, он не существует в том поражающем размере и в таком гнусном виде, как у нас. Потому что нигде не существует столько официальных и доб-

ровольных наблюдателей чужих мыслей и душ, и нигде не развита так в обществе праздная болтовня, которая доставляла бы всегда богатую трапезу и сплетне подслушивающей, и сплетне бесцельной, нигде, наконец, не предоставлено администрации такого широкого права бесконтрольно распоряжаться судьбою людей, как у нас. Нет ничего удивительного, что в виду всего этого, чтобы уберечь свою шкуру, люди должны тотчас-дело сторониться друг друга, оглядываться взад и вперед и представлять из себя в общем некоторым образом подобие беззащитных овец и робких зайцев. Но во всяком случае здесь, как и везде, для разума человека есть modus in rebus.

Но раз этот modus нисколько не соблюдается, раз человек начинает заботиться исключительно о своей шкуре, он становится неприятен. Неприятен даже тогда, когда шкурный вопрос начинает руководить всеми его отношениями к другим, а уже совсем противен, когда этот вопрос делается главным рычагом его литературной мысли и деятельности.

В первый раз всю неприятность этой новой деморализации, появившейся в литературных кружках после каракозовской истории, я имел случай испытать на себе немедленно по выходе из крепости. Иду я раз, направляясь к Васильевскому, где жил в то время, по Конногвардейскому бульвару и вижу, что в проходящую по тому же направлению конку вскочил профессор университета, участвовавший в литературе, человек хороший, близкий мой знакомый, бывавший у меня довольно часто, которого я не видал в продолжение всего времени, что сидел в крепости, и которого хотел

расспросить о многом. Недолго думая, я немедленно вскочил на подножку конки, но так как места внутри конки не было, то я взобрался наверх. Увидав меня, профессор выскочил и побежал прочь от конки. Я стал окликать его, крича во всю мочь, но профессор мчался вперед. Предполагая все-таки, что он не слышит, я немедленно соскочил с конки и побежал также за ним, все продолжая кричать. Расстояние между нами было так невелико, что невозможно было не слышать моего крика. Но профессор продолжал бежать, не оглядываясь, и едва только добежал до первого извозчика, шмыгнул на него — и был таков. Тут только я понял, что профессора гнал от меня шкурный вопрос. Пришедши домой, я много смеялся над бегством от меня профессора. Мне показалось очень забавною его трусость, на мой взгляд совершенно беспричинная. Ибо чего ему было бояться меня, когда сам граф М. Н. Муравьев, по тщательному исследованию моих поступков и мыслей, не нашел возможным ни предать меня суду, ни продолжить дальнейшего надо мною следствия, а выпустил на волю. Однако скоро мне пришлось убедиться, что я ошибался. Несмотря на мое освобождение, одно сидение в крепости приводило людей мнительных и трусливых в смущение и заставляло их сторониться меня.

V. ПЕРЕХОД «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК» В РУКИ НЕКРАСОВА

Вскоре после взятия моего в крепость «Современник» по высочайшему повелению был закрыт. После ликвидирования его Некрасов немедленно уехал в деревню и прожил там вплоть до конца 1867 г. За все это время он приезжал, сколько мне помнится, не более одного раза в Петербург и то на короткое время. Между тем, живя в деревне и несколько оправясь от страха, нагнанного каракозовским погромом, он начал задумывать об основании нового журнала вместо уничтоженного «Современника». Не помню, в конце ли 1867 или в начале следующего года он прислал мне письмо, в котором, говоря об этом своем намерении основать новый журнал, он спрашивает меня: не пригласить ли ему к постоянному сотрудничеству в этом журнале некоторых новых лиц. В числе этих новых лиц были упомянуты граф А. Толстой, Я. Полонский, Карнович [13], других не помню. Хотя названные лица были совершенно безразличны, только графа А. Толстого молодежь недолюбливала за его «Пантелея Целителя» [14], и сочинениям некоторых из них «Современник» и прежде давал место на своих страницах, тем не менее заявить об их постоянном сотрудничестве в журнале значило бы дать новую окраску журналу в гла-

зах публики. Очевидно, что Некрасов не вполне оправился от случившегося погрома, и тенденция дать новую окраску журналу была внушена ему страхом такой же катастрофы с предпринимаемым им журналом, какую потерпел «Современник».

Я отсоветовал Некрасову давать другую окраску журналу. Что я ему писал, конечно, теперь не помню. Но смысл моего письма был такой: «Современник» с вами во главе заявил себя горячим бойцом за новую идею, и постоянно твердо и неуклонно, шаг за шагом, шел за новыми реформами. В этом смысле его поняла и отметила читающая публика. Отступить от этого пути, хотя бы на одну пядь, было бы нерезонно и невыгодно. Вам в новом журнале следует развернуть то же самое знамя и нести его так же твердо и неуклонно, как и прежде, в полной уверенности, что новые идеи, в конце концов, все победят и всем завладеют».

Спустя некоторое время после этого в Петербург приехал сам Некрасов. Но о новом журнале и о моем письме ни слова. Когда я спросил его: «что ваши мечты о новом журнале», он отвечал, что перестал об этом думать. «Дело это, — сказал, — в настоящее время совсем невозможное. Издавать журнал не разрешат ни мне и никому из бывших сотрудников «Современника». Я думаю заняться изданием время от времени сборников, как издавал в прежнее время. Ими также можно приучить публику, и они будут иметь ход. Напишите сами, что найдете нужным, и приглашайте других, кто захочет, приготовлять статьи для первого сборника, который я думаю

выпустить в будущем 1868 г. Я согласен давать вперед деньги в счет будущих статей». На этом мы с ним расстались. Вскоре он снова уехал в деревню.

В конце 1867 г. Некрасов снова приехал в Петербург и, явившись ко мне, сказал, что он вместо предположенного сборника, может быть, будет издавать журнал, что есть все данные надеяться на успех, что прежние сотрудники «Современника», с которыми он виделся, согласны в нем участвовать, и пригласил меня на следующий день к себе для обсуждения разных вопросов по устройству нового журнала. Причем сообщил мне, что этим новым журналом будут «Отеч. Зап.», которыми, как нам всем было известно, давно уже тяготился Краевский, занятый изданием «Голоса», и с удовольствием готов был отдать их в аренду, тем более, что они не доставляли ему почти никакого дохода. Это известие, что мы, бывшие сотрудники «Современника», будем работать в бывшем органе Краевского, который мы так часто осмеивали и третировали на всевозможные лады, сначала меня немножко смутило. Но потом я подумал: что же тут дурного, что мы отнимаем орган у противной нам партии и превращаем его в орган своей партии. Тут мы не только ничего не проигрываем, напротив, приобретаем. Надобно только устроить дело так, чтобы мы стали в нем вполне независимы от собственника журнала.

Когда на другой день в назначенный час я пришел к Некрасову, там уже было несколько человек. Кроме Некрасова, здесь были М. Е. Салтыков, Д. И. Писарев. Кто были еще, не помню.

Знаю, что М. А. Антонович не мог быть, ибо он был в то время за границею. Был ли А. Н. Пыпин, не знаю. Ю. Г. Жуковский в своем post scriptum'е к литературному объяснению г. Антоновича с Некрасовым говорит, что он в этом собрании не был. И надобно этому верить. Еще до прихода моего началась речь о том: брать ли в аренду «Отеч. Зап.», — и все на это согласились, согласился и я. Согласились на то, чтобы «Отеч. Зап.» при новой редакции дано было направление «Современника». Затем пошел вопрос о том: кого выбрать ответственным редактором «Отеч. Зап.». Оказалось, что нельзя было надеяться, чтобы утвердили кого-нибудь редактором из бывших сотрудников «Современника». Ибо все они были скомпрометированы, кроме запрещения «Современника» по высочайшему повелению, еще косвенным приговором над «Современником» верховного суда по делу Каракозова. После этого возник вопрос о том, нельзя ли остаться под ответственной редакцией Краевского. Возможность издавать журнал под ответственной редакцией Краевского прежде мне никогда не приходила и не могла притти в голову. Ибо имя Краевского было все время так скомпрометировано в литературных кружках и при этом едва ли в каком-нибудь журнале оно подвергалось большему осмеянию, и глумлению, чем в «Современнике», что мысль о том, чтобы сотрудники «Современника» могли очутиться под редакцией Краевского, являлась contradictio in re, чистым бессмыслием. Потому внезапно высказанная комбинация о том, чтобы издавать прогрессивный журнал под ответственной редакцией Краев-

ского, до того меня поразила, что я прямо и решительно сказал: «Это чистая нелепость. Это совсем невозможно». Вслед за мною и М. Е. Салтыков, которого, вероятно, еще прежде, до моего прихода, Некрасов соглашал на такую комбинацию, энергически заявил: «Это в самом деле чорт знает что. Надо бросить», взял шапку и хотел уйти. Но Некрасов удержал его и стал нам говорить, что напрасно мы горячимся, что «он и сам и не думает и не желает остаться под редакцией Краевского, что он немедленно озаботится приисканием человека, которого можно было бы избрать в ответственные редакторы журнала, просит нас об этом позаботиться, ибо приискание такого редактора, который бы был вполне солидарен с направлением журнала и по нравственным качествам не причинял бы разных хлопот журналу в том или другом отношении, — дело нелегкое: на приискание такого человека и утверждение его потребуется может не не один, не два месяца, а может быть, и больше; не утвердят одного, надо будет искать другого, и опять представлять на утверждение. Из-за таких пустяков, не имеющих, собственно говоря, никакого отношения к делу, может быть не начато, совсем брошено хорошее дело. Это как хотите, господа, будет совсем не умно. Отчего бы нам не оставить на один, на два, на три месяца, одним словом, на все то время, когда будем искать подходящего человека в редакторы, ответственным редактором Краевского. Мы Краевского можем обязать клятвенной подпиской, чтобы он не имел ни малейшего касательства до литературной части журнала, больше чем имеет официальный цен-

зор журнала, выходящего без предварительной цензуры. И раз мы увидим, что он не исполняет своей клятвенной подписи, а вздумает посягнуть хоть на одну строку из заготовленного материала для книжки журнала, не объяснив вследствие каких цензурных соображений это делает, мы можем немедленно бросить его журнал и уйти. Поверьте, что Краевский, в качестве ответственного редактора, будет тише воды, ниже травы. Журнал до сих пор не давал ему ничего, кроме чистого убытка и хлопот, а теперь он будет получать арендную плату, и если журнал пойдет хорошо, то сверх того и некоторую часть из чистой прибыли. Что касается до криков других журналов и газет об этом странном соединении прежних сотрудников «Современника» с Краевским, об измене их прежнему направлению, то ведь за нас будет говорить сам журнал. Из него увидят все, изменили ли мы прежнему направлению». В таком роде держал к нам свою речь Некрасов, и мы с Салтыковым не могли не признать ее резонною. Потому и было решено: временно оставить Краевского ответственным редактором «Отеч. Зап.», но потребовать от него, чтобы он собственноручною подпискою заявил, что он как ответственный редактор отдает в полное наше ведение и распоряжение литературную часть журнала, предоставляя полную свободу нашей мысли, и будет заботиться только о том, чтобы не было таких инцидентов, за которые цензура может задержать журнал.

Здесь я должен сказать, что все разговоры об «Отеч. Зап.» Некрасов вел отдельно с каждым из нас, бывших в Петербурге троих сотрудников

«Современника», по крайней мере, с Пыпиным и Жуковским отдельно от меня. Пыпин и Жуковский не были на том общем совещании, о котором я сказал выше, на котором присутствовали Салтыков и Писарев, когда речь шла о взятии в аренду «Отеч. Зап.». После каракозовской истории я стал в некоторые особенные отношения к Некрасову. Когда я только что вышел из крепости и, не находя нигде работы, не имел, чем содержаться, Некрасов написал мне из деревни письмо, в котором предлагал мне заняться приготовлением статей для предполагаемого сборника, обещая мне в счет этого будущего издания давать время от-времени некоторое количество денег на мое содержание. Я, конечно, с охотою на это согласился и занялся приготовлением статей. Вследствие этого по приезде Некрасова из деревни я виделся с ним часто, с остальными же товарищами по выходе из крепости я совсем не виделся, кроме Антоновича, к которому я тогда искренно был привязан, но он вскоре уехал за границу; к Жуковскому и Пыпину особой привязанности я не имел, но смотрел на них как на добрых товарищей, с которыми приятно стоять у одного дела. Верно, во время моего сидения возникло во мне некоторое сомнение относительно Жуковского: именно когда жене моей объявили в исследовавшей мое дело каракозовской комиссии, что меня выпустят из крепости, если она найдет поручителя за меня, и жена обратилась с просьбой к Антоновичу найти таких поручителей, а Антонович направился к Жуковскому, у которого поручители имелись, то Жуковский наотрез отказал принять на

себя хлопоты по этой просьбе. Но и такому отказу я не придавал никакого значения. В виду той странной паники, которая охватила тогда все общество по случаю каракозовского выстрела, о какой в настоящее время и представить нельзя, не было ничего удивительного, что Жуковский отказался искать для меня поручителя, тем более что он имел основание бояться и труснть более, чем другие. Когда раз Некрасов, по приезде пришедши ко мне, объявил, что, может быть, вместо «Сборника» он будет издавать журнал и что есть все данные надеяться на успех, что прежние сотрудники журнала, т. е. Жуковский и Пыпин, соглашаются в нем участвовать, то я очень этому обрадовался. Но я продолжал сидеть дома, заниматься приготовлением статей для будущего «Сборника» или журнала и не виделся ни с кем из прежних участников «Современника», кроме Некрасова.

Между тем, в то время как Некрасов вздумал хлопотать об основании журнала и встретил в своих хлопотах бесчисленные препятствия, в это время юркий книгопродавец-издатель, считавшийся в то время наиболее интеллигентным и прогрессивным из книгопродавцев, г. Тиблен [45], сообразив все эти препятствия, а главное разлад Некрасова с бывшими сотрудниками «Современника», решился подставить ему ножку. Уверенный в том, что с приобретением всех старых сотрудников «Современника» он приобретает и всех бывших читателей «Современника», Тиблен немедленно приобрел право на издание нового журнала — «Современное Обозрение» [46] и явился не только ко всем бывшим сотрудникам «Современ-

ника», но даже к самому Некрасову с приглашением участвовать в его журнале, предлагая последнему платить за каждый стих по рублю. Не знаю, что говорил Тиблен Жуковскому и Пыпину, но, явившись ко мне, он объявил, что он предпринимает издание журнала единственно для пользы публики, гибнущей голодом от «неимения такой здоровой пищи, какою питал ее «Современник», сам же лично для себя не ищет никаких выгод. Весь доход, который он будет получать, он, за необходимыми расходами на материальную часть журнала, полностью будет отдавать обделенным теперь сотрудникам, и порешил теперь же в виду успеха его журнала, в котором он не сомневается, платить каждому даже начинающему сотруднику минимум сто рублей за печатный лист, старым же сотрудникам «Современника» — не менее двухсот рублей за лист, и сверх того последним давать приличное жалованье как членам редакции». Я отвечал, что не могу не сочувствовать новому журналу, предпринимаемому единственно в видах пользы, что в этот журнал при бескорыстном отношении его, Тиблена, к делу устремятся, вероятно, все лучшие силы литературы, успех журнала, наверное, будет громадный, но что, мне кажется, для полного успеха дела ему необходимо напечатать в объявлении об издании журнала все то, что он мне говорит, означив подробно полистную плату сотрудникам, равно как и другие предположенные им премии. Тогда и я, наверное, поступлю в его сотрудники, теперь же пока буду считать этот вопрос открытым. На этом мы с ним и расстались.

Я был в полной надежде, что прежний «Современник» возродится в «Отеч. Зап.» в полном составе всех бывших сотрудников «Современника».

Как вдруг произошло нечто совсем для меня невероятное. Раз Некрасов приезжает ко мне и настоятельно зовет меня ехать вместе с ним на совещание об «Отеч. Зап.» к А. М. Унковскому, где, дескать, будет Жуковский. Я долго отказывался от поездки, говорил, что дело обойдется без меня, что я вперед согласен на чем порешат они с Жуковским, но Некрасов продолжал настаивать и требовал, чтобы я непременно ехал. Наконец я согласился, и мы поехали. Когда мы пришли, Жуковский был уже там. Некрасов начал речь с того, что прямо сказал Жуковскому, что если он, Некрасов, и согласится с ним, Жуковским, издавать журнал с тем, чтобы чистая прибыль от журнала делилась между ними двоими, то все же надобно вперед определить, из кого составить редакцию и кто будет оплачивать членов, входящих в состав редакции. На что Жуковский отвечал, что «он согласен, чтобы в состав редакции вошли Пыпин и Антонович и согласен, чтобы их труд по редакции оплачивался».— «А как же Елисеев, — спросил Некрасов. — Ведь он тоже находится в составе редакции». — «Если вам угодно, — отвечал Жуковский, — можете оплачивать его из своей доли прибылей, но я не имел его в виду». Эти слова, сказанные Жуковским в моем присутствии, так меня поразили, так показались мне невероятными, что если бы мне передал их сам Некрасов, и при этом клялся и божился, что он слышал их от Жуковского, я

никогда бы ему не поверил. Надобно предполагать, что Некрасов еще прежде слышал от Жуковского о предполагаемом исключении меня из числа членов редакции в новом журнале, а потому употребил все усилия, чтобы вытянуть меня из дома и заставить ехать присутствовать при совещании об «Отеч. Зап.» с Жуковским, чтобы я собственными ушами выслушал предположенный его план обо мне. То, что я услышал, никак, конечно, не могло утвердить во мне товарищеские чувства не только к Жуковскому, но и к Пыпину. Я не вступил ни в какие пререкания с Жуковским, но для меня вполне выяснилась та коварная махинация, которая предпринята была им относительно меня через ведение сепаратных, секретных от меня, переговоров с Некрасовым относительно новых оснований, на которых будут вестись «Отеч. Зап.». Они были уверены, что раз переговоры ведутся секретно от меня, согласятся ли они с Некрасовым, пойдут ли, не согласившись с ним, к Тиблену, я все равно, ничего не подозревая, по чувству товарищества, пойду за ними. В первом случае секрет, конечно, мог обнаружиться впоследствии, но тогда, когда роптать на это и принимать надлежащие меры было бы уже поздно.

Когда мы вышли с Некрасовым с этого совещания, Некрасов раскрыл передо мною и остальные карты моих бывших товарищей. Г. Жуковский поставил следующий ультиматум Некрасову: он объявил, что он согласен участвовать в журнале только в том случае, когда вся прибыль журнала будет делиться на две половины: одна отдаваться ему, другая — Некрасову. Но так

как то или другое количество чистой прибыли зависит от того или другого количества расходов по журналу, то он потребовал, чтобы ему не только открыты были все эти расходы, не только в предварительной смете годового бюджета и в годовой поверке по окончании года, но чтобы ему было предоставлено право соглашаться или не соглашаться на эти расходы при самом их производстве, так что он мог положить veto на печатание каждой статьи, которую он признал ненужною для журнала, но и на количество выплачиваемого за нее гонорара, на наем каждого рассыльного, которого признал бы он лишним, и т. д. Одним словом, он хотел сделаться не только постоянным наблюдателем, ревизором всех расходов журнала, но и настоящим его хозяином, распоряжающимся и всем внутренним содержанием. Некрасову оставалось только быть у него на побегушках. Так высоко ценил себя г. Жуковский после всех трескучих и блиставших красотою фельетонов. Ему казалось невозможным, чтобы и после этих фельетонов Некрасов не признал в нем такую же палату ума, какую признавал в бывшем члене консистории, теперь уже сосланном в Сибирь на каторгу. Обстоятельства сложились так, что вполне благоприятствовали замыслам Жуковского на полное пленение в рабство Некрасова.

Само собою разумеется, что после заявленного мне г. Жуковским остракизма я не мог итти вместе с моими бывшими товарищами. Они не сошлись с Некрасовым в преобразованных «Отеч. Зап.».

Сначала я не мог достаточно уяснить себе, что заставило г. Жуковского, а с ним вместе,

конечно, и Пыпина, декретировать необходимость извержения меня из членов редакции Отеч. Зап.», в случае, если бы состоялось их соглашение с Некрасовым на предложенных Жуковским условиях. Ведь это были те самые мои товарищи, которые еще так недавно дружно вместе со мною ходили поверять кассу Некрасова. Но вскоре для меня вполне выяснилось, в чем тут дело. Тотчас по напечатании «Отеч. Зап.» Некрасов передал мне письмо Пыпина [47], писанное во время переговоров с Некрасовым об «Отеч. Зап.», в котором г. Пыпин, между прочим, пишет Некрасову, что напрасно он отказывается от их предложения и думает вести журнал с одним мною, что мне одному с этим делом и не справиться, так как я недостаточно знаком с иностранными языками, а главное, за мною тянется неприятный для журнала хвост, который всегда будет вредить журналу. Под хвостом этим разумелось, вероятно, мое сиденье в крепости и учрежденный затем надо мною полицейский надзор, и большее или меньшее мое знакомство с теми лицами, которые во время каракозовской истории подвергались одинаковой со мною участи.

Это письмо заставило меня обратить более пристальное внимание на программу, опубликованную моими бывшими товарищами по вступлении их в «Современное Обозрение». Так назывался основанный Тибленом журнал. Смысл этой программы [48], сколько помнится, был таков, что Россия еще не настолько богата, чтобы заниматься преимущественно или слишком много вопросом о распределении богатств, ей более всего нужно думать о накоплении богатств, чем

об их распределении. Эта программа стояла если не в прямой, то в очень значительной противоположности с программою «Современника». Главную суть своей задачи «Современник» полагал в том, чтобы кричать всем во всеуслышание неумолчно, что общество тогда только будет благоденствовать, когда научится жить по-божьему. А по-божьему жить, значит: тебе кусок, мне кусок, ему кусок, одним словом: когда ни один самый малый, незначительный член общества не будет обделен, когда все будут иметь по куску. Об этом прямо или косвенно кричали все статьи «Современника», начиная от первой и до последней. Как нарочно, в последние два месяца перед каракозовской историей г. Жуковский явился самым ярым провозвестником и бардом за эту великую идею о распределении, всецело занимавшую «Современник», в двух своих красноречивого цвета фельетонах — о заедании чужого хлеба и о «вопросе молодого поколения». И затем, вдруг такой крутой поворот, можно сказать, salto mortale от проповедей о распределении богатств к накоплению богатств. Но тогда было не мало лиц, которые делали также salto mortale от распределения к накоплению. Помню, что после окончания верховного суда над Каракозовым ко мне заявился только что выпущенный из крепости один самый ярый московский нигилист, горячий приверженец «Современника», и начал на чем свет стоит бранить «Современник» и вообще русский прогресс, говорил вещи совсем неподобные, которые мог говорить только блаженной памяти покойный адмирал Шишков или Магницкий, — а малый был далеко не глупый, он скоро стал профессором

какого-то университета, каковым, кажется, и теперь состоит. Так страшно влияет на мысль человека и так страшно изменяет его вопрос шкурный. Г. Жуковский не сидел ни в тюрьме, ни в крепости, но он перенес за все время каракозовского процесса, сидя у себя дома, и именно по поводу своих последних двух фельетонов в «Современнике», столько самых томительных беспокойств и мучений, сколько не перенес и даже не мог перенести никто из сидевших в крепости.

Очень немудрено, что в таком состоянии мысль его от распределения богатств повернулась к накоплению богатств, а потом впоследствии в продолжение года вполне консолидировалась на таком направлении, как более безопасном. Оставалось одно из двух: или «Современнику», говоря другими словами, Некрасову в преобразованных «Отеч. Зап.» отказаться от того направления, по которому шел прежде «Современник», или им отделиться от Некрасова и итти отдельно.

В новом направлении не было ничего предосудительного. Избрав главным своим вопросом вопрос о накоплении богатств, журнал по временам мог касаться вопроса и о распределении богатств. Не было ничего предосудительного и в том, что Жуковский и Пыпин, устроившись в «Современном Обозрении» Тиблена, стали стараться о том, чтобы дать ход этому журналу и вместе с тем уронить «Отеч. Зап.»; все это было очень натурально и в порядке вещей, и на это нельзя было бы претендовать, если они говорили о сравнительных литературных достоинствах или недостатках, которых можно ожидать от того или другого журнала при наличном составе тех или

других сотрудников в двух изданиях. Не «честные люди» пошли совершенно другим путем. Они скрыли от всех, что они сами соглашались участвовать в «Отеч. Зап.», даже под ответственной редакцией Краевского, и разошлись вовсе не потому, чтобы журнал нельзя было издавать в том направлении, в каком издавался «Современник», а потому только, что не сошлись с Некрасовым в вопросе о четвертаке. Теперь они стали говорить совсем другое. Многие из людей, не знакомых с тогдашней журналистикою и не соприкасавшихся более или менее близко с литературными кругами, не знают, что Краевский в этих кружках считался bête noire, пугалом всякого прогресса. Сказать, что пишешь у Краевского или согласен с идеями, проводимыми в его журнале и газете, значило признать себя человеком совсем не прогрессивным, чтобы не сказать хуже. Так была убита репутация Краевского еще при блестящем штабе «Современника», который строго и неуклонно проводил принципы принятого им направления и от которого то-и-дело отклонялись «Отеч. Зап.» в другую сторону. Честным людям, соединенным Гиблеем, не нужно было много трудиться, чтобы уронить «Отеч. Зап.» в литературных кружках. Им стоило только говорить направо и налево, что мы, т. е. я и Некрасов, напуганные каракозовской историей, изменили прежним убеждениям и стали работать в органе Краевского, где последний остается и ответственным редактором. Более не нужно было никаких комментариев, чтобы заставить отпрянуть от нас, как от прокаженных, всякого знавшего нас до сих пор литератора. Раз я

случайно встречаю на улице хорошо прежде знакомого мне литератора — славянина, близкого знакомого Пыпина, бывшего профессора Р.[49], здороваюсь с ним, не кланяется и руки не дает. «Что это значит?» — «Как, — ответил он, — вы хотите, чтобы я был с вами знаком после того, как вы сделали такую подлость — изменили своим убеждениям, поступили работать к Краевскому». Мне было очевидно, что этот человек получил от честных людей те внушения, какие им нужно было сделать для своих целей. Долго было мне разъяснять этому человеку весь ход дела и историю того, как и почему я отделился от моих бывших товарищей и очутился с Некрасовым в «Отеч. Зап.» и в каком направлении будут издаваться они с переходом к нам. Поэтому я кратко сказал ему, что все то, что ему насказали о моей измене прежним убеждениям и об «Отеч. Зап.», — чистый вздор, и пошел от него прочь. При таких слухах, распространяемых честными людьми обо мне, Некрасове и об «Отеч. Зап.», издавать «Отеч. Зап.» в первые месяцы нам было очень трудно. Никто не желал в них писать; только благодаря моему долгому сотрудничеству в «Искре» и личному знакомству с персоналом этого журнала, который знал мое направление и которому были подробно разъяснены как история соединения моего с Некрасовым отдельно от прочих сотрудников «Современника», так и издание «Отеч. Зап.» на новых основах,—стало распространяться в литературных кружках о настоящем ходе дела. Несмотря на все каверзы и ухищрения честных людей, «Отеч. Зап.» пошли очень успешно. К концу года мы имели до пяти тысяч подписчиков — цифра, до

которой никогда не достигали в прежних «Отеч. Зап.».

Понять быстрый успех «Отеч. Зап.» нетрудно. Публика хорошо знала имена Некрасова и Салтыкова, который, помнится, в августе 1868 г. сделался членом редакции «Отеч. Зап.», также имя Краевского как основательного издателя и или вовсе не знала или мало знала имена Пыпина, Жуковского, Антоновича; Тиблен в качестве издателя журнала являлся в первый раз, и прочность его издательской фирмы не была еще так благонадежна, как фирма Краевского. А для подписчиков это обстоятельство было тогда очень важно, потому что в 60-х гг. являлось не мало таких новых журналов и газет, которые, просуществовав несколько месяцев, исчезали, а издатели, собрав деньги за целый год с подписчиков, не возвращали ничего.

Признаюсь, что, несмотря на неожиданно быстрый успех «Отеч. Зап.», я все-таки чувствовал, что вести их будет не легко. Не то, чтобы я боялся действия пущенной моими товарищами инсинуации, что «Отеч. Зап.» не номинально, а действительно редактируются Краевским и пойдут в другом направлении, а не в том, в котором шел «Современник», — эта инсинуация сама собой уничтожилась с выходящими книжками «Отеч. Зап.», — я боялся другого. Бывшие мои товарищи по «Современнику» представляли собою далеко недюжинные публицистические силы, и притом каждый из них, кроме общих сведений, владел малою толикою знания по какой-нибудь специальности: Антонович по—философии, Жуковский—по политической экономии, Пыпин — по истории литературы.

Я никаким образом не мог заменить их, тем более что специально никакой из помянутых наук не занимался, кроме того, вскоре по выходе из крепости нажил болезнь, которая не была смертельна, но которая отнимала у меня от работы по несколько часов в день и с которой я должен был бороться в продолжение целых семи лет. «Отеч. Зап.» были необходимы несколько молодых способных публицистов, которые до известной степени могли бы вознаградить потерю, понесенную нами в лице трех бывших сотрудников «Современника».

Это представлялось мне задачей очень нелегкой. Представлялось так потому, что по свойственному мне прекраснодушию, от которого не отрезвился и до сих пор, я обыкновенно более или менее идеализировал тех хороших людей, с которыми сходился, тем более с которыми стоял у одного дела, представляя их далеко высшими, лучшими того, чем они были на самом деле. Так случилось со мною и относительно моих бывших товарищей по «Современнику». Я представлял их людьми более умными, чем они оказались на самом деле. Мне казалось, что они не только никогда не пикнут публично о тех неприятностях из-за четвертака, которые вышли у них с Некрасовым, но тщательно скроют предложенные ими Некрасову претензии в своем сердце, распрощаются с ним вежливо, как джентльмены, держа при этом тайно про себя в уме: «Ты не хотел с нами работать на предложенных нами условиях, так мы постараемся сделать то, что тебе не с кем будет работать; мы лишим тебя огня и воды». Положим, что достигнуть

этого вполне им было не легко, но попытаться они могли не без надежды, если не на полный, то на некоторый успех. Все шансы на это в то время в литературных кружках и даже в некоторой части публики были в их пользу. Каждый из трех моих бывших товарищей приобрел известность в тех специальностях, о которых я сказал выше. Для этого им следовало только усердно работать и давать выдающиеся статьи по тем специальностям, в которых они были сильны и уже успели заявиться. Второе и главное, — направить все свои усилия к тому, чтобы ни в каком случае не дать возможности прекратиться «Современному Обозрению», в которое они перешли, войти для этого во все возможные уступки и соглашения с издателем, или, если бы это не удалось, то немедленно приискать себе другой журнал, или другого издателя, что, я полагаю, в то время было нетрудно. Успей они сделать это, то возможно предположить, что «Отеч. Зап.» были бы на долгое время обессилены, потому что все молодые дарования стали бы прежде всего обращаться в «Современное Обозрение», тем более что в то время оно представляло некоторым образом протест сотрудников — правильный или неправильный, кто это мог разобрать — против эксплоатации редакторов. В то радикальное время подобные протесты всегда пользовались сочувствием.

Как вдруг неожиданно в скором времени, выражаясь точным языком покойного Кокорева, с «Современным Обозрением» случился провал. Вышли какие-то несогласия между бывшими сотрудниками «Современника» и издателем Тиб-

леном, вследствие которых первые вышли из «Современного Обозрения», а последний бежал неизвестно куда и с того времени совсем исчез. «Современное Обозрение» совсем прекратилось, не успев накопить богатств. Со стороны моих бывших товарищей было большою ошибкою, что они не употребили всех своих усилий, чтобы не восстановить этого брошенного журнала или немедленно не начать другого. Оставшиеся не у дел по прекращении «Современного Обозрения» сотрудники этого журнала перешли в «Отеч. Зап.» [50]. С этого времени успех «Отеч. Зап.» был обеспечен прочно и навсегда.

Между тем бывшие мои товарищи по «Современнику», потерпев неожиданный провал с «Современным Обозрением», которым они заправляли, совсем потеряли голову. Вместо того чтобы позаботиться об основании другого журнала для себя, они любуются собою и своими талантами и удивляются: каким это образом случилось, что публика целый уже год не видит ни статей их, ни имен в «Отеч. Зап.», однакож «Отеч. Зап.» идут успешно. Должно быть, думают они, наша простодушная публика продолжает считать «Отеч. Зап.» за продолжение «Современника», потому что в них остаются имена Некрасова и Салтыкова, и не умеет понять пустоты их содержания сравнительно с полною содержательностью «Современника» последних лет. Под влиянием этой мысли, с одной стороны, и с другой — ненависти и злопыхательства против Некрасова они начинают приготовлять для себя второй провал [51].

VI. ОТВЕТ ЕЛИСЕЕВА НА КРИТИКУ АНТОНОВИЧА И ЖУКОВСКОГО

«Grattez le Russe et vous trouverez le Tatare»,* сказал Наполеон о русских, и сказал великую истину. Стоит самому добропорядочному человеку притти в азарт, в особенности из-за четвертаков, у него сейчас, как у дикого, расшатываются все нравственные основы, теряется всякое благоприличие. Все хляби заднего двора души его, существования которого вы до сих пор у него вовсе и не подозревали, разверзаются и оттуда начинают литься нескончаемые потоки самой зловонной нечистоты и грязи. И в то время, когда вы смотрите на это с удивлением и сожалением, он, напротив, с каким-то сияющим торжеством сидит среди изливающихся нечистот, роется в них и как будто хочет сказать вам: «А что? Ты, брат, думал, что я лучше других? Нет, ты только тронь меня; я нагажу еще получше какого-нибудь коллежского регистратора». И действительно нагадит.

Такую именно, нисколько не благоухающую эманацию русского азарта представляет собой книжка, изданная гг. Антоновичем и Жуковским.

* Дословно: поскребите русского и вы доскребетесь до татарина; употребляется в значении — в каждом и цивилизованном русском человеке таится дикарь.

Кроме личных дрязгов и грязи, в этой книжке ничего нет, и появление ее на свет никаким общим интересом не вызывалось и ничем не может быть оправдано. По отношению к специальной своей цели, то есть диффамации г. Некрасова, книжка гг. Антоновича и Жуковского не дает никаких веских данных. Если бы в ней все было истинно, начиная от первого слова до последнего, в таком случае в тех обвинениях, которые она усиливается взвести на г. Некрасова, не было бы ничего особенно ужасного для личности г. Некрасова. Стоило бы только осветить остальную часть русской журналистики, намеренно умолченную гг. Антоновичем и Жуковским, и в параллель редакторской деятельности г. Некрасова, деятельность других редакторов, а также те тонкие и щекотливые условия, в которых обращается наша журналистика вообще и редакторская деятельность в особенности, и тогда читатель, даже мало знакомый с положением и условиями нашей журналистики, понял бы, что, начиная от визитной карточки какого-то антиливерального лица, усмотренной г. Антоновичем в кабинете г. Некрасова и выдаваемой им за доказательство неискренности либерализма последнего, до 20 тысяч годового дохода, получаемого по *точному* исчислению г. Жуковского г. Некрасовым, ничего особенно криминального в действиях г. Некрасова не усматривается. Можно было бы обвинить его разве только в одном, что он не опередил своего века, не положил новых начал в основу редакторской и вообще журнальной деятельности. Но и относительно этого обвинения для личности г. Некрасова могут быть указаны смягчающие

обстоятельства. Провозвестники новых начал, видимо, не довольно вразумительно для г. Некрасова выяснили различие новых начал от старых. Когда г. Жуковский говорил г. Некрасову: «дай одну половину журнальных прибылей мне, а другую возьми себе», то г. Некрасову, конечно, трудно было понять, чем эти новые начала различаются от старых и почему от принятия г. Жуковского в половинщики русская журналистика должна обновиться.

Итак, я повторяю, что если бы в книжке гг. Антоновича и Жуковского было все истинно, начиная от первого слова до последнего, то и тогда всякий беспристрастный читатель увидел бы в ней более ревности к обвинению, чем действительно важных элементов для обвинения. Но люди в азарте не умеют говорить истины. Известна древняя пословица: «Ты сердишься, Юпитер, следовательно ты неправ». Гомеопатические дозы истины относительно положения современной журналистики и слишком преобладающего значения редакторов в ней, известные, впрочем, и до издания книжки гг. Антоновича и Жуковского, всем более или менее знакомым с нашим журнальным делом, теряются в последней в таком обилии инсинуаций, сплетен, кривых толкований, извращающих смысл фактов, предсказываний и разного рода произвольных соображений и измышлений, что стирается всякая грань между истиною и ложью. Вместо спокойного и разумного рассмотрения положения современной журналистики, что, пожалуй, было бы делом вообще нелишним, всюду выступает лишь сила личного раздражения, преследующая один личные цели и

расчеты, которая при этом не пренебрегает никакими средствами для сокрушения своих противников, даже и доносами. Оттого, чем тяжелее и глубже она усиливается, наносит, удар, чем более хочет быть уничтожающею, тем более теряет в своем достоинстве и убедительности, а по местам представляет собою просто комическое подобие бури в стакане воды. Все это доказывает старую, как свет, истину, что без уважения к истине всякая сила ничтожна — книжка гг. Антоновича и Жуковского не имеет другого значения, кроме значения личного пасквиля.

В этом пасквиле самую жалкую роль играет г. Жуковский. Это много, конечно, зависит от особенности его положения. Г. Антонович кончил свои сношения с г. Некрасовым вместе с закрытием «Современника» в 1866 г. Когда, в конце 1867 г., основывались журналы «Современное Обозрение» и «Отеч. Зап.» под новою редакцией, он был за границей и остался чужд журнальному движению в России. Этим г. Антонович сохранил простор для своих взглядов на журнальное дело и позицию для их защиты. Г. Жуковский находится совершенно в другом положении. Он очень долго поддерживал свои близкие отношения к г. Некрасову, и по закрытии «Современника» он присутствовал при рождении «Отеч. Зап.» и «Современного Обозрения», был на торгах тут и там, и хотя выгода кондиций бросила его в объятия Тиблена, но вскоре, не поладивши с последним, он снова завел сношения с г. Некрасовым и проч. Все эти отношения и сношения, в конце концов повлекшие за собой полный разлад и вражду, оставили много едкой горечи в сердце

г. Жуковского, которая и теперь еще очень свежа; одна уже мысль, что г. Некрасов *смел* не соединиться с ним на *новых началах* и, однакож, *может* иметь успех, грызет его, бесит, не дает покоя ни днем ни ночью, вопиет о мщении... А при этом бывшие сношения с г. Некрасовым лежат тяжелыми путами и на настоящей его деятельности. Тогда как г. Антонович совершенно свободен в своих новых измышлениях и порхает, как птичка по веткам, с одного измышления на другое, ничем не стесняясь, г. Жуковский, обязанный следовать за г. Антоновичем и петь ему в униссон, должен то-и-дело оглядываться назад, чтобы не стать в противоречие с бывшими недавними сношениями, должен сглаживать, прилаживать, выравнивать свое недавнее прошедшее с настоящим, должен, так сказать, вытанцовываться из тех силков, которые он понаделал сам для себя. Это ставит его нередко в трагикомическое положение и заставляет делать курьезные объяснения.

Таков, между прочим, рассказ об его отношениях к г. Некрасову и журналу последнего. Рассказ г. Жуковского передает ход дела в таком искажении, что не дает почти никакого понятия об истинной сути. В нем многие, весьма важные обстоятельства умолчены, некоторые из выведенных обстоятельств хронологически сбиты, смысл разных подробностей перепачен. Оно вышло как будто то, а в самом деле совсем не то, а только *удобоваримое* для г. Жуковского. В особой брошюрке о движении нашей журналистики в последнее время я восстановлю рассказ о начале «Отеч. Зап.» и «Современного Обозрения» и

последующих сношениях г. Некрасова с г. Жуковским во всей полноте и цельности, с поименованием всех событий и лиц, в них участвовавших или соприкасавшихся к ним, со всеми речами последних и т. д. [52].

Но и в том искаженном виде, в каком г. Жуковский передает историю своих отношений к г. Некрасову, эта история производит на читателя впечатление, нисколько не выгодное для г. Жуковского. Она носит на себе характер какого-то непристойного виляния и мелкого торгашества своим литературным пером. К чему, в самом деле, вся эта путаница отношений, которую тянет г. Жуковский с г. Некрасовым, эти сношения, переговоры, соглашения, уверения в дружбе и т. п. Убедился он раз, что человек из рук вон плох и окончательно неисправим, и запри ему тотчас дверь навсегда: «Ты, дескать, сам по себе, ты направо, я налево».

Но еще непристойнее это умственное блудодейство с собственною мыслию, это морочение читателя красивыми словами, это стремление объяснить свое влияние и нравственную несостоятельность какими-то возвышенными принципами, которые, в конце концов, сводятся к следующему простому фокусу-покусу нравственности, очень незатейливой: «Некрасов глубоко безнравственный человек и дела иметь с ним никому невозможно. Но пусть Некрасов даст мне, Жуковскому, половину своего дохода, тогда он будет высоконравственным, и иметь с ним дело всем будет можно».

И в заключение всех этих подергиваний и передергиваний, самого неблагообразного умствен-

ного и нравственного шатанья предлагается на разрешение читателям следующий наивный вопрос: «Не ложь, не клевета ли, что он, г. Жуковский, разошелся с г. Некрасовым из-за 50 рублей?»

Кроме этой путаницы, г. Жуковский ставит себя в комическое положение в своих объяснениях беспредельным самообожанием своей особы. Г. Жуковский влюблен в себя до безумия, он не может налюбоваться собой. Ему мерещится, что целая бездна отделяет его от всей остальной литературы, что он совершил что-то великое. Это он совершенно напрасно... Никакого пороха он не выдумал и не выдумает. И когда, желая охарактеризовать «шушеру и шелуху» русской журналистики, он изображает ее под образом снигирей, распевающих чужие нотки, то совершенно напрасно выделяет себя из толпы других снигирей. Я полагаю, что в том смысле, в каком он называет снигирями других, он и сам не что иное, как один из снигирей, только насвистанный прежними соловьями и слишком неосторожно откормленный на счет своей братьи, других снигирей, и что то же «шушеры и шелухи».

Я не говорю, чтобы в настоящее время, при оскудении общества людьми духа и силы, у нас не ценился и хорошо насвистанный литературный снигирь. Напротив, г. Жуковский всеми ценился в меру своего достоинства, и некоторое время был даже чаянием некоторого непроницательного Израиля. Но что ж из того? Стоит ли из таких пустяков так мелочно и ничтожно влюбляться в самого себя? К тому же и эти пустяки в настоящее время есть нечто разбитое, уничтоженное для всех... Ибо вообразите удивленье всех

поклонников г. Жуковского, когда в один прекрасный день он явился в журнале Тиблена с сочиненною им знаменитою программою «Об охранении спокойствия и о накоплении богатств», которое г. Антонович, неизвестно почему, *пресуществляет* в «произволство».[53] Они подумали сначала, что их *чаяние* шутит, что г. Жуковский, подобно Суворову, только *заманивает*, чтобы выкинуть потом тем грандиознейшую шутку — в прежнем роде. Дело оказалось, однакоже, вовсе не похожим на шутку. Почти одновременно с появлением программы «Современного Обозрения» появилось знаменитое предисловие г. Жуковского к сочинениям Иеремии Бентама[54]. В этом предисловии г. Жуковский является некоторым образом истолкователем программы «Современного Обозрения», настолько твердым и бодрым в своих новых воззрениях, что он нисколько не задумывается возвести в идеал гражданской мудрости и доблести Иеремию Бентама, сего мудреца, поучающего приносить людям как можно больше пользы с наименьшими издержками для себя[55], сего, по выражению Маркса, филистера из филистеров (urphilister), гения буржуазного тупоумия, который наивно принял современного ему филистера, и притом английского, за нормального человека и, признав безусловно полезным то, что полезно сему сычу в человеческом образе, вымерял этою меркою прошедшее, настоящее и будущее человечества[56]. В своем пасквиле г. Жуковский окончательно предает анафемствованию литературную деятельность прежнего времени и свою, и других и рекомендует литературе для исцеления от лицемерия понизить

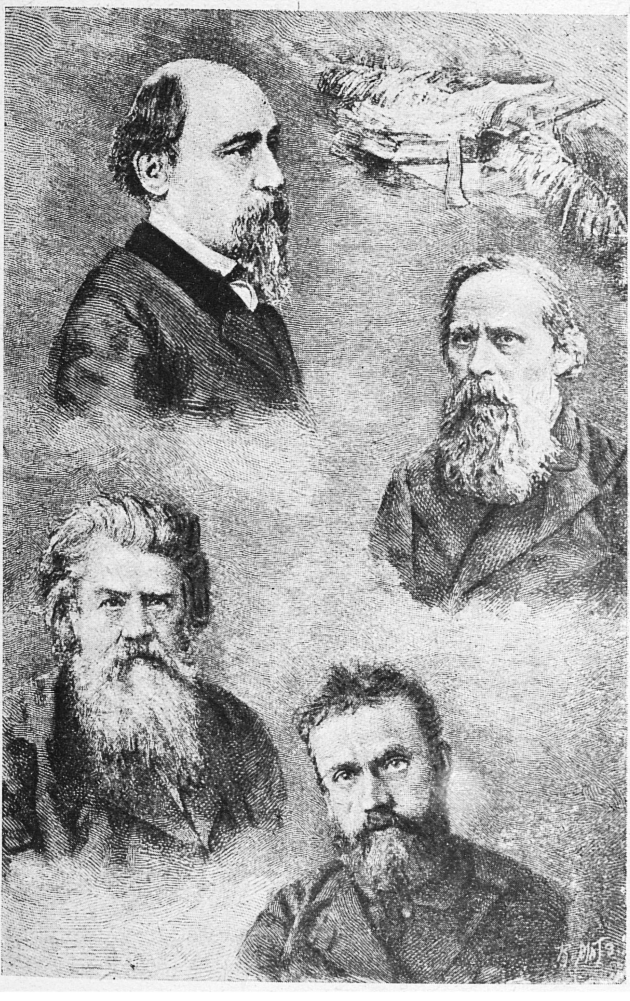
свои стремления до уровня действительности, слить свои идеалы с существующим фактом, преклониться перед сычем в образе человека как пред нормальным и желанным человеком. Это мудрость не новая. Ее красоту и безопасность очень хорошо понимал еще поп Сильвестр, когда писал свой «Домострой». Но к чему седлать Бентама и корчить из себя храброго рыцаря, едущего в чистое поле, когда в действительности отправляешься во всем известное родное отеческое стойло и когда сам очень хорошо знаешь про себя, что Бентам — такой конь, который более никуда и привести не может? Не лучше ли, не честнее ли, следуя знаменитому пророчеству: *все там будем*, отправляться туда просто, без шуму, не драпируясь и не мороча других какими-то принципами?[37]

VII. НЕКРАСОВ И САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН В «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСКАХ»

I

На моих глазах скончались два человека, равно дорогих для русской литературы. Это Николай Алексеевич Некрасов и Михаил Евграфович Салтыков. Смерть обоих их была предшествуема очень длинным процессом постепенного медленного умирания, который, по страшным мучительным страданиям, ничем не отличается от обыкновенной предсмертной агонии каждого умирающего, но тянулся очень долгое время: у первого около года[38], а у второго около пяти лет. Во все продолжение этого процесса до самой смерти оба они не только никогда ни на минуту не теряли сознания, но продолжали все время, когда их боли стихали, заниматься литературною работою, и их литературный талант не только не угас, но даже у одного из них, именно Михаила Евграфовича, точно вырос и стал действовать с большею энергией, чем прежде.

Я долго стоял с тем и другим у одного дела, видел близко процесс их медленного умирания и считаю небезынтересным познакомить читателей с теми страшными мучениями, которые приходится переносить истинно лучшим людям перед смертью не от болезни только, а и от бесчисленного множества пустяков, которые кругом



Группа „Отечественных Записок“

дополняют нашу жизнь и деятельность и никому не дают отойти из жизни вполне примиренными. Эти пустяки в значительной дозе увеличивают тот яд, которым наполняется сердце умирающих литературных Пименов.

Н. А. Некрасов умер от рака. Долго он лечился от него, прежде чем вступил в процесс умирания, но все напрасно. Умирание это продолжалось около года. Почти все это время он был на ногах, т. е. мог ходить по комнате, когда несколько утихали то-и-дело схватывавшие его страшные, нестерпимые боли. Помню его и теперь, как завернувшись в простыню, весь высохший, страшный, как скелет, поднимался он с постели и ходил с посетителем по комнате, рассказывая разные эпизоды из своей жизни и объясняя ему, как и почему он поступил так, а не иначе, в этом или другом случае. Целью этих объяснений было оправдать себя, доказать или совершенную несправедливость взводимых на него обвинений, или показать, что если в некоторых случаях он был неправ, то не настолько, как его обвиняют, и совсем не в том, в чем его обвиняют.

Эти оправдательные собеседования Некрасова сделались его любимым коньком перед смертью. Он со всяким приходящим с охотою пускался в рассказы о своей жизни и притом именно со специальной, нисколько, впрочем, нескрываемою, целью очистить себя от разных тяготевших над ним обвинений.

Всякий, мало знавший Некрасова человек, слушая эти его самооправдания, мог думать, что он был и ивесть какой грешник, что тяжкие

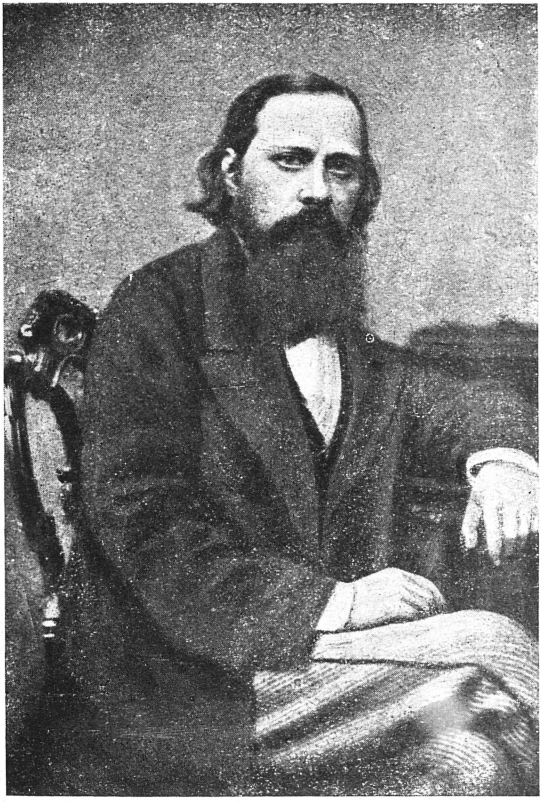
его грехи не могли быть отмолены никакими святыми, потому что из слушавших его исповедь никто не верил, чтобы исповедь его была вполне искренняя, чтобы мучения его совести могли происходить от тех малозначительных и даже вовсе ничего не значащих проступков, в которых он каялся и обвинял себя, что на душе его лежат какие-нибудь тайные злодеяния, которые он тщательно скрывает, и они-то и могут причинять ему невыносимую боль. Но люди, которые стояли близко к Некрасову или более или менее были знакомы с его жизнью, слушая его, знали очень хорошо, что исповедь его вполне искренняя, что, кроме того, что он рассказывает, ему и рассказывать нечего, что если, несмотря на это, при его нестерпимых болях физических, причиняемых ему его страшной мучительной болезнью, для него также и даже более нестерпимы страдания нравственные, то это происходит от того, что он преувеличивает значение некоторых проступков, совершенных им в жизни, проступков, до того мало значащих, что при том уровне нравственности, который существует в обществе, еще остается вопрос: действительно ли это проступки, но которые до того раздуты людской злобой и клеветою, что больной, находясь в течение почти двух лет в постоянной утомительной борьбе с болезнью, истерзанный ею, потерял всякое равновесие сил, лишился того мужества и бодрости, которые всегда его отличали, и впал в малодушие, в боязнь, что эти проступки покроют позором его могилу, что из-за них забудется все то, что он сделал хорошего. Рядом с возобновляющимися

приступами болезни возобновлялась его нравственная прострация. Когда припадки болезни смягчались или прекращались и наступали светлые минуты, он старался поднять свое нравственное состояние духа, насколько было возможно, старался оправдать или извинить те проступки, в которых он обвинял сам себя, но которые до безобразия раздувались людской злобой и клеветой, и показать, что эти проступки не так-то велики, чтобы их не могла простить его родина. Между этими страхом и надеждой он жил все время своей болезни. Такою же раздвоенностью отмечены некоторые из его последних песен, написанных во время болезни. Но так как стихотворения им писались в минуты светлые, в минуты прекращения или смягчения припадков болезни, то они большею частью заканчиваются надеждою на прощение. А между тем Некрасов был человек среднего нравственного уровня, как все те, с которыми он жил и вращался в литературной среде, и если он был не лучше других, то ни в каком случае не хуже. Но в нем был один очень важный и непростительный недостаток: он целою головою выдвигался над общим уровнем среды и был со всех сторон и всем виден. Он имел очень крупный поэтический талант, увлекавший всех не столько своей громадностью, сколько верным и метким изображением тогдашней России, и потому пользовался всеобщими симпатиями. На стихах его воспиталась вся культурная Россия, встрепенувшаяся в 60-х гг. или, говоря другими словами, в свою эпоху возрождения. Одно это делало имя Некрасова известным всякому образованному человеку. При

этом Некрасов был редактором самого распространенного и влиятельного в то время журнала. Этих двух атрибутов было вполне достаточно, чтобы зависть и, как выражался Салтыков, злопыхательство постоянно посылись около него, как около намеченной ими жертвы, которую им рано или поздно предназначено пожрать.

В нашей праздной жизни, где нет никакого общего кровного дела, которое связывало бы все общество в одно тесное сплоченное целое, сплетня и клевета свободно гуляют повсюду. Можно сказать, они царствуют над умами всех, представляя собой почти что единственный общий интерес, всех связывающий. Совершенно разрозненные между собой общественные атомы, отделенные друг от друга каждый каким-нибудь специальным делом или специальным бездельем, обеспечивающим его пропитание, погрязающие в самом бессердечном, в самом замкнутом эгоизме, тайно враждебные между собой, из личной выгоды готовы пожрать или, без всякой нужды, часто ради красного словца, опакостить даже самых близких к себе людей; эти люди никогда не могли бы иметь частных, интимных, приятельских собраний между собой, если бы не было сплетни, или клеветы [59].

В такую именно переделку попал Некрасов. На него вылит был целый ушат самой зловонной грязи, приготовленный в течение многих лет сплетнею и клеветой. Враждебная ему как поэту и редактору публика с восторгом аплодировала публичному его третированию. Сочувствующая публика в виду этого пришла в недоумение, растерялась и точно исчезла. Она не только не



М. Е. Салтыков-Щедрин в 60-х годах

Из собрания ИРЛИ

вышла на защиту своего любимого поэта, но своим глубоким молчанием точно подтвердила и одобрила сыпавшиеся на него тяжкие обвинения в полной безнравственности, не задав себе даже вопроса о том: мог ли Некрасов в тех условиях, в которых он стоял, удовлетворять тем идеальным требованиям, которые выставляли его противники, и насколько сами они удовлетворяли этим требованиям.

Над Некрасовым повторилась та же история общественного недоразумения, от которого зачастую страдают, даже погибают не только разные бедные Макары, иногда ни в чем не повинные сравнительно со своими современниками, но целые общества и государства. Так о Византии до последнего времени все почти ученые, а за ними и все образованные люди, в один голос кричали, что народ, населявший эту страну, а главное ее столицу, был самый безнравственный народ в мире, что он был полон нечестия, всякого рода пороков, и что вследствие такой своей безнравственности он должен был неминуемо погибнуть — и погиб. Школьные учителя всех европейских стран и народов употребили все свое красноречие на то, чтобы внушить своим питомцам убеждение о крайнем упадке нравов в Византии и запечатлеть в их сердцах и памяти навсегда, что от этого именно упадка нравов пала Византия. И эта мысль превратилась в несомненную аксиому, сделалась трюизмом в устах всех. Но вот пришли умные люди, внимательно пересмотрели все, что делалось в Византии, и сказали: помилуйте, да никакой тут особенной безнравственности мы не видим; в Византии делалось то

же самое, что делалось и во всех современных ей государствах и столицах. Она была, если не лучше, то и не хуже других. И погибла она вовсе не от своей безнравственности, а оттого, что пришли и напали на нее варвары, которые жили единственно войною и военным грабежом, на всех деятелей мирной культуры смотрели с презрением и считали их своею естественною добычею; а так как варвары численностью своею, вооружением, военной ловкостью и опытностью далеко превосходили войска, которые могла выставить Византия на свою защиту, то натурально, что, в конце концов, варвары и должны были одолеть и погубить ее.

Мы надеемся, что недалеко то время, когда умные люди рассмотрят подробно всю деятельность Некрасова и скажут: никакой особенной безнравственности в Некрасове мы не находим; если он был не лучше современных ему деятелей, то и не хуже их. И погиб он вовсе не от своей безнравственности, а от того же, отчего погибла и Византийская Империя...

Покойный Михаил Евграфович Салтыков очень часто говорил о Некрасове: это большой человек в русской литературе. Мы можем прибавить к этому, не боясь преувеличить значение Некрасова, что он был настолько большой, что целою головой стоял выше своих сверстников 40-х гг. и был некоторым образом учителем самого Салтыкова при начальных его шагах по вступлении в нашу так называемую эпоху возрождения.

Некрасов и Салтыков одарены были одинаково чуткою натурою, одинаково ясно поняли все не-

урядицы нашей жизни, одинаково страстно полюбили русскую литературу и русский народ. Но пришли к этому разными путями.

Некрасов происходил из неважного дворянского рода. Отец его, армейский офицер, красивый собою, приличный по манерам, с природным умом...

> Но прав его, привычки, воспитанье...
> Умеет ли он имя подписать?

Так изображает отца Некрасова его тесть в письме к своей дочери-варшавянке, девушке хорошо образованной, которая увлеклась «красивым дикарем», как выражается тесть, и тайком бежала из родительского дома. Тесть вдобавок к этому в насмешку ей рисует следующую картину ее будущего супружеского счастья: «муж—дикарь, соседи также дикари, а жены их безграмотные дуры, а вот пир у вас... на нем все псари, псари, псари... Во время твоих рулад средь самого разгара, не выдержав удара, валится раб... Все смеются... Засмейся и ты, моя дочь! Ведь смешно! Не правда ли?»

Тесть угадал. Красивый дикарь оказался страшным деспотом, самодуром и развратником, и дочь ее доживала одинокой страдалицей «среди разврата грязного и мелкого тиранства». Некрасов, проведший детские и отроческие годы в доме отца, потом, уже в расцвете своих сил, на 25 году возраста снова посетивший его, не может смягчить своего гнева и негодования при одном виде этого тогда уже опустевшего дома. Им вдруг овладевает какое-то непонятное для стороннего человека, какое-то странное, неестественное и притом слишком запоздавшее злорадство к

вещам совсем бездушным. Он с отрадою видит, что срублен темный бор, дававший дому защиту и прохладу, где он и сам, впрочем, часто проводил время, что пивы выжжены и набок валится пустой и мрачный дом, — все это потому, что в этом доме

> ... вторил звону чаш и гласу ликований
> Глухой и вечный гул подавленных страданий,
> И только тот один, кто всех собой давил,
> Свободно и дышал, и действовал, и жил.

Потом начинает перебирать в своей памяти прошлое, перед ним восстают образы один печальнее другого. Вот в алее темного сада между ветвей мелькает лик его матери «болезненно-печальный». «О, я знаю, — восклицает он, — отчего ты плачешь, мать моя, знаю, кто жизнь твою сгубил. Тебя пугала мысль восстать против судьбы, ты жребий свой несла в молчании рабы». Но рядом с этой страдалицей безгласной, ему вспоминается делившая с ней и горе, и позор судьбы ее ужасной, его сестра, теперь уже умершая. Она бежала «из дома крепостных любовниц и псарей, гонимая стыдом», и жребий свой вручила тому, кого не знала, не любила и в жизни повторила печальную судьбу своей матери. Но вот перед поэтом мелькнул как будто и светлый образ — образ няни. К этой няне, когда сердце ныло, он нередко убегал, и сколько раз с ней слезы лил и впадал в умиленье при имени ее. Но вот ему пришли на память какие-то черты «ее бессмысленной и вредной доброты». И грудь его опять полна враждой и злостью новой. Нет, говорит поэт в заключенье —

Нет: в юности моей мятежной и суровой
Отрадного душе воспоминанья нет;
Но все, что жизнь мою опутав с первых лет,
Проклятьем на меня легло неотразимым —
Всему начало здесь, в краю моем родимом.

Вот тот дом, — говорит поэт,

Где было суждено мне божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но, ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда помещиком бывал и я...

Так до известной степени воспринял он в себя уже все дурные качества, которые практиковались в этом доме. А Некрасов вышел из этого ада пятнадцатилетним отроком. Признание честное и откровенное.

В своей поэме «Мать», писанной перед смертью, во время болезни, поэт желал почтить память своей матери, которая в течение двадцати лет неусыпно бодрствовала над своим семейством, насаждая в своих детях семена истины и добра, охраняя их, насколько могла, от нравственной порчи, вносимой отцом, по временам имела благотворное влияние на последнего. В этой поэме поэт старается ослабить и даже совершенно отвергнуть приведенное нами, высказанное им еще в молодых летах признанье. Именно, он говорит:

И если я легко стряхнул с годами
С души моей тлетворные следы
Поправшей все разумное ногами,
Гордившейся невежеством среды;
И если я наполнил жизнь борьбою

За идеал добра и красоты,
И носит песнь, слагаемая мною,
Живой любви глубокие черты —
О, мать моя, подвигнут я тобою!
Во мне спасла живую душу ты!

Мы, конечно, вполне верим и не можем не верить — ибо это мы видели, и, так сказать, осязали, что поэт наполнил жизнь борьбою за идеал добра и красоты, что носила песнь, слагаемая им, живой любви глубокие черты, но чтобы он вполне стряхнул с себя когда-нибудь, даже при конце жизни, да еще стряхнул легко, тлетворные следы рабства, в этом не только позволяем себе усомниться, а даже положительно и решительно отвергаем. Мы, напротив, утверждаем, что по множеству своих привычек, традиций, бессознательных стремлений и поползновений он остался невольным рабом до конца жизни. Потому что от всех этих тлетворных, как он выражается, следов рабства отстать он не мог, если бы и хотел, потому что эти следы вошли, всосались в него с самого детства, так сказать, с молоком матерним; и наконец, потому что как родственными, так и другими не менее крепкими общественными связями он был неразрывно связан с обществом, которое родилось, воспиталось и которому предстояло жить в условиях неблагоприятных.

Некрасов был таким же сыном своего времени, как и все его интеллигентные современники, вступившие в эпоху нашего возрождения по достижении ими гражданского совершеннолетия. Начало этой эпохи я отношу к концу восточной войны, или к 1856 г. Некрасову в то время

было 35 лет. Весьма важное различие всех интеллигентных лиц, переживших эту великую эпоху, состояло в том, что одни из них родились и воспитывались, так сказать, в самых недрах крепостного права, т. е. в помещичьих семействах, следовательно, по необходимости должны были подвергнуться большему влиянию режима традиций и привычек крепостной эпохи и нести на себе более плотворных следов ее, чем те, которые родились и воспитывались в других сословиях, вдали от ее непосредственного влияния. Зато первые имели то преимущество перед последними, что, если они одарены были от природы выдающимся умом и человеческим сердцем, в них в самых ранних летах возникало сознание той неправды, которая царила в отношениях их семьи к крепостным людям. Всякий выдающийся факт возмутительного насилия над последними заставлял сжиматься их невинное сердце. Некрасов говорит о себе, что, живя в отеческом доме, следовательно, 15 лет, он уже *терпел* и *ненавидел*. Можно было бы подумать, что свои впечатления детских лет Некрасов преувеличил под влиянием того гнева и негодования, которые высказывал он по отношению к крепостной жизни, будучи уже 24 лет от роду, в полном расцвете своих сил, при воспоминании о загубленной его юности, о загубленных дорогих ему лицах — матери и сестре.

Но нечто подобное, и даже гораздо более удивительное, рассказывает Салтыков в своей «Пошехонской старине» о том, что случилось с ним еще на девятом году жизни. Роясь раз в своих учебниках, он отыскал в них, между прочим, «Чтение

из четырех евангелистов». Он начал его читать и перечитывать. Сначала поражали его не столько мысли, сколько новые слова, которых он ни от кого не слыхал. Но потом «страстное повторительное чтение объяснило смысл этих слов и сняло темную завесу с того мира, который скрывался за ними». «Главное, — говорит он, — что я почерпнул из евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий уклад уже не так легко порабощал меня» (Сочинения, IX, 57)[60].

Когда появилась в «Вестнике Европы» статья, где помещен был только что переданный мною рассказ Салтыкова, мне очень интересно было узнать: насколько это сообщенное Салтыковым сведение о таком раннем возникновении в нем самосознания может считаться несомненно подлинным материалом для его биографии, потому что мне никогда не случалось видеть людей или даже слыхать о таких людях, в которых бы в таком раннем возрасте являлось такое определенное сознание самого себя и всего окружающего, которое притом становилось вместе с тем и деятельным началом его жизни и его отношений к окружающему. При первом же посещении Салтыкова я высказал ему свое удивление по этому поводу. Но Салтыков отвечал мне, что он не знает, как и почему это вдруг случилось, но что именно было все так, как он описывал в своей статье. Через известный промежуток времени из числа статей, служивших продолжением «Пошехонской старины», появилась и еще статья,

обратившая на себя мое внимание. Это — «Братец Федос». Братец этот изображен очень симпатично и своим образом жизни, привычками, тенденциями был живой сколок наших 60-х гг. У меня опять явилось сомнение, чтобы такой экземпляр был в те времена. Я высказал свое сомнение Салтыкову, — тот мне ответил, что лица с такими чертами действительно тогда не было и что он взял эти черты с типа посредников 60-х гг. И опять при этом повторил мне, что этот тип для того времени им выдуман, а что написал о своем раннем развитии в детских летах, то это действительно было именно так, как он писал. Я, впрочем, нисколько не сомневался в истине того, что он передавал и после первого его заявления. Я объяснял себе возможность в богато одаренном от природы мальчике раннего пробуждения самосознания усиленным напряжением мысли, устремленной к уразумению евангельских слов и учения. По мере того как он усваивал смысл последнего, он видел, что книга заповедывала другие отношения к людям, чем какие были в их семействе, но что и отец, и мать, и тетка считали эти отношения неправильными, что в великий пост в известной неделе все они говели, каялись, и в эти дни отношения их к людям менялись, делались более сдержанными, т. е. становились до некоторой степени подходящими к тем, которые заповедывала книга. Отсюда само собой вытекает заключение, что по этой книге надобно обсуждать жизнь и деятельность других. Это и было тем озарением, которое раскрыло и осветило вдруг самосознание Салтыкова, и при его свете он

счел себя властным критически относиться и к девичьей, и к застольной.

Но чтобы это сознание с того времени настолько прочно утвердилось в нем, что сделалось руководящим началом его жизни и деятельности, как представлялось Салтыкову, это мы должны признать одной из тех иллюзий старческого возраста, когда человек, имея вполне развившееся, давно окрепшее и прибывающее в одном и том же положении с первого вступления человека в зрелый возраст самосознание, теряет, наконец, скоро память о том, чтобы это было когда-нибудь иным, и легко присоединяет к этому свое настоящее положение и детский возраст, думая, что в этом возрасте с первого момента возникновения самосознания оно тотчас стало в нем деятельной силою. В действительности этого, однако, не бывает. Во-первых, при самых благоприятных обстоятельствах возникающему самосознанию не легко выбиться из тех бесчисленных колебаний и сомнений относительно правильности своего понимания всего происходящего перед ним, и, следовательно, внутренно сознать себя силой мощной и обязанной действовать; во-вторых, при таком сознании не всякий темперамент, при существующих препятствиях, способен проявлять свою силу; в-третьих, в детском возрасте впечатления так быстро меняются и так всецело охватывают человека, что от самых горьких слез и до самого ярого гнева человек, в этом возрасте, через пять-десять минут легко переходит в самое радостное и мирное настроение и почти совершенно забывает то, что возбудило в нем неприятности и вражду назад тому несколько

минут. То же самое должно сказать и о рановременном возникшем в нем самосознании. Оно легко забывается под наплывом текущих и сменившихся впечатлений и спокойно спит себе как несуществующее, а увлекающаяся молодая натура преспокойно проделывает все то, что ей нравится, не справляясь с тем самосознанием, или, точнее сказать, совсем забыв о нем. Некрасов, вспоминая свои детские годы и то время, когда в нем раскрылось вполне самосознание и он научился терпеть и ненавидеть, откровенно говорит о себе, что в эти годы «ненависть постыдно питая, был иногда помещиком и я». Если мы припомним разные места в «Пошехонской старине», в которых Салтыков говорит о летах своего детства, места, на которых лежит печать несомненно его автобиографического материала, прибавим к этому подобные же места и из других его сочинений, где идет речь уже о его летах более зрелых, то убедимся, что несмотря на рано проснувшееся в нем самосознание, по временам бывал помещиком и он. Поэтому, когда Салтыков говорит, что чтение евангелия посеяло в его сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр его существа нечто *свое,* благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко порабощал его, то с этим мы можем согласиться, но только до известной степени. А только до известной степени потому, что это появившееся в нем «свое» никак не может в этом возрасте быть устойчивым, часто по недостатку внутренней логической силы для борьбы с существующим жизненным укладом, а иногда просто по чувственному

увлечению этим укладом, очень приятно и успокоительно действующему на нашу чувственную природу. Таким образом можно согласиться с Салтыковым, что появившееся в нем после чтения евангелия «свое» с самого появления радикально изменило в нем обращение с домашней прислугой и что с этого времени «крепостная номенклатура», которая доселе оскверняла его язык, исчезла навсегда — но и только. На этом деятельность этого нового «своего» кончилась. Что касается до позднейшего времени, то Салтыков совершенно прав, когда говорил, что этот момент имел несомненное влияние на весь позднейший склад его мировоззерцания.

Момент раннего раскрытия самосознания, раз он происходит среди безобразных и возмутительных явлений известной среды, вызывается ли он прямо этими явлениями или какими-нибудь другими поводами, имеющими известное отношение к ним, как в настоящем случае чтение евангелия, должен иметь решающее влияние на последующее направление и развитие мыслительной способности. С этого самого момента мыслительная способность начинает и вольно, и невольно, и сознательно, и полубессознательно, и даже совсем бессознательно, так сказать механически, вбирать в себя все выдающееся по своей резкости и возмутительности из явлений этой среды, так что, когда человек придет в полный возраст и в полное сознание и бросит ретроспективный взгляд на прошедшее, то перед ним восстанет полная картина этого прошедшего во всей отвратительной грязи и мрачности. В этом случае происходит нечто подобное тому, что происхо-

дит с процессом нашей грамотности, если нас учат грамоте в раннем возрасте. Мы не знаем, как запечатлеваются в нашей душе очертания и формы букв, формы слогов, и т. п., не помним даже, каких трудов стоило нам усвоение всего этого, даже иногда не помним времени, когда все это усвоено нами, так что, когда приходим в возраст, грамотность эта представляется чем-то прирожденным нам, таким, что мы имели еще до появления на свет. Но есть и другое сходство процессов усвоения грамотности с процессом сознания тех явлений, о которых идет речь. Грамотность как бы она ни была усвоена нами в детстве, может сильно ослабеть или даже совсем выпасть из нашей памяти и вполне уничтожиться, если наша уже вполне сознательная мысль не будет направлена на нее и не постарается сохранить то, что было усвоено нами, так сказать, механически. То же должно сказать и о явлениях того порядка, собранных, так сказать, механически нашей мыслительной способностью, о которых идет речь. Они также могут мало-помалу затеряться и исчезнуть почти бесследно, если окружающая нас среда не будет подновлять их или не последует какого-нибудь случайного озарения.

В то время когда развивались Некрасов и Салтыков, положение нашего общества было очень мрачное. Господствующим укладом жизни так все было порабощено, что даже литература занималась совершенными пустяками и в лучшем случае исследованием и разысканием художественной красоты, не обращая никакого внимания на задачи общечеловеческой совести, на-

ходившейся в совершенно подавленном и угнетенном положении. Даже такой гениальный писатель, как Гоголь, в таланте которого была глубокая симпатия к участи униженных и оскорбленных, как видно из повести «Шинель» который вращался в кругу таких гуманных писателей, как Жуковский и Пушкин, который представил собой новую эпоху в повороте литературы именно к тем предметам, которые достойны ее внимания; даже этот, говорю, гениальный человек не счел нужным тем или другим образом коснуться ненормальности господствовавшего уклада жизни, и даже мимоходом, одним веским своим словом дать понять, что «мужицкий поселок — там настоящий пуп земли, — как выражается Салтыков, — что там разгадка всех жизненных задач, там ключ к уразумению не только прошлого, но и будущего» (т. VII, стр. 507). Единственный литературный кружок, где Некрасов, сделавшись юношей, мог найти полное озарение и развитие для своего в юном возрасте проснувшегося самосознания, был кружок Белинского...

II

Русская публика знает Михаила Евграфовича Салтыкова как талантливого сатирика, который мог писать только черным по белому, т. е. имел способность бегло охватить различные неприглядные явления русской жизни и передать их в поэтических образах. Но она не знает того, что он был вместе с тем человек замечательно сильной мысли, что когда было нужно по обстоятельствам написать для журнала какую-нибудь

экстренную публицистическую статью или рецензию на вышедшую в свет книгу, он брался и за это, и все подобные статьи, которых не мало наберется в «Современнике» и «Отеч. Зап.» и которые до сих пор остаются неизвестны[61] публике, были в своем роде шедевры, сообразно с теми щекотливыми обстоятельствами, по которым они писались. Вообще, Михаил Евграфович по своему темпераменту и призванию был журналист в лучшем смысле этого слова, и трудно сказать, что в нем преобладало: поэтическая ли способность или строгая логическая мысль; повидимому, все это в нем было уравновешено. Никто так внимательно и зорко не следил за всеми движениями и явлениями русской и иностранной жизни, начиная от великих до самых малых, никто так не был чуток к новым, едва только нарождающимся переменам и веяниям в общественной жизни, никто не умел так быстро охватить суть этих нарождающихся перемен и веяний и их охарактеризовать часто одним рельефным образом и словом, как он.

Надобно было видеть, в какое он приходил возбуждение и некоторым образом неистовство, когда его вдруг нечаянно поражал какой-нибудь непредвиденный им факт. Раз, помню, Михаил Евграфович как-то уезжал из Петербурга на неделю или более времени, кажется, в Ярославль. По приезде оттуда, он в самый день приезда, не читав газет, пришел в редакцию. Начался разговор о Франции, о Тьере. Я сказал, что теперь уже нет Тьера: сегодня в телеграммах уже Мак-Магон объявлен президентом[62]. Как вспрыгнет Михаил Евграфович со стула, точно его укусил

кто-нибудь: «Как Мак-Магон, — воскликнул он. — Эта... (он выразился непечатно) будет распоряжаться судьбами несчастной Франции. Это ужасно». В другой раз, в день смерти Некрасова, мы все, сотрудники «Отеч. Зап.», собрались на панихиду и сидели в смежной с его кабинетом комнате, разговаривая о покойном. Тут же был и Михаил Евграфович. Вскоре он зачем-то вышел в залу, где лежал покойный, и тотчас же возвратился в сильном возбуждении, пылая от гнева. «Это чорт знает на что похоже, — начинает он, обращаясь к нам. Мы сидели в недоумении, чем раздражился Михаил Евграфович. — Всю жизнь говорил, что желает быть похоронен на литературном кладбище (Волковом), а перед смертью сделал распоряжение, чтобы его похоронили в Новодевичьем монастыре»... Мы поняли, что речь идет о покойном. Нас это самих всех удивило. «Кто вам сказал?» — спросили мы. «Кто сказал? конечно, Ераков (он был близкий человек Некрасову и всем распоряжался на его похоронах), у него и бумага в руках и письменное распоряжение покойного», — отвечал, уже несколько успокоившись, но все-таки сердито Салтыков. Все, кто знал Салтыкова и часто видел его, припомнят, конечно, множество случаев подобных раздражений, по поводу часто самых мелочных казусов, поразивших его неожиданно. Раздражения эти заканчивались обыкновенно крепким словом или характеристической кличкой по адресу того, кто был их виновником или подал к ним повод.

В явлениях высшего порядка, явлениях общественной жизни и разнообразных общественных

веяниях, никаких непредвиденных, поражающих казусов, конечно, не могло быть или они бывали очень редко, ибо все они более или менее вперед обусловливались общим ходом дел; поэтому когда они случались, здесь не было таких моментальных раздражений и взрывов, а вместо них являлись умеренно возбужденная мысль и фантазия и заставляли М. Е. браться за перо. Раз статья была готова, М. Е. не любил, чтобы она лежала у него, и тотчас нес ее в редакцию и требовал немедленного напечатания. В журнальном деле есть свои коммерческие расчеты, в силу которых не только сообразно разным сезонам в году, но даже сообразно месяцам в этих сезонах распределяются статьи, имеющиеся в портфелях редакции: важнейшие или талантливейшие, или среднего достоинства. Некрасов, самый опытный из редакторов в распределении имеющихся в портфеле редакции статей по сезонам и месяцам, несколько раз мне жаловался, что Михаил Евграфович часто путает его расчеты в размещении статей: «Точно шило у этого Салтыкова сидит и не дает ему покоя. Напишет статью и то-и-дело ходит и требует, чтобы сейчас печатали. Едва уломаешь его отложить на месяц или на два». Некоторые из наших критиков и рецензентов, в особенности любители изящной, но тенденциозной беллетристики, не раз выражали сожаление: зачем М. Е. не сидит и не обдумывает своих сочинений и не пишет таких законченных вещей, как «Семейство Головлевых» или «Пошехонская старина», а дает необработанные сатирические очерки в роде журнальных фельетонов. Эти люди забывают, что Салтыков был

вовсе не сочинитель, пишущий для увеселения или услаждения праздных читателей, а общественный деятель, который в ту или другую данную минуту хотел осветить для общества то или другое положение дел, как оно ему представлялось, и таким образом дать ему понять, на что оно должно надеяться и чего опасаться. Сам Салтыков смотрел на свои сатирические очерки как на прямое общественное служение, а на свои беллетристические произведения как: «Семейство Головлевых», «Пошехонская старина», как на отдых от дела, который он не должен был себе позволять. Во время писания своего последнего произведения, «Пошехонской старины», он раза два спрашивал меня, хорошо ли он делает, что пишет это вместо сатирических очерков. Довольна ли этим публика? Я, конечно, отвечал утвердительно. Другие, к которым он обращался с этим же вопросом, также хвалили его «Пошехонскую старину». Наконец похвалы ей сыпались из всех органов печати. И М. Е. продолжал писать. Наконец она ему все-таки наскучила. «Последние главы я скомкал, хотя бы можно было написать их гораздо подробнее и интереснее, — говорил он мне и другим. — Мне хотелось бы перед смертью напомнить публике о когда-то ценных и веских среди нее словах: стыд, совесть, честь и т. п., которые ныне совсем забыты и ни на кого не действуют». При такой задаче служить обществу освещением того или другого общественного положения в данную минуту, как он ее понимал, М. Е. натурально было не до обработки его сатирических очерков. Он спешил передать обществу во-время свою мысль. И вовсе

не в его темпераменте было сидеть над своим сочинением, вычищать его, выравнивать, придумывать красивые и забористые фразы. Он писал, как ложилась сама мысль под перо. И если употреблял заботу, то не на то, чтобы одеть ее в забористую фразу, а скорее на то, чтобы смягчить ее суровость и резкость, чтобы она могла благополучно пройти через Сциллу и Харибду русского печатного слова. Надобно сказать, что и свои чисто беллетристические вещи Салтыков писал не без задней мысли. По крайней мере, это должно сказать о его «Пошехонской старине». Мне и другим он говорил, что хочет посвятить это сочинение имени покойного Некрасова. Притом прибавлял, что «ныне вошло в моду плевать на 60-е гг. и людей, в то время действовавших. Топчут в грязь всех и все. Начали лягать и Некрасова». Надобно полагать, что Михаил Евграфович своей «Пошехонской стариной» хотел показать всем порицателям 60-х гг., что при самом скромном, спокойном можно сказать, даже идиллическом изображении русского общества, перед самым началом 60-х гг., в этом обществе было мало хорошего.

По смерти Некрасова Салтыков занял в «Отеч. Зап.» новое положение главного ответственного редактора журнала, которое прежде и более всего должно было удовлетворять его тем, что давало ему и вполне обеспечивало самостоятельность и независимость его собственного литературного труда. Он теперь стоял непосредственно перед публикой и мог во всякое время говорить с ней о том, что считал необходимым в ту или другую минуту. Вместе с тем ему же

стало принадлежать и верховенство в руководстве журналом. Он, конечно, не мог изменить того направления, в котором велся журнал, но, смотря по обстоятельствам, он мог понижать и возвышать его тон; давать ему ту или другую окраску. Другая немаловажная выгода нового положения Салтыкова,—что он, сделавшись редактором, получил возможность ближе познакомиться и сойтись как с сотрудниками журнала, так и вообще с рабочим литературным людом. Как это ни странно сказать, а между тем несомненно, что, проработав почти двадцать лет в двух таких распространенных журналах, как «Современник» и «Отеч. Зап.», М. Е. до своего редакторства оставался известным рабочему литературному люду только по имени и сочинениям и был совсем почти неизвестен по своим личным качествам. Семейная обстановка М. Е. была такова, что не давала ему возможности входить в сближение, в сношения с литературными работниками, если бы он и хотел. Он часто сам на это жаловался, даже уже после того, как сделался редактором, когда он сам стал желать этого сближения. Обыкновенно серьезный, даже суровый вид М. Е., его неприветливость и несколько грубоватая, точно сердитая речь, наконец, раздражительность, готовая вспыхнуть по поводу всякой мелочи, — так он представлялся всякому незнакомому лицу, имеющему до него дело, — не могли, конечно, производить хорошего впечатления на людей, имеющих до него дела, и располагать к знакомству с ним. С другой стороны в Михаиле Евграфовиче долго оставались традиции условного дворянского декорума отно-

сительно внешности, одежды, обращения и т. п., и он на молодых литераторов, пренебрегавших этим декорумом, смотрел как на людей «необнатуренных», как он выражался, и естественно остерегался вступать с ними в более близкие отношения. Несколько случайных инцидентов содействовали к тому, чтобы утвердить его в этом предубеждении. Еще во время существования «Современника» пришел к М. Е. на квартиру и, кажется, по его же приглашению покойный Левитов[63], чтобы поговорить о представленной им в редакцию «Современника» статье. М. Е. был дома. Но, вероятно, не предупрежденный о приходе Левитова лакей не только его не принял, но по его неказистому платью отнесся к нему с обыкновенным лакейским высокомерием. Левитова это взорвало и он написал М. Е. обидчивую записку, в которой, титулуя его вашим превосходительством, наговорил ему пропасть разных неприятностей. Это сильно взволновало Салтыкова и он долго не мог забыть записки Левитова.

В тесном редакторском кружке «Современника» и «Отеч. Зап.» М.Е., конечно, был более известен, но и здесь он не мог выказаться теми сторонами, которые раскрылись в нем, когда он сделался редактором журнала и сам стал хозяином дела. Некрасов имел огромное на него влияние. Сам Некрасов по натуре был скрытен и в речах своих сдержан, а когда он делался очень экспансивным, в тесном ли кругу редакции, а в особенности в сепаратных разговорах с кем-нибудь из своих сотрудников, то надобно было держать ухо очень востро. Он не пускался в откровенности без цели. Он прошел длинную и

тяжелую литературную школу. И из своей долгой литературной практики вынес и усвоил очень несимпатичный и несчастный для него принцип, много ему вредивший: «divide et impera». Оттого искренности его верили мало, даже тогда, когда по всей видимости ей нельзя было не верить.

Мне скажут, что я бросаю на покойного Некрасова тень. Конечно, бросаю, и при этом знаю, что у Некрасова была не одна эта тень. Их было очень много. И несмотря на эти тени, я должен не только повторить вслед за покойным М. Е., что Некрасов был «большой» человек, но и прибавить к этому, что, обозревая деятельность Некрасова за все то время, с которого я его узнал, вплоть до его смерти, я не знаю ни одного человека, который бы столько потрудился и оказал столько услуг русской литературе, как он. За все свои тени он с лихвой заплатил еще при жизни и продолжает расплачиваться и теперь, по смерти. Когда-то будут поняты и оценены его труды, его заслуги для русской литературы, как следует, и будут ли, еще бог весть! Впрочем, о Некрасове и «Современнике» я надеюсь написать особое воспоминание[64]. Теперь же обращаюсь снова к Михаилу Евграфовичу. Сделавшись редактором и проводя от трех до четырех часов и более в редакционные дни в редакции в постоянных разговорах с сотрудниками, с литераторами, приносившими статьи и приходившими за другими делами, с заведующим конторою, с метрапажем, он с каждым днем более и более выяснялся своими личными качествами. По сообщительности натуры М. Е. был совершенно противоположен натуре Некрасова. Насколько

последний был крайне скрытен и сдержан, настолько же М. Е. был откровенен и экспансивен до крайности. У него не могли держаться задние тайные мысли ни о ком и ни о чем, разве к тому вынуждала какая-нибудь чрезвычайная необходимость. Впечатлительность натуры его была так велика, что каждое поразившее его явление заставляло его немедленно высказываться, даже если бы он и не хотел. Раз, помнится, вскоре после смерти Некрасова, Г., встретившись с ним, рассказал ему, что я затеваю новый журнал и приходил к нему, Г., с приглашением сотрудничать в этом журнале. М. Е. был этим так удивлен, что, не дождавшись редакционного дня, немедленно написал мне укорительную записку, что я, очевидно, из неприязни к нему, к явному подрыву «Отеч. Зап.» хочу основать новый журнал. Я отвечал ему, что никакой неприязни к нему не имел и не имею, затевать новый журнал мысли не имел, да и странно было бы думать, что я буду подрывать, если бы даже мог, «Отеч. Зап.», основанные при моем участии и содействии, за что вместе с Некрасовым я потерпел столько брани, и когда же? Теперь, когда «Отеч. Зап.» вполне утвердились, процветают, с году на год приобретают все более и более подписчиков!

Таков М. Е. был в отношении ко всем. Раз появилось в нем по отношению к какому-нибудь из сотрудников неприятное чувство, он высказывал его немедленно вполне, и дело объяснялось к общему удовольствию. Эта искренность и прямота, служа к сохранению постоянного мира и согласия между сотрудниками, возбуждала вместе

с тем общее к нему уважение и доверие и делала отношения к нему легкими и приятными. Не менее — если еще не более — обаятельно эта искренность и прямота действовали на лиц сторонних, приходивших в редакцию по разным делам. Всякий автор, приходя в редакцию, мог быть уверен, что ему сделают непременно то, что обещают, и в тот именно срок, в который обещают, и скажут прямую истину о его труде, как бы она ни была горька, не прикрываясь никакими сторонними мотивами. Если М. Е. дал обещание прочесть статью в такой-то срок, то непременно прочтет. Если статья показалась ему дурною, то так и ответит автору, что находит статью его дурною и объяснит почему. Самая раздражительность его, вследствие которой М. Е. приходил в возбуждение по поводу разных мелочей, высказанных со стороны приходящих, в том числе и со стороны авторов, делавших возражения на его мнения о их статьях и вызывающих во время этого возбуждения пикантные юмористические словца по адресу возражателей, не только никогда никого не огорчала, а напротив, в некоторых возбуждала даже веселость. М. Е. часто был так мил именно в этом возбуждении. Мало-по-малу через лиц, приходивших в редакцию и лично объяснявшихся с М. Е., через сотрудников «Отеч. Зап.», оригинальная личность его сделалась известною во всех литературных кружках. Повторялись везде его остроумные изречения, рассказывалось о его манере держать себя, о его речи, походке. Одним словом: прежний бука с его суровым видом и сердитою речью сделался общим любимцем литературных кружков.

В качестве редактора журнала Салтыков также резко отличался от всех других редакторов, в том числе и от Некрасова. Большая часть наших редакторов, набирая сотрудников, что называется, с бору и сосенки, похожа на дурных кучеров, которые не дают лошадям бежать спокойно и ровно, дергают их без всякой нужды из стороны в сторону. Известно, что нет ничего хуже таких кучеров, нет ничего хуже и таких редакторов. Напрасно они держат то-и-дело совещания со своими сотрудниками, о чем писать в тот или другой момент, напрасно потеют, сидя с утра до вечера над корректурами, стараясь смягчить или ослабить ту или другую резкую фразу в виду тех или других соображений о возможных читателях и т. п. Все это ни к чему не приводит, кроме возбуждения нервной боязни в сотрудниках, кончающейся, в конце концов, совершенным их обезличением. В «Современнике» с того времени, как я его знаю, дело это повелось другим образом. Там набирались подходящие к направлению журнала сотрудники, им предоставлялось писать в каждый данный момент, что им бог на душу положит. Никто не следил ни за мыслями, ни за фразами. Иногда казалось, что точно редакторы не читают никаких статей в своем журнале, а между тем само собой выходило все ладно. Почему? Да потому, что в журнале-то главным образом и нужно, чтобы все говорили в одно, не только неудачные фразы, но и неудачные, т. е. слабые, целые статьи, если только они бьют в одну цель, в общем нисколько не вредят делу.

Сделавшись редактором «Отеч. Зап.», Некрасов остался к ним в таких же отношениях,

в каких был и к «Современнику». Человек от природы несомненно умный, с сильно развитым эстетическим и критическим чутьем, он ограничивался выбором подходящих сотрудников и предоставлял делу итти, как оно могло итти, не подражая тем малоопытным и неискусным кучерам, которые без толку дергают лошадей и мешают им бежать спокойно и ровно. Сам Некрасов, непрестанно работавший в течение тридцати лет, если не более, в разных журналах и изданиях, более или менее был утомлен этой работою и занимался ею, так сказать, наскоком и порывами. Иногда он все читал, что печаталось в журнале, от начала до конца, иногда оставлял журнал на целые месяца, в надежде, что и без него, с одними сотрудниками, дело пойдет так хорошо, как оно шло, не смущаясь тем, что явятся статьи неудачные или что допущены будут в некоторых из них разные неровности и излишества и т. п. И дело, действительно, шло хорошо, как только могло итти при данных наличных силах.

М. Е. в общем держался в ведении журнала той же системы, что и Некрасов, т. е. употребляя прежнее сравнение, он, так же как Некрасов, не принадлежал к числу тех плохих кучеров, которые бестолковым дергашем лошадей мешают только свободной, спокойной и ровной езде. Но М. Е. был кучер не только умелый и ловкий, но и кучер-щеголь, который заботился не только, чтобы езда была хороша и спокойна, но чтобы при выезде не было никакой неряшливости ни в сбруе, ни в экипаже, чтобы все в выездном ансамбле, если не блистало, то было в порядке

и чисто. Если Некрасов с удовольствием предоставлял делать другим даже свою работу, когда сам не имел для нее времени или охоты, то М. Е. не только не возлагал ни одной строки своей работы на других, но имел терпенье пересматривать работу всех своих постоянных сотрудников и по своему темпераменту не мог успокоиться до тех пор, пока ему не будет известно до последней строки, что напечатано в его журнале. Лично принадлежащею ему работою он считал всю беллетристическую часть журнала, даже в том случае, если бы статья была чисто публицистическая, но имела внешнюю беллетристическую форму.

Все эти статьи отнимали у него много времени и труда; некоторые из них, принадлежащие авторам начинающим или мало известным, он, конечно, с их позволения, переделывал до неузнаваемости, почти что писал вновь; затем со всем вниманием перечитывал все другие, не беллетристические статьи посторонних лиц, входивших в книжку журнала, также библиографию журнала, наконец, статьи постоянных сотрудников, замечая, что представлялось ему ненужным или неудобным, и просил читавших статьи или самих авторов их выпустить или исправить замеченное. Редакторская работа в таком виде, как ее вел М. Е., была чисто работа египетская. Но он во все время своего редакторства вел ее с особенным усердием и когда, окончив ее, еще находил время написать заключительный фельетон в выходящую книжку журнала, то был в полном восторге, что выходящая книжка устроена им вполне и читатель ею будет доволен,

Наслаждение этою мыслью составляло самое высшее из его наслаждений. М. Е. был вполне редактор-работник в полном и самом лучшем смысле этого слова, какие едва ли когда-нибудь у нас еще бывали.

Кроме занятия чисто литературной и редакторской работой, у М. Е. не мало уходило времени на счеты по конторе журнала. Он так усердно заботился о журнальной кассе, так зорко следил, чтобы ни одна копейка даром не пропадала, что едва ли он более заботился о своей собственной кассе. М. Е. по природе вовсе не был скуп, напротив, скорее щедр, когда это было нужно. Все расходы по журналу по смерти Некрасова не только не уменьшились, но постоянно возрастали и увеличивались. Лично для себя черпать из этой кассы более чем он получал прежде он вовсе не хотел, хотя бы имел полное право по той работе, которую он нес в журнале. Чистая прибыль от журнала обыкновенно делилась в «Отеч. Зап.» на четыре части: одна определенная часть, не знаю, кажется, третья, отдавалась за аренду Краевскому, остальные две трети делились между тремя членами редакции поровну. Когда по смерти Некрасова вместо него членом редакции сделался Н. К. Михайловский, то М. Е., переписав то же самое домашнее условие, которое было при Некрасове, исключил из него ту тысячу рублей, которую получал Некрасов в качестве ответственного редактора. Мы с Михайловским, конечно, всеми силами старались убедить его, чтобы он не отказывался от такой ничтожной, собственно говоря, прибавки к его редакторскому гонорару сравнительно с нашим. Но он и слышать

ничего не хотел о какой бы то ни было прибавке. «Я хочу, — отвечал он решительно, — получать одинаковый редакторский гонорар с вашим». На том и уперся, и до самого закрытия журнала, несмотря на свою усиленную редакторскую работу, не хотел брать ни гроша больше нас. Вообще в денежных делах М. Е. старался быть справедливым, насколько возможно, не только юридически, но и нравственно. Когда я сделался болен и уехал за границу, я, в продолжение двух с половиною лет, вплоть до окончания арендного контракта с Краевским, т. е. до конца 1883 г., получал полное редакторское содержание, на что нравственно я считал себя отчасти вправе как основатель «Отеч. Зап.», хотя по существующему между нами условию для больных редакторов назначалось другое, гораздо меньшее содержание. И когда я раз написал ему письмо с просьбою, в виду больших расходов на меня журнала, подвести и меня под эту статью о больных редакторах, то это его сильно взволновало, и он ответил мне 15 мая 1882 г.: «Письмо ваше взволновало меня. Во-первых, вы никакого повода не имеете думать, чтобы отношения ваши к «Отеч. Зап.» могли в чем-либо измениться. Ни мне, ни Михайловскому ни малейшей мысли в этом роде не приходило в голову, и вы считаем, что покуда контракт с Краевским существует, вы имеете право на все те денежные выгоды, которыми вы пользуетесь теперь и пользовались до болезни. Было бы несправедливо и даже бесчестно что-нибудь изменить. Будьте так добры, оставьте в покое мысли о перемене отношений по ссылкам на контракт. Между людьми добро-

совестными об этом не должно быть и речи, и если бы контракт был разорван, то сила его была бы обязательна. Само собой разумеется, что раз вы воротитесь в Россию и будете в силах работать, ваше место в редакции восстанавливается само собой. И я решительно не согласен ни на какие другие сделки, кроме тех, какие установились и существуют. Желательно было бы, чтобы и вы в ваших заботах о своем здоровьи не имели никаких других соображений, кроме интересов самого здоровья. Уверяю вас, что, действуя иначе и напоминая о том мне, вы глубоко меня, до крови огорчаете... Что касается до того, что с будущим годом кончается срок контракта с Краевским, то я теперь не могу еще определить, вступлю ли в новое обязательство и насколько. Дело в том, что я устал до бесконечности, не столько от физической боли, сколько от нравственной. Это определится в течение зимы, но во всяком случае, если продолжу редакторство, то на год или на два — не больше... и с тем непременным условием, чтобы и вы участвовали».

И потом, когда несколько раз мне приходило на мысль распорядиться некоторыми суммами денег, находящимися в его руках и мне не нужных в данную минуту, употребив их для целей сторонних, он постоянно меня останавливал: «Почему вы думаете, — писал он мне несколько раз, — почему вы уверены в прочности «Отеч. Зап.»?.. Я нисколько в этом не уверен, я считаю их, напротив, очень непрочными. А когда они прекратятся, чем вы тогда будете существовать, да еще за границей?» Я в то время мало был склонен верить таким опасениям.

К этому не могу не присовокупить, что мне всегда будет памятна та неизменная, самая нежная заботливость, которую имел обо мне М. Е. во все время моего пребывания за границей. Несмотря на множество дел и хлопот по редакции, несмотря на его частые огорчения со стороны цензуры и на случавшуюся нередко болезнь его самого и его семьи, он находил время вести со мной довольно частую и самую аккуратную корреспонденцию. Он сообщал мне о том, что делается в России, осведомляясь о моих нуждах, исполнял мои комиссии, сам вел точный счет моим деньгам, высылал, сколько нужно, и хранил остальные.

Редакторство составляет один из важнейших моментов в жизни М. Е., и я считаю нужным осветить его несколько подробнее по имеющимся у меня несомненным документам — собственноручным письмам М. Е. [65].

М. Е. сделался редактором 50 лет от роду. Литературный талант его был тогда в полном расцвете своих сил. Став во главе любимого им дела, он предался ему вполне, со всем напряжением своих сил, со всею энергией. Но это именно, по обстоятельствам, и сделалось началом его конца. Оно, т. е. редакторство, в связи с его собственной неутомимой литературной деятельностью, мало-по-малу, день за днем, расшатывая его нервы, произвело, наконец, полное их расстройство и, в конце концов, наделило его тою страшною болезнью, которой он страдал целых четыре года и от которой умер. Можно сказать с полной уверенностью, что не сделайся М. Е. редактором, оставайся сотрудником в каком-

нибудь журнале, он не подвергался бы тем непрестанным волнениям, которые испытывал в качестве редактора журнала, и продолжал бы жить и писать еще долго и долго. Духовная его природа была так неистощимо богата, что с летами силы ее не уменьшались, а, повидимому, все более и более возрастали, как можно видеть из его последних произведений. Мозговая масса его была, очевидно, вполне крепка и здорова для отправления его обычно литературных занятий. Все остальные важнейшие органы его телесного состава, несмотря на его крайнее истощение от четырехлетних непрерывных страданий, при вскрытии оказались прочными, как удостоверяли присутствовавшие при вскрытии врачи. Ясно, что главная причина его смерти была не столько физическая, сколько нравственная, зависящая от тех огорчений, которые принесло ему с собой редакторство в таком журнале как «Отеч. Зап.».

ПРИЛОЖЕНИЯ

К ВОСПОМИНАНИЯМ Г. З. ЕЛИСЕЕВА

I. ВОСПОМИНАНИЯ Е. П. ЕЛИСЕЕВОЙ

Вводная заметка

Екатерина Павловна Елисеева происходила из старой военной семьи — Гофштеттер. В первом браке она была за чиновником Корбецким, с которым вскоре разошлась. С Елисеевым жила с 1862 г., официально же обвенчалась лишь в 1870 г. после смерти Корбецкого. «Это была женщина невысокого роста, — вспоминает Скабичевский (см. его «Литературные воспоминания». ЗИФ, 1927, стр. 263), — худощавая, крайне нервная, экспансивная, юркая и подвижная, как ртуть. Вечно она с кем-нибудь горячо спорила, причем в ажитации спора начинала заикаться, что не мешало сыпаться из ее уст речам, как горох из мешка. Наиболее ожесточенные споры она вела, защищая права женщин, будучи рьяной поборницей женского вопроса... Мужа своего, «папку», как она его называла, она любила до безумия, ревновала его, несмотря на его преклонный возраст, и, в конце концов, не могла пережить его смерти: заразилась от него крупозным воспалением легких, от которого он умер, и умерла через несколько дней после него».

Елисеева живо интересовалась всей работой мужа, была в курсе его литературных взаимоотношений, была радушной хозяйкой и собеседницей навещавших Григория Захаровича литераторов. Многие из них любили похаживать запросто вечерком или к обеду на квартиру Елисеевых. «По вечерам, — вспоминает Кривенко (см. его «Литературные воспоминания и харак-

теристики», «Русская Мысль» 1901, № 7, стр. 160), — у них собиралось довольно многолюдное общество и было очень оживленно. Устраивались все вокруг чайного стола, кто-нибудь непременно приносил свежие новости и слухи, которые обсуждались, возбуждались разные вопросы, возникали иногда споры, читались какие-нибудь литературные новинки и т. п. Когда начинал рассказывать что-нибудь Григорий Захарович, то Екатерина Павловна непременно перебивала его, торопя, дополняя и поправляя его рассказ, пока он, улыбаясь, не говорил наконец: «Ну, рассказывай ты, коли лучше знаешь». Тогда она очень горячо брала с места и продолжала речь, но скоро начинала сбиваться, запутываясь и обращаясь к его помощи. «Нет — говорил он, — коли взялась, так сама уж и рассказывай», — но потом, разумеется, продолжал».

Из самого текста воспоминаний Елисеевой следует, что она, как явствует и из приведенных сейчас отзывов, будучи в курсе всех литературных дел и взаимоотношений мужа, сильно уступала ему в интеллектуальном развитии. При всей несомненности этого обстоятельства, мы все же считаем совершенно неправильным пренебрежительный отзыв о ней Антоновича в статье «Редакция «Современника» в 1866 г.» (см выше стр. 230). Характеристики Скабичевского и Кривенко прекрасно комментируют и воспоминания Елисеевой. Как и в разговоре, она в этих воспоминаниях рассказывает первно, многословно, иногда стилистически-небрежно, порою преувеличивая, порою путаясь, но часто дополняет мужа интересными и немаловажными деталями. Публикуя эти дополнения к воспоминаниям Г. З. Елисеева, мы сочли возможным их сократить, исправить явную синтаксическую небрежность некоторых мест, а отдельные преувеличения и неточности оговариваем

в примечаниях. До сих пор из воспоминаний Е. П. Елисеевой в печати приводились лишь отдельные цитаты в статьях В. Евгеньева (см. «Голос Минувшего» 1915, № 1 и 1916, № 2).

В 1866 г. 4 апреля разразилась катастрофа, всем известная под именем каракозовской истории. Я буду ее касаться только настолько, насколько она повлияла на русскую литературу. По назначении следователем знаменитого Муравьева во всех редакциях произведен был террор. Муравьев хотел непременно главных виновников обрести в литературных деятелях, на что усердно указывал ему не менее знаменитый Катков. Вследствие такой наклонности многие из редакторов либеральной прессы, как-то: Василий Степанович Курочкин, редактор «Искры», в свое время принесший большую услугу русскому обществу, был арестован. Редактор «Слова», г. Благосветлов был тоже арестован, как и многочисленные сподвижники литературы. Редакция же «Искры» была взята почти целиком. Из редакции «Современника», в то время стоявшего очень высоко в общественном мнении, был арестован только мой муж — тогда, впрочем, он не был моим мужем, но мы жили вместе, и благодаря случайности прислуга наша знала наше родство, которое ей казалось очень близким, а благодаря этому положение мое имело легальность. Но мы, собственно говоря, были гораздо ближе друг к другу, мы жили вместе, потому что любили друг друга, но тем не менее видимость моего легального положения принесла мне очень

много пользы в хлопотах по аресте моего мужа, вероятно благодаря этому не только ташкентцы, которые бесчинствовали в это время в качестве следователей, но и сам Муравьев в отношении меня были относительно сдержанны. Конечно, по отношению Муравьева скорее можно предположить, что я попала в добрый час, так как на что легальнее эпитет матери, но когда мать Курочкиных пришла просить его выпустить Василия Степановича Курочкина, т. е. редактора «Искры», который комиссией был уже освобожден, но решение это Муравьев держал под сукном, то он на ее умоляющие слезы бросился на нее, содрал с головы ее чепчик и растоптал ногами. Что же касается до ташкентских башибузуков, моя легальность и присутствие моего брата, молодого капитана-сапера, имели внушающее влияние. Я не стану касаться всех бесчинств, производимых в это время в недрах столицы муравьевскими холопами, так как я хочу коснуться этого периода настолько, насколько он касается литературы вообще, и в особенности «Современника» и возрожденных впоследствии «Отеч. Зап.». Что же касается до разнузданных ташкентцев, то, увы, я много жила после каракозовского события, много испытала и много видела и должна признаться, что последующие прокурорские деятели на подобной же почве не только сравнялись, но и превзошли саврасых ташкентцев — для их титулования мой бранный лексикон бессилен.

Возвращаюсь к событию ареста моего мужа. «Архангелы» приехали в три часа ночи, конечно, наперед собравши все необходимые сведения обо мне и обо всем, что им было нужно. На

нашу долю выпал некто Теньков, как оказалось, не столь наглый, как прочие; в мою комнату, пока я не оделась и не вышла сама, он не вошел, постели моей не коснулся, прочую мебель осмотрел слегка и только усердно занялся моим письменным столом. Точно так же он поступил и с мужем. Во всю операцию обыска мы с мужем держали себя, конечно, повидимому, спокойно; когда ему предложили взять несколько денег, так как он должен следовать, к их великому сожалению, за ними, мы только переглянулись; прощались мы, конечно, так же, повидимому, как будто он уходил на прогулку... Но когда его увезли, то мною овладело то отчаяние, которое понятно только тем, кто сам был в таком же положении, а теперь, к несчастию, понимающих меня очень много на Руси... Его увезли часов в шесть утра; я сейчас же накинула платок и пальто и побежала следить за каретой, которая скоро от меня скрылась, но я по направлению только догадалась, что его провезли в крепость. Не знаю, как прошел этот день. Я весь день проплакала, ничего не ела и даже никому не дала знать; одним словом, предалась вполне малодушному отчаянью.

На другой день часов в одиннадцать, когда у меня были моя хорошая и любимая приятельница, Евгения Карловна Гайдебурова [66], мои оба брата и жена одного из них, является г. Теньков с полицией и понятыми, одним словом, с себя достойной свитой. Необычность такого события, как каракозовская история, застала общество в самом, так сказать, младенческом неведении. Так что появление Тенькова со свитой поразило

нас всех, а меня в особенности, но также дало мне хороший толчок: я поняла, что не унывать, а действовать надо. Началось с того, что он приказал впускать всех, но не выпускать никого; процедура снятия показаний со всех присутствующих, прислуги и даже соседей продолжалась очень долго. Часа в два во всем, так сказать, разгаре этой процедуры вдруг послышался колокольчик. Так как в этот момент давала показания я и в своей компате, дверь которой выходила в приемную, то, когда Тенькоп отворил двери, чтобы посмотреть кто вошел, я встала также и впжу входящего Некрасова.

При виде его я обратилась к Тенькову и заявила, что г. Некрасова я не знаю и что это не мой знакомый.

Это его, видимо, взбесило.

— Как, — он говорит, — вы не знаете г. Некрасова, когда называете его Некрасовым, и как вы можете так храбро отрицать свое знакомство, когда живете с г. Елисеевым.

Мой ответ был, что Некрасова нельзя не знать, живя в Питере, и что я его знаю, и знаю, что он бывал у Г. З. Елисеева, но своими личными знакомыми я считаю только тех, кого я принимаю в своей собственной компате, а Некрасов никогда не переступал моего порога.

Тогда он вышел из комнаты и, войдя обратно через несколько минут, с торжеством сказал мне:

— Как же вы говорите, что Некрасов у вас не бывал, когда ваша прислуга показывает противное.

Я потребовала очной ставки; позвала прислугу, которой он вздумал дать такой вопрос: «Знаю ли я Некрасова?»

Тогда я попросила его поставить вопрос категорически: «Видел ли кто-нибудь Некрасова в моей комнате, как всех прочих моих знакомых?»

Конечно, получился ответ отрицательный.

Во все продолжение этой борьбы Некрасов стоял посредине залы бледный, суровый.

Когда был кончен допрос прислуги, то Некрасов, обратясь к Тенькову, сказал, что он приходил к своему сотруднику Елисееву, низко поклонился мне и благополучно вышел.

После его ухода Теньков, до сих пор прилично сдержанный, чуть ли не с пеной у рта и с сжатыми кулаками начал кричать на меня, что я у правосудия выхватила самую ценную добычу, что они много бы дали, чтобы найти какой-нибудь клочок или иной повод взять этого подлеца, что я не понимаю, какой это вредный иезуит и что из-за него половина сидит, а он остается невредимым и катается в колясках, что он думает подкупить правосудие, написавши и читавши стихи в честь Муравьева, но Муравьев во время его чтения с презрением отвернулся от него, и, уж, погоди, не увернется он, не может быть, чтобы нельзя было его запопасть, и проч. и проч.

Он до того взбесился, что мой брат встал, подошел к нему и сказал:

— Г. Теньков, не забывайтесь, исполняйте ваше дело, а не впутывайте вещей, не идущих к делу.

Этот эпизод я считаю необходимым ввести, так как он, кажется, единичный случай, который указывает de facto, что Муравьев имел намерение арестовать Некрасова.

*

Вскоре после этого «Современник» был закрыт. Итак, действительно, стихотворения Некрасова не принесли никакой пользы. Закрытие «Современника» вызвало, конечно, разносторонние чувства: одни ликовали, другие скорбели. Мне случилось как раз в тот день, когда было опубликовано закрытие, ехать в конке, в которой было несколько моряков; они вели между собою разговор именно о закрытии «Современника», к ним пристало и еще несколько лиц мужского и женского пола и, так сказать, вышел случайный диспут. Большинство вопило о таком неправильном действии правительства; некоторые оправдывали — в силу якобы необходимости. Из публики особенно выдавался один пожилой моряк, повидимому, отягощенный чинами, он так горячо и с таким азартом доказывал, что правительство не имеет права, в виду единичного случая, наказывать все общество, что его дело наказывать свою полицию за недосмотр и неумелость, а не все общество, лишая его духовной пищи, что желать, чтобы общество поглупело, не значит желать лучшего и проч. и проч. И здесь мне пришлось слышать о Некрасове нелестные вещи. Но тот же старик возразил, что ему нет дела до Некрасова, он знает «Современник» и не знает, как быть ему теперь без «Современника». Мое сердце радостно билось, слушая этого старика, и при виде большинства, разделяющего мою скорбь, я, конечно, и свое словечко присовокупила, не давая, само собой разумеется, понять, что мне этот вопрос еще ближе, чем им. Я вношу и этот эпизод, так как он показывает, как близок был обществу литературный интерес.

Мой муж рекомендовал мне в случае его ареста обратиться к Антоновичу, говоря, что этот человек все для меня сделает, будет мне дельным советником и руководителем, что, конечно, я и исполнила после посещения Тенькова. Помнится, я приехала к Антоновичу под вечер; он и жена его, которой я до тех пор не знала, приняли меня с большим сочувствием, просили бывать у них, и он, повидимому, искренно обещал помогать мне, в чем может, но я его у себя не видала ни разу и вообще из «Современника», кроме, как выше сказано, попытки Некрасова, ко мне не осведомилась ни единая душа, только, помню, вскоре после ареста приехал из редакции какой-то господин, кажется Розанов, чтобы забрать газеты и статьи, и помню, как это меня сильно кольнуло, но после Тенькова немного он поживился. Еще раз из редакции приезжал, кажется, Пыпин и вручил мне триста рублей. Вот и все отношение редакции «Современника» ко мне. К Антоновичу я время от времени ездила, хотя скоро поняла, что мой муж ошибся и что это не помощник мне, а тем более активный.

Но я нашла другие пути.

Как я уже сказала выше, по направлению кареты, которая увозила моего мужа, я поняла, что его повезли в крепость. Тогда я, спустя два дня, в первое воскресенье, отправилась в крепость с приготовленными папиросами, которые я своеручно ему готовила как тогда, так и теперь. Расспросивши солдат, кто из офицеров, лично соприкасающихся с арестованными, женат, как имя и проч. и проч. я прямо со своею коробкой

во время обедни отправилась на квартиру одного из женатых и просила доложить Марье Ивановне, что одна дама желает с ней поговорить по очень интересному делу...

К моему счастью Марья Ивановна оказалась любопытною и приняла.

Тут уже поле битвы было в моих руках. Я поступила совершенно искренно, рассказала все как было, — а сердце женщины чутко, оно поняло и отозвалось на мою скорбь и, когда пришел из церкви ее муж, то увидел свою жену в дружеской беседе за завтраком с какой-то дамой.

При приходе его она, взяв коробку папирос, передает ее ему со словами:

— На, отнеси сейчас же эти папиросы г-ну Елисееву, которого привезли третьего дня.

Он взглянул на коробку, на меня и спросил только:

— Здесь нет никакой записки или чего-нибудь подобного?

Я уверила его, что ничего нет, да и действительно не было.

Я вообще во все время не позволяла себе никаких сношений с вещественными знаками. Единственное, что я позволяла себе, это завернуть приносимое в газету того дня.

Итак, я убедилась, что он в крепости, узнала, что он здоров, как спал, как ел, одним словом, все малейшие подробности, ценность которых понятна тоже только тем, кто выстрадал...

Я знаю, что мой муж получил эту коробку и хотя он никогда, по своему скрытому нраву, не сказал мне, что он почувствовал, получивши

в этом гробу от меня весточку, но я уверена, что он что-то чувствовал, чего уже больше никогда не ощущал.

Из крепости я вышла относительно счастливее, чем входила в нее. Я, не медля, подала просьбу о дозволении мне переписки, что было дозволено без особенных затруднений. Внутри же крепости мне также счастливым случаем удалось организовать невинные сношения, т. е. я знала час прогулки, состояние его здоровья и духа, когда его требовали в комиссию и проч., что, конечно, мой маленький капитал истощало быстро; основной же капитал я берегла как зеницу ока.

В продолжение всего времени ареста моего мужа я питалась смоленской кашей, тем не менее деньги исчезали быстро, так что я, не имея возможности платить за квартиру, решилась перейти на более скромную, чего домовладелица, старушка-немка, никак не хотела допустить. На все мои доводы о том, что дело может продолжаться долго, что не только я не в состоянии платить, но очень возможно, что, по выходе, и муж не скоро справится и вообще что, бог знает, какие могут быть последствия, она твердила одно: что она не допустит меня в таком несчастьи переносить еще подобные невзгоды; что же касается до всех случайностей, то все во власти божьей и что скорее надо думать, что все окончится благополучно, и, если мой муж год не будет иметь средств ей платить, то все-таки она нас не выпустит и проч.

Какая славная душа была у этой женщины. Итак, благодаря этой необыкновенной домовла-

делице, квартира у меня была не платная и покойная, где всякий меня знал, так как весь дом был спрошен Теньковым о моей доброкачественности, но все показания даны были в мою пользу.

В этом доме мы жили уж, кажется, года три до ареста. Вспоминаю еще с самой глубокой сердечной признательностью и привязанностью одно существо — это нашу кухарку Агафью. Я ее застала у Григория Захаровича; до меня она жила у него четыре года, да со мною три. При всех ее добродетелях у ней был один недостаток: почти что каждый год она производила на свет младенца; за несколько времени до этого события она удалялась от нас на квартиру, а на свое место ставила свою знакомую и, таким образом, это дело улаживалось. Эта-то, почти ежегодная, процедура совпала с арестом мужа, так что его арест произошел без нее, что и было причиною, что нас застали врасплох; на другой день она явилась, так что второй визит Тенькова был при ней, и вот тут-то она впервые проявила свои редкие качества. С эпизодом по поводу Некрасова, как Теньков ни старался сбить ее, она упорно стояла на раз данном показании. Во время ее допроса, который происходил за две комнаты, я несколько раз слышала ее энергичные клятвы своим еще непоявившимся на свет ребенком и чтобы она не разродилась, если она лжет, и еще эпитет «хорошенький».

После окончания теньковского визита, и когда мы остались одни, я спросила ее:

— Почему вы так страшно клялись вашим будущим ребенком и своими родами?

— Да, как же, Катерина Павловна, он, живодер, что задумал, все расспрашивал меня, кто бывал и что у нас делалось. Я все отвечаю, что бывал хорошенький (это Гайдебуров; Агафья всем вместо фамилии давала эпитеты: брюхатый, обжора, безрукий), а он, гадина, все допытывается: не бывал ли у нас блондин высокого роста, и показывает карточку — вот, дескать, в роде этого... А я думаю себе: нет, живодер, не скажу, не назову ни одного, ни высокого, ни блондина, мало ли их у нас бывало, а я знаю, чего тебе нужно — так ни одного и не назвала.

Тем дело и кончилось, но с этой поры она стала для меня не как кухарка, а как верный союзник, как друг. Все время мы были неразлучны, я уже нисколько передней не скрывалась и она была мне лучшим союзником и помощником; где действовать мне было неудобно в качестве барыни, то там действовала она, и так разумно, что получались только благие результаты. Жалованья она не получала, питались мы с нею: я смоленской кашей, а она еще картофелем, но чай и кофе распивали вдоволь и всегда вместе. Беседовали мы преимущественно о делах, но иногда она приносила мне новости из лавочки, и вот, помню, раз приходит она ко мне взволнованная, в слезах и рассказывает, что в лавочке говорят, будто этот изверг — Муравьев — хочет всем женщинам, не живущим с мужьями и имеющим детей без мужей, дать желтые билеты.

— Скажите, Катерина Павловна, может ли это быть, правда ли это?

— Почему же, — я отвечаю, — все может быть.

— Как, и мне, и вам?

Я никогда не видала ее в таком страшном раздражении.

— Я не возьму, я им глаза выцарапаю, какое им дело, я отвечаю перед богом, — и прочее в этом роде.

На другой или на третий день она приходит ко мне из лавочки и уже более спокойная с извещением, что в лавке порешили, дескать, что этому не бывать, что они не допустят, что у этого изверга руки коротки и проч., одним словом, чтобы я была покойна...

До меня из другой сферы также доходили слухи о желтых билетах, но, конечно, меня, персонально, это нисколько не беспокоило. Мне даже передавали рассказ, где одна высокопоставленная особа принимала активное участие.

Рассказ ходил такого рода: «Муравьев позвал к допросу одну из камелий высшего полета, и эта особа своим надменным и резким обращением так взбесила его, что он в ответ на ее презрительное отношение, сказал ей: «Разве вы не понимаете, кто я и кто вы, и что я вам сейчас же могу дать желтый билет». На это она, как говорили, преспокойно ответила: «Сделайте одолжение, дайте», что, конечно, взбесило его больше, и он велел ей тотчас дать желтый билет.

Она, говорят, его преспокойно взяла, мило простилась и улетела. Но приехавши домой, в слезах представила этот билет высокопоставленной особе. Эта же особа, взяв билет, прямо отправилась к его императорскому величеству. Император по этому поводу сказал Муравьеву следующее: «Я вас поставил для разбора дела Кара-

козова, но ничуть не для расследования женских тайн. И знайте, что для меня сердце женщины священно, и я требую, чтобы вы его не касались».

Этот рассказ ходил довольно открыто, но что в нем истина, я, разумеется, утверждать не могу, но что не только слух, а и несколько фактов награждения желтыми билетами были — это факт, так что это прискорбное явление вызвало фиктивные браки.

Не знаю, лавочка ли вразумила Муравьева, действительно ли, как говорили, государь запретил, но слух о желтых билетах быстро прекратился, и моя Агафья вздохнула свободно...

Другой раз она также приходит ко мне из лавочки и говорит:

— Правда ли, Катерина Павловна, говорят в лавочке, что невиньичка повесят?

— Какого невиньичка?

— А Каракозова?..

— Христос с вами, Агафья, не называйте, ради бога, его так ни при ком, ведь вас за это могут потянуть, какой же он невиньичек, когда он стрелял?

— Но, Катерина Павловна, ведь он не убил — значит, он невинен в смертоубийстве. За что ж вешать?

Эту философию я ее упросила только не передавать никому.

Итак, благодаря моей почтенной хозяйке и моей милой Агафье, я в самом главном, в квартире и в помощнике, была обеспечена — это было такое счастье, которое едва ли кому-нибудь другому выпало на долю, и вот тут-то, где мой

муж никогда не подозревал, я нашла помощь, а не там, куда с такой верой он меня направил.

Антонович так мало знал, что даже и советами не мог очень меня обогатить, он просил меня бывать у них на даче, куда, в скорости, они переехали, где я и была не более, кажется, трех раз. Тут-то, на даче, я впервые увидела Жуковского и Ценину[67], так как она с Антоновичем жила в одной даче.

Редко я встречала такое несимпатичное существо как г. Жуковский — все его мелкие и дрянные придирки к Ениной и ко всем во время обеда, когда все соединялись, швыряние, дерганье, нападки на сына Ениной и вообще отношение ко всем делали впечатление самое отталкивающее, хотя оно и прикрывалось нездоровьем и даже самая забота об этом здоровьи и взыскиванье с Ениной за небрежность к оному показывали всем присутствующим эту мелкую и эгоистическую натуру. Сама же Енина была в то время молодая, красивая и разбитная блондинка и хотя она мне казалась очень ограниченной особой, но, при сравнении с Жуковским, она простотой выигрывала много. На меня в то время обращение с нею Жуковского так подействовало, что я спросила ее: как может она жить с ним? На что она объяснила мне уж очень реальные причины.

Жена Антоновича мне понравилась больше, но это была женщина совсем уж вялая, хотя, повидимому добрая, впрочем, и сам Антонович выглядывал апатично.

Я раз только прибегла к ним за помощью — это тогда, как мне сказали в III Отделении, что

если бы я нашла видного поручителя, то моего мужа отдали бы на поруки. При таком известии я на крыльях радости полетела к ним с полной уверенностью, что поручитель ими будет мне найден, тем более что перед этим у них же слыхала о каком-то родстве Жуковского с какой-то «особой». Приехала к ним, у них так весело, празднично, и сама-то я была в более веселом настроении. Я сейчас же начала говорить Антоновичу о возможности освобождения мужа и что для этого только необходимо найти «персону»; он начал мне тут объяснять, что у него никаких личных связей нет, что он, дескать, и рад бы, да ничего не может, а что вот, когда придет Жуковский, то, может быть, он найдет, что надо. Когда Жуковский явился к обеду, то Антонович передал ему, что для освобождения моего мужа требуется поручитель, и что он, вероятно, найдет возможным обратиться к такому-то и такому-то, на что Жуковский отвечал, что он находит для себя это неудобным и что вообще впутываться в это дело не считает безопасным в виду гонения на «Современник»; и оба с Антоновичем выражали сожаление, что Некрасова нет, так как он один мог помочь в этом горе. Антонович, впрочем, посоветовал мне обратиться к бывшей Панаевой, а ныне М-me Головачевой.

Отношение всего общества, а главное Антоновича и Жуковского, принявших мою просьбу так холодно и безучастно, не ударивших, так сказать, пальцем о палец для возможности освободить своего товарища, и как тогда мне, вероятно, показалось, совершенно равнодушных к его

участи и как будто даже не верящих в возможность его освобождения, произвело на меня впечатление крайне подавляющее. Я уехала от них почти в отчаянии; даже совет Антоновича обратиться к Панаевой служил мне доказательством, что мой муж ошибался, возлагая свои надежды на приязнь Антоновича; мне казалось, что если бы он был способен к приязни, то, вместо того, чтобы давать мне советы, сам бы поехал к Панаевой, с которой был знаком...

Больше у Антоновича я не была до освобождения моего мужа... Впрочем, за совет обратиться к Панаевой я ему весьма благодарна: она приняла самое горячее участие и, хотя поручителем был мой брат, но о ней я вспоминаю с истинной благодарностью: — и словом и делом она была мне полезна.

Вообще я реальную помощь нашла вне «Современника», в редакции «Петербургских Ведомостей»[68], помощь, в которой я очень нуждалась до разрешения мне свидания с мужем. Нужно было составить прошение, чего я не умела, и разные официальные отношения, в которых я была новичок. Вначале мне помогал Жохов[69], который бывал у нас. По отъезде Жохова ко мне пришел Колюпанов, которого я прежде не знала, и тоже до своего отъезда усердно помогал мне. Он являлся даже к Муравьеву в качестве моего ходатая о разрешении мне свидания. Помощь Колюпанова я тоже считаю одним из счастливых событий.

Но никакие прошения, никакие ходатайства не влияли на Муравьева, и свиданье мне не раз-

решалось до следующего замечательного случая. Раз я являюсь в III Отделение после обеда, чтобы узнать, какой последовал результат на поданную мною просьбу о свидании. К моему счастью в приемной комнате я была одна, вдруг отворяется дверь из внутренней комнаты и выходит чиновник Муравьева, через которого я обыкновенно подавала прошения и много раз получала отказ сухой и даже жесткий. Этот человек мне казался неприступным и страшно черствым; бывало, он не даст рта разинуть, ответит резко, грубо, односложно и, даже не взглянув, отвернется и уйдет. Когда я его увидела входящего, то направилась к нему, и когда мы поровнялись и я хотела разинуть рот, он, не останавливаясь потупивши глаза, шопотом мне бросил эти слова: «Ваша фамилия мешает вам добиться свиданья», — и прошел быстро.

Следующая моя просьба о свидании была подписана (да простит мне бог) по мужу Корбецкой, урожденной Гофштеттер, и свидание мне было дано.

Но пока я добилась, мне много пришлось испытать передряг, уж одни сношения с Мезенцовым чего стоили.[70] Этот господин производил на меня более отталкивающее впечатление, нежели Муравьев, с которым я тоже имела личное свиданье. Нельзя сказать, чтобы он позволял себе быть невежливым и грубым, но в нем, во всей его фигуре было нечто такое гнусное и ледяное, что я с трудом могла говорить с ним: под каждым его вежливым словом чувствовалось желание раздавить тебя, и что он отказывает себе в этом удовольствии не добровольно.

В начале июля, когда уж я имела свидания и ознакомилась со всеми крепостными особенностями, вдруг я получаю повестку явиться в одиннадцать часов вечера такого-то числа в III Отделение в канцелярию Муравьева. Эта повестка очень встревожила меня и братьев; первая мысль была о том, что меня, вероятно, засадят. Сделав все свои распоряжения на случай ареста и передав священную для меня сумму в пятьсот рублей брату, я в назначенный час с моим дорогим братом являюсь в III Отделение.

Нас просят войти в приемную, уж мне давно знакомую, да и многим россиянам, где просят подождать. Комната была освещена довольно тускло. Мы с братом уселись недалеко от двери. Долго мы ждали, пожалуй, более часа.

Наконец входит господин, пожилой, сухощавый, среднего роста. Мы встали. Он, спросив меня, та ли я особа, которую ему нужно, просит меня пересесть на диван, который находился в довольно значительном расстоянии от того места, где сидел мой брат; усевшись сам около меня на кресло, он начал речь торжественным, но тихим голосом, что граф Муравьев возложил на него тяжелую обязанность узнать, в каком я нахожусь родстве с г. Елисеевым, почему я оставила мужа и вообще, как он выразился, «граф поручил ему познакомить его со мной», а потому он просит меня говорить ему о себе. На что я отвечала ему: «Что касается того, почему я не живу с мужем, то, я надеюсь, что ни он, ни даже граф не заставят меня исповедываться, что мой муж не жалуется на меня, я также не жалуюсь на него и что я живу отдельно с его согласия, то

тому есть доказательство: выданный им мне вид. Что же касается до моего родства с Елисеевым, то граф, вероятно, знает о нашем родстве, так как г. Теньковым этот вопрос был тщательно исследован; что же касается близости родства или отдаленности его, то как ему, так и графу, конечно, известно, что тут люди руководятся главным образом симпатией». В конце концов я свернула на то, что во всяком случае у Г. З. Елисеева в настоящее время нет никого ближе меня и брата моего и что мы решились просить графа завтра же отпустить нам его на поруки, так как знаем, что здоровье его, и без того слабое, сиденьем в крепости расстроилось окончательно, и что я надеюсь на гуманность графа, что он не захочет без необходимости подвергать опасности жизнь человека. Тут же я обратилась к г. Зеленому (так он мне себя назвал) и просила его мне помочь в этом своим советом, что я по его лицу вижу, что он не злой человек и др. И он, действительно, сказал мне, в какой час завтра я могу подать просьбу Муравьеву, и что, со своей стороны, он сделает все, что может, и что передаст наш разговор до мельчайших подробностей.

Вообще было видно, что я ему понравилась, и хотя в начале нашего разговора его, повидимому, шокировал мой громкий голос, и он мне несколько раз сказал: «говорите не громко», но потом смирился, вероятно, убедившись, что неповиновение мое было невольное, хотя немного в том ошибся, ибо я хотела, чтобы брат мой слышал каждое мое слово и по моим ответам догадывался бы о его вопросах, которые он мне делал почти шопотом.

Всего, что было говорено, я, конечно, не помню, да и не считаю нужным писать. Он отпустил меня с каким-то комплиментом, извинился, что утомил нас.

Когда мы с братом вышли из подъезда III Отделения, то брат посмотрел на часы: было ровно два часа... Ночь была светлая, петербургская, как в начале июля, и мы с братом, хотя утомленные, решили немного пройти пешком, чтобы освежиться. Брат мой от души хохотал и говорил, что он представляет, какую головомойку Муравьев задаст Зеленому, так как Зеленый с бо́льшими сведениями пришел, чем ушел. Но, видно, мой брат ошибся.

Когда на другой день в назначенный г. Зеленым час мы явились в крепость с приготовленной просьбой о выпуске нам на поруки Елисеева, то произошла следующая сцена: когда мы вошли в приемную, где была куча народу, но все деятели муравьевской комиссии — посторонних никого,— то к нам сейчас же подошел какой-то господин с вопросом: что нам надо. И когда брат заявил о цели нашего прихода, то он в ужасе воскликнул, что это невозможно, что граф здесь сегодня не принимает просьб, и когда брат сказал, что мы явились по назначению Зеленого, тогда он отступил, сказав нам:

— Ну, как вам угодно, если хотите подвергнуться негодованию графа, то оставайтесь.

Когда он оставил нас, то мы с братом осмотрелись и увидели, что от входной двери до противоположной двери, которая вела в другую комнату, на расстоянии всей приемной комнаты порядочной величины, шпалерой по обе стороны

стояли навытяжку офицеры, или, лучше сказать, эполеты, так что в промежутке образовалась улица. Я предложила брату стать в цепь этой свиты посредине.

Нам, беспрекословно сдвинувшись, дали место, и мы стали таким образом, чтобы брат первый подал просьбу. О моем внутреннем состоянии я теперь, конечно, позабыла и анализировать не могла бы; только хорошо помню, что внутри клокотало.

Не знаю даже, сколько времени мы стояли, знаю только, что показалось очень долго, как вдруг отдаленный шум, дверь быстро распахивается и выходит какая-то фигура, за которой следует целая группа опять-таки эполет. Я поняла, что эта фигура и есть граф Муравьев; конечно, мне было не до наблюдательности, но все-таки эта фигура осталась в моей памяти в образе среднего роста тучного, жирного, скорее кругообразного шара с большою головой и с отвисшим подбородком чучелы.

Он подвигался и именно не шел, а подвигался медленно, опустивши голову на грудь, так, что, казалось, в сторону не мог ничего видеть.

Я впилась в него глазами, и когда он приближался к брату и мне представилось, что брат колеблется выступить, я, как молния, вырываю из рук брата просьбу и выступаю со словами: «граф». Он остановился, головы не поднял, спросил только: «как фамилия?» Я отвечала.

Тогда он в полуоборот немного поднял голову (ему, впрочем, высоко поднимать не нужно было, так как я маленькая) и посмотрел на меня, потом опять опустил голову, положил мне на плечо

руку и сказал тихо, так тихо, что даже брат едва слышал: «Я знаю вашу просьбу, успокойтесь, подождите», — и с этими словами он поплелся сопровождаемый своей свитой; шпалера же оставалась неподвижной, пока он не скрылся за выходной дверью; только тогда шпалера смешалась, и многие окружили нас с братом, поздравляя нас с небывалым успехом.

Были слышны восклицания: «Вот необычайный прием!»

Но мне тогда это нисколько не казалось успехом, ведь не сказал же он: «Я его выпущу завтра», одним словом, что-нибудь определенное, и прием этот мне казался чистым поражением, так что я едва удерживалась от слез.

Но когда мы с братом вышли во двор крепости, то, конечно, будто бы от усталости, сели на скамейку как раз против окна его камеры, тут уж я дала волю слезам, увидев его, вернее сказать его руку, кормящую голубей, которые подлетали к его окну. Я через решетку лица его ясно не видела; но знала, что он видит нас, что было уже некоторой радостью.

Сидеть долго нам не дали и просили честью удалиться.

Я не оставляла добиваться, чтобы его выпустили, но уже без всякой посторонней помощи, однако, повидимому, дело не подвигалось, надежды мне никто не подавал никакой, и я просто была в отчаянии.

21 июля я также была в III Отделении и получила официальный ответ, что моя просьба еще рассматривается графом. Я по обыкновению удаляюсь с тяжким гнетом на душе, как вдруг

подвертывается какой-то маленький чиновничек или писарчук — я не разобрала — и шепнул мне:

— Завтра приезжайте как можно раньше, и вы меня будете благодарить.

Можно представить, что я не опоздала.

Тогда тут мне уже официально объявили, чтобы я с поручительством ехала в крепость, что уже сделано распоряжение о выпуске...

Я была в таком восторге, что за всякое поздравление челяди благодарила деньгами. Но мне врезалось пожелание швейцара-старика, довольно внушительной физиономии: «Дай бог, — сказал он мне, — чтобы вы никогда не переступали этого проклятого порога, где радость, как ваша, редкость»...

Вышедши, я взяла лихача, поехала к брату, разбудила его, торопя одеваться, пришивала и прикалывала его регалии, в которые он обязательно должен был облечься, и мы помчались в крепость. Явились к плац-майору, который нам сказал, что он уже отправлен в участок. Мы в участок; там нам сказали, что он уже дома и что от брата возьмут обязательство на дому, чтобы нас не задерживать. Подъезжая к нашей квартире, мы его увидели у окна.

В октябре окончилось дело Каракозова и, благодаря верховному суду и главно-председательствующему князю Гагарину [71], обошлось относительно гуманно, т. е. одной виселицей, а не гибелью всех привлеченных. Мы остались нетронутыми, несмотря на все старания знаменитого мерзавца Каткова.

Мой муж получил приглашение участвовать в «Петербургских Ведомостях», на что было и согласился, но после двух или трех статей он нашел

невозможным иметь дело с Коршем. После он стал работать в «Деле» и написал несколько статей по истории литературы [72], но с Благосветловым он также не мог сойтись.

Весь 1867 год прошел в разных предположениях и в предприятиях литературного характера. Так прошла вся зима и весна и ничего серьезного не сформировалось. Помнится, еще в декабре месяце 1867 г. почти сейчас же по окончании каракозовской истории какой-то господин приезжал к моему мужу и предлагал ему начать издавать газету, но это не состоялось. Весной 1867 г. мы с мужем уехали в Кресты, Новгородской губернии, так сказать, на дачу к моему другому брату. Тут с моим мужем вел деятельную переписку Некрасов, желавший тогда издавать «Сборник». От мысли о «Сборнике» перешли к мысли взятия в аренду «Отеч. Зап.». Мысль взять «Отеч. Зап.» принадлежала Николаю Алексеевичу Некрасову, ему же принадлежали и деньги, но основание «Отеч. Зап.» всецело принадлежало никому другому, и даже не Некрасову с его деньгами, а моему мужу.

Не моим силам дать правильное понятие о состоянии тогдашней литературы и общества в его нравственном и политическом состоянии, но мне все-таки необходимо сделать попытку. В общем я могу охарактеризовать то время как в отношении литературы, так и относительно общества, что тогда нельзя было еще с сознанием истины сказать: «пропала совесть». Совесть еще была и предъявляла свои права.

Петербургская журналистика резко отличалась друг от друга своим направлением. «Современ-

ник» и «Искра» радикально были противоположны «Голосу» и, конечно, «Отеч. Зап.». Это были совершенно два враждебных лагеря. Принадлежать к редакции «Голоса» было чуть ли не все одно, что принадлежать к «Московским Ведомостям».

Стоит просмотреть того времени «Искру», чтобы понять, какою незавидной репутацией пользовался тогда редактор «Голоса» Краевский. «Петербургские Ведомости» считались честнее, но для людей проницательных вреднее, так как они отличались «и нашим и вашим»,— из чего впоследствии и произошло это дрянное беспочвенное направление литературы. Я упоминаю только видную журналистику 60-х гг., о прочей говорить нечего.

Из них «Современник» был, конечно, с самым определенным направлением и, надо прибавить, самым популярным журналом. Честь быть его представителем принадлежала Некрасову, но его действительную внутреннюю душу составляли Чернышевский и Добролюбов. Некрасов же особенной популярностью не пользовался преимущественно благодаря своему богатству и той жизни, которую он вел: то в среде богатых прохвостов и людей сомнительного направления, то среди интеллигентного круга с чисто демократическими тенденциями; из этого выходило то, что и та, и другая партии всегда относились к нему недоверчиво, и ни одна из них не могла сказать с определенным убеждением, что «он — наш». Эта двойственность положения принесла ему лично много горя, но делу, во главе которого он стоял, нисколько не вредила, а, напротив, еще способ-

ствовала. В душе он был, конечно «наш», так как он был умен и чуток к истине и добру, которые влекли его к расширению прав угнетенного большинства. Но внешней стороной он был очень испорчен и не мог быть не только мучеником за идею, но даже лишиться кареты за идею, притом он всегда имел повод ублажать себя, что его положением он приносит некоторую пользу в этом искривленном мире.

В 1866 г. Добролюбова давно уже выхватила смерть, а Чернышевского — бесчестная рука насилия, но их «Современник» остался в полной своей силе, он шел тою же стопою, держался тех же ими положенных принципов.

После Чернышевского редакция состояла из следующих лиц: конечно, самого Некрасова, Пыпина, Антоновича, Жуковского, Елисеева, т. е. моего мужа. Я думаю, здесь мне необходимо сделать характеристику всех этих лиц, в их общественном положении в связи с литературным. В общем обо всех троих, за исключением Некрасова и моего мужа, можно сказать, что они исполняли свой долг литературный превосходно и свой долг семейный — добросовестно, остальные же тревоги житейские до них касались как гул отдаленного моря; каждый из них жил в тесном личном, семейном кругу. Насколько мне случалось приблизиться к интимной жизни Антоновича и Жуковского, то их жизнь была мне совсем несимпатична, уж слишком много личного довольства выражалось в этой жизни. Некрасов своею особою также не представлял живого

нерва общественной службы, но не потому, что был от природы апатичен, а по той же причине, как и прочие — любил более всего себя и свои жизненные наслаждения и удобства. Он нисколько не был хуже других; так же зубами цеплялся за свои земные сокровища и наслаждения, почитал и холил свою шкуру, как и все, но он был на виду, а потому то, на что не обращалось никакого внимания относительно прочих, ему ставилось в укор и, конечно, справедливо: он был более одарен богом, щедрее, а потому и ответственность лежала на нем более тяжкая. Но эта самая его слабость к земным благам и поставила его в то двойственное положение, о котором я говорила выше; а потребность его натуры влекла его и к активной деятельности, и он очень хорошо понимал то направление, которое могло дать его деятельности более значения и силы, да к тому же и материальных благ...

Совсем к другому типу людей принадлежал Г. З. Елисеев. Он резко отличался по натуре и по своему общественному положению как от Некрасова, так и от остальных трех своих собратий по редакции «Современника». Это был человек по натуре организатор и демагог. Если бы он родился еще в более узкой среде, хотя бы в поднебесной китайской империи, то и там в пределах времени и пространства он расчищал бы путь к идее справедливости и разума. Его литературная деятельность не ограничивалась только «Современником», в одно и то же время он участвовал в «Искре», где писал хронику прогресса. Он был избран редактором коммунальной газеты «Век», жившей очень недолго,

но не от притеснений правительства, а от несостоятельности русских писателей относиться добросовестно к принятым на себя обязательствам и вообще по наклонности скорей урвать кусок, чем служить платонически идее в видах будущего неопределенного гонорара.

Редакторство его в каждодневной газете «Очерки» было прекращено не без вмешательства правительства[73]. Из этого видно, что и литературная деятельность его была разностороннее, следовательно и вещественные связи — разнообразнее. Звучит как-то непривычно и сомнительно в нашем отечестве слово «партия», в особенности теперь, но иного определения я не могу найти, чтобы пояснить социальное положение Г. З. Елисеева, как сказав, что у него была «партия» или последователи, которые, проникаясь его идеями, стремились к одной и той же цели и вносили в эти идеи свою деятельность и жизнь. Вообще же он стоял так, что многие молодые и старые мироносицы также прибегали к нему в свои трудные минуты жизни за советом и помощью, и никто не уходил без надлежащей поддержки. Связь его с живым миром не ограничивалась только Петербургом, можно сказать — во всех уголках России он имел людей, знающих его или лично, или через посредство других, что и повело во время его процесса по каракозовскому делу к такому бесперемонному выводу г. Огарева, одного из членов комиссии. Очень многие из заключенных по каракозовскому делу из Москвы и прочих городов сделали показание, что у нас обедали или чай пили, но больше обедали, и как эти показания были предъявлены

Огаревым моему мужу, то он, конечно, их не отрицал, а объявил, что всякий приезжий, даже не будучи знакомым, когда приходил к нам во время нашего обеда, разделял его с нами. На что Огарев остроумно, по его мнению, возразил: «Как же вы не боялись, что у вас ложки покрадут». Вообще Г. З. Елисеев был в то время самым популярным лицом в русской литературе, да, пожалуй, и вообще [74]; притом он пользовался самым глубоким уважением, на нем не было пятнышка, которое могло бы повергать людей в сомнение относительно пути, который он избрал. Чувствовалось, что его деятельность не мотивируется никакими личными благами, а есть результат сознанной им необходимости.

Когда Некрасов вздумал взять на аренду «Отеч. Зап.», то он прежде всего заручился согласием Г. З. Елисеева быть его сподвижником, и было решено создать «Отеч. Зап.» в том же составе, как был и «Современник», и с тем же направлением. Это было поставлено Г. З. Елисеевым Некрасову в необходимое условие. Рядом с мыслью о возобновлении «Современника» в виде «Отеч. Зап.» создавался журнал г. Тибленом «Современное Обозрение», и по этому поводу я припоминаю одно смешное событие.

Раз как-то сижу я в своей комнате, которая отделялась от комнаты моего мужу довольно тонкой перегородкой, и слышу, что кто-то пришел к нему. Незнакомый для меня голос начинает речь о необходимости создать журнал. Наконец этот господин говорит прямо, что он пришел просить сотрудничества Г. З. Елисеева и что надеется на его поддержку, тем более, что

журнал этот он хочет поставить в его духе на коммунальных принципах; он много говорил об идеях и также личных комплиментов, но Григорий Захарович больше слушал. Наконец Григорий Захарович попросил его выяснить, в каком направлении и на каких коммунальных основаниях он хочет создать новый журнал. Тогда-то он начал развивать, как в его журнале постоянные сотрудники будут разделять равные прибыли с издателем и редактором и как на тех же основах будут входить новые и, наконец, кажется, как журнал совсем должен перейти в рабочие руки.

Когда он кончил, то Григорий Захарович сказал ему:

— План ваш прекрасен, и я совершенно с ним согласен, только прошу вас его напечатать во всеобщее сведение, и тогда я приму в нем участие, без этой же гарантии — нет.

Тот возражал что-то о недоверии и проч., но ушел ни с чем.

Переговоры между Некрасовым и Краевским шли порядочно долго; помню, что Григорий Захарович часто отправлялся к Некрасову для переговоров. Из числа редакции «Современника» во время переговоров с Краевским не было Антоновича, который был за границей, а были Пыпин и Жуковский. Михаил Евграфович Салтыков, бывший тогда вице-губернатором в Твери и причастный к «Современнику» как постоянный сотрудник, во время переговоров временно присутствовал (не знаю, специально ли он приезжал для этого, или случайно посетил столицу как вице-губернатор). Но в это время я с ним впервые познакомилась,

хотя на моей памяти он приезжал вице-губернатором из Твери в 1861 или в начале 1862 г. для объяснения возникших недоразумений по поводу прокламации, которую, получив, будто бы представил губернатору.[75] Помню я шум по этому поводу, недоумение и раздражение. Кажется, ему было написано из редакции о тех неблагоприятных слухах и он приехал. Но слышала, что объяснением, данным им, был удовлетворен Чернышевский, после чего всякие нарекания прекратились. Спустя много лет, когда «Отеч. Зап.» процветали под редакцией Некрасова, Елисеева и Салтыкова, т. е. в 70-х гг., мне не раз приходилось выяснять этот факт последующему поколению и удовлетворять их пытливость тем же несокрушимым доказательством, что Чернышевский не стал *против него*.

Но возвращаюсь к своей специальной цели, т. е. к возникновению «Отеч. Зап.».

Когда Михаил Евграфович приехал из Твери в Петербург, то переговоры о взятии «Отеч. Зап.» у Краевского были начаты, но в этот-то приезд я его увидела у моего мужа. Я была в комнате моего мужа, когда вошел Некрасов с каким-то господином. Я, по обыкновению, хотела было уйти, но когда было названо столь мне знакомое имя, то любопытство мое преодолело, и я осталась. Я со вниманием слушала речи Салтыкова и рассматривала его особу. Внешность его сильно мне не понравилась, — я тогда недавно еще перешла из чиновничьей провинциальной среды, — и лицо Салтыкова мне напомнило резко чиновничий тип надутого администратора; не могу сказать, чтобы его резкий тон тоже возбудил мою

симпатию. Вообще, он мне очень не понравился, и это будет понятно всем, кто знает его портрет того времени. Но я скоро приблизилась к правильному пониманию этой натуры и впервые по следующему случаю. Раз как-то муж приезжает от Некрасова, где еще беспрестанно шли толки о сформировании «Отеч. Зап.», и рассказывает мне, что, вошедши к Некрасову, он застал всех в сборе и к своему удивлению слышит, что во главе вновь образующихся «Отеч. Зап.» решают поставить Краевского, совершенно противно тому, что было предположено в предыдущем собрании. Тогда мой муж заявляет резко, что это будет измена направлению «Современника» и что он не войдет иначе, как с тем, чтобы проводить те же принципы, а не отступать от них, и тогда-то выразилась увлекающаяся натура Михаила Евграфовича. Его голос первый присоединился к голосу моего мужа. «И в самом деле этого нельзя. Ведь это будет позор» и проч. Некрасов поспешил все это дело стушевать, и мысль поставить знамя Краевского была покинута. [76] После этого эпизода о Михаиле Евграфовиче Салтыкове я не слыхала ничего и вероятно он уехал в свое вице-губернаторство.

Все эти толки и сборы, конечно, далеко еще не были концом дела. Помимо общих сборов, тут были и интимные переговоры Некрасова с лицами, которых он хотел приобщить к делу. Его роль была, конечно, не легкая: он хотел опять стать в почетное положение общественного деятеля, боялся общественного мнения; чувствуя за собой эти несчастные стихи, желал загладить дурное впечатление и боялся правительства, несмотря на свои связи. Но более всего он стре-

мился хоть сколько-нибудь снять с себя это иго гнетущей его совести и ту укоризну предателя, которую каждый ему мог бросить и которая выражалась и в стихах, и в письмах, им получаемых, и которую он слышал из-за стен Петропавловской крепости, где один из несчастных выразился так: «что лучше бы Некрасов им веревку свил для виселицы, чем написал эти стихи». Все это Некрасов чувствовал и понимал, и все это его тяготило, и он хотел сколько-нибудь очиститься, а потому создание «Отеч. Зап.» для него было возрождением личным (я материальную сторону оставляю в стороне, хотя и она, конечно, играла роль)...

Я к состоянию его души по поводу этих несчастных стихов, может быть, еще возвращусь, если коснусь его предсмертной беседы со мною, а теперь буду продолжать. Некрасов совершенно искренно хотел создать «Отеч. Зап.» с тем же самым составом сотрудников, который был в «Современнике», что было бы, конечно, легче, удобнее. Вначале как будто бы так все и формировалось, как я уже упомянула. Были сборы, разговоры, где, кроме Антоновича, присутствовали все и даже приезжий Салтыков.

Спустя уже долгое время после эпизода с флагом Краевского, раз приезжает мой муж домой раньше, чем обыкновенно, и очень взволнованный. Я, конечно, сейчас пристала: что случилось. И его рассказ был следующий: приезжает он на собрание, не знаю к кому, но Некрасов, Жуковский и Пыпин были в сборе. Как видно, до его прихода уже шел серьезный разговор об «Отеч. Зап.». Поздоровавшись, он стал слушать. Говорил

Жуковский с Некрасовым. Жуковский говорит Некрасову: «что он ставит условием будущего журнала, чтобы прибыль была разделена на две части: одна часть Некрасову, другая ему — Жуковскому», и когда Некрасов спросил его: «а другие?», то он отвечал, что Пыпин и Антонович будут с ним; тогда Некрасов, кивнув головой в сторону моего мужа, спросил: «а он?» — «А как вам угодно, делитесь с ним, если хотите»,—отвечал Жуковский. Это отступничество от товарищества глубоко оскорбило моего мужа, и он уехал. После этого coup d'état или, попросту, распадения, Некрасову предстояло два выбора: начать журнал с Жуковским и компанией, т. е. с большинством редакции «Современника», или с одним только из этой редакции — Елисеевым. Некрасов был слишком умен, чтобы долго колебаться, и так как цели его были не исключительно материальные, то он понял, какая именно сторона их наиболее удовлетворит. Как он рассказывал после, Пыпин, желая его отклонить от моего мужа, говорил ему, что за Елисеевым «есть хвост». Близорукий Пыпин не понимал, что в этом случае хвост, говоря его тривиальным языком, а в сущности, последователи, партия[77], общественное доверие и уважение — есть необходимые условия для успеха. Без общественного сочувствия ничего нельзя было сделать, а один мой муж в то время из редакции «Современника» и пользовался этим общественным сочувствием, без него Некрасов ни со своими деньгами, ни со связями, в союзе с Жуковским и компанией, ничего бы не сделал. Некрасов это очень хорошо понял, а потому недолго колебался. Вскоре после безнравственной выходки Жуков-

ского он приехал к мужу, и вопрос «Отеч. Зап.» был решен. В это самое время во главе тибленского журнала «Современное Обозрение» стали Жуковский, Пыпин и Антонович. Программой своего журнала Жуковский поставил не распределение, а «накопление богатства». Эта программа замечательная и по-моему почище некрасовских стихов, так как вылилась не из страха. Но несмотря на благонамеренное обещание заботиться о накоплении, несмотря на бесхвостие, журнал, как всем известно, не просуществовал долго.

Еще как-то Жуковский и компания начали издавать хороший журнал, очень ученый, «Космос» [78], но и этому не повезло. И несмотря на все их враждебные ухищрения, в виде знаменитой брошюрки, изданной ими, «Отеч. Зап.» вполне заменили «Современник» и остались до конца дней верны своей цели.

Итак, от «Современника» для организации «Отеч. Зап.» осталась в существе дела одна только нравственная сила Григория Захаровича Елисеева, так как Некрасов был в то время совершенно подавлен общественной антипатией, приготовив себе еще раньше своею двойственностью не совсем лестную репутацию в литературных слоях и между тогдашней, подающей надежды, молодежью. Так, о нем ходил следующий слух, что он после временного закрытия «Современника» где-то и в каком-то обществе на вопрос кого-то из своих высокопоставленных знакомых, отчего приостановили «Современник», отвечал, что он ничего не знает, «чорт их знает, там что-то моя консистория натворила». Один тогдашний молодой человек, подававший боль-

шие надежды, А. А. Макавеев, был свидетелем этого объяснения, пришел к мужу и передал ему все слышанное. Тогда-то мой муж взял «Очерки», куда привлек Антоновича, и оба они хотели совсем бросить «Современник», но осенью приехал из своей деревни Некрасов, и когда ему предъявили это, то он клялся и божился, что этого не было или что-то было, но не так, и все дело было замято, а после возобновления «Современника» Некрасов просил моего мужа и Антоновича войти в состав редакции, на что они и согласились. Мой муж, во все время существования «Очерков», в «Современнике» числился номинальным редактором и получал корректуры на своей квартире. Во время издания моим мужем «Очерков» меня здесь не было, и я предыдущее знаю только от мужа, но я помню еще один случай, когда мой муж с Антоновичем хотели было выйти из «Современника». Это было уже на моих глазах, в 1863 или 1864 г. Некрасов хотел было напечатать патриотические стихи Полонского, направленные против Польши [79], и в видах поправления своей журнальной благонамеренности крепко стоял за них. Тогда мой муж и Антонович категорически заявили, что если стихи будут напечатаны, то они уйдут, и Некрасов должен был уступить. Вообще, по удалении Чернышевского, мой муж был в «Современнике» ближе всех к Антоновичу, вследствие чего я также была более расположена к нему, и мне всегда было жаль, что Антонович допустил себя одурачить Жуковскому, так как я отступничество Антоновича всецело приписываю этой бездушной язве. Когда Антонович возвратился из-за границы,

уж, кажется, на второй год существования «Отеч. Зап.», то, не знаю уж каким образом, между моим мужем и Антоновичем условлено было свидание где-то в гостинице, где наверное произошло бы полное соглашение, так как я убеждена, что Антонович был лишен здравого смысла только благодаря Жуковскому. Осуществись это свидание, многое пошло бы не так, так как, несмотря на то что Антонович был строптивым человеком, муж мой умел управлять людьми, умел ладить с ними, что показывают их хорошие отношения во время «Очерков» и в продолжение «Современника». По этому свиданию не суждено было осуществиться, и вот почему: накануне свидания, во время своего гуляньи, мой муж зашел в книжный магазин Кожанчикова, где и занялся рассматриванием каких-то книг, — как вдруг входит Антонович. Антонович не только не подошел, не поздоровался с моим мужем, не только не поклонился, но стал делать умышленные мины, желающие поразить. Эта публичная наглость оскорбила моего мужа, и он, пришедши, рассказал мне эту историю и решил, что на свидание не пойдет. Я все силы употребляла смягчить его, доказывала необходимость свидания и проч. и проч., но на этот раз его личное *я* взяло перевес, и все мои доводы были бесплодны. Я всегда жалела об этом недоразумении, которое отдалило Антоновича от литературной среды. Это в других условиях, вероятно, был бы полезный писатель и наверное гораздо полезнее для общества, чем в качестве банковского чиновника.

Я не скажу, чтобы моему мужу без труда удалось организовать постоянный и правильный

состав сотрудников: не раз необходимо было разъяснять, доказывать и указывать правильный путь мышления, а иногда были и такие казусы, как, например, один из иногородних сотрудников «Современника», бывший в хороших отношениях с моим мужем, по приезде в Петербург не только не явился, но при встрече хотел, видимо, улизнуть, чтобы избежать приветствия. Когда мой муж остановил его и спросил, что это значит, то тот ему прямо сказал, что причиной этому союз его с Некрасовым, и пришлось разъяснять, освещать и указывать правый путь. Хотя Некрасов заручился внешними сотрудниками, как-то: Щедриным и Островским, но сила их, хотя и гениальная, в данном случае ничего не значила, точно так же как ваятель лепных работ на доме не может сказать, что он выстроил дом, а, напротив, тот, кто его воздвиг с самого фундамента, тот именно только и может сознать, что он дал возможность украсить этот дом всеми возможными дарами таланта.

Спустя несколько времени после полного сформирования «Отеч. Зап.» муж мой довольно сильно заболел и ему понадобилось для лечения отправиться за границу. Во время пребывания за границей, если не ошибаюсь, в 1869 г., муж мой получил от Некрасова письмо, в котором тот извещает, что Щедрин вышел в отставку и предлагает себя в состав редакции; но помню, что Некрасов не совсем был доволен предъявленными Щедриным требованиями относительно вознаграждения и спрашивал мужа, как поступить. Муж, конечно, отвечал, что все требования должно принять, так как Щедрин для

«Отеч. Зап.» есть перл большой величины. Вот с этого только времени Щедрин вошел в «Отеч. Зап.» как третий член редакции. Я очень плохо знаю материальные условия, в которых мой муж вошел с Некрасовым в союз; кажется, было условлено известное жалование и полистная плата... Знаю еще вот что, что ни один человек, которого я знала близко или по слуху, так равнодушно не проходил мимо денег, как мой муж; в его мыслях деньги всегда были самым последним вопросом, он точно не мог марать идеи деньгами. Спустя несколько времени Некрасов предложил моему мужу премию в шестьсот рублей — вот и все вознаграждение, которым пользовался мой муж. На его же месте другой не так бы поставил дело.

Как-то в 1876 г. вел Салтыков беседу со мною и, по своему обыкновению, ропща и жалуясь на все и вся, он жаловался мне на Некрасова и на моего мужа и поставил в упрек моему мужу именно эту премию, которую будто бы он и получил тайно от него. Несмотря на то что Щедрин был болен, я не могла ему не сказать, что права моего мужа на «Отеч. Зап.» существеннее. «Вы — входной»,— заметила ему я, и он замолчал. Вот будь наоборот, т. е. будь Салтыков основателем, а мой муж входным, никогда бы в его душу не могла запасть такая мысль, так как он склонен был до излишества ценить заслуги других и не думать о своих. Он, конечно, не мог не сознавать своего значения, но он, как будто бы и самому себе не желал этого ставить на вид. Салтыков же — совершенная противоположность: кроме своих, ничьих заслуг не ценил, а уж к своим был так ревнив, как именно болезненный человек. Любовь

к деньгам у него развита тоже до болезни: получая семнадцать тысяч рублей в год дохода и будучи только самчетверт, он вечно плакался, что он нищий. Но благодаря этой-то его любви к деньгам с его вступлением в «Отеч. Зап.» и наше материальное положение улучшилось: он так воевал с Некрасовым за каждую копейку, как моему мужу и в голову никогда не пришло бы. Помню я мой восторг, когда он вдруг возбудил вопрос о том, что проценты с денег «Отеч. Зап.», лежащих в банке, не распределяются, а идут всецело Краевскому и, кажется, Некрасову. Возбудив этот вопрос, он достиг, что и на нашу долю выпало что-то в виде ста пятьдесяти рублей. Надо отдать ему справедливость, в распределении денег он строго держался равноправности, следя строго как за своей копейкой, так и за чужой. Но все-таки понять моего мужа и относительно денег он не умел. Во все продолжение «Отеч. Зап.», до самой болезни моего мужа, центром для сотрудников и, так сказать, связующей нитью «Отеч. Зап.» с внешним миром был тот же муж мой... К нему, по преимуществу, обращались все нуждающиеся, для поддержки как моральной, так и материальной, за которых он всегда стоял. Михаил Евграфович Салтыков этого исключительного положения не мог не заметить и всегда ему завидовал. Он положительно был убежден, что будь у него жена другая, то он был бы тем же, чем Елисеев. А я, жена Елисеева, знающая хорошо Михаила Евграфовича, совершенно убеждена, что если бы я была женою Михаила Евграфовича, то никогда бы ничего подобного не могло создаться, ибо в самом Михаиле Евграфовиче не было и

тени того, что необходимо для организаторской роли, так как для этого самая необходимая черта — уметь искать хороших нужных черт в других и поменьше думать о себе. У моего мужа эта черта развита была до такой степени, что он забывал свои личные интересы; он точно превратился в литературный организм, для которого ни деньги, ни общественное одобрение не значили ровно ничего. Он точно удовлетворялся делом рук своих и сам себя вознаграждал. Была ли это гордыня — мне трудно разрешить, — но только я знаю, что особенного смирения тут не было. Он не менее меня сознавал себя творцом «Отеч. Зап.» и главным двигателем их успеха, но тем не менее, когда заболел в 1881 г. и должен был удалиться от дела, он постоянно отрекался от своих прав на материальное вознаграждение, и мне не малого труда стоило бороться в этом отношении с ним, доказывая, что хозяин дома — всегда хозяин, хотя бы был не в силах ремонтировать здание. Но я, конечно, не имела бы никакого успеха, если бы не Михаил Евграфович Салтыков, который в этом случае показал себя достойным самого глубокого уважения; он успокаивал болезненную чувствительность моего мужа и настаивал на том, чтобы мой муж пользовался равноправно редакторской долей, употребляя для этого не мало труда, красноречия и даже самой раздражительности. Может быть, и он не имел бы успеха без такого тайного, но верного товарища, каким была в этом случае я. Тут высказался весь мой муж, который так мало думал о себе, что то, на что он имел полное право, он принимал как великодушие. И со стороны Михаила

Евграфовича, принимая во внимание характер моего мужа, это поистине высокая черта. Будь на его месте кто-нибудь другой, даже, быть может, сам Некрасов, то он, по всей вероятности, не поперемонился бы уступить щекотливости моего мужа в пользу своего личного благосостояния... В этом отношении я остаюсь Михаилу Евграфовичу истинно признательной, так как он умел отстоять здесь не свои личные права, а права своего товарища, да еще против него самого — черта, достойная его великого имени.

Я сейчас упомянула имя Некрасова и подумала, права ли я, упоминая именно здесь и таким образом его имя? Невольно вследствие этого всплыло воспоминание о нашем последнем свидании. Раз, это было до операции, в одно из моих частых посещений, которые по большей части ограничивались расспросами о его здоровье и очень редко обменом нескольких слов, когда он сам пожелал меня видеть, войдя к нему, я застала его стоящим на одной ноге, скорчивши другую, в длинной белой простыне в виде мантии. Фигура была ужасная, ничего подобного я не видела и, дай бог, не видеть: скелет во весь рост в искривленном виде, в простыне, которая висит с одной стороны и которую он придерживает костлявыми пальцами, и только глаза, глаза его живые и даже горят каким-то злобным огнем от боли, и по мере разговора, в этих глазах все, что только есть земного, отражается с необычайной ясностью. Он начал с того, что просил меня его выслушать, что он надеется, что я пойму и поверю ему. Он говорил хотя и корчился от боли, стоя по несколько минут на одной ноге, придерживая

рукою простыню, другою же рукой упираясь на что-нибудь. В одной и той же позе он говорил о последнем времени «Современника», об утрате Чернышевского, о том влиянии, какое этот пример имел на его действия при каракозовской истории, о несчастных этих стихах, о своей трусости и о своей негодности при мысли о могущих быть последствиях, о том, что также имел он не только свою личность в виду, коснулся даже эпизода с Огаревой[80]. Он говорил наверно более получаса, точно со мною он хотел опять пережить свою литературную жизнь: о своем горе, о своем стыде при чтении присылаемых ему стихов и писем, о своих муках, когда он глядит в очи человека, им уважаемого, и сомневается в его уважении. «Я хочу, чтобы вы знали и передали Григорию Захаровичу то, чего я никогда не говорил: я на него смотрел, как на умного, полезного и достойного человека, но особенной цены я ему не придавал, и только с «Отеч. Зап.» я вполне понял, каков он в действительности и чем он был для меня лично и для литературы», — все это говорил он, метаясь по комнате и с глазами, полными то слез, то злобы, то дикого огня. Ничего для меня нового не было в том, что он говорил, кроме его личной выраженной оценки моему мужу, обо всем прочем не раз мы с ним говорили и прежде, но картина этого метающегося и корчащегося скелета глубоко засела в моей памяти и оставила образ страдающей души, точно просящей себе помилования.

Мир праху твоему! «За каплю общую с народом» нам не простить, а завидовать тебе должно,

II. СТАТЬЯ Г. З. ЕЛИСЕЕВА

О лживости Некрасова

(По поводу отзыва Худякова)

Вводная заметка

Печатая в 1902 г. эту статью Елисеева на страницах «Русского Богатства», П. Ф. Якубович так объяснил ее происхождение: «В бумагах Н. К. Михайловского сохранилась в высшей степени характерная и любопытная записка Г. З. Елисеева, имеющая форму ответа на письмо Худякова... Письмо это получено было Елисеевым или, быть может, самим Некрасовым еще в конце 60-х или начале 70-х гг., защитительная же записка Елисеева относится, по всей вероятности, к концу 80-х гг., когда Худякова давно уже не было на свете».

Объяснение это вызывает ряд недоуменных вопросов. Где нашел Якубович какие-либо указания на существование письма Худякова? Точно ли заметка имеет форму ответа на это письмо? Разве в ответах на письма упоминают об авторе? Зачем было Елисееву отвечать на письмо через двадцать лет после его получения, да еще мертвому адресату?

Дело объясняется проще и естественнее. В 1882 г. за границею вышла книжка: «Иван Александрович Худяков. Опыт автобиографии. Женева. Вольная русская типография. 1882». На стр. 167—168, в примечании от автора читаем: «...даже либеральный и очень талантливый поэт Некрасов писал патриотические стихи и публично в стихах просил Муравьева «не жалеть преступ-

ников». Это говорил друг Добролюбова, Чернышевского, издатель «Современника» и лучший поэт, и говорил, не сидя в крепости, не наедине с деспотом, а публично. При всей *подлости* этого поступка, какая была при этом в нем доля глупости... *Некрасов сделал бы меньшую подлость, если бы на собственный счет построил для нас виселецы».*

Ответом на это худяковское примечание и явилась приведенная заметка Г. З. Елисеева. Ознакомился с этой книжкой Григорий Захарович, повидимому, во время своего заграничного лечения 1881—1884 гг. «Заметка» несомненно имела своею целью защитить Некрасова от обвинений, идущих из революционных кругов и получивших широкое распространение с изданием «Опыта автобиографии» Худякова.

Повидимому, первоначально Григорий Захарович хотел печатно доказать ошибочность точки зрения Худякова. Но в процессе писания получилось нечто «нецензурное». На невыдержанность плана, характерную для посмертных бумаг Елисеева, указывает в своих «Литературных воспоминаниях» Н. К. Михайловский. «В некоторых рукописях Елисеева, — говорит он, — встречаются не только повторения и отдельные клочки, выхваченные из других рукописей, но и совершенно разные приемы изложения, свидетельствующие о совершенно разных планах автора. То он пишет в таком даже утрированно-осторожном тоне, который ясно показывает намерение приладиться к данным условиям времени и, следовательно, печатать статью теперь же; то, говоря о более или менее щекотливых вещах, нимало не стесняется в выражениях. И это в одной и той же рукописи... Из-за болезненного состояния он, очевидно, писал с трудом и с большими перерывами». (Н. К. Михайловский, Собр. соч., т. VII., СПБ. 1909, стр. 409—410).

Нам понятно то глубокое негодованіе, которое кипело в груди автора каждый раз при мысли, что Некрасов говорил в клубе стихи в честь Муравьева, стихи, в которых призывал его карающую руку на всех *участвовавших в каракозовском замысле цареубійства* [81]. Понятно поэтому что, может быть, первые чувства гражданской доблести в Худякове были пробуждены и воспитаны музоіі Некрасова, и вот теперь, когда *Худяков совершил свой страдальческий подвиг*, он слышит от этой самой музы вместо утешенія и благословенія — проклятіе *с призываніем палача Муравьева на месть всем подобным ему страдальцам*. Тем не менее такое отношеніе автора к Некрасову мы признаем крайне несправедливым и жестоким. Известно, что во мраке *того глубокого рабства, в котором жила и до сих пор живет еще Россія*, ни одна публичная мысль, ни одно публичное слово, а тем более дело, не могут явиться без компромиссов, *ибо все может явиться только с соизволенія. Как Державин мог писать свои сколько-нибудь смелые стихотворенія не иначе как во славу и во имя Фелицы, так это дело идет и до сих пор в России. Всякая сколько-нибудь смелая мысль и смелое слово может явиться в прессе не иначе, как под условием, что оно implicite содержит в себе одобреніе современной Фелице или, по крайней мере, не имеет никакого послагательства на ее личные интересы*. А на руках у Некрасова было большое публичное дело, *гораздо большее, может быть в десять, во сто раз больше, чем каракозовское. Мы разумеем* дело расширенія и упроченія за прессою свободного слова, с целью дать возможно

широкое распространение в обществе новой идеи. Из всех писателей 40-х гг. Некрасов один с самого первого появления этой идеи предался ей вполне и сделался неизменным носителем и служителем и остался таким до конца жизни. На это посвятил он весь свой громадный талант, действуя как поэт и как журналист. Теперь даже (трудно) определить, чем он более принес пользы: своими ли поэтическими произведениями, или своей журнальной деятельностью. В то время когда стихи его рассеивали всюду святое недовольство *на царящее зло* и возбуждали в молодых умах горячие порывы к обновлению, журнал указывал источники зла и те пути, которыми нужно было итти для его истребления и где и в чем искать нового дела, около *его* журнала группировались верные борцы за новую идею и *здесь* делались всегда первые смелые шаги вперед *на ее пути*. Недаром «Современник» сделался любимейшим журналом в публике и в особенности между молодежью *и стал считаться по своему влиянию на молодые умы опаснее даже тогдашних заграничных изданий* и недаром ни на один журнал не сыпалось столько обвинений и тайных доносов со стороны ретроградов и столько притеснений и гонений со стороны цензуры, как на «Современник». *Теперь*, с назначением Муравьева *следователем по каракозовскому делу, наступил момент, когда* все это ставилось на карту. Перед чем мог остановиться, чего не мог сделать *озлобленный Муравьев, которого тогда покойный царь выходил встречать на крыльцо, когда Муравьев ехал к нему с докладом*, и который иногда осмеливался не являться к *самому царю*, несмотря на его неоднократные тре-

бования, отзываясь делом и недосугом. И вот для умилостивления *этого чудовища, которое было способно* и готово *пожрать* всю новую литературу и остановить движение новой идеи на несколько десятков лет, Некрасов принес в жертву свое самолюбие, написав в честь *Муравьева* и прочитав публично в клубе стихотворение. Говорят: Некрасов все-таки не спас этим «Современника»; *чудовище все-таки поглотило его.* Но те, которые говорят так, забывают, что дело шло *вовсе* не о спасении одного «Современника», а о сохранении возможности существования новой идеи, о предупреждении гонения на литературу, как на литературу только. *Муравьев имел полную возможность не только запретить всем литераторам писать навсегда, но и выслать их административным порядком, куда Макар телят гоняет. Но жертва, принесенная чудовищу, умилостивила его и тем спасла литературу, спасла новую идею и ее бойцов, сделала возможным ее скорое возрождение с новыми силами. Жертва, принесенная Некрасовым чудовищу, была, по нашему мнению, не только вполне законна, но и необходима,* — и необходимость ее наверное будет выяснена для всех историей нашего времени. К сожалению, Некрасов был не настолько велик, чтобы, сознавая необходимость своего поступка, оставаться равнодушным к близоруким толкам современной толпы о своем поступке. Толки эти мучили его всю жизнь. Всем известно написанное им в 1866 г. прекрасное стихотворение: «Ликует враг, молчит в недоумении вчерашний друг, качая головой...», где он изображал себя оттолкнутым от всех, к кому лежали его симпатии, и

попавшим через свое (клубное) стихотворение в дружбу толпы безличных, которые «спешат в объятья к новому рабу и пригвождают жирным поцелуем несчастного к позорному столбу». Сокрушение о своем поступке Некрасов высказывал и впоследствии в нескольких своих стихотворениях и *потом* лично говорил о нем всем симпатизирующим ему лицам, стараясь оправдать его или объяснить необходимостью тогдашних обстоятельств. Даже перед смертью, мучимый страшною болезнью, едва дышавший и говоривший, он не переставал приносить *в нем* покаяние. Так давила его и мучила жертва, принесенная им в пользу своего великого дела.

Но что руководило Некрасовым при его поступке: мысль ли о деле, которому он служил, или о тех его личных выгодах, которые были сопряжены с этим делом? И если последнее, то не заслуживает ли его поступок справедливого порицания и не были ли его собственные страдания, которые он испытывал за него, вполне заслуженной карой? На этот вопрос можно отвечать другим вопросом. Мог ли бы Некрасов иметь столько врагов, сколько он имел, если бы он стал петь другие песни и служить другому, противоположному делу? *Мы думаем, что всякий, поразмыслив об этом только одну минуту, не может ответить на этот вопрос иначе как — нет и нет, и сто раз нет.* Наглядное и блистательное *тому* доказательство *представляет Катков, который был взыскан и возвеличен покойным царем, а в настоящее время почти безраздельно управляет царством и которому и прежде, и теперь дозволяется черпать деньги из казны обеими руками.*

А если бы и это доказательство представилось кому-нибудь все еще недостаточно убедительным, то уже совершенно неопровержимый аргумент того, как *измена* может обогатить и возвеличить у нас даже и *скудоумного*, но бойкого и ловкого литератора, каждый может видеть на примере Суворина. Этот чиж робкий скромно чирикал свои литературные фельетоны у Корша, завидуя славе и блеску такого сокола как Катков. Но вдруг у него родилось желание направить свое чиликанье во славу *Александра*. Он попробовал, и на него полились деньги и слава. Он теперь признан политическим мудрецом, и *если еще не заседает в советах царя, то с министрами держится уже за панибрата.*

Чего же бы, каких почестей и какого богатства ни достиг Некрасов при его громадном уме и таланте, если бы он захотел *Александра петь!* Но он не пошел этой дорогой. А не пошел потому, что он не мог петь фальшиво, это не был скворец, наученный петь по-соловьиному, или чижик, робко чирикающий ходячие песенки, а действительно соловей, который мог петь только своим голосом и петь то, что хватало его за живое. Талант Некрасова был вполне самобытный, соединенный с замечательною силой и крепостью ума. Некрасов нигде почти не воспитывался — он не окончил курса даже в гимназии — не мог читать ни на одном иностранном языке, а между тем критический ум его был так силен, что никто лучше его не мог оценить значения каждой новой мысли, являющейся в литературе по наукам социальным, при этом равно тонко было его и эстетическое чутье, так что можно смело сказать, что он был луч-

шим критиком для всех статей, которые помещались в его журнале. Это самое критическое чутье давало ему возможность замечать каждое выдающееся дарование, появляющееся в других журналах, и вербовать его в сотрудники своего журнала, что он и делал. Но еще более верно это критическое чутье руководило его в области *проходящих перед ним* явлений мира политического. Вспомним, что при самом первом появлении новых веяний, почувствовавшихся в обществе вскоре после Крымской войны, Некрасов тотчас понял новое положение вещей, круто порвал со своими сверстниками, литературными деятелями 40-х гг., набрал себе новых сотрудников по журналу и стал во главе нового литературного движения. До какой степени это характеризует не только тонкость критического чутья Некрасова, но и симпатию его к новой идее, мы можем видеть из примера, — *не говоря уже о многих других литературных знаменитостях,* его современниках, как-то: Писемском, Достоевском и т. п.,— самого Тургенева, который несмотря на свою замечательную чуткость ко всем новым веяниям бестактно выступил в то время на борьбу с новой идеей в своих «Отцах и детях». Все это показывает, насколько был проницателен и тверд ум Некрасова в распознавании и оценке проходящих перед ним явлений и веяний политического мира. Он ясно понимал ветошь и ничтожество существующего строя, видел невозможность его долгого существования и не мог не быть борцом за новую идею. Только во имя ее он мог слагать свои песни, только ее дело он мог петь так усердно всю жизнь, как он его пел.

Правда, он не был теоретиком, у него не было предвзятого определенного миросозерцания *о том, какого строя достигать — фаланстеров ли, коммуну или конституцию только.* Но он наверно пошел бы за новую идею до тех пор, пока она *не уничтожила бы нынешний, невозможный для существования строй* и не создала бы другого, лучшего строя, возможного для разумного человеческого существования. Говоря все это, мы, однакоже, никак не думаем возводить Некрасова в героп в том смысле, как ныне понимают это слово. Некрасов не пошел бы на смерть, ни на страдания за дело новой идеи, которое он нес на себе; мы не должны забывать, что он воспитан в ежовых руках *Фелицы.* Это был, если угодно, герой, но герой-раб, который поставил себе целью добиться во что бы то ни стало свободы, упорно преследует эту цель, по временам применяясь к обстоятельствам, делает уступки, но на своем главном пути постоянно держит ее в уме; понимает, что таким только образом он может ее добиться, а кроме того, понимает, что в такой среде, которая его окружает, не найдется таких людей, как он, хотя, быть может, есть не мало лиц из тронутых новою идеей, которые гораздо выше, т. е. самоотверженнее и чище, лиц, которые готовы пожертвовать за нее жизнью, но не найдется таких героев-рабов, которые так упорно шли бы в течение десятков лет шаг за шагом по тому тернистому пути, по которому идет он, подвергаясь изо дня в день разным мелким мучениям и перепося сделки со своей совестью. Герой-раб мог писать, что его рука у «музы звук неверный исторгала», что «жизнь любя,

к ее минутным благам прикован он привычкой и средой», что он «к цели шел колеблющимся шагом и для нее не жертвовал собой». Но действительный герой, *герой в современном значении этого слова* не мог *ни* действовать, *ни писать*. Мы, однако, не должны забывать, что каждый герой должен оцениваться по условиям времени и целям. Для каждого времени является свой муж потребен. Герой тот, кто понял условия битвы и выиграл победу. Хорош и тот герой, который умирает за свое дело, так сказать, мгновенно, всецело, публично, запечатлевая перед всеми своею смертью свои убеждения; хорош и другого рода герой, герой-раб, который умирает за свое дело в течение десятков лет, умирает, так сказать, по частям, медленною смертью в ежедневных мелких пытках от внешних мелких гонений и стеснений, от сделок со своею совестью, умирает никем не признанный в своем геройстве, но даже под общим тяжелым обвинением или подозрением от толпы в измене делу. По условиям нашей жизни у нас мог выработаться в литературе только герой-раб. Скажем больше, только такой герой и мог вынести дело новой идеи при первом ее появлении и утверждении в обществе. *Да простит бог покойному Худякову, этому молодому герою, пожертвовавшему жизнью за свои убеждения, что он сделал несправедливый и жесткий упрек герою-рабу за исторгнутый им у музы неверный звук.* Худяков не понял, что герой-раб позволил своей руке «у музы исторгнуть звук неверный» единственно для того, чтобы уравнять и сделать менее тернистым путь *для других молодых героев, подобных Худякову!*

III. ИЗ РУКОПИСЕЙ Г. З. ЕЛИСЕЕВА

О литературной богеме шестидесятых годов

Вводная заметка

Характерный для начала 60-х гг. приток в литературу нового, массового корреспондента из рядов мелкобуржуазной богемы представляет большой исторический интерес. Случайный литератор, не профессионал, посылающий в столичную прессу только сырой материал, описывающий возмутивший его факт, фиксирующий ряд непосредственных наблюдений над жизнью, является показательным для выявившихся противоречий социального уклада предреформенной России. Эта мелкобуржуазная литературная богема, идеологически весьма разношерстная, была объединена отрицательным отношением к рушащемуся крепостничеству и его порождениям в окружающей действительности. Без учета данного явления невозможно понять многие литературные факты 60-х гг., — от сатирической прессы до статей и рассказов писателей-обличителей. Между тем о литературной богеме нет почти никаких сведений как в историко-литературной, так и в мемуарной литературе. Вот почему особенного внимания заслуживает освещение этого явления в воспоминаниях Елисеева. Для характеристики литературной богемы Елисееву, как говорится, и книги в руки, — так как он близко соприкасался с ее представителями. Он пользовался матери-

лом их корреспонденций для своих искровских «хроник прогресса» и был в курсе обличений, посылаемых в «Искру», как член редакции этого журнала. Его восторженная характеристика и высокая оценка общественной значимости литературной богемы представляют несомненный интерес. Однако конец богемы зависел вовсе не оттого, что литература погналась, как говорит Елисеев, за манившими вперед призраками и иллюзиями и не дала потрудиться богеме над очисткой современности от грязи и зловоний, — а от причин социального порядка. Общественная реакция 1862 г. и порожденная ею идеологическая дифференциация разъединили литературную богему и отняли главное ее оружие — обличительный энтузиазм.

Данная заметка Елисеева упоминалась в статье Н. К. Михайловского — «Г. З. Елисеев» (см. его — «Литературные воспоминания и современная смута», т. I, гл. XII), где и приведена из нее незначительная цитата.

Мы помещаем основную часть этой рукописи, опуская различные публицистические отступления от основной темы.

Ты говоришь, что «нам ничего не осталось в наследство от прошлого, что у нас нет никакого великого общественного дела, над которым мы могли бы работать в настоящем, что у нас нет никаких надежд и идеалов в будущем, что мы имеем в своем обладании одно Волково кладбище, один только могилы наших великих покойников — Белинского, Добролюбова, Писарева, Тургенева, Кавелина и других подобных им, хоть и на других кладбищах нашедших себе вечное успокоение, но по духу и мысли несомненно при-

надлежащих к этой же светлой плеяде Волкова кладбища. С ними, с этими великими покойниками, должна жить наша мысль в постоянном единении, на их могилы должны мы ходить освежать свою душу, страдающую и томящуюся в беспросветной мгле настоящего воспоминаниями об исчезнувших идеалах и надеждах, и там искать разрешения и уяснения наших будущих судеб».

Все это, что ты говоришь, большею частью, пожалуй, и хорошо, но совсем не в ту силу, как ты думаешь. Великие наши покойники, о которых ты говоришь, действительно достойны глубокого и благоговейного уважения для всех, и их могилы, случайно сгруппированные в одном уголке Волкова кладбища, должны быть в своем роде русским пантеоном для всего мыслящего люда России. Ибо все здесь покоящиеся были в свое время неутомимыми борцами за русскую мысль и свободу, за русское развитие и прогресс. Освежить свою душу воспоминаниями о их жизни и общественной деятельности перед лицом исчезнувших идеалов и надежд, и не ради якобы беспросветной мглы настоящего, потому что я никак не думаю, чтобы заправские наши идеалы и надежды исчезли, и никак не могу видеть в настоящем какой-то мглы, якобы совсем уже беспросветной, — не только приятно вообще, а для каждого вместе с тем полезно и назидательно. Все исчисленные тобой великие покойники и все те, о которых ты не упомянул, равно великие, — все они одинаково несомненно поучат каждого из нас терпению и упованию, ибо несомненно, что все они при всей бесконечной

разности своих темпераментов обладали этим великим свойством, общим им со всем русским народом, все терпели и уповали, не теряя никогда ни идеалов, ни надежд, а кроме того, каждый из них, этих великих покойников, начиная от сладкопевца любви или всероссийского фаворита, как его называли зоилы, Ивана Сергеевича Тургенева до известного своим трезвым, как выразился о нем И. С. Тургенев, или, правильнее, суровым и даже несколько угрюмым миросозерцанием Ф. М. Решетникова [82], имеет такие индивидуальные черты нравственной красоты, перед которыми нельзя не преклониться...

Мне хотелось сказать несколько слов о нравственной красоте еще нескольких великих покойников, украшающих собою также Волково кладбище, а именно о Константине Дмитриевиче Кавелине, Дмитрие Ивановиче Писареве, Василии Степановиче Курочкине, но боюсь, письмо мое, в котором придется говорить об очень многом, сильно растянется. А я никак не могу пройти молчанием особой серии великих покойников, до сих пор никем еще не отмеченных, но которые на мой взгляд по нравственной красоте не менее, если не более, велики, чем выше упомянутые. Кто они, я не знаю, имя их легион, и имена ты, господи, весь. Их телами обильно унитано Волково кладбище, но бесчисленное число их рассеяно по бесчисленному множеству кладбищ русской земли не только больших городов, но и малых и даже, вероятно, сел, и почивает там также для всех безвестно, как и здесь. Я говорю о русской литературной богеме, которая в конце 50-х гг. стала появляться в русской литературе

всегда почти безымянно, редко даже с псевдонимами, с каждым днем все прибывала и разрасталась, разлившись, наконец, решительно по всей России и посылая только голые известия и факты в Петербург, которые приводила в порядок уже редакция журналов и газет. Я знал только немногих лиц из этой богемы, которые проживали в Петербурге, но лица, которых я знал, были некоторым образом более или менее значительными центрами, к которым провинциальная богема посылала свои известия из разных русских городов. Признаюсь откровенно, что я сердечно любил и уважал русскую богему 60-х гг., любил и уважал гораздо более, чем иных записных тогдашних литераторов, которые обращали на себя внимание своими талантами и сведениями. Собраты из богемы были все прекрасные, самоотверженные, безупречно честные собраты. Они представляли собой первые ряды добровольцев из разночинцев, proprio motu явившихся на литературное поприще и немедленно обративших литературу в боевое орудие для общественных целей. Не на розах проводили они жизнь, но в постоянной неровной борьбе, оставаясь верны своему делу до конца.

Литературная богема 60-х гг. была в цвете и полной силе до начала 1863 г., потом года два, три оставались еще эпигоны, а потом совсем вымерла. Конечно, обличения продолжались и потом, даже с подделками под характер богемы, продолжаются и теперь и будут всегда продолжаться, но тут ничего даже похожего на богему начала 60-гг.: давно исчезли легионы, ее составляющие, вместе с ними умер и одушевлявший ее дух.

Заслуги богемы остаются до сих пор не только неоцененными надлежащим образом, они даже не отмечены. В литературе есть только один этюд, освещающий отчасти русскую богему 60-х гг., принадлежащий Щедрину, под названием «Литераторы-обыватели». Этюд этот прекрасно изображает положение одного из деятелей русской богемы, проживающего в захолустном уездном городишке Глупове, где шайка состоящих во главе управления городом и уездом чиновников приспособилась к уезду и городу, как к своей вотчине, живет припеваючи в свое удовольствие, дружно прикрывая обыденные взаимные грешки...

...Замечательно, что статья Щедрина, о которой мы говорим, написанная несомненно в защиту народившихся обличителей, произвела в литературе страшный спор. Некоторые приняли ее за прямое осмеяние обличителей. Один из таких обличителей, кронштадтский корреспондент «Экономического Указателя», г. Цветков, в негодовании на Щедрина за то, что он, по его мнению, отделал обличителей, обращается к нему с таким замечанием [83]: «не следует принимать аристократической осанки в отношении тех, кто по мере своих сил содействует если не возрастанию мысли, то обращению ее в народной массе». Г. Пятковский идет еще дальше [84]: он находит, что статья написана с целью положить конец развивающейся повально в провинции страсти к обличительству.

...Нет сомненья, что и г. Цветков и г. Пятковский поняли неверно смысл повести г. Щедрина и приписывали ему тенденцию, которой он не имел, и редактор «Искры» В. С. Курочкин

совершенно основательно опроверг их в своем журнале[85]. Тем не менее, из такого диаметрально-противоположного взгляда на основную мысль повести очевидно, что самая повесть в своих деталях дает почву к таким недоразумениям... Щедрин, как натура экспансивная и притом в высшей степени впечатлительная, не мог выражать того, что производило на него неприятное впечатление. Оттого иногда при изображении новых явлений, которым он вполне сочувствует, он не может скрыть того осадка горечи, который оставила или неумелость деятелей, или мелочность их, или отсутствие широты в их воззрениях. И накладывая слишком густые тени на недостатки деятелей, он тем не только лишает читателя возможности вполне ясно рассмотреть силу его настоящей симпатии к самой идее, но иногда прямо дает повод заподозривать его самого в состоянии неопределенном, колеблющемся, даже совсем отрицательном. Такой характер отчасти имеет и рассказ Щедрина, под названием «Литераторы обыватели», хотя ни для кого, кто внимательно прочтет этот рассказ, не может оставаться сомнения, что он имеет самую глубокую и горячую симпатию к явившейся повсюду русской богеме и главное, что он убежден, что она — явление не случайное, не дело каприза или безделья тех или других лиц, а явление необходимое, неизбежное, потому что времена созрели и что члены богемы — все обличители, действуют не по посторонним убеждениям, порожденным расчетом и т. п., а по чувству долга, в твердой уверенности, что это их нравственная обязанность, их призвание, за которое они готовы подвергнуться

каким угодно неприятностям, страданиям. Характеристика глубоко верная. Эта черта резко отделяет богему нашего героического времени — начала 60-х гг. — от длинного ряда обличителей последующего времени.

Богема по своим талантам и сведениям была разнообразна до бесконечности. Большая часть ее, вероятно, не знала ничего или, может быть, разве немножко более десяти заповедей. Но этого было совершенно достаточно для ее действий. Не убий, не укради, не прелюбы-сотвори, не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна и так далее, вот весь тот кодекс нравственности, за исполнением которого в общественной жизни она следила в тех, впрочем, только явлениях, которые окружены были тайною для закона, суда и полиции или истинная духовная сущность и смысл которых были неуловимы для них, как преследующих неисполнение только буквы закона или которые происходили публично в наглой расправе над лицами беззащитными. Ложь, лицемерие, своекорыстие, самоуправство, наглость, эксплоатация, нахальство — вот те общественные пороки, которые преимущественно преследовала богема со всею неутомимостью, имея при этом всегда в виду защиту эксплоатируемых, притесняемых, обижаемых, в особенности если они беззащитны по возрасту, полу, своему общественному положению и т. д. Богема находила в то время приют почти во всех издававшихся тогда газетах и журналах, но главным ее столичным притоном, если не ошибаюсь, надобно считать «Искру». Здесь, кроме бесчисленных обличительных корреспонденций во всех родах — и в прозе, и

в стихах, и в рассказах, заметках, подписываемых обыкновенно псевдонимами, — существовал еще особый отдел «Нам пишут», редактировавшийся Стопановским, составлявшим его по корреспонденциям, получаемым из различных мест России... Цензура, конечно, не позволяла, как ныне, называть обличаемых по имени, но даже называть те города, где они живут и где происходят обличаемые действия. Потому образовался целый словарь городов с условными названиями: Краснорецк, Кутерьма, Лилиенград, Тмутаракань, Златогорск, Чернякин, Белознаменск и т. д., и с условными именами действующих в них героев, в особенности, если они занимали в них выдающийся пост по своему общественному положению. В провинции каждый город, о котором шла речь, немедленно узнавал свой псевдоним, так как описываемое то или другое совершившееся в нем безобразие было, конечно, известно целому городу, а вместе с тем, разумеется, узнавалось и лицо, о котором шла речь. В Петербурге, Москве и других больших городах цель гласности таким путем не могла достигаться, разве в исключительных случаях, когда какой-нибудь крупный скандал делался известным всему городу. Тогда делу гласности здесь помогали отчасти иногда рисунки «Искры». Покойный Степанов, прекрасный рисовальщик, давал изображаемым на этих рисунках лицам такое сходство с подлинными, что цензура нередко приказывала или сбривать бакенбарды с изображаемого лица, или поставить его не en face, а в профиль, чтобы не так резко бросалось в глаза сходство. Кроме того, у «Искры», вероятно благодаря рисункам, появились совершенно не-

известные редакции добровольные *словесные* сотрудники в пользу гласности, которые ходили по петербургским табельдотам и объясняли появившиеся в «Искре» рисунки и статьи. В 1859 г. мне несколько раз случалось обедать в одном небольшом табельдоте на Морской, где собиралось до пятнадцати и больше человек, — все люду интеллигентного, чиновников, моряков и т. п. И при мне два раза, в день выхода «Искры» или на другой день по ее выходе, являлся молодой человек из служащих, обедавший постоянно тут и, повидимому, знакомый со всеми, вынимал вышедший номер «Искры» из кармана и начинал излагать чуть не целую лекцию об этом номере, объясняя рисунки, кого они изображают, по какому поводу или случаю они явились, говорил о содержащихся статьях, о затруднениях, которые встретились в цензуре, и т. д. и т. п. Все присутствующие слушали внимательно, делали возражения, требовали пояснений. Он отвечал на все вопросы и возражения, давал требуемые пояснения, повидимому, он был au courant всего, что делалось в «Искре». Я был убежден, что этот человек участвует в «Искре», стоит близко к ее редакции и что его обеденные импровизации в табельдоте об «Искре» делаются с ведома ее редакции для вящшего распространения журнала. Оказалось совсем нет. Впоследствии я довольно близко познакомился с редактором «Искры» В. С. Курочкиным, был иногда на его журфиксах, и здесь познакомился и с другим редактором «Искры» Степановым, но ни тот, ни другой не имели никаких сведений о неизвестных добровольцах, действующих в их пользу по табельдотам, оба

они уверяли меня, что у них не было и в мыслях пользоваться подобного рода пропагандой для распространения «Искры», которая и без того шла очень шибко.

Таким образом несомненно, что молодой человек, которого я видел в кухмистерской Большой Морской в качестве пропагандиста «Искры», был вполне добровольцем, совершенно чуждым редакции. Откуда же он почерпал такие обстоятельные, до малейших подробностей сведения, относящиеся к «Искре», и насколько они были точны и вообще правдивы? В то время когда я был случайным и невольным слушателем этого ретивого пропагандиста «Искры», я не особенно интересовался русской литературой и тем более «Искрой» и не слушал внимательно того, что рассказывал доброволец об «Искре», в уверенности, что это не более как ловкая реклама для вновь явившегося журнала. Но впоследствии я очень пожалел, что не выслушал всего внимательно и и не записал в подробности. Для каждого журнала и газеты, имеющих ход, весьма важно знать, как думает об них читающая публика, чего в них ищет и что читает в них, имея в виду препятствия со стороны цензуры, между строками. Для «Искры», которая занималась исключительно обличениями, это тем более было важно. Очевидно, что этот незнакомый добровольный пропагандист «Искры» принадлежал к той части бесчисленной, разметавшейся по всей России русской богеме, которая не владела пером, но владела словом, и в каждой местности, в которой она проживала, считала своим долгом красноречиво иллюстрировать своими устными коммен-

тариями то, что появлялось в печати относительно родной или хорошо знакомой ей местности. Эта словесная богема, конечно, в десять раз, если не более, была многочисленнее богемы пишущей. Поэтому можно судить, как в начале 60-х гг. была возбуждена Россия во всех городах, — и возбуждена самым благотворным образом.

...Раз я, чтобы немножко расшевелить иногда заходившего ко мне очень даровитого юношу, который горячо защищал русскую богему и сам принимал большое участие в обличениях разных злоупотреблений по своей родине, сказал ему: ну что ваши обличения, совсем это пустое дело: ни к чему это не послужит, а только тешит вас. Вот другое дело — хорошо составленная публицистическая статья или этюды талантливо изложенные... Эти мои простые слова, выражающие почти общепринятое мнение о нашей богеме, произвели такое действие на юношу, что он вдруг подпрыгнул на месте. Как, начал он, вы находите, что талантливые публицистические статьи и этюды приносят больше пользы обществу, чем богема? Так я вам скажу, что эти ваши талантливые статьи и этюды не приносят и ничтожной доли той пользы, какую приносит богема...

Для нас самый главный вопрос ведь не в будущем только, а именно в настоящем, и я могу сказать даже исключительно в настоящем. Я, например, совершенно убежден, что через пятьдесят лет будет немыслимо, чтобы какой-нибудь самый тупоумный учитель позволил себе поднять руку на ученика. А теперь они сплошь и рядом такие. Даже интеллигентные из них доказывают, что без порки и заушения ничего не сделаешь. Я не

теряю веры даже в то, что через пятьдесят лет ни в одном из самых захолустных городов России не окажется возможным такой градоначальник, какие нынче обыкновенны почти всюду, даже в самых больших и блестящих городах, т. е. который бы смотрел на обывателей, находящихся под его управлением, как на своих домашних кур, и сажал в полицейскую кутузку и выпускал чисто по своей прихоти, не стеснялся тем, чтобы съездить представленного ему арестанта в зубы ни за что, ни про что, а просто положим за то, что он смело заявил протест против неправильности ареста, не стеснялся тем, чтобы при производимом дознании преступления возбуждать сознание в нем преступника, не влепил двести и более розог, не надавал ему тумаков во все части тела, не искалечил физиономии, не обругал его отборными матерными словами — и все это часто в присутствии всего своего штаба — частных приставов, квартальных, помощников канцеляристов, будочников, которые, заметьте, все, когда преступник пожаловался бы на пристрастные вопросы и началось бы следствие — все до единого под присягой покажут, что ничего этого не было, что жалоба преступника чистая выдумка, оговор, клевета — чему и были бесчисленные примеры. Так что вы поделаете с такими извергами человечества с вашею литературой, спрашиваю я вас? Читайте им хоть по целым дням Гоголя и Островского и всех других лучших поэтов, — это нисколько на них не подействует. Чтение чтением, а неистовствовать они будут попрежнему. Да, впрочем, что им поэзия! Разве она для них невидальщина? Ведь изверги

они только в одном, — в любви к ненужным наказаниям и истязаниям, а в остальном во всем они часто милые обворожительные люди и при этом самые любознательные, и нередко знают наизусть всех ваших поэтов и чуть не обожают Гоголя. Нет, батенька, тут обыкновенной литературой ничего не сделаешь, да мало, что литературой, даже судом не всего успеешь, потому, что может сделать суд, скажем, против городничего, обвиненного в истязании, когда он действует сконом, когда целая шайка преданных ему душой и телом его сослуживцев в полиции, его подчиненных канцелярских чиновников, наконец, будочников, готовы все под присягой всегда показать, что никаких истязаний не было и никогда у них не бывает.

Совсем другое дело наша богема, удар был ее всегда верный и всегда почти сопровождался уничтожением того злоупотребления, против которого он вооружался. Обличения ее были все равно, что действие по лицу, произведенное известной особе в присутствии целого города. Нельзя было и отрекаться от того дельца, за которое последует удар, потому что о том, что дело было и как оно было, знал весь город. Но и нельзя было и презреть и с бесстыдством продолжать делать то же, что делал прежде. Потому что раз богема заметила и отметила неправду выдающуюся, достойную казни, она не отстанет и наносит и второй удар, и третий, и так без конца, пока неправда не уничтожится. Ну, понятно, что с печатями на лице никому не приятно ходить между людей и, volens-nolens, человек, самый упорный, которого начинает преследовать богема,

отстает от дурных привычек и делается сносным, а иногда и совсем порядочным человеком. Да чего! Вы помните, конечно, Психо, которого «Искра» причла к сонму своих приснопамятных и то-и-дело заносила его подвиги на свои страницы? Уж на что был самодур! За каждую ничтожную малость, не разобрав дела, без толку лез на каждого ученика, с бранью и криками бил по чему и чем попало. Но после того как «Искра» прохватила его несколько раз и пожаловала титулом приснопамятного, стал совсем как шелковый.

Скажите: каким Гоголем, каким собранием всевозможных Гоголей достигнете вы подобного результата? Да оно так и должно быть. Для всякой цели должно быть свое, своеобразно с целью, орудие. Для формирования нравственно-общественных идеалов в молодых умах, для показания им существующей грязи и пошлости в современном обществе нужны Гоголь и Островский и другие, подобные им, поэты и публицисты-критики, а для очищения грязи и вони в настоящем— насколько то возможно, ибо и теперь в настоящем надобно иметь возможность хоть немножко дышать — необходима литература боевая и именно такая, какую представляет собой наша богема...

Я ничего не отвечал на этот восторженный панегирик богеме 60-х гг. Во всем том, что он высказал, я мало находил преувеличений и внутренне был почти совершенно согласен даже тогда, когда мы неслись на всех парусах вперед, окрыляемые бесконечными надеждами и рисуя себе будущее самыми блестящими и радужными

красками... Теперь, пробегая мысленно все прошлое, я могу только глубоко пожалеть о том, что время нашей богемы так скоро кончилось, что, погнавшись за разными манившими нас впереди красивыми призраками и иллюзиями, мы не дали ей возможности еще несколько лет потрудиться над очисткой накопившейся в России грязи и зловонии, — а это было бы очень и очень полезно для нашего современного будущего. Но прошлого воротить нельзя. Поблагодарим же и воздадим нашей богеме честь и хвалу и за все то, что она делала и успела сделать в свое короткое существование...

IV. ИЗ РУКОПИСЕЙ Г. З. ЕЛИСЕЕВА

О романе «Что делать?» и «коммуне» В. А. Слепцова

Вводная заметка

В основном тексте воспоминаний Елисеев касается вопроса о восприятии читателями романа «Что делать?». Приводимый ниже отрывок представляет собой расширенный вариант на эту же тему, которая трактуется в связи с любопытнейшим начинанием 60-х гг. — организацией В. А. Слепцовым коммунального общежития.

О «коммуне Слепцова» известно очень немного. Поэтому воспоминания о ней Елисеева, полемика с отзывами о ней различных лиц и оценка восприятия ее широкой публикой представляют большой интерес. Конечно, Елисеев не прав, отрицая всякий идейный смысл «слепцовской коммуны». Ее идейный смысл заключался в ударе по современному быту, традициям, нравственным нормам. Общественное мнение, конечно, не без основания связывало эту «коммуну» с теми различными произведениями, напечатанными в «Современнике», которые Елисеев объединяет понятием утопии. И программа Лассаля, и сны Веры Павловны, и рассказ о новом быте в американском селении «Новые времена» так или иначе звали к социальной перестройке современных им людских взаимоотношений. А «коммуна Слепцова» являлась живым протестом против существующего быта.

Помещаемый отрывок в печати появляется впервые. Он остался неизвестным даже посвятившему «слепцовской коммуне» специальную статью — К. И. Чуковскому (см. К. Чуковский. «История слепцовской коммуны» в книге — В. А. Слепцов. «Сочинения». «Academia», 1932, стр. 551—582).

Вскоре после того как на страницах «Современника» появился роман Чернышевского «Что делать?», одному из молодых людей, тогда очень известному в петербургских литературных кружках, Василию Алексеевичу Слепцову, пришло на мысль убедить несколько знакомых ему мужчин и дам, имевших, так же как и он, недостаточные средства и живших в одиночку по разным chambres meublées, соединиться вместе и нанять одну общую квартиру с собственным хозяйством. Красавец собою, дамский поклонник, сердцеед и вместе фаворит, человек не без способностей, искусный на все руки — и недурной актер, и замечательный чтец, и литератор не из заурядных, принимавший участие и в беллетристике, и в публицистике, В. А. Слепцов стал душою общества, соединившегося для жития в общей квартире, и некоторым образом ее хозяином. Он и приискивал квартиру, и нанимал ее, и устраивал, и был ее представителем за всех и перед хозяином дома, и перед полицией. Квартира была нанята на имя Слепцова по контракту на целый год, но за недостатком средств у собравшихся в ней на житье, целый год не могла продержаться.

Помню раз, как-то осенью, захожу я в книжный магазин Кожанчикова к общему тогда прия-

телю многих либеральных литераторов приказчику этого магазина Матвею Яковлевичу Свирденко и застаю там В. А. Слепцова, парадно одетого и отправляющегося к хозяину квартиры убеждать его, чтобы он позволил ему, Слепцову, до срока контракта оставить квартиру, не взыскивая следующих по контракту денег еще за два или три месяца. Не зная хозяина, я, конечно, усомнился, чтобы он согласился на такую льготу. Но Слепцов надеялся подействовать на него своим красноречием, причем прибавлял, что итти во всяком случае надо, и он пойдет и попытается умолить его. «А то мне, — говорил, — придется влезть в неоплатные долги. Потому что у сожителей совсем нет денег и платят плохо». Потом я узнал, что Слепцову удалось убедить хозяина уничтожить контракт.

Таков был конец общей квартиры. Но начало ее было блестящее и наделало много шуму в Петербурге. Явление было слишком необыкновенное, чтобы не обратить на себя общего внимания. Никто не хотел верить, что в основании этого явления лежат простые экономические расчеты, дешевизна совместной жизни и т. п. «Помилуйте, — говорили люди солидные, — разве из за таких пустяков, как экономический расчет, могут приличные молодые женщины согласиться на общежитие с мужчинами и через это сделать себя позорищем для всех?» В открывшееся общежитие валом повалили сначала все друзья и знакомые поселившихся в нем дам и мужчин, потом знакомые друзей и знакомых и т. д. Все с любопытством рассматривали устройство общежития, отношения живших в нем лиц, их заня-

тия и т. д. Начались разные предположения об истинной цели этого общежития и с ним вместе началась игра, сплетни, сначала, конечно, незлобивой, гуляшей: «Представитель общежития и некоторым образом хозяин его — красивый молодой человек; товарищи его также недурные собой молодые люди. Гм! Ну, и понятно, почему согласились жить с ними на одной квартире молодые женщины».

Кожанчиков, тогдашний либеральный издатель и книгопродавец, занимавшийся изданием и раскольничьих книг, и вместе с тем большой сплетник, рассказывал всем по секрету, что два каких-то богатых купца из раскольников давали каждый по сто рублей с тем, чтобы он доставил им удовольствие хоть одним глазком в щелку взглянуть: как совершается свальный грех в коммуне, как называли общежитие. «Современник» слышал все это и смеялся, конечно, как над этими сплетнями, так и над самым названием простой квартиры коммуной. Сам он не имел к ней ни малейшего отношения, но так как инициатором коммуны и некоторым образом хозяином ее был Слепцов, который хотя и сотрудничал в разных газетах и журналах, но лучшие свои повести помещал в «Современнике» и так как кроме Слепцова жил в коммуне еще один сотрудник «Современника», теперь уже покойный, то нет ничего удивительного, что сплетня представила дело таким образом, что «Современник» на своих страницах дал место утопии Веры Павловны и вслед за тем немедленно постарался дать ей некоторое осуществление в основанной им коммуне.

Сплетня быстро разнесла по всей России весть об основанной в Петербурге коммуне со свальным грехом. Г-жа Ковалевская в своих «Воспоминаниях детства» пишет, что в 1863 г. на ее родине в Витебской губернии в селе Полибине знали уже о какой-то сплоченной коммуне, существующей в Петербурге. Здесь говорили, что в нее, эту коммуну, принимают всех молодых девушек, желающих покинуть родительский дом, что молодые люди обоего пола живут в этой коммуне в полнейшем коммунизме, что прислуги в ней не полагается и благородные барышни-дворянки собственноручно моют полы и чистят самовары («Вестник Европы» 1890, август). Ту же сплетню, но уже не в виде сплетни, а в качестве несомненного факта, полученного из достоверного источника, передает и Фет в своих воспоминаниях, помещенных в январской книжке московского «Русского Обозрения», начавшего выходить в нынешнем году [86]. Именно Фет рассказывает, что один раз, когда он был у Тургенева, к Тургеневу пришел Салтыков и стал последнему бойко расхваливать успех недавно возникших фаланстеров, где мужчины и женщины в свободном сожительстве приносят результат трудов своих в общий склад, причем каждый и каждая имеют право, входя в комнату другого, читать его книги, письма и брать его вещи, деньги. «Ну, а какая же участь ожидает детей?» — спросил Тургенев. «Детей не полагается», — отвечал Щедрин. «Русская Мысль», приводя эту заметку (март 1890 г.), думает, что сплетня сочинена самим Фетом в отместку покойному сатирику за отповедь его на письмо Фета, напечатанное

последним в «Русском Вестнике» по поводу вольнонаемного труда только что освобожденных крестьян, и отрывком из писем самого Салтыкова, собранных Арсеньевым для биографии Салтыкова в «Вестнике Европы», доказывает, что Салтыков был совсем другого мнения о фаланстерах Фурье и никак не мог их расхваливать. Я также затрудняюсь допустить, чтобы Салтыков, сам бывавший, вероятно, не один раз в устроенной Слепцовым квартире и хорошо знавший всех живущих в ней лиц, мог в простом совместном жительстве людей, собравшихся вместе единственно из расчетов хозяйственных и не связанных между собой никакими уставами, никакими особенными законами и правилами для жизни, мог видеть в этом общежитии нечто даже похожее на фаланстеры Фурье. Правда, что факт столь необычайного для наших патриархальных правов явления, как совместное жительство молодых людей обоего пола, не мог не произвести на него более или менее сильного впечатления и подавал ему повод к юмористическим сравнениям с подобными фактами в прошлом. Но подобные сравнения были всегда чисто шуточные и касались исключительно внешней стороны живущих в общежитии лиц. Так, на него в устроенном Слепцовым общежитии очень сильное впечатление произвел один сотрудник «Современника»,—не Слепцов, а другой, — человек с большой бородой, серьезный на вид, который выделялся сразу из остальной собравшейся около него молодежи своей наружностью и некоторым образом оттенял ее своею особой, потому Салтыков называл его отцом Анфантепом [87]. Это прозвище в памяти Салтыкова оста-

лось за ним навсегда, так что нередко, когда случалось упоминать об нем, вместо настоящей его фамилии, в его воспоминании быстрее являлось имя отца Анфантена, чем его действительное имя. Очевидно, в игривой фантазии Салтыкова персонаж общежития, устроенного Слепцовым, утвердился не под образом фаланстера Фурье, а под образом мепильмонтанского семейства, которое, впрочем, на русской почве интересовало его не в смысле особенностей быта и жизни, а в качестве картины, на первом плане которой из него выделялся так поразивший его контрастом с остальными лицами картины отец и глава этого семейства Анфантен.

После утопии, которая содержалась в снах Веры Павловны, в августовской книжке «Современника» за 1865 г. помещена была другая утопия под названием «Новые Времена». Это, впрочем, была и не утопия, т. е. не дерзкая игра воображения, рисующего по своей прихоти и произволу отдаленное от нас целыми веками будущее, а современную нам действительнейшую действительность. «Новые времена» — называлась деревня, состоящая из 100 коттеджей и находившаяся в трех часах езды от Нью-Йорка, которая во время Северо-американской войны в целом своем составе переехала в Южную Америку и оставалась там. Экономическая основа этой общины состояла в полном отрицании денег; стоимость каждой вещи определялась количеством часов труда, на нее положенных, а эквивалентом часов труда считалось известное количество фунтов хлеба. В основу социального устройства общины было положено верховное право личности, которой было предоставлено одеваться во что

угодно, вести себя как угодно, думать, говорить, делать что угодно, лишь бы этим не стеснялась свобода других. Женщины имели совершенно одинаковые права с мужчинами. Брачные дела, само собой разумеется, были вполне предоставлены самим мужчинам и женщинам. Они могли вступать в формальный брак и устраивать нечто в роде гражданского брака, жить в одном или разных домах, делать свои отношения известными или оставлять неизвестными для остальной деревни. Отношения могли быть прекращены когда угодно, без всяких формальностей. Из этого закона о браке произошли известные обычные правила. Тайна сохранялась очень строго, и считалось неприличным спрашивать об отце новорожденного ребенка или кто муж, или жена какого-либо лица. Те, кто стоял в отношениях мужа и жены, носили на пальце красный снурок, и до тех пор, пока можно было видеть этот знак, лицо считалось находящимся в браке. Если знак исчезал, это означало, что брак окончился («Современник» 1865, август, «Новые Времена», стр. 576).

Хотя «Современник» предпослал статье «Новые Времена» обстоятельное предисловие, в котором, между прочим, говорил, что русским читателям ужасаться ее нечего, что до нас идеи в ней проводимые никакого касательства не имеют, тем не менее министр нашел нужным сделать за нее журналу предостережение [88].

К числу утопий для нашего общества должна быть отнесена и та грандиозная эпопея, которую «Современник» con amore пропагандировал, о действиях и речах знаменитого социалиста, тогда

только что скончавшегося, Фердинанда Лассаля. Та великая программа, которую в своей речи разъяснял Лассаль германскому рабочему сословию, совпадала до известной степени с программою, которую, хоть и не столь сознательно и определенно, пропагандировал «Современник» для русского прогрессивного движения, и препятствия, которые лежали на пути для скорого и точного исполнения этой программы, в Германии были почти те же, что и у нас. Но потому ли, что Лассаль для распространения своих идей рекомендовал путь вполне мирный и некоторым образом научный, потому ли, что агитация его была терпима в государстве строго монархическом, более или менее походившем по своим тенденциям на наше, — эпопея эта прошла беспрепятственно. Причем не только была вполне переведена даже прекрасная речь Лассаля к четвертому сословию, но и снабжена дельным предисловием [89], пояснявшим сходство наших общественных отношений с изображаемым в речи Лассаля.

Помещение подобных утопий в журнале не могло иметь никакой другой цели, кроме той, чтобы изображением идеального благополучия общества, которого оно может достигнуть хотя бы в самое отдаленное время, при условии постоянного и неуклонного развития идей, пропагандируемых журналом, и этим сильнее привязать общество к таким идеям и заставить его энергичнее отстаивать их в настоящем. Само собой разумеется, что было бы нелепо думать, что «Современник», помещая на своих страницах, положим, такую утопию, как сны Веры Павловны, которая при совершенном изменении полити-

ческого, социального, экономического строя общества требовала притом полного нравственного перевоспитания человечества на других началах и которая, поэтому, при самых благоприятных условиях и при напряженном стремлении к ней всего общества, едва ли могла бы совершиться даже в тысячу лет, сам считал возможным осуществить в настоящее время или мог думать, что найдется безумец, который, при полной невозможности физической, все-таки будет пытаться сделать это. Поэтому «Современник» не мог опасаться подобных попыток ни в то время, когда печатал эти утопии, и не мог смотреть на них, как на нечто серьезное даже в то время, когда эти попытки кем-нибудь предпринимались по напечатании утопии. Он мог видеть в подобных попытках безвредную шутку, шалость и больше ничего.

V. ИЗ РУКОПИСЕЙ Г. З. ЕЛИСЕЕВА

Об «Отцах и детях»

Вводная заметка

Роман Тургенева «Отцы и дети» был воспринят революционно-демократической интеллигенцией как пасквиль на ее представителей, как пасквиль, согласно терминологии того времени, на молодое поколение. Это мнение было широко распространено и неоднократно повторялось в печати от критических статей «Современника» до «искровских» стихотворений и карикатурных романов Волкова.

На этой же точке зрения стоит и Г. З. Елисеев в приводимой ниже заметке. Он не только утверждает пасквильность тургеневского романа, но и объясняет ее личною обидою Тургенева на «Современник». При этом интересно, что пасквильная характеристика «Детей» в тургеневском романе Елисееву представлялась не столько карикатурою на деятелей нового типа, сколько злобным маскарадом, в котором под фирмою молодого поколения выводилась молодежь старого толка.

Кроме этой общей, объективно не вполне правильной оценки тургеневского романа, в характеристике Елисеева преувеличена его социальная роль.

Совершенно ясно, что роман Тургенева, каким бы ни был его общественный резонанс, не мог быть причиною общественной и правительственной реакции, поднявшей голову со второй половины 1862 г., как это вытекает из заключительного абзаца приводимого ниже

отрывка. Елисеев подменяет здесь причину следствием. И самый роман и его восприятие различными социальными группами явились результатом, показателем той идеологической дифференциации, тех классово-различных интересов, которые со всею яркостью обнаружились в русской общественной жизни после обнародования крестьянской реформы и первых революционных откликов на нее — политических прокламаций и крестьянских бунтов.

Но несмотря на некоторое пристрастие и преувеличения Елисеева, характерные для него как представителя демократической позиции «Современника», — его рассказ о разрыве «Отцов» и «Детей», о расколе единого когда-то стана «либералов-прогрессистов» на классово-чуждые и враждебные группы представляет немалый интерес.

Помещаемая заметка является отрывком из большой статьи «О старом земстве и земстве обновленном», из которой извлечен и предыдущий отрывок о романе «Что делать?» и «коммуне Слепцова».

В настоящем распространенном виде заметка печатается впервые. В свое время из нее были приведены некоторые цитаты в статье В. Евгеньева: «Черты редакторской деятельности Н. А. Некрасова в связи с историей его журналов» (см. «Голос Минувшего» 1915, № 9).

«Еще до эмансипации, в том центральном резервуаре, из которого либерализм двумя рукавами лился на всю Россию, озаряя новым светом все, даже самые отдаленные захолустья нашего отечества, оказалась маленькая трещина. Возникло некоторое несогласие между двумя главными провозвестниками и столпами русского либерализма: «Русским Вестником» в Москве и «Современни-

ком» в Петербурге. Ученая профессорская корпорация в Московском университете, на лоне которой возник и воспитался «Русский Вестник», сильно озабоченная появлением этой трещины, призвала в свою среду одного знаменитого профессора из Киева [90], специального знатока в той науке, по части которой произошло разногласие, и поручила ему уничтожить возникшее разногласие. Но «Современник» находил все возражения знаменитого профессора недостаточно основательными и победоносно их отражал [91], и трещина осталась такою же, как и была. Но прежде она была мало кому приметна; теперь же из споров, которые вел «Современник» с знаменитым профессором, стало выясняться, что начала, которые признают «Русский Вестник» и «Современник», так различны, что развитые из них доктрины в приложении к жизни будут в большей части случаев не сходиться между собой и исключать воззрение одна другой. Но «Современник» не вдавался в подробное развитие своих доктрин вообще и тем более в приложении к жизни. Он старался прочно утвердить истинность проповедуемых им начал предварительно на почве чисто теоретической, указывая только при случае те вопиющие противоречия, которые возмущают стройный ход жизни, в основании которой лежат начала, противоположные им проповедуемым. Потому теоретическая трещина новоявленного русского либерализма могла бы надолго еще оставаться трещиной без всякой помехи жизни, как это и было во время эмансипации, по крайней мере, без особой помехи. Но личные страсти, как это всегда бывает в подобных случаях, ни

„Отцы и дети“

Лучше поздно чѣмъ никогда.
Пословица.

Отношенія романиста къ дѣтямъ, истинно-отеческія. Посмотри, съ какой заботою къ своему герою онъ приготовилъ для него и варикъ «Стелка-Растрепка», героя дѣтской повѣсти, и самые дѣтскіе сапоги, совершенно не нужныя и дурацкій «балахонъ — однимъ словомъ «шесть художника надъ нимъ играла» выпустая изъ взбалмошной души...

Отношенія же его къ «Отцамъ» совершенно другія.— Онъ умываетъ, причесываетъ, старается показать ихъ бѣленькими, приноситъ имъ и мыло и духи благоуханныя и щеточки и гребеночки и... и многое другое...

Карикатура на „Отцы и дети“

„Искра“ 1868 г. № 12

для кого непредвиденно, ускоряют развязку. Так случилось и здесь» [92].

В мартовской книжке «Современника» за 1860 г. по поводу только что напечатанной в «Русском Вестнике» повести И. С. Тургенева «Накануне» Добролюбов написал критическую статью, в которой, между прочим, говорил, что наша беллетристика продолжает расположать прежние типы Рудиных и Лаврецких, которых общественное движение давно уже перегнало. «В течение того периода времени, — писал Добролюбов, — пока рисовались перед нами все эти просвещенные поборники истины и добра, краснопречивые страдальцы возвышенных убеждений, подросли новые люди, для которых любовь к истине и честность стремлений уже не в диковинку. В голове и сердце нашего бездействующего общества за это время накопилось так много прекрасного; в существующем порядке дел замечено так много пелепого и бесчестного, что число людей, сознающих себя выше действительности, растет с каждым годом так, что скоро, пожалуй, все будут выше действительности. Кажется ясно, что нам нужны теперь не такие люди, которые бы еще больше возвышали нас над окружающею действительностью, а такие, которые бы подняли нас или нас научили поднять самую действительность до уровня тех разумных требований, какие мы уже сознали». Хотя герой новой повести Тургенева, болгарин по происхождению, был человек совсем другого порядка, чем Рудины и Лаврецкие, но так как он приготовлялся к деятельности в Болгарии, а для России оставался еще более пустым местом, чем пережитые ею Рудины и Лаврецкие,

то в новой повести Тургенева не оказалось того, в чем в данную минуту, по мнению критика, нуждалось русское общество.

В таком отношении критика к типам Рудиных и Лаврецких, как к типам отжившим, Тургенев, конечно, мог усмотреть косвенное порицание своего таланта за недостаток в нем чуткости к народившимся требованиям общества. Но было ли это порицание высказано Добролюбовым именно с намерением кольнуть Тургенева, это не из чего не видно. Напротив — статья была преисполнена похвалами прежней деятельности Тургенева; равно не высказывалось ни малейшего сомнения и в том, что Тургенев может исполнить именно то, что желает в данную минуту, по мнению критика, русское общество. Скорее можно было думать, что самым этим указанием на потребность того, что нужно обществу в данную минуту, критик хотел заохотить Тургенева взять на себя эту работу. Одним словом, статья Добролюбова не представляла Тургеневу ни малейшего повода для casus belli против «Современника».

Тем не менее Тургенев, узнав о статье еще в то время, когда она в корректурных листах представлена была на просмотр к цензору, сильно оскорбился критикою Добролюбова и протестовал против нее. По этому поводу в редакции «Современника» поднялась целая буря, о которой подробно рассказывает А. Я. Панаева в своих записках. Так как Добролюбов не видел в своей статье ничего обидного для Тургенева и не хотел ни уничтожать статьи, ни изменить ее в удовлетворение капризного требования Тургенева, то статья и появилась в мартовской книжке «Со-

временника» в том самом виде, в каком была в корректурах, представленных цензору. Это окончательно разобидело Тургенева, который считался постоянным сотрудником «Современника», о чем каждогодно в объявлениях перед новым годом было возвещаемо публике, как сделано было это и перед наступавшим 1860 г.

Кипятясь от злости и досады, Тургенев хотел дать чувствительный щелчок такому молокососу, каким был в его глазах Добролюбов, молокососу, который хотел сделаться ментором его, старого мастера в деле создания словесных художественных произведений, а вместе с тем и приютившему у себя этого молокососа «Современнику».

Но, конечно, нельзя и представить себе, чтобы такой завзятый либерал, каким был и остался до конца своих дней Тургенев, мог иметь намерение нанести существенный вред делу всей своей либеральной партии. Но вопреки его намерению, непредвиденно и неожиданно для него самого, он нанес первую, самую тяжелую рану этой партии, от которой она никогда не могла оправиться впоследствии [93].

Тургеневу пришла на ум злостная мысль сделать маскарад, заставив действовать перед публикой вместе и людей старых и тех, которых якобы Добролюбов называет людьми новыми, для чего под видом новых людей вывести тех же людей старых, т. е. имеющих одинаковые с ними мысли, чувствования и тенденции, но находящихся еще в школьном возрасте. Подходящих для подобной цели балбесов можно набрать сколько угодно среди всякой учащейся молодежи — была бы только охота. Для предположен-

ной Тургеневым цели подобный маскарад был тем более с руки, что «Современник» вообще стоял горой за молодое поколение и на него возлагал все надежды в будущем.

Хотя Добролюбов в своей статье прямо сказал, что тех новых людей, о которых он говорит, надобно искать в числе людей, воспитавшихся в прошлое время на типах Рудина и Лаврецких, а не на школьных скамьях, и, как бы предчувствуя, что именно в этом отношении могут исказить смысл его речи, оградил его таким примечанием к своей статье: «нас уже упрекали однажды в пристрастии к молодому поколению и указывали на пошлость и пустоту, которой оно предается в большей части своих представителей; но мы никогда и не думали отстаивать всех молодых людей огулом: пошлость и пустота составляют достояние всех времен и всех возрастов»; тем не менее Тургенев взял в представители новых людей несколько лиц, преимущественно из учащихся молодого поколения, и пошлых, и пустых, и глуповатых, и поставил во главе их медицинского студента Базарова, на которого все они смотрят с благоговением, как на своего вождя. Этот вождь выдается из всех других замечательною наглостью и нахальством, умением складно говорить, изрекать при случае меткие и резкие фразы в роде афоризмов, притворяться завзятым материалистом, в удостоверение чего постоянно занимался резанием лягушек, ни во что не верил, все отрицал как в теории, так и в практике жизни, с презрением насмехался над всеми составлявшими для других предмет благоговения обрядами, обычаями, приличиями,

Визитъ Базарова къ Одинцовой.
И, первое мгновеніе герой сконфузился, но...

Граф. Фрейбергъ

...терпѣть минуту онъ совершенно свободно разговаривалъ...

Карикатура на „Отцы и дети“

„Искра“ 1868 г. № 14

одним словом, это был чистейший нигилист, как и назвал его автор, которому во всем старались подражать все остальные персонажи, выведенные автором под именем новых людей.

Всю эту банду новых людей автор отправляет в наши провинциальные палестины к родителям двух главных фигур его рассказа, Базарова и Кирсанова, и к некоторым помещикам по соседству и заставляет их действовать там. Родители этих героев, а также их родные и знакомые, все люди старого воспитания, относятся к этим новым людям не только со всею любовью и лаской, но и с некоторым благоговением, как люди отсталые. Люди старые, не чуждые разных недостатков и слабостей в житейском быту, родители конфузятся за них перед своими детьми, заискивают у них снисхождения к ним, и даже, как это ни тяжело, исповедуются перед ними в своих слабостях. Но в новых людях не находится соответствующего отзыва на родительскую любовь и ласки, они тяготятся пребыванием в родительском доме и даже не считают нужным скрывать этого, над исповедью родителей в слабости смеются, поучая их при этом такой морали, что удовлетворение естественных влечений есть дело вполне законное, к чему поощряют тут же примером собственного пошлого волокитства. Вообще пошлое волокитство, дебоши, скандалы, пьянство, бездельное шатание из одного места в другое — вот в чем проходит все время этой странствующей банды якобы новых людей.

Свою новую повесть Тургенев назвал «Отцы и дети». Представляя ее читателям, он как бы говорил им: вот те новые люди, которых при-

готовляет «Современник» из учащейся молодежи. Рядом с ними он изобразил и старых. Но посмотрите: которые из них лучше. Картинка нарисована была очень ловко. Она сильно напоминала действительность. Положим, старые люди оказались точно немножко прикрашены. Но зато новые люди. Ах! Как они похожи! Да ведь это все те самые балбесы из учащейся молодежи, которые на каждом шагу мелькали перед публикой и на гуляниях, и в театрах, и разных собраниях... Да это они самые. Они живьем были выхвачены из жизни. Так вот это и есть самые нигилисты. «Так вот каких новых людей готовит нам «Современник» из нашего учащегося юношества», — говорило большинство публики. Слово «нигилист» сделалось почти озарением для всех. Точно завеса у всех спала с глаз, и всем стало ясно, какая такая преступность заключается в «Современнике». Доселе многие только смутно предполагали, что есть что-то недоброе в «Современнике», по темным слухам, исходящим от его недоброжелателей, но точно никто не мог сказать, в чем это недоброе состоит, и даже есть ли оно действительно. Теперь вина «Современника» для всех стала ясна. Он занимается приготовлением из учащейся молодежи для общества балбесов, ни во что не верующих, по жизни распущенных, ни к чему не пригодных, пожалуй, даже мазуриков.

«Напрасно «Современник» посвятил длинную статью рассмотрению повести Тургенева, где обстоятельно доказывалось, что картинка, нарисованная Тургеневым, есть чистый подлог, что в действительности серьезно учащаяся молодежь не имеет в себе ничего похожего на это изобра-

жение [94]. Статья эта не имела никакого действия. «Конечно, будет защищать дело рук своих»,— говорили, вероятно, о «Современнике» и те, кто имел терпение прочесть статью до конца. Нравственная репутация учащейся молодежи в общественном мнении вдруг страшно упала, так как молодые люди почти поголовно, огулом были зачислены в нигилисты. И когда весной 1862 г. [95] случился страшный пожар, уничтоживший Апраксин и Щукин дворы, молва не усомнилась признать виновниками этого пожара нигилистов. Они, дескать, жгут города. Газеты и журналы, передавая это голословное обвинение молвы, не сочли себя обязанными решительно и категорически отразить эту бессмысленную клевету [96]. Таким образом tacito modo пожар точно и действительно был признан делом нигилистов, и вместе с этим закрыт был на восемь месяцев «Современник», а бывший руководитель его немедленно заключен в крепость [97]. Всем этим как будто в самом деле подтверждалось то, что «Современник» занимался приготовлением из учащейся молодежи нигилистов — людей, способных на все, на самые преступные дела, как поджоги и т. п.

Вот какое страшное, если не прямое обвинение, то подозрение в нашем обществе могло возникнуть из такой пустой вещи, как красиво написанная легкомысленным человеком повесть[а], и какою оно тяжестью обрушилось и на ни в чем неповинный журнал, и на ни в чем неповинных работавших в нем сотрудников, и тем более на ни в чем неповинную учащуюся молодежь, и, наконец, также на неповинную ни в чем либеральную партию».

КОММЕНТАРИИ

ВОСПОМИНАНИЯ М. А. АНТОНОВИЧА

I. Личность Н. Г. Чернышевского

[1] Здесь речь не об окончательном запрещении «Современника», последовавшем в 1866 г. в связи с покушением Каракозова на Александра II, а о временной — на восемь месяцев — приостановке журнала в июне 1862 г.

[2] И в этом случае, и впоследствии (см. стр. 188) Антонович говорит о магистерской диссертации Чернышевского, как о «неудачной», имея в виду не ее содержание, а чисто формальный момент: министерство народного просвещения долго не утверждало постановления совета профессоров, признавшего Чернышевского достойным звания магистра. В виду этого двери университета оставались закрыты для Чернышевского. Когда через три с половиной года министерство утвердило, наконец, Чернышевского в звании магистра, он уже сам не пожелал променять трибуну журналиста на университетскую кафедру.

[3] Эти слова взяты из письма К. Д. Кавелина к Герцену («Письма Кавелина к Тургеневу и Герцену», стр. 82). Характерно, что в этом же письме Кавелин, один из вождей российского либерализма, чувствовавшего в Чернышевском своего заклятого врага, заявляет, что аресты — а следовательно и арест Чернышевского — ему «не кажутся возмутительными».

[4] Сигизмунд Сераковский (1836—1863) — казненный в 1863 г. за участие в польском восстании.

[5] Подробнее о своем первом знакомстве с Добролюбовым Антонович говорит в «Воспоминаниях о Н. А. Добролюбове» (см. выше, стр. 136—140).

[6] Антонович был питомцем петербургской духовной академии, которую окончил в 1859 г. Его сношения с редакцией «Современника» начались еще тогда, когда он был студентом четвертого курса.

[7] О нетерпимом отношении Чернышевского ко всякого рода попыткам подчеркнуть его влияние на Добролюбова, тем более представить последнего его учеником, Антонович говорит и в своих «Воспоминаниях о Добролюбове» (см. выше, стр. 156). В «Воспоминаниях о Некрасове» (см. стр. 201) упоминается резко полемическая статья Чернышевского против сотрудника «Библиотеки для Чтения» Зарина, назвавшего Чернышевского учителем Добролюбова («Библиотека для Чтения», № 1, 1862).

Однако утверждение Антоновича, что Добролюбов никогда не говорил с ним ни о личности, ни о статьях Чернышевского, находится в некотором противоречии с новонайденными страницами его же «Воспоминаний о Добролюбове» (их текст, подготовленный для № 3 сборника «Звенья», перепечатывается в настоящем издании), которые содержат отзывы Добролюбова о Чернышевском. В этих отзывах Добролюбов, вопреки мнению Чернышевского, подчеркивал, что он очень многим в деле своего развития обязан последнему. Думается, что в этом случае Добролюбов гораздо ближе к истине, чем Чернышевский. В наши дни едва ли кто-либо решится отрицать значительность влияния Чернышевского на Добролюбова. Позиция Чернышевского в этом вопросе диктовалась, с одной стороны, его исключительной любовью к Добролюбову, с другой — желанием, из соображений тактического порядка, поставить его на недосягаемо высокий пьедестал.

[8] Имеется в виду изданная в 1856 г. книжка: «Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения. Чтение для юношества».

[9] Рехневский Станислав-Казимир Соломонович — профессор академии генерального штаба, военный писатель. В 1859 г. он, действительно, был назначен исправляющим должность начальника эмеритального отдела канцелярии военного министерства.

[10] Кауфман Михаил Петрович в 1860 г., в чине генерал-майора, был назначен начальником Николаевского инженерного училища. Его брат, Константин Петрович, командовавший русскими войсками в Туркестане, имел резиденцию в Ташкенте; потом-то Антонович и называет его «ташкентским».

II. Поездка Чернышевского в Лондон

[11] Упоминание о «наших нынешних союзниках» позволяет утверждать, что данная статья писалась Антоновичем в годы империалистической войны.

[12] В 1855 г. начало выходить редактируемое П. В. Анненковым издание «Сочинений Пушкина». В статье Анненкова «Любопытная тяжба» («Вестник Европы» 1881, № 1) изложена история борьбы, которую пришлось вести за это издание с цензурой. Последующая цитата взята Антоновичем из статьи Чернышевского, которая отдельными главами печаталась во 2-й, 3-й, 7-й и 8-й книжках «Современника» 1855.

[13] Антонович вполне точен в этом своем указании. Приводимые им слова действительно находятся в тексте пятой главы «Очерков Гоголевского периода», помещенной в № 8 «Современника» 1856.

[14] Издание «Сочинений Белинского», о котором здесь говорится, — это двенадцатитомное издание Солдатен-

кова и Щепкина, начавшее выходить с 1859 г. в Москве. Здесь Антонович цитирует краткую заметку об этом издании Добролюбова, появившуюся в 4-й книжке «Современника» 1859.

[15] Антонович совершенно напрасно называет Айхенвальда «футуристским» критиком. Айхенвальд был сотрудником кадетских «Русских Ведомостей» и ярким представителем реакционно-вехистского эстетизма в критике. Выпад Антоновича против Айхенвальда вызван суждениями последнего о Белинском в ч. III «Силуэтов русских писателей» (1913), где Белинский именуется «шатким умом», «Виссарионом-отступником», «удручающе многословным» и т. п.

[16] Значительная часть этой цитаты повторена Антоновичем в его статье «Воспоминания по поводу чествования памяти Белинского», напечатанной в «Русской Мысли» еще в 1898 г., № 12. Однако то, что говорит Антонович в этой статье об отношении к Белинскому его самого и его сотоварищей по духовной академии и семинарии, не вполне гармонирует с восторженными словами Добролюбова о «счастливых» минутах, проведенных за чтением Белинского. По словам Антоновича, он и его сотоварищи ожидали встретить в статьях Белинского больше «вольных» мыслей, чем встретили на самом деле. Впрочем, Антонович не отрицает, что они все же находили в них «много нового и крайне интересного».

[17] Это — цитата из книги А. Надеждина «Журналы, газеты и публика» (СПБ. 1859). Антонович, по всей вероятности, извлек ее из рецензии Добролюбова на книгу Надеждина, напечатанной в № 9 «Современника» 1859 и перепечатанной в III т. панафидинского издания «Сочинений Добролюбова» (под ред. М. К. Лемке), которым Антонович широко и систематически пользуется в данной статье.

[18] «Искра» — сатирический журнал, издававшийся с 1859 г. В. С. Курочкиным и Н. А. Степановым; орган левого крыла разночинной интеллигенции.

[19] Здесь, несомненно, имеется в виду «весна», провозглашенная либерально-буржуазной печатью в связи с назначением на пост министра внутренних дел кн. Святополк-Мирского, сменившего на этом посту Плеве, убитого революционером Сазоновым. Однако никакого сколько-нибудь действительного поворота во внутренней политике в дни «весны» Святополк-Мирского не произошло.

[20] Прошение Генриха Станиславовича Буткевича (это его Антонович называет «подставным заслуженным подполковником») о резрешении издавать «Свисток» помечено апрелем 1859 г. В июне того же года Главное управление цензуры отказало Буткевичу в разрешении на «Свисток». Не помогли и «рекомендации нескольких генералов», о которых упоминает Антонович. Среди имен «генералов» встречаем имена близких знакомых Некрасова — «отставного генерал-майора Александра Еракова» и «генерального штаба подполковника Аничкова». Текст прошения Антонович, очевидно, цитирует по вводной статье Лемке к № 1 «Свистка» («Первое полное собрание сочинений Н. А. Добролюбова», т. II, стр. 928—931). Лемке же в своей статье «дословно» воспроизвел подлинник, хранившийся вместе с другими бумагами Добролюбова в Литературном Фонд

[21] Все эти цитаты взяты Антоновичем из статей Добролюбова, помещенных в № 2 «Свистка» («Современник» 1859, № 4), — «Письмо из провинции» и «Новые образчики русской гласности». Добролюбов же, в свою очередь, брал цитаты — о сапожнике — из «Русского Дневника» 1859, № 22, о фонарях и о сторонниках насилия и произвола — из «Московских Ведомостей» 1859, № 1.

[22] См. 1858, № 35,

[23] См. сентябрьские номера этих журналов.

[24] Подробные извлечения из этих печатных протестов и списки лиц, их подписавших, приведены в вводной статье Лемке к 1-му номеру «Свистка» («Собрание сочинений Добролюбова», т. II, стр. 933—935). Добролюбов посвятил данному инциденту большую статью в № 1 «Свистка» — «Письмо из провинции», откуда Антонович и берет свои цитаты.

[25] Антонович ошибся: статья «Литературные мелочи прошлого года» печаталась не в 1858 г., а в январском и апрельском номерах «Современника» 1859.

[26] Далее почти на протяжении печатного полулиста Антонович цитатами из статьи Добролюбова доказывает отставание литературы от правительственного почина и в вопросе о железнодорожном строительстве, и в вопросе о воспитании, и в вопросе о внешней торговле, и в вопросе о взяточничестве, и, что особенно важно, в крестьянском вопросе. Этих цитат — и по условиям места и за отсутствием необходимости в выписках из широко-известного источника — мы приводить не будем, отсылая интересующихся к соответствующим страницам «Литературных мелочей».

[27] Последующая цитата взята из письма в редакцию некоего Н. Ч. («Московские Ведомости», № 95).

[28] См. «Современник» 1859, № 4.

[29] Замечательно, что в рассказе Чернышевского о «неаполитанских изгнанниках» есть суждения, которые через несколько лет целиком и полностью могли быть применены к его собственному процессу. Упомянув о том, что «главным документом обвинения служило подложное письмо, написанное по распоряжению обвинителей каким-то господином, получившим за то денежное вознаграждение» (в деле Чернышевского таким «госпо-

дином» был Всеволод Костомаров), Чернышевский продолжает: «Либералы чрезвычайно громко кричат о беззаконности осуждения при таких обстоятельствах; но мы думаем, что в этом, как и во многих других случаях, либералы, останавливаясь на пустых подробностях, упускают из виду сущность дела. Разве не бывает таких процессов, в которых убеждение судей о виновности или невиновности подсудимого, составляется на основании впечатления, производимого всею его жизнью, его личностью и совокупностью тысячи мелочных фактов, из которых каждый сам по себе не составляет юридического доказательства, но которые все вместе производят нравственное убеждение о его виновности или невинности...» В 1862—1863 гг. это рассуждение целиком подтвердилось на процессе самого Чернышевского.

[30] В № 5 в конце того же отдела «Политика».

[31] В № 44 «Колокола» от 1 июня 1859 г.

[32] В предыдущем, выпущенном нами, отрывке Антонович цитировал Погодина, который, вызывая Костомарова на диспут, писал: «Вы, ради потехи, можете пригласить себе в секунданты любых рыцарей свистопляски», а также «Отечественные Записки» (1860, № 10), обрушившиеся с рядом обвинений по адресу «свистунов».

[33] Тургеневские «Воспоминания о Белинском» были напечатаны в 1869 г. в «Вестнике Европы» № 4.

[34] Антонович ошибается, утверждая, что статья Герцена не была подписана: она подписана обычным его псевдонимом, но в сокращенном виде — П—р, т. е. Искандер.

[35] Цензурный триумвират, это — высочайше учрежденный 24 января 1859 г. негласный «Комитет по делам книгопечатания», членами которого состояли: гр. А. В.

Адлерберг (друг Александра II, впоследствии — с 1872 г. — министр императорского двора), шеф жандармов и управляющий III Отделением генерал-адъютант А. Е. Тимашев (впоследствии — с 1868 г. — министр внутренних дел) и товарищ министра народного просвещения Н. А. Муханов. Деятельность Комитета, по официальным источникам, сводилась как к «неофициальному надзору» за литературой, так и к принятию мер к правильному и соответственному видам правительства направлению литературы. Данная Комитету инструкция предусматривала, между прочим, обязательность для редакций газет и журналов помещения статей, доставляемых с надписью одного из членов Комитета. Нечего и говорить, что Комитет был крайне непопулярен в широких кругах тогдашнего общества. Умеренный либерал, А. В. Никитенко сравнивает его в своих записках с прославившимся дикими репрессиями против печати Бутурлинским Комитетом (впрочем это не помешало Никитенко принять назначение на должность директора-делопроизводителя Комитета). М. Н. Катков, тогда еще настроенный либерально, резко ополчился против Комитета на страницах «Русского Вестника» (1859, № 12, «Современная летопись»). Мы вдались в эти подробности, чтобы показать, насколько оскорбительный смысл приобретал намек Герцена на то, что деятели «Современника» и «Свистка» находятся под «нашитием цензурного триумвирата».

[36] «Плантаторские комитеты» — губернские комитеты по крестьянскому делу, состоявшие главным образом из помещиков.

[37] Выражение «досвистаться... до Станислава на шею», т. е. до ордена, которым награждались за заслуги перед правительством, позволяет утверждать, что Герцен готов был допустить, что деятели «Современника»

и «Свистка» могут оказаться полезными правительству.

[38] Данная цитата взята из статьи Богучарского «Столкновение двух течений общественной мысли» — см. в книге «Из прошлого русского общества» (СПБ. 1904, стр. 246).

[39] Этот отрывок из дневника Добролюбова впервые был опубликован Лемке в тексте вводной заметки к статье «Что такое обломовщина» («Собрание сочинений Добролюбова», т. III, стр. 151—152).

[40] Это объяснение Антоновича представляется мало убедительным. Едва ли о дуэли с Герценом Некрасов заговорил потому, что надеялся на свое умение стрелять. Гораздо проще и естественнее предположить, что подобное намерение редактора «Современника» возникло под влиянием крайнего раздражения, вызванного, действительно, очень тяжелым оскорблением, нанесенным его журналу и сотрудникам.

[41] Имеется в виду статья о сборнике «Весна» («Современник» 1859, № 6).

[42] См. в № 4 «Свистка» («Современник» 1860, № 3) статью Добролюбова: «Наука и свистопляска, или как аукнется, так и откликнется».

[43] Слова Серно-Соловьевича, о которых упоминает Антонович, — это, без сомнения, следующая тирада из его памфлета против Герцена. Порицая появление «Very dangerous», он говорит: «Позвольте посоветовать вам перечесть письмо Добролюбова к вам по этому поводу: оно лучше, чем что-нибудь, должно освежить в вашей памяти давно забытые воспоминания и показать вам, как уже тогда, когда многое еще не выяснилось, когда вы были во всей силе своих словопризвержений, относились к вам эти люди» («Наши домашние дела», стр. 29).

*

[44] Вопрос о том, писал ли Добролюбов к Герцену в связи с данным инцидентом, остается невыясненным и до сего времени.

[45] И в этом случае автор воспоминаний поддался чувству старой неприязни к Некрасову: только что он утверждал, что Некрасов хотел драться с Герценом на дуэли, а теперь утверждает, что, боясь убыли подписчиков, Некрасов готов был «почтительнейше просить извинения у Герцена и даже умолять его о помиловании». Об извинениях перед Герценом в редакционном кружке «Современника», конечно, и речи не заходило; личное же объяснение Чернышевского с Герценом Некрасов мог считать весьма полезным.

[46] См. № 49 «Колокола» от 1 августа нов. ст.

[47] В данном случае Антонович имеет в виду приводимые Л. Ф. Пантелеевым в его воспоминаниях следующие слова Кавелина о «Свистке»: «Это большая хищная птица и делает хорошее дело: очищает наше болото от разной застарелой нечисти».

[48] Здесь Антонович полемизирует с Богучарским, статья которого о Герцене и Добролюбове озаглавлена: «Столкновение двух течений общественной мысли». В этой своей полемике автор воспоминаний ярче, чем где бы то ни было, обнаруживает свою неспособность понять действительные корни разногласий между Герценом и «Современником». В данном случае Богучарский был, конечно, неизмеримо ближе к истине, чем Антонович.

[49] Статья эта, напечатанная в № 83 «Колокола» за 1860 г., по мнению некоторых исследователей, воспроизводит сущность того спора, который вели Герцен («лишний человек») и Чернышевский («желчевик») во время свидания их в Лондоне.

[50] «Страшные обвинения» против Некрасова, составившие «кондовку» статьи «Лишние люди и желчевики»,

состояли в утверждении, — имя поэта не было названо, — что Некрасов — это «барышник, отдающий в рост свои слезы о народном страдании», «гонитель неправды, запирающий в свою шкатулку деньги, явно наворованные у друзей своих», и т. д. В последних словах — прозрачный намек на так называемое «огаревское дело». Обстоятельства этого последнего все еще не разъяснены полностью. Убеждение Герцена и Огарева в причастности Некрасова к расхищению денег, принадлежавших умершей жене Огарева, не основывается на документальных данных. М. К. Лемке, а вслед за ним и автор настоящих строк держатся того мнения, что Некрасов прикрывал в этом деле близкую ему А. Я. Панаеву, действительно поступившую в отношении как Марьи Львовны Огаревой, так и самого Огарева весьма неблаговидно. Когда Панаева была поставлена в необходимость уплатить Огареву весьма значительную сумму, в погашение невозвращенного долга, то уплату эту произвел из своих средств Некрасов.

[51] См. выше, стр. 40.

[52] Когда Антонович писал свои воспоминания, он, конечно, не был знаком с тем документом, который не только удостоверяет самый факт поездки Чернышевского в Лондон, но и обрисовывает, правда очень беглыми чертами, встречу Чернышевского с Герценом. Мы имеем в виду письмо Чернышевского к Добролюбову от «второй половины июня 1859 г.» (см. Чернышевский. «Литературное наследие», т. II). Вот относящиеся к интересующему нас эпизоду строки из этого письма:

«...Оставаться здесь долее было бы скучно. Разумеется, я ездил не понапрасну, но если б знал, что это дело так скучно, не взялся бы за него. Собственно здес

я с удовольствием прожил бы месяцы и годы — я нахожу, что здешние нравы лучше всего подходят к здравому смыслу, т. е. нравы туземцев. Но, боже мой, по делу надобно вести какие разговоры! Не хочу писать, чтобы не огорчить Пыпина, через руки которого пойдет это письмо, но если хотите вперед узнать мое впечатление, попросите Николая Алексеевича, чтобы он откровенно высказал свое мнение о моих теперешних собеседниках, и поверьте тому, что он скажет; он ошибется разве в одном: скажет все-таки что-нибудь лучшее, нежели сказал бы я об этом предмете. Кавелин в квадрате — вот Вам все».

«Николай Алексеевич», конечно, — Некрасов. «Кавелин в квадрате» — Герцен.

[53] Корреспонденция в «Daily News», о которой здесь говорится, была напечатана в 1883 г. в номере от 22 декабря. Называлась она «A russian political prisoner». Выдержка из нее в том же году была приведена в «Новом Времени» (№ 2804).

[54] В. Я. Богучарский был, действительно, довольно компетентным, но отнюдь не «беспристрастным» историком русской общественной мысли: все его самостоятельные работы на эту тему после 1905 г. проникнуты либеральной точкой зрения. Умер Богучарский в 1915 г.

[55] «Письма без адреса» предназначались для № 2 «Современника» 1862 г. и, действительно, не были пропущены цензурой. Содержание «Писем», обращенных к Александру II, сводилось «к критике абсолютизма, к разоблачению его органической неспособности к прогрессивным реформам и к доказательству того, что крестьянская реформа не улучшила, а ухудшила положение трудящихся масс, революционное выступление которых, поэтому, неминуемо» (Ю. Стеклов. «Н. Г. Чернышевский», 1928, т. II, стр. 95).

III. Материалы для биографии Чернышевского

[56] **Эвальд** Аркадий Васильевич (1836—1898) — писатель и журналист. Его литературная деятельность началась со второй половины 50-х гг. В 60-е годы Эвальд сотрудничал в «С.-Петербургских Ведомостях», «Голосе», «Всемирной Иллюстрации», где, кроме фельетонов и рецензий, помещал повести и рассказы. Впоследствии Эвальд редактировал «Всемирный Телеграф», «Всеобщую Газету», «Улей». В своих политических воззрениях не шел далее самого умеренного либерализма. Из его воспоминаний, напечатанных в «Историческом Вестнике» (1895), видно, что он был яростным противником революционно-демократического движения той эпохи.

[57] **Каруд**, очевидно, то же, что и дурак (буквы расставлены в обратном порядке).

[58] **Проф. П. В. Павлов** был выслан в Ветлугу 5 марта 1862 г., чрез три дня после его выступления на вечере Литературного Фонда с речью по поводу исполнившегося тысячелетия России. Произнося эту речь, прошедшую, кстати сказать, через цензуру, Павлов, с помощью интонаций и подчеркиванья некоторых слов, сумел придать ей ярко оппозиционный характер.

[59] Этому рассказу Антоновича значительно противоречит рассказ Л. Ф. Пантелеева («Из воспоминаний прошлого». СПБ. 1905, т. I, гл. XX), в котором указывается, что решение профессоров забастовать было принято не без давления со стороны членов ведавшего организацией лекций студенческого комитета, и что через день это решение было отменено самими же профессорами. Таким образом, если принять версию Пантелеева, то Костомаров едва ли подлежит обвинению в штрейкбрехерстве. Тем не менее совершенно ясно, что

во всей этой истории студенты проявили несравненно больше последовательности и твердости, чем профессора, поведение которых отличалось присущими российским либералам уклончивостью и двоедушием.

[60] Антонович, говоря что «дело расстроилось», забывает прибавить, что решающую роль сыграло здесь административное усмотрение: лекции «вольного университета» были прекращены по распоряжению министра народного просвещения А. В. Головнина. Это обстоятельство, конечно, не могло помешать реакционной печати повести атаку против студенчества, обвиняя его в том, что своим отношением к лекциям, в частности, скандалом на лекции Костомарова, оно вынудило-де правительство закрыть лекции.

[61] Близкие отношения Краевского к министерству народного просвещения неоспоримы. Однако вопрос о субсидии «Голосу» решался не в начале, а в исходе 1862 г., когда выяснилось, что «С.-Петербургские Ведомости» будут переданы Академией Наук Коршу, и Краевский вследствие этого пришел к мысли основать свою собственную газету, каковой и явился «Голос», начавший выходить с января 1863 г.

[62] Captatio benevolentiae — домогательство благоволения.

[63] Цензором, решившимся на пропуск этой статьи Чернышевского, был Ф. Еленев, тот самый Еленев, чей литературный псевдоним (Скалдин) стал историческим, благодаря знаменитой статье В. И. Ленина «От какого наследства мы отказываемся», в которой столько внимания уделено печатавшимся в «Отечественных Записках» в 1867—1869 гг. очеркам Еленева-Скалдина «В захолустьи и в столице».

[64] Под «разными правилами и инструкциями относительно воскресных школ» Чернышевский, надо ду-

мать, имел в виду циркуляр министра народного просвещения от 30 декабря 1860 г., предлагавший местным начальствам правила наблюдения за воскресными школами. Циркуляр этот был одобрен Александром II, который 8 января 1861 г. повелел «от имени его величества подтвердить попечителям о неослабном наблюдении за воскресными школами» и предложить духовному начальству назначить в каждую школу священника, который, сверх преподавания закона божия, наблюдал бы, «чтобы в школе не допускалось ничего противного правилам православной веры и началам нравственности». Все эти реакционные меры были продиктованы страхом «преступной пропаганды». Попытка Чернышевского замолвить слово в защиту воскресных школ при быстром росте реакционных настроений в правительственных сферах, конечно, не могла иметь успеха: 10 июня 1862 г. воскресные школы были закрыты.

[65] Текст известных правил 31 мая 1861 г., уничтожавших все зародыши кооперативного устройства студентов, отменявших освобождение студентов недостаточного состояния от платы за право учения, воспрещавших сходки, был напечатан на особых матрикулах. Студентам, желавшим оставаться в университете при новых порядках, было предложено подавать об этом прошения и брать матрикулы. Не подавшие прошений и не взявшие матрикул считались уволенными. На этой почве осенью 1861 г. разыгрались студенческие волнения. Во время этих волнений, сопровождавшихся уличными свалками с жандармами, несколько сот студентов было арестовано и заключено частью в Петропавловскую крепость, частью в Кронштадтский морской госпиталь. 20 декабря состоялось окончательное закрытие Университета. Тогда-то Костомаров и выступил со своим проектом «вольного университета».

[66] Скарятин В. Д. — реакционный публицист. До 1863 г. он сотрудничал преимущественно в «С.-Петербургских Ведомостях», где, между прочим, поместил очень резкую статью против Чернышевского—«Образцы самоновейшего красноречия» (1862 г., № 58). С 1863 г. вместе с Н. Юматовым предпринял издание грубо-охранительной «Вести», в течение всего своего существования (закрылась в 1870 г.) являвшейся оплотом дворянской реакции.

[67] Лохвицкий А. В. (1830—1884) — известный юрист: начал свою профессорскую деятельность в Ришельевском лицее, а по переезде в Петербург продолжал в Александровском лицее и Военно-юридической академии. В 60-е годы сотрудничал в либеральной периодике — «Отечественных Записках», «Голосе». С 1869 г. вместе с профессором А. П. Чебышевым-Дмитриевым редактировал «Судебный Вестник». В 70-х и 80-х гг. занимался адвокатурой.

[68] Реакционная газета Н. Ф. Павлова «Наше Время» с 1860 по 1861 г. была еженедельным изданием, а с 1862 по 1863 г. выходила ежедневно.

[69] Вопрос о том, каким образом написанный в тюрьме роман «Что делать?», революционные и социалистические тенденции которого несомненны, мог появиться в легальном журнале, да еще в столь реакционную эпоху как 1863 г., интересовал не одного Эвальда. Ю. М. Стеклов, автор двухтомной монографии о Чернышевском, исходя из данных, содержащихся в ряде источников (например, в воспоминаниях цензора О. А. Пржецлавского — «Русская Старина» 1875, № 9; в книге М. К. Лемке «Политические процессы», 1923, стр. 235; в статье А. Скафтымова — Саратовский сборник, «Н. Г. Чернышевский», 1926, стр. 96—97), выдвигает следующее объяснение этого факта: «по мере изгото-

вления рукописи она просматривалась каким-либо членом следственной комиссии кн. Голицына, причем следователи интересовались только вопросом о том, имеет ли рукопись отношение к «делу» Чернышевского, а затем просмотренные части рукописи пересылались через обер-полицеймейстера А. Н. Пыпину с напоминанием, что печатание романа должно происходить на основании общих цензурных правил. Но цензор, видя на рукописи печать и шнуры всемогущей следственной комиссии и полагая, что ее грозной цензуры достаточно, пропускал рукопись в печать» (стр. 120 — 121).

[70] Антонович хочет здесь сказать, что реакционные тенденции «С.-Петербургских Ведомостей» хорошо сознавались редакционным кружком «Современника»; Лавров же, сотрудничавший в изданиях Краевского, не замечал этих тенденций.

IV. Арест Чернышевского

[71] Близкий знакомый Чернышевского; послужил Чернышевскому прообразом одного из героев романа «Что делать?» — Лопухова.

[72] Ракеев действительно был «дока по политическим обыскам». Так, например, он производил обыск у поэта М. И. Михайлова (см. «Записки» Михайлова); в начале его жандармской карьеры ему поручено было сопровождать гроб с телом Пушкина из Петербурга в Псковскую губернию.

[73] Статья Антоновича «Арест Чернышевского» была напечатана весною 1906 г., т. е. тогда, когда реакция уже начала торжествовать свою победу.

[74] Николай Исаакович Утин, один из руководителей студенческого движения того времени, активный участник революционной организации «Земля и Воля». Его

сношения с Чернышевским, без сомнения, касались их совместной революционной работы.

[75] Антонович рассказал ее в своей речи о Чернышевском на заседании Вольно-экономического общества (см. выше, стр. 43—47).

[76] Уклоняясь от прощального свидания с Чернышевским, отговаривая других итти на это свидание, Некрасов, конечно, мог руководствоваться мотивами, которые приводятся с его слов Антоновичем. Однако в данном случае необходимо учесть некоторые факты совершенно иного порядка: 1) в книге Лемке «Политические процессы» содержится подлинный текст ходатайства А. Н. Пыпина на имя С.-Петербургского генерал-губернатора Суворова о разрешении посетить Чернышевского накануне его отправления в Сибирь Некрасову, Антоновичу, Елисееву и доктору Бокову; 2) из «Записок» М. И. Михайлова (изд. «Былое» 1922) известно, что накануне ссылки Михайлова на каторжные работы в числе лиц, его посетивших, был и Некрасов; 3) в воспоминаниях Елисеева и его жены (см. выше) подробно рассказывается о том, как Некрасов, единственный из редакционного кружка «Современника», не побоялся явиться на квартиру только что арестованного Елисеева, как жандармы подвергли его здесь задержанию и допросу и т. д. При сопоставлении этих фактов с рассказом Антоновича возникает ряд недоуменных вопросов. Для чего Некрасову было просить при посредстве Пыпина свидания с Чернышевским, раз он не только не собирался итти на это свидание сам, но и других отговаривал? Почему в 1861 г. Некрасов не опасался себя скомпрометировать прощанием с Михайловым, в 1866 г. — посещением квартиры Елисеева, а в 1864 г. не воспользовался уже данным ему кн. Суворовым разрешением на свидание с Чернышевским?

Мы только ставим эти вопросы. Материала для ответа на них у нас покамест нет. Одно можно сказать с уверенностью: едва ли дело обстояло в данном случае так просто, как это представляется Антоновичу.

V. Из воспоминаний о Н. А. Добролюбове

[77] Эта часть воспоминаний Антоновича, как уже указывалось в вводной статье (см. стр. 31), печатается не по общеизвестному тексту («Журнал для Всех» 1902, № 1), а по более полному тексту, предназначенному для того же журнала, но подвергшемуся чрезвычайным сокращениям и искажениям в цензуре. В № 3 «Звеньев» этот более полный текст напечатан нами с обозначением тех мест, которые были выброшены цензурой и в журнал не попали. Здесь мы печатаем его уже без этих обозначений, несколько разбивающих внимание читателей.

[78] «Весельчак» издавался Плюшаром сначала под редакцией Я. Григорьева, а затем под редакцией Н. Н. Львова, автора комедий «Свет не без добрых людей» и «Предубеждение». Последняя вызвала чрезвычайно резкий отзыв Добролюбова («Современник» № 7, 1853). В «Весельчаке» печатались злобные выпады Львова против Некрасова и Панаева.

[79] Статья «Уличные листки» помещена в № 9 «Современника» 1858. М. К. Лемке в вводной заметке к ней («Собрание сочинений Добролюбова», т. II, стр. 369) высказывает убеждение, что в основу ее Добролюбов, с согласия Антоновича, положил тот материал, который был собран Антоновичем, тогда еще студентом духовной академии, для его работы о «смеющихся и плачущих», предназначенной для «Современника», но не помещенной в нем.

[80] Имеется в виду статья по поводу книги Щапова «О русском расколе старообрядства» — «Что иногда открывается в либеральных фразах» (№ 9, 1859).

[81] В № 6 «Современника» 1860 г. в отделе «Русская литература» мы, действительно, находим статью «Материалы для истории простонародных суеверий», содержащую разбор сочинения Нильского «Об антихристе; про раскольников» (1859) и изданной в Париже книги «Le Raskol. Essai historique et critique sur les sectes religieuses en Russie» (1859). В начале статьи имеются указания на то, что ее автору принадлежит и рецензия на книгу Щапова. Таким образом нет сомнения, что данная статья есть именно та, о которой говорит здесь автор воспоминаний. В библиографию сочинений Антоновича, составленную С. А. Венгеровым, она, однако, не вошла.

[82] Александро Гавацци — итальянский политический деятель (1809—1889); монах ордена св. Варнавы; впоследствии профессор риторики в Неаполе. Во время войны за освобождение Италии был священником в итальянских войсках. После взятия Рима французами вел деятельную агитацию против папства. Принимал участие в сицилийском походе Гарибальди. Добролюбов посвятил ему особую статью (о ней см. ниже, стр. 171). На этом основании Антонович называет Гавацци «прославленным» Добролюбовым.

[83] Душеприказчиком Добролюбова был, как известно, Н. Г. Чернышевский.

[84] Имеется в виду Н. Ф. Крузе, в период своего кратковременного цензорства (1855—1859) стяжавший себе горячие симпатии либеральной печати. Когда в 1858 г. он был отрешен от должности, ему был поднесен приветственный адрес, подписанный 50-ю виднейшими литераторами, в том числе: Некрасовым, Чернышевским, Добролюбовым, Салтыковым-Щедриным. Кроме

того, Некрасов посвятил ему особое стихотворение. Впоследствии Крузе проявил себя как либеральный земский деятель.

[85] Феличе О р с и н и (1819—1858)—известный итальянский революционер. 14 января 1858 г. им и некоторыми его единомышленниками было произведено покушение на Наполеона III. Двое участников покушения (сам Орсини и Пиери) были казнены.

[86] Статья Антоновича писалась, таким образом, в период англо-бурской войны, т. е. в 1901—1902 гг.

[87] Восстание сипаев (туземных войск) против английского владычества относится к 1857—1858 гг.

[88] Речь идет о выпущенном Н. А. Степановым в 1855 г. альбоме карикатур на англичан и французов, с которыми Россия в то время воевала. Карикатуры Степанова выдержаны в крайне шовинистическом духе. Отсюда отрицательное отношение к ним Добролюбова, которое и сказалось в его эпиграмме. Однако Антоновичу осталась неизвестной вторая эпиграмма Добролюбова, из которой видно, что он ценил антимонархические тенденции карикатур Степанова. Обе эпиграммы на автора карикатур напечатаны в т. IX «Полного собрания сочинений Добролюбова», под редакцией Аничкова (стр. 10).

[89] Блестящая по своему остроумию рецензия Добролюбова на изданные в 1858 г. «Стихотворения Михаила Розенгейма» напечатана в № 11 «Современника» того же года. Она, между прочим, замечательна тем, что в ней Добролюбов впервые выступает в роли пародиста Конрада Лилиеншвагера.

[90] Статья эта была напечатана в № 9 «Современника» за 1857 г. и подписана псевдонимом «Н. Турчинов».

[91] Этому утверждению несколько противоречит нижеследующее заявление самого Некрасова: «С в и с т о к»

придумал собственно я, а душу, конечно, дал Добролюбов. Заглавие произошло так. В 1856 г. я жил в Риме и сам видел газету «Diritto» (это значит «Свисток»), кое-что из нее сам почитывал» (неизданные бумаги Некрасова).

[92] Кокорев В. А. — известный откупщик и финансовый деятель 60-х гг. Бернардаки — банкир.

[93] См. «Материалы для биографии Добролюбова», 1890, стр. 569.

[94] Речь идет о статье Чернышевского «Русский человек на rendez-vous», напечатанной в № 3 «Атенея» 1858.

[95] Известный историк литературы, автор популярных хрестоматий и учебников, А. Д. Галахов принимал близкое участие в основании «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым» (Литературного Фонда) и в первые годы его деятельности (1859—1861) состоял его секретарем. Выпад Добролюбова против Галахова, о котором говорит Антонович, содержится в № 4 «Свистка» («Современник» 1860, № 3) в «Библиографических примечаниях» к стихотворению «Дружеская переписка Москвы с Петербургом». Неудачная фраза Галахова извлечена Добролюбовым из протокола 13-го заседания «Общества для пособия» (п. 8).

[96] Эти слова, правда, в несколько иной редакции, приписаны Тургеневу самим Чернышевским. В известной полемической заметке последнего против Зарина — «В изъявление признательности» («Современник» № 2, 1862) — рассказывается о споре его с Тургеневым в 1860 г. по поводу одной из статей Добролюбова (очевидно, статьи о «Накануне»). Спор этот закончился тем, что Тургенев заявил: «Вас я могу еще переносить, но Добролюбова не могу». — «Это оттого, — сказал я, — что Добролюбов умнее и взгляд на вещи у него яснее и

тверже». — «Да, — отвечал он с добродушной шутливостью, которая очень привлекательна в нем, — да, Вы — простая змея, а Добролюбов — очковая змея». Таким образом едва ли прав Антонович, утверждая, что Тургенев не любил Чернышевского больше, чем Добролюбова.

[97] Этот рассказ был введен Антоновичем в текст его статьи «Причины неудовлетворительного состояния нашей литературы», напечатанной в № 2 «Слова» 1878. Характерно, что здесь он передается Антоновичем, как слышанный им непосредственно от «покойного Николая Алексеевича Некрасова».

[98] Сатирическое стихотворение, которое сочинил Добролюбов на Греча в связи с празднованием 27 декабря 1857 г. его юбилея, было послано им в рукописных копиях самому юбиляру, А. А. Краевскому, а также в редакции различных периодических изданий и т. д. Текст этого стихотворения напечатан в «Собрании сочинений Добролюбова», под редакцией Лемке, т. I, стр. 25—26.

[99] Лемке в редактированном им «Собрании сочинений Добролюбова» вслед за приведенными Антоновичем стихами печатает еще семь строф, заимствованных им из «Русских поэтов» Гербеля издания 1876 г. По мнению Лемке, эти семь строф представляют непосредственное продолжение стихотворения «На тост памяти Белинского». Однако в справедливости этого предположения позволительно сомневаться, в особенности если принять во внимание, что в автографе воспоминаний Антоновича о Добролюбове «кондовку» стихотворения составляли следующие стихи:

Мы согласились уж давно,
Что мы говно, и утешаем
Себя лишь тем, что составляем
Все ж не вонючее говно.

[100] Версия об «ультиматуме» восходит к воспоминаниям А. Я. Панаевой. По ее словам, Тургенев, недовольный статьей Добролюбова о «Накануне» («Когда же прийдет настоящий день»), потребовал от Некрасова, чтобы было выкинуто все начало этой статьи, а когда Некрасов стал возражать, — послал ему записку, гласившую: «Выбирай: я или Добролюбов». Версия эта представляется нам более или менее правильной, тем более, что в бумагах Некрасова нами найдена была записка, хотя и не совпадающая с текстом, приводимым Панаевой, но, во всяком случае, содержащая в себе настойчивую просьбу не печатать какой-то, верней всего что Добролюбовской, статьи (см. нашу статью «Некрасов и Тургенев» в книге «Некрасов и его современники» 1930, стр. 137—138). Однако нельзя забывать, что действительная причина раскола в редакции «Современника», конечно, не во взаимных неудовольствиях между отдельными сотрудниками журнала, хотя бы столь видными, как Тургенев и Добролюбов, а в классовой розни между представителями дворянской и разночинной групп сотрудников журнала. В дальнейшем и сам Антонович подходит к этой точке зрения, говоря о «дифференцировке» среди литераторов и интеллигентных людей.

[101] Антонович, конечно, неправ в этом своем утверждении: вражда западников и славянофилов отнюдь не была «академической»; в основе ее опять-таки лежала классовая рознь, ибо классовые базы западничества и славянофильства были далеко не однородны.

[102] Краледворская рукопись — поддельный памятник древне-чешской литературы. В 60-е годы еще далеко не все ученые считали Краледворскую рукопись подделкой, а потому в ученых и литературных кругах нередко возникали споры о том, как же следует к ней относиться.

[103] В письме Добролюбова к Чернышевскому из Мессины от 12/24 июня действительно сказано: «В Вашем изложении изумительных перемен, происшедших в русском обществе во время моего отсутствия, я мало понял...»

[104] Антонович скорее преуменьшил, чем преувеличил листаж статей Добролюбова об итальянских делах. Четыре статьи — «Непостижимая странность» («Современник» 1860, № 11), «Отец Александр Гавацци и его проповеди» (написана весной 1861 г. и напечатана в первом собрании сочинений), «Из Турина» («Современник» 1861, № 3), «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» («Современник» 1861, №№ 6—7), — занимают несколько более десяти печатных листов. Но в этот подсчет не входит два с лишним печатных листа статей и стихотворений в № 6 «Свисток», также посвященных итальянским делам.

[105] Об этих «прозрачных намеках» весьма доказательно говорит и редактор сочинений Добролюбова Лемке (см. напр. его вводную заметку к статье «Непостижимая странность», т. IV, стр. 441—442). Учуявшая тайный смысл статьи «Непостижимая странность» цензура сделала невозможным напечатание ее окончания.

[106] На «итальянский» роман Добролюбова есть совершенно определенные указания в библиографических источниках, например, в его письме к дяде от 5/17 декабря 1860 г. из Генуи («Материалы», стр. 610).

[107] Неподписанная рецензия Антоновича о «Логике Гегеля», в переводе Чижова, помещена в № 8 «Современника» 1861 г. Однако к ней «пристегнут» не только отзыв об «Общепонятном изложении логики», соч. проф. Поморцева (1861), но и отзыв о «Руководстве к первоначальному ознакомлению с логикой», соч. П. Коропцева (1861).

[108] Нет никакого сомнения, что здесь Антонович имеет в виду Н. Г. Чернышевского, менее чем через год после смерти Добролюбова арестованного, а затем заживо погребенного в сибирской каторге.

VI. Из воспоминаний о Н. А. Некрасове

[109] «Горячее и страстное полемическое нападение» Антоновича на Некрасова, это — его брошюра «Материалы для характеристики современной русской литературы. Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым», изданная в 1869 г.

[110] Печатаемые здесь «Воспоминания» Антоновича о Некрасове появились в 1903 г. («Журнал для всех», № 2). Таким образом Антоновичу следовало бы сказать «с тех пор прошло несколько менее 35 лет, а «не более 35 лет», как это у него говорится.

[111] Антонович в данном случае не вполне точен: в гимназии Некрасов проучился около пяти лет; в университет же ему вовсе не удалось поступить, ибо он дважды проваливался на вступительных экзаменах. Впрочем, есть основания думать, что Некрасов одно время посещал университет, в качестве вольнослушателя.

[112] Анфантен, не Пьер, а Бартелеми-Проспер (1796—1864) — один из виднейших представителей сенсимонизма.

[113] Эта цитата взята Антоновичем из стихотворения Гейне «Вопрос» в переводе Добролюбова.

[114] Эти слова взяты из письма Добролюбова к Чернышевскому из Мессины от 12/24 июня 1861 г.

[115] А. Я. Панаева в то время еще не была Головачевой, ибо вышла замуж за Головачева значительно позже, после того как были ликвидированы ее многолетние отношения с Некрасовым.

[116] Здесь несомненно имеется в виду письмо Некрасова к Тургеневу от 15 января 1861 г.; впервые оно было опубликовано Пыпиным в его книге о Некрасове (1905).

[117] Здесь Антонович излагает, хотя и не вполне точно, содержание письма Тургенева в редакцию «Северной Пчелы» (1862, № 316).

[118] Поводом к этой приостановке, иначе говоря, временному запрещению, последовавшему 13 июня 1862 г., послужили помещенные в № 3 «Современника» статьи: «Письмо по делу преобразования цензуры» и «Французские законы по делам печати» (Н. Г. Чернышевского). Основной же причиной постигшей «Современник» кары следует считать явный поворот правящих кругов в сторону реакции, вызванный страхом господствующих классов перед крестьянской революцией, идеологами которой являлись Чернышевский и его единомышленники.

[119] Б. Редактор «С.-Петербургских Ведомостей» Амплий Очкин — «известный по своей добросовестности и консервативному направлению» (по отзыву Цензурного Комитета. — Лемке, «Эпоха цензурной реформы», стр. 245), учтя спрос на радикальную прессу, пригласил Г. З. Елисеева в негласные редакторы предполагаемой ежедневной газеты «Очерки». В объявлении о подписке на новую газету в октябре 1862 г. сообщалось о ближайшем участии в трудах редакции Г. З. Елисеева и М. А. Антоновича. В «Очерках» сотрудничали, кроме Елисеева и Антоновича, — Щапов, Шелгунов и др. Когда радикальное направление газеты вполне выявилось, Очкин, испугавшись ответственности, продал газету (вернее подписчиков) редактору «Современного Слова» Писаревскому. «Очерки» просуществовали всего с 1 января по 8 апреля 1863 г., за какое время вышло 94 номера,

[120] Еженедельник «Век» был организован в 1861 г. П. И. Вейнбергом; в начале 1862 г. перешел в руки артели, состоявшей из передовых писателей того времени, но просуществовал немногим более 4 месяцев.

[121] Известно письмо Некрасова к Я. П. Полонскому (от 2 апреля 1863 г.), в котором он сообщает ему о том, что «Разлад» не может быть напечатан в «Современнике», ибо журнал не имеет средств, чтобы оплатить эту пьесу надлежащим гонораром. Отсюда видно, что Некрасов предпочел умолчать об истинной причине отклонения пьесы. Характерно, для отношения его к Полонскому, что в этом же письме он предлагал деньги «лично из своего кармана», если он вздумает издавать «Разлад» отдельной книгой.

[122] Известная статья Чернышевского против реакционной и умеренно-либеральной журналистики, написанная в чрезвычайно резком и презрительном тоне («Современник» 1861, №№ 6—7).

[123] Это утверждение Антоновича несколько противоречит тому, что говорит о положении дел в редакции «Современника» в эти годы другой редактор журнала Г. З. Елисеев (см. в печатаемых ниже воспоминаниях его, гл. 1 и 2).

[124] Из письма М. Е. Салтыкова-Щедрина к Некрасову от 8 апреля 1865 г. явствует, что Салтыков очень недоволен был действиями «духовной консистории» (так он называл редакционный круг «Современника», иронически подчеркивая духовное происхождение многих его участников), в частности той «цензурой», которую «консистория» осуществляла в отношении прочих сотрудников; особенное нерасположение с его стороны возбуждал Антонович («Письма Салтыкова», Гиз, 1925).

[125] В том, как передает Антонович данное событие, чувствуется настороженное и недоверчивое отношение

к Некрасову. Если бы Некрасов в своих действиях руководствовался только «предусмотрительностью», — едва ли он стал бы советовать Пыпину (см. в т. V «Собрания сочинений» Некрасова, Гиз, 1930, письмо его к Пыпину от 23 августа 1866 г.) заявить на суде, что «статья Жуковского рассматривалась *нами обоими* и одобрялась к печатанию с общего согласия; таким образом, если я, как собственник журнала, не находил статьи Жуковского опасною, то с вашей стороны это было тем возможнее...». Статья Жуковского, послужившая поводом к привлечению его и Пыпина к суду, это — «Вопрос молодого поколения» («Современник» 1866, № 3) Окружной суд в заседании 25 августа 1866 г. оправдал обвиняемых, но судебная палата, к которой апеллировал прокурор, приговорила их к штрафу в 100 р. и к трехнедельному аресту на гауптвахте.

[126] Эта статья Антоновича, повидимому, так и не увидела печати.

[127] Стихотворение «Не громка моя лира», — это «ода», содержит в себе прославление Александра II и крестьянина М. О. Комиссарова, помешавшего, по официальной версии, успеху каракозовского покушения. «Метафизический пункт», о котором говорит Антонович, содержится в заключительном четверостишии. Вот оно:

Сын народа! Тебя я пою!
Будешь славен ты много и много...
Ты велик — как орудие бога,
Направлявшего руку твою!

Цитируем по тексту «Современника» (1866 г., № 4).

[128] Г. З. Елисеев совершенно иначе (см. ниже, стр. 322—323) рисует данное событие: «Не Некрасов, — утверждает он, — отказался от своих сотрудников, а они сами отшатнулись от него, узнав о том, что он сочинил и прочел на

торжественном обеде в английском клубе новую «оду», восхвалявшую гр. М. Н. Муравьева-Виленского, призванного искоренить крамолу и облеченного царем почти что диктаторскими полномочиями». Все попытки Некрасова в беседе со своими сотрудниками объяснить и оправдать свое поведение, продиктованное обстоятельствами, не имели, по словам Елисеева, никакого успеха. Таким образом, Антонович и Елисеев расходятся между собою не только в вопросе, дал ли Некрасов отставку своим сотрудникам, или же они сами не сочли возможным продолжать совместную с ним работу, но и в указании времени, когда произошел разрыв: по Антоновичу, отставка была дана до оглашения стихотворения в честь Муравьева, по Елисееву — сотрудники разорвали с Некрасовым именно после этого события. Нельзя отрицать, что оба мемуариста могли быть в этом случае пристрастны — Антонович потому, что встал в непримиримо враждебные отношения к Некрасову после того как не был привлечен Некрасовым к сотрудничеству в преобразованных «Отечественных Записках»; Елисеев же именно потому, что принял деятельное участие в качестве соредактора в новом журнальном начинании Некрасова и тем встал в более близкие и короткие отношения к нему, чем когда бы то ни было.

[129] Антонович или забыл или не счел нужным рассказать о некоторых весьма существенных подробностях этого дела. Считая, что упоминаемое им обещание Некрасова имеет характер юридического обязательства, он в декабре 1875 г. обратился в Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым с просьбой посодействовать ему в получении этой суммы с Некрасова. Некрасову пришлось объяснять (см. в т. V его «Сочинений», письмо к Г. К. Репинскому от 30 марта 1876 г.), что он не только не давал Антоновичу какого-

либо обещания об уплате ему денег, но даже разговора с ним об этом не имел. Обещание было дано лишь Пыпину и Жуковскому. Если Антонович нуждается в деньгах, то он, Некрасов, готов выдать их ему, но не прежде чем он возьмет назад свое утверждение, что деньги эти были обещаны ему Некрасовым. Одним словом, Некрасов стоял на том, что никакого обязательства на нем не лежит, а в порядке добровольности выдать деньги Антоновичу не отказывался. Антонович принял условие Некрасова и получил от последнего деньги.

[180] До сих пор текст этого стихотворения, «мадригала», как его называл Некрасов, — неизвестен. Б. Я Бухштаб на одном из докладов в ленинградском отделении Общества политкаторжан (1932) доказал, что стихотворение, опубликованное в «Русском Архиве» (1885 г., № 6) и до последнего времени признаваемое одой Некрасова Муравьеву, отнюдь не принадлежит Некрасову; автором его был один из чиновников Муравьева, и написано оно было вовсе не в 1866 г., а несколькими годами раньше при отъезде Муравьева из Вильны. Тем не менее, совершенно несомненно, что 16 апреля 1866 г. после торжественного обеда в честь Муравьева в английском клубе Некрасов приветствовал грозного искоренителя крамолы какими-то стихами. Краткие и неточные пересказы их содержания в современных газетах позволяют думать что в конце их Некрасов говорил и о «большом зле», и о необходимости бороться с ним с «беспощадной строгостью». Эта сильно скомпрометировавшая поэта в глазах передового общества попытка умилостивить Муравьева и «спасти направление» не достигла, как известно, цели: Муравьев все-таки настоял на запрещении «Современника». Ни один из компромиссов, столь многочисленных в жизни Некрасова, не доставлял ему таких мучитель-

ных переживаний, не заставлял так горько каяться, как этот. Достаточно сослаться на такие потрясающие по своему трагизму «покаянные» стихи Некрасова, как «Ликует враг»... «Неизвестному другу», «Зачем меня на части рвете». Даже умирая Некрасов не переставал с тоской и болью вспоминать о «мадригале» Муравьеву.

[131] Упреки Антоновича по адресу умершего Елисеева в «нетоварищеском» образе действий в свое время вызвали суровую отповедь Н. К. Михайловского (см. «Последние сочинения», т. II, гл. XIV).

[132] Первые книжки «Отечественных Записок» едва ли могли дать сколько-нибудь объективное основание для подобных предчувствий. В них были напечатаны: Некрасова — «Притча о Киселе», «Выбор», «Суд» «Осторожность», «Пропала книга», «Сват и жених», «Эй Иван», «Стихотворения, посвященные русским детям». Жемчужникова — поэма «Сны»; Салтыкова-Щедрина — «Новый Нарцисс», «Старый кот на покое». «Письма из провинции»; Марко-Вовчка — роман «Живая душа»; Д. К. Гирса — роман «Старая и юная Россия»; Гл. Успенского — рассказ «Будка»; Г. З. Елисеева — «Производительные силы России», «Наказ императрицы Екатерины», «Крестьянский вопрос»; П. Л. Лаврова — «Дидро и Лессинг»; А. М. Скабичевского — «Новое время и старые боги», Д. И. Писарева — «Старое барство» и т. д. Характерно, что цензурное ведомство оказалось проницательнее Антоновича и уже осенью 1868 г. заговорило о «тесном сродстве» «Отечественных Записок» с запрещенным «Современником».

[133] Здесь, по всей вероятности, имеется в виду «Современное Обозрение» Тиблена. Журнал назван «несчастным» по причине своей недолговечности и неблаговидного в отношении сотрудников образа действий его издателя (см. ниже, стр. 559).

[134] Это убеждение Антоновича жестоко противоречит фактам. Он не мог не знать статьи Елисеева «Ответ на критику» («Отечественные Записки» 1869, № 4), в которой содержится суровое осуждение образа действий и его и Жуковского.

[135] Сопоставление, делаемое в данном случае Антоновичем, едва ли можно назвать удачным. В своей полемической брошюре он занял совершенно непримиримую позицию в отношении и поэтического творчества, и журнальной деятельности, и, наконец, личности Некрасова, доказывая, что всегда и повсюду он являлся лицемером и корыстолюбцем. В стихотворении же «Неизвестного друга» высказывается глубочайшее убеждение автора в том, что между вдохновенными песнями Некрасова, «нашего гения», «нашей гордости» и его жизнью, т. е. между его «словом» и «делом» «не может быть» непроходимой пропасти. Даже если бы сам поэт сознался в том, что он «положил клеймо стыда над жизнью своею», — то и в этом случае автор остался бы при своем убеждении:

В твои глаза смотря с немым волненьем,
Я повторю с глубоким убежденьем:
Не может быть...»

Сказанное свидетельствует, что в отношении к Некрасову «неизвестного друга» и Антоновича, в то время как последним писалась брошюра против Некрасова, не было ничего общего.

VII. Редакция «Современника» в 1866 г.

[136] Настоящая статья Антоновича, представляющая собой полемически заостренный ответ на статью автора настоящих строк, писалась через 13 лет после того как им были напечатаны приведенные выше воспоминания о Некрасове. За это время маститый автор кое-

что, очевидно, позабыл из содержания своих воспоминаний и в новой статье нередко впадает в явные противоречия с ними. Некоторые из этих противоречий отмечаются в последующих примечаниях. Возникает вопрос, кому же верить — Антоновичу ли, автору воспоминаний о Некрасове, или же Антоновичу, автору статьи «Редакция «Современника» в 1866 г.»? Так как воспоминания писались значительно раньше, когда события далекого прошлого были свежее в памяти Антоновича, то они являются, на наш взгляд, более достоверным источником. Однако и статья «Редакция «Современника» в 1866 г.» содержит не лишенный интереса материал. Во всяком случае, поскольку рассказы Антоновича и Елисеева о последних днях «Современника» и связанных с ними событиях, не совпадают друг с другом, мы сочли необходимым дать место настоящей статье Антоновича, в которой он пытается опровергнуть целый ряд утверждений Елисеева.

[137] Здесь Антонович самым резким образом противоречит тому, что сам же говорил о роли Некрасова в редакции «Современника» в воспоминаниях о нем, а именно: «он (Некрасов) предоставлял своим соредакторам полную свободу, ни мало не стеснял их и не подавал решающего голоса в тех журнальных вопросах и делах, в которых считал себя некомпетентным», «общему решению он подчинялся беспрекословно».

Несколько ниже Антонович ссылается, в доказательство того, что Некрасов единолично решал вопрос о помещении или непомещении той или другой статьи, на забракование им его статьи о Прудоне и Чернышевском, забывая, что в воспоминаниях о Некрасове он приводил этот случай в подтверждение того, что лишь в 1866 г., накануне запрещения «Современника», Некрасов стал показывать редакторскую власть, чего

раньше никогда не делал. Таким образом в статье «Редакция «Современника» в 1866 г.» Антонович возводит в общее правило тот факт, который в воспоминаниях о Некрасове рассматривал, как исключение из общего правила.

[138] Вопрос о «молчании» «Современника» о польских делах прояснен в примечаниях к воспоминаниям Елисеева (см. ниже, стр. 551).

[139] Вопрос о несоответствии статьи Жуковского «Затруднения женского дела» направлению «Современника» опять-таки проясняется в примечаниях к воспоминаниям Елисеева (см. ниже, стр. 553—554).

[140] Статья Жуковского — «Вопрос молодого поколения» («Современник» 1866, №№ 2 и 3) вызвала, как помнит читатель, предание ее автора и А. Н. Пыпина, как ответственного редактора научного отдела журнала, суду.

[141] Этот вывод Антоновича совершенно произволен и отнюдь не согласуется с тем, что говорит о данном эпизоде в истории «Современника» Елисеев (см. выше, стр. 306—309).

[142] Отмеченный здесь весьма знаменательный факт скептического отношения и Жуковского и Елисеева к некоторым сторонам идеологии автора романа «Что делать» более подробно рассматривается в примечаниях к воспоминаниям Елисеева (см. ниже, стр. 553—554).

[143] Новое противоречие Антоновича самому себе. В конце статьи «Арест Чернышевского» и утверждает обратное, а именно, что ему «не хотелось огорчать Николая Гавриловича сообщением, что Некрасов сам даже ему с Елисеевым не советовал просить свидания и являться на свидание с ним» (см. выше, стр. 133).

[144] Речь идет об Ипполите Александровиче Панаеве (ум. в 1901 г.), которого иногда путают с Иваном Ивановичем Панаевым — соредактором и соиздателем

Некрасова по «Современнику». Ипп. Ал. Панаев не только заведывал хозяйственной частью журнала, но с величайшей точностью вел конторские книги «Современника». Эти конторские книги, равно как и прочие документы из архива конторы «Современника», хранятся ныне в ПРЛИ (бывш. Пушкинском доме).

145 Утверждая, что «Современник», в период его участия в редакции этого журнала, не мог иметь дефицитов, Антонович не учел двух обстоятельств: 1) что подписка на журнал с 1863 г. непрерывно падала и 2) что у журнала были многочисленные должники, долги которых — на десятки тысяч рублей — за невозможностью их получить пришлось списать в расход. Так, в 1863 г. «Современник» печатался в 6500 экземплярах; в 1864 г. в первые месяцы — в 6110 экз., а затем — в 5610 экз.; в 1865 г. в первые месяцы — в 6000 экз., затем — в 5000 экз. и, наконец, в 4600 экз. Таким образом, менее чем за три года, с начала 1863 г. по конец 1865 г., тираж «Современника», а следовательно и число подписчиков на него сократились, говоря круглыми цифрами, на 200 (эти данные, извлеченные из архива конторы «Современника», впервые были опубликованы в нашей статье «Черты редакторской деятельности Некрасова в связи с историей его журналов» — «Голос Минувшего» 1915, № 11). Что касается списывания безнадежных долгов, то вот несколько цифр, свидетельствующих, в каких широких размерах велось это списывание. В 1864, напр., году по счету умершего И. И. Панаева было списано 19 361 р. 36 к.; по счету сосланного Чернышевского — 14 354 р. 53 к.; по счету умершего Добролюбова — 6 239 р. 25 к.; по счету А. Я. Панаевой — 5 280 р.; по счету Н. Успенского — 2 313 р. 55 к.; по счету Помяловского — 1 991 р. 17 к., т. е. в общей сложности около 50 000 р. Оговариваемся, что в наш перечень вошла только часть

списанных в расход долгов «Современника» (эти данные, опять-таки извлеченные из конторских книг «Современника», впервые были опубликованы в нашей статье — «Практичность Некрасова в освещении цифровых и документальных данных» — «Вестник Европы» 1915, № 4). После этого уже не покажется необоснованным нижеследующее заявление Некрасова в официальном письме на имя собственника журнала П. А. Плетнева (от 15 декабря 1865 г.): «по (конторским) книгам можно проследить и доказать, что все сказанное мною о положении «Современника» и моей роли в нем справедливо, я ничем лично тут не пользуюсь, а напротив теряю время и труд. Моя цель — избавить «Современник» от долга и поддержать, по. куда возможно, бедных сирот, завещанных «Современнику» людьми, бывшими ему полезными» (имеются в виду жена и дети Чернышевского, малолетние братья Добролюбова и престарелая мать Панаева).

[146] Имела ли место ревизия конторы «Современника» в том виде, в каком описывает ее Елисеев, или, как утверждает Антонович, ее вовсе не было, — это не столь уж существенно. Гораздо важнее констатировать, что оба воспоминателя сообщают факты, свидетельствующие о том, что «новые руководители» «Современника» интересовались вопросом о доходах журнала, обсуждали этот вопрос и что у них даже возникала мысль, выкупив журнал у Некрасова, взять его в свои руки. Кстати о списке должников журнала, упоминаемом Антоновичем: список этот заключал в себе сведения к 1 января 1865 г., тогда как массовое списывание долгов было произведено (см. предыдущее примечание (в 1864 г., т. е. в новый список не могли уже войти многотысячные долги Панаева, Чернышевского, Добролюбова, Панаевой и т. д.

[147] В данном случае Антонович несколько увлекается. Когда он и Елисеев получили сведения о том, что Некрасов собирается «изменить направление журнала и расстаться с нынешними сотрудниками», — они, естественно, должны были почувствовать, если не обиду, то во всяком случае острое недовольство его поведением. А потому несколько странно звучат заверения Антоновича, что он не только не обиделся, но и не зарекался сотрудничать в «Современнике». Даже в «Современнике», изменившем своему направлению?!

[148] В воспоминаниях о Некрасове Антонович утверждает, что сотрудники «Современника» узнали об оде Некрасова Муравьеву уже после своего ухода из журнала. Это явным образом противоречит его только что приведенному рассказу о том, что после обсуждения этого поступка Некрасова они все-таки решили продолжать работу у него в журнале.

[149] Мнение Антоновича о том, что воспоминания Е. П. Елисеевой написаны не ею, а каким-либо другим лицом, очень слабо мотивировано, а потому едва ли может быть принято. Тем более приходится отвергнуть аналогичное «подозрение» его относительно воспоминаний Панаевой-Головачевой.

VIII. По поводу статьи Русанова «П. Л. Лавров»

[150] В данной статье Антоновича мемуарный элемент выражен довольно-таки слабо, тем не менее ввести ее в текст настоящей книги нам показалось не излишним хотя бы уже потому, что она дает ценный материал для уяснения философских позиций своего автора. В интересной работе «Публицистическая деятельность Антоновича до ареста Чернышевского» новейший исследователь (см. книгу В. Я. Кирпотина, «Публицисты

и критики» 1932, стр. 73 — 92) справедливо указывает, что «Чернышевскому, занятому экономическими и политическими вопросами, некогда было заняться пропагандой и длительным разъяснением своих философских воззрений» и что «эту задачу взял на себя Антонович». Спор этого последнего с Лавровым, безусловно неправильно освещенный в статье Русанова, являлся одним из наиболее интересных моментов в его деятельности, как писателя по вопросам философии. Уже Чернышевский в знаменитой статье «Антропологический принцип в философии» («Современник» 1860, № 4 и 5) счел необходимым выступить против Лаврова, только что выпустившего книгу «Очерки вопросов практической философии». В «Антропологическом принципе», вопреки Лаврову, эклектику и идеалисту, Чернышевский доказывал, что «удовлетворительное объяснение революционных задач может быть дано только материалистической фейербахианской философией» (Кирпотин). Однако Лавров пытался защищать свои позиции, что видно хотя бы из содержания его публичных лекций о значении философии, впоследствии напечатанных в «Отечественных Записках». Тогда то и выступил против Лаврова Антонович. Совершенно ясно, что спор Антоновича с Лавровым никоим образом не может быть сведен к простому недоразумению, как это утверждает Русанов, что в основе его лежали глубокие принципиальные расхождения и что Антонович защищал в нем несравненно более передовые взгляды. Из сопоставления того, что говорит об этом споре Антонович в своем возражении Русанову, с тем, что пишет о нем Кирпотин в вышеупомянутой статье, следует, что Антонович отнюдь не переиначил и не исказил существа этого спора, хотя писал о нем почти через 50 лет после того как он происходил.

Однако в философских воззрениях Антоновича была и своя Ахиллесова пята: «слабые стороны русского фейербахианства выступали у него сильнее, чем у Чернышевского. Он хуже последнего понимал (а возможно и знал) Гегеля, ошибочней последнего оценивал значение диалектики» (Кирпотин).

[151] Нет надобности доказывать, что и Евгений Николаевич Эдельсон (1824—1868), сотрудничавший, преимущественно, в «Москвитянине» «молодой редакции» и «Библиотеке для чтения», и Николай Николаевич Страхов (1828—1896), примыкавший к редакционному кружку журналов бр. Достоевских, как философы много слабее Лаврова.

[152] «Вестник», это — «Вестник народной воли». Почему Антонович не называет журнал полным именем, тогда как последнее приведено в статье Русанова, сказать трудно: может быть, по недосмотру; может быть, из цензурных соображений.

[153] К началу 60-х гг., а полемика Антоновича с Лавровым относится к этому времени, работы Гельмгольца (1821—1894) в области физиологии, действительно, уже привлекали внимание всего научного мира.

[154] Антонович вполне точен, указывая 1859 г.: именно в этом году вышло в свет знаменитое сочинение Чарльза Дарвина, «Происхождение видов путем естественного подбора».

[155] В «Русском Вестнике» 1860 (см. №№ 7, 8 и 9) печатались «Очерки животной жизни» Льюиса (1817—1878).

[156] Надежда Васильевна Стасова (1822—1895), Анна Павловна Философова (1837—1917), упоминаемая ниже Анна Николаевна Энгельгардт (1835—1903) — известные поборницы женского движения в России второй половины XIX в.

«ВОСПОМИНАНИЯ Г. З. ЕЛИСЕЕВА»

I. Антонович и Жуковский в «Современнике»

Здесь Елисеев пересказывает отзыв Чернышевского об Антоновиче из статьи «Полемические красоты» см. «Современник» 1861, № 7). Вот подлинные слова Чернышевского: «Я могу чувствовать зависть только к людям, которые моложе и свежей меня. Например к г. Антоновичу. Что ж? разве я стану скрывать, что действительно завидую им, завидую с оттенком оскорбленного их свежестью самолюбия, с досадою опережаемого?»

[2] «Народное Чтение» — журнал, издававшийся в 1859—1862 гг., под редакцией Оболенского и Щербачева. М. А. Антонович поместил в нем ряд научно-популярных статей: в 1861 г.: кн. 1-я — «О парах и паровых машинах, I», стр. 85—101; кн. 3-я — «О парах и паровых машинах, II», стр. 41—58; кн. 6-я «О нечистых силах», стр. 49—66; в 1862 г.: кн. 1-я—«Жизнь растений», стр. 75—105 и кн. 3-я «Жизнь животных», стр. 45 — 75

[3] В этом своем утверждении Елисеев ошибся: о романе Тургенева в журнале нет ни слова. Две анонимные статьи по литературе разбирают: 1-я — Басни Крылова; Басни, избранные из Хемницера и Крылова; 28 басен русских баснописцев (кн. 1-я, стр. 111—151) и 2-я — «Курган Матвеев. Сказания Флоренкова». СПБ. 1860 (кн. 2-я, стр. 93—107).

[4] «Современник» 1862, № 3.

[5] Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — известный публицист. Издатель-редактор журнала «Русский Вестник» (1856—1887) и газеты «Московские Ведомости» (1863 — 1887). С начала царствования Александра II, приблизительно до конца 1860 г. являлся одним из руководителей русского дворянского либерализма с англоманским оттенком. С 1861 г. он становится главою охранительного направления. С этого времени и до конца своей деятельности Катков ведет непримиримую и резкую борьбу с оппозиционной печатью, видя в радикальных периодических органах («Современник», «Русское Слово», «Отечественные Записки» с 1868 г. и др.) врагов отечества.

[6] Журнал «Русское Слово» (1859—1866), редактируемый Г. Е. Благосветловым, являлся одним из двух столпов (на ряду с «Современником») радикальной печати тех лет. В настоящее время можно считать установленным, что «Русское Слово» выражало идеологию более правой группировки разночинной интеллигенции, чем «Современник». Писарев, главный вдохновитель «Русского Слова» отошел в конце концов от революционных и социалистических позиций, на которых стоял продолжавший традиции Чернышевского «Современник» (см. В. Кирпотин, «Радикальный разночинец Писарев»). Однако в полемике, завязавшейся между «Русским Словом» и «Современником», основные разногласия между этими журналами не нашли себе по цензурным условиям сколько-нибудь яркого отражения. Внимание споривших сосредоточилось, главным образом, на вопросах частного порядка, как например, вопросе о романе Тургенева «Отцы и дети».

[7] Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813 — 1879) — крайний обскурант. С 1858 по 1877 гг. издавал еженедель-

ную газету «Домашняя Беседа». Газета, наполненная ханжескими и доносительными статьями, была поборницей самого дикого мракобесия. Орган Аскоченского резко осуждался всею прессою 60—70-х годов и имя редактора этого органа стало нарицательным в прогрессивной литературе тех лет.

[8] Громека Степан Степанович (1823—1877) — публицист. Сперва служил в железнодорожной жандармской полиции. Во время польского восстания 1863 г. был Седлецким губернатором, где приобрел печальную известность насильственным обращением униатов в православие. В своей литературной деятельности придерживался умеренно-либеральных взглядов. Сотрудничал в «Отечественных Записках» Краевского, где помещал публицистические статьи и вел «Современную Хронику».

[9] В «Современной Хронике России» за ноябрь («Отечественные Записки» 1862, ноябрь, стр. 1—34) Громека останавливается на двух закрытых журналах. Озаглавив эту часть «Хроники» — «Несправедливость, невозможность и вредность преследования нигилизма», Громека пишет: «До самого запрещения двух журналов все статьи в них печатались с разрешения самого правительства. В чем же можно было обвинить их? И могли ли прочие журналы предвидеть их запрещение? Запрещение это упало на нас внезапно, неожиданно, и разом перевернуло естественный ход литературного развития... Но мы не можем верить, чтобы гонение это действительно решено было продолжать. Время панического народного страха и недостойных подозрений о связи пожаров с умственным движением и увлечений отдельных юношеских кружков — миновало... Поэтому мы не можем верить, чтобы правительство решилось продлить то положение вещей, при котором в одно

и то же время... хлопочут об уничтожении произвольной цензуры и насильно выкидывают из литературы целое направление» (стр. 33 — 34).

[10] Падение подписки было не столь резко. Цифры тиражей журнала (см. В. Евгеньев, «Черты редакторской деятельности Н. А. Некрасова в связи с историей его журналов» — «Голос Минувшего» 1915, № 11) указывают лишь на постепенное и довольно медленное уменьшение спроса на журнал (см. выше, стр. 542).

[11] В рецензии Добролюбова на «Весну» («Современник» 1859, июнь, «Современное Обозрение», стр. 307—325) Ю. Жуковскому посвящена большая ее часть, так как его статья «принадлежит к таким явлениям в нашей литературе, которые не следует пропускать без внимания»! Изложив содержание статьи Жуковского («Общественные отношения России с точки зрения исторической науки права»), рецензия указывает, что автор был бы прав, если бы централизация и порожденная ею крепостная система были бы органически связаны с жизнью русского народа. Тогда следовало бы призадуматься, прежде чем уничтожить крепостное право. Но этой органической связи не было и нет. Рецензия указывает на статью Чернышевского о Чичерине, выражающую мнение «Современника» о значении централизации власти для народа. Это указание сделано для того, «что нам хотелось бы, если возможно, предостеречь г. Жуковского от односторонних увлечений, в какие впадают иногда наши ученые, как например, г. Чичерин».

[12] Напоминаем, что Н. Г. Чернышевский был арестован 7 июля 1862 г. Ю. Г. Жуковский тогда еще не входил в редакцию «Современника».

[13] Под этим фельетоном Елисеев подразумевает, главным образом, статью Ю. Г. Жуковского: (Ю. Ж.) —

«Вопрос молодого поколения» в февральской и мартовской книжках «Современника» 1866 г.

II. Ошибки нового руководства журналом

[14] В этом и еще нескольких местах воспоминаний Г. З. Елисеева сказалось то, что они писались через четверть века после описываемых событий. Старый, больной, подавленный реакцией 80-х годов, Григорий Захарович осмыслял некоторые события прошлого в другом свете, чем во время этих событий. Понятно Елисеев 60-х годов, симпатии которого вместе со всем «Современником» были на стороне поляков, не употребил бы выражения «коварное нападение мятежников».

[15] М. А. Антонович в своих возражениях на цитаты из елисеевских воспоминаний в статье В. Евгеньева («Голос Минувшего» 1915, № 1) не отрицает факта замалчивания польского вопроса, снимая лишь с себя за это ответственность (см. выше, стр. 216—217).

А между тем о молчании «Современника» по польскому вопросу можно говорить лишь относительно. «Современник» касался польского вопроса, но может быть не в той степени, как это требовала сложившаяся ситуация. Прямо и открыто сформулировать свой взгляд на польский вопрос «Современник» не мог по цензурным условиям. Не надо забывать, что именно за статью по польскому вопросу было запрещено «Время» М. М. Достоевского. Э. Ватсон в отделе Политика в № 4, 1863 г. вскрывал отношение к польскому вопросу европейской дипломатии, а в № 5 информировал о ходе восстания. Кроме того Елисеев трижды касался его в своих «Внутренних обозрениях» («Современник» 1863, № 4, «...Настоящее положение польского вопроса...»; затем в № 5 «... Внешнее и внутреннее значение всеподданней-

ших адресов по поводу польских событий...» и в № 10 «... Наши газеты в настоящее время. Мистические воззрения на польский вопрос. Мир славянский и мир европейский. Разные точки зрения на отношения первого к последнему...»\.

И если указанные статьи намечали точку зрения «Современника» лишь в оценках литературы по польскому вопросу, то для принципиального высказывания «Современнику» пришлось прибегнуть к Эзопову языку в статье Салтыкова — «Драматурги-паразиты во Франции». Австрия и Венеция являлись лишь цензурной ширмой для освещения польского вопроса (об этом см. В. Евгеньев-Максимов, «Очерки по истории социалистической журналистики в России XIX в.», Гиз. 1927, стр. 105 — 107).

[16] Псевдоним Шедо-Ферроти принадлежит бельгийскому агенту русского министерства финансов — барону Ф. М. Фирксу (1812—1872). Шедо-Ферроти написал ряд брошюр на французском языке по вопросам русской внутренней политики. Особенную известность приобрел брошюрами, направленными против Герцена, возмутившими русскую прогрессивную общественность (см. прокламацию студента Мошкалова и не увидевшую свет прокламацию Д. И. Писарева). Произведения Фиркса были инспирированы русским правительством и потому усиленно распространялись администрацией.

[17] Напрасно Елисеев старается смазать общественную значимость романа Чернышевского. В этом месте воспоминаний снова проявляет себя «другой Елисеев», Елисеев — старик. Ослабить революционную значимость общественных событий 60-х годов, из которых «ничего не вышло, кроме реакции Александра III» — вот тенденция подобных мест воспоминаний. В этом смысле интересен черновой вариант этого места рукописи:

воспоминания о восприятии «Что делать?», связывающий роман с «слепцовской коммуной», который мы помещаем в приложении.

[18] В «Вестнике Европы» 1890, в №№ 4 и 5, помещена статья Ив. Янжула — «Новая фантазия на старую тему». В этой статье автор, отмечая свойство человека мечтать о «молочных реках и кисельных берегах», разбирает роман Беллами «Взгляд назад 2000—1887», сопоставляя его с известными утопическими произведениями и, главным образом, «Утопией» Томаса Мора. Повидимому Григорий Захарович считал необходимым предпослать роману Чернышевского «Что делать?» предисловие, аналогичное критической статье Ив. Янжула.

[19] М. А. Антонович в своем ответе Елисееву (см. выше, стр. 217—221) указывает, что статья Жуковского определялась его экономической позицией, сводившей все вопросы современности к вопросу борьбы за хлеб. Кроме того Антонович подчеркивает, что сам Елисеев в одном из своих «Обозрений» отнесся будто бы гораздо строже и неодобрительнее к роману «Что делать?» Кто же сделал бо́льшую бестактность Жуковский или Елисеев, и чьи высказывания более противоречили идеям Чернышевского? Елисеев несколько раз касался в своих «Обозрениях» вопроса о женских артелях в связи с романом Чернышевского. Полемизируя с защитниками лишь юридического равноправия женщин, он писал: «Вы соединяете силы бедности для подрыва бедности же, соедините их лучше для борьбы с капиталом, несправедливо пользующимся избытком чужого труда. А для этого всего лучше основать такие женские ассоциации, которые соединенными усилиями могли бы вступить в борьбу с монополизирующимся капиталом и мало-по-малу выбивать из его рук разные роды промыш-

ленности» («Современник» 1863, № 5). Однако вполне разделяя и приветствуя идею ассоциаций, Елисеев в «Обозрении», на которое ссылается Антонович, весьма недвусмысленно иронизирует над снами «Веры Павловны, предостерегая читателей от слишком прямого восприятия этих снов. Жуковский же скептически отнесся к самой идее ассоциаций. Он в своей статье пытался доказать, что никакие ассоциации не могут улучшить экономического положения женщин. Иронизируя над утопичностью не столько снов Веры Павловны, сколько ее практических начинаний в деле организации женских артелей, он категорически заявляет: «стало быть и мастерские Веры Павловны и общества женского труда, хотя очень милые сами по себе вещи, но плохие средства для устройства женского дела» («Затруднения женского дела», «Современник» 1863, № 12, стр. 294). Таким образом и Елисеев и Жуковский расходились с автором романа «Что делать?», но едва ли прав Антонович, утверждая, что расхождение Елисеева было серьезнее и глубже, чем расхождение Жуковского.

[20] Жуковский Алексей Михайлович (1828 — 1893) — общественный деятель и писатель по историко-общественным вопросам. Принимал деятельное участие в качестве тверского губернского предводителя дворянства в трудах по крестьянской реформе; участвовал в «Современнике».

[21] Европеус Александр Иванович (1826 — 1885) — общественный деятель. Участвовал в кружке Петрашевского, за что был приговорен к расстрелу, замененному определением рядовым в Кавказский линейный полк. Принимал деятельное участие в трудах по крестьянской реформе. Был близок к кружку «Современника» и Некрасову.

III. Отношение редакционного кружка к Некрасову

[22] Ю. Г. Жуковский.

[23] Здесь подразумевается Н. Г. Чернышевский.

[24] Е. П. Елисеева в своих воспоминаниях называет имя этого знакомого человека — А. А. Макавеев.

IV. Каракозовский выстрел, репрессии Муравьева, общественная деморализация

[25] Оценке данного поступка Некрасова Елисеев посвятил специальную заметку, которую мы публикуем в приложении (см. стр. 460—469).

[26] Здесь Елисеев подразумевает анонимную статью Жуковского — «Записки современника», посвященную вопросу о заедании чужого хлеба (см. «Современник» 1865, № 8.)

[27] Жирарден Эмиль (1806—1881), — французский журналист. Издатель ряда газет. Считается создателем современного типа газет во Франции. Несколько раз менял свои политические убеждения. В 1865—1866 гг. в своих политических статьях и фельетонах поддерживал либеральную монархию.

[28] Мазад Шарль (1821—1893) — публицист. Член французской академии. Один из главных сотрудников консервативной «Revue des deux Mondes» где вел политическую хронику.

[29] Цитата заимствована Елисеевым из передовой статьи («Москва, 2 апреля». «Московские Ведомости» 1866, № 69).

[30] Цитата заимствована Елисеевым из книги Н. А. Любимова — «М. Н. Катков и его историческая заслуга», СПБ. 1889, стр. 332.

[31] Елисеев не совсем точно цитирует статью Каткова, хотя нисколько не искажает ее смысла. Вот точные слова Каткова: «Недаром же изобличение гнусного характера нигилизма возбуждает ярость в петербургском социалисте против «Московских Ведомостей». В одном кармане каждой стриженой барышни...» и т. д., как цитировано Елисеевым («Москва, 10 апреля». «Московские Ведомости» 1866, № 83).

[32] Эта цитата заимствована Елисеевым из передовой Каткова («Москва, 21 апреля». «Московские Ведомости» 1866, № 85).

[33] Е. П. Елисеева, почерком которой переписаны воспоминания ее мужа, в этом месте сделала следующее примечание: «Никогда таких длинных, к делу не пригодных и несколько смешных напыщенных тирад я не говорила, о взятых бумагах не упоминала, ибо скорее естественнее было упомянуть о взятом муже, а бумаги у меня у самой взяли, никогда я не рекомендовала сделать обыск и взять Некрасова у него на дому. Офицер был разозлен, а не смущен. Некрасов спокоен».

Так как данный эпизод, при котором Елисеев не присутствовал, изложен им несомненно со слов жены, то поправки самой рассказчицы являются вполне правомерными.

[34] Е. П. Елисеева снова корректирует рассказ мужа: «И это не точно. Офицер не говорил, что Некрасов со страху бы разболтался, а говорил, что им нужно только пришпилить Некрасова, найти хоть негодный клочок, хоть ниточку, чтобы засадить его».

[35] Иван Александрович Худяков (1842—1876) — собиратель народных сказок и составитель популярных книжек для народа. Часть этих книжек из-за тенденциозно подобранного материала была запрещена цензурою. Этими книжками народники пользовались в целях про-

паганды в начальный период «хождения в народ». В 1865 г. напечатал в Женеве сборник текстов из священного писания, направленных против монархии — «Слово святого Игнатия для истинных христиан». Являлся одним из вдохновителей Ишутинского кружка, внеся в него идею цареубийства. Арестован после покушения Каракозова 7 апреля 1866 г. Благодаря очень осторожному поведению во время следствия признан «неизобличенным в знании о намерениях Каракозова» и потому лишь сослан в отдаленные места Сибири. После статей Каткова о «недостаточном наказании преступника» администрация обставила его жизнь в Верхоянске такими условиями, что уже в 1870 г. Худяков обнаружил признаки душевного расстройства. После неоднократных ходатайств матери в июне 1875 г. доставлен в Иркутскую больницу, где и умер 19 сентября 1876 г.

[36] Среди арестованных были литераторы: Г. Е. Благосветлов, В. А. Зайцев, В. С. Курочкин, Н. С. Курочкин, Д. Д. Минаев, В. П. Покровский, В. А. Слепцов, А. П. Европеус и др.

[37] Имя Каракозова появилось в печати 14 апреля 1866 г.

[38] Из газет того времени известно, что на собрании различных представителей редакций петербургских газет и журналов, состоявшемся 13 апреля, Н. П. Колюпановым был предложен и единогласно одобрен проект всеподданнейшего адреса. Собрание уполномочило «после предъявления в течение трех дней к окончательной подписке в редакции «С.-Петербургских Ведомостей», гг. Гейрота, Пыпина и Колюпанова представить подлинный адрес на благоусмотрение г. министру внутренних дел и ходатайствовать о величайшем для подписавших лиц счастьи удостоить поднесения его государю

императору деятелями литературы» («С.-Петербургские Ведомости» 1866, № 99, 14 апреля). Из воспоминаний Елисеева следует, что и он принимал в этом деле участие.

[39] Владимир Данилович Спасович (1829—1906) — юрист и писатель. Наибольшей известностью пользовался как блестящий судебный оратор. Как литератор одинаково принадлежит русской и польской литературам. Придерживался умеренно-либеральных взглядов. Печатался в различных изданиях, главным образом в «Вестнике Европы».

[40] Елисеев, повидимому, запамятовал имя и отчество Колюпанова. Проект адреса составлял несомненно Нил Петрович Колюпанов (1827—1894) — публицист «С.-Петербургских Ведомостей», заменявший в то время редактора В. Ф. Корша. Известен работами по вопросу земского и городского самоуправлений. Написал ряд исторических работ по истории России. Автор биографии Кошелева.

[41] То есть без прения сторон и сообщения результатов следствия.

[42] «Московские Ведомости» 1866, №№ 180 и 202.

V. Переход «Отечественных Записок» в руки Некрасова

[43] Карнович Евгений Петрович (1823—1885) — литератор. Писал публицистические, исторические, критические и беллетристические произведения. С 1865 до 1871 г. был постоянным сотрудником «Голоса» Краевского.

[44] Напомним, что стихотворение А. Толстого «Пантелей Целитель» направлено против нигилизма. Заключительные строки этого стихотворения имеют весьма недвусмысленную формулировку:

... И приемы у них дубоватые,
И ученье-то их грязноватое,

И на этих людей,
Государь Пантелей,
Палки ты не жалей,
Суковатые.

[45] Отставной кавалерийский офицер, книгоиздатель Тиблен был известен первым изданием на русском языке произведений Спенсера. Его издательские дела шли, повидимому, не весьма важно. Он надеялся поправить их изданием «Современного Обозрения». Когда же первые полгода существования журнала не оправдали возлагаемых на него надежд, Тиблен, захватив имевшиеся в кассе журнала деньги, бежал от кредиторов за границу, бросив журнал на произвол судьбы.

[46] «Современное Обозрение», ежемесячный литературно-научный и политический журнал, издаваемый редактором-издателем Н. Тибленом в 1868 г. К участию в журнале был привлечен ряд видных литераторов того времени (Жуковский, Пыпин, Лавров, Энгельгардт, Ровинский, Ефремов, Решетников, Якушкин, Михайловский и др.). Журнал кончил свое существование на 6-й (июньской) книжке.

[47] Подлинное письмо Пыпина, о котором говорит Елисеев, неизвестно. В сохранившемся черновике, повидимому, именно этого пыпинского письма — о «хвосте Елисеева» нет ни слова. Но из него видно, что Пыпин вполне солидаризировался с Ю. Жуковским.

[48] Программа «Современного Обозрения», напечатанная в № 1 этого журнала (1868), подписана редактором-издателем П. Тибленом. Имя Ю. Жуковского не фигурирует в программе (А. Н. Пыпин упомянут в числе лиц, «обещавших постоянное участие в различных отделах «Современного Обозрения»). На участие Ю. Жуковского и А. Пыпина в составлении программы указывает примечание к их «письму в редакцию» «Совре-

менного Обозрения» после разрыва с Тибленом в февральской книжке этого журнала: «содействие, оказанное редакции гг. Ю. Жуковским и А. Пыпиным, ограничилось только их участием в изложении программы и в составлении 1-го номера».

Программа «Современного Обозрения», как правильно отмечает Елисеев, указывала на резкое поправение бывших сотрудников «Современника». После утверждения, что журнал будет стремиться к распространению серьезных, положительных знаний, программа заявляла: «Редакция вполне понимает, что интересы, которыми всего более дорожит всякое общество, суть интересы его спокойствия, — что этим интересам оно всегда и везде готово приносить самые большие жертвы, и что поэтому соображаться с этими интересами обязательно для всякого литературного органа... Рядом с политическими вопросами выступают обыкновенно вопросы экономические. При анализе явлений этой области «Современное Обозрение» будет иметь в виду главным образом задачи накопления новых богатств, а не перераспределение старых».

[49] Здесь Елисеев, повидимому, имеет в виду Павла Аполлоновича Ровинского (1831—1916), писателя-путешественника, б. проф. Казанского у-та и члена первой «Земли и Воли».

[50] После закрытия «Современного Обозрения» в «Отечественные Записки» перешли П. Якушкин и Н. Михайловский. Кроме того, исключительными сотрудниками «Отечественных Записок» стали работавшие до того в обоих журналах П. Лавров и Ф. Решетников.

[51] Под вторым провалом Елисеев подразумевает брошюру М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского «Материалы для характеристики современной русской литературы». I. «Литературное объяснение с-

Н. А. Некрасовым». М. А. Антоновича. II. «Post scriptum». Содержание и программа «Отечественных Записок» за прошлый год. — Ю. Г. Жуковского. СПБ. 1869».

На обвинения, содержавшиеся в этой брошюре, в апрельской книжке «Отечественных Записок» за 1869 г., отвечали М. Е. Салтыков (в отделе Библиографии) и Г. З. Елисеев («Ответ на критику»). Так как в данных воспоминаниях Елисеев, несколько раз упоминая об этой брошюре, специально не разбирает ее и не оценивает, мы перепечатываем ниже из «Отечественных Записок» начало «Ответа» Елисеева.

VI. Ответ Елисеева на критику Антоновича и Жуковского

[52] Елисеев не выполнил этого обещания и ни в каких своих печатных работах, кроме статьи «Ответ на критику», не касался начала «Отечественных Записок» и брошюры Антоновича и Жуковского. Только в печатаемых воспоминаниях через двадцать лет после «Ответа» Елисеев останавливается на этих эпизодах истории русской журналистики.

[53] В доказательство чрезмерной строгости нынешних сотрудников «Отеч. Зап.» в отношении чужих грехов Витонович на стр. 93 своей брошюры писал: «Один господин напечатал, что он будет заниматься только производством, а не распределением; другой господин видел как это печаталось и не остановил злодейской мысли, так сказать, попустил совершиться гражданскому преступлению. Нужно было видеть, как взъелись на этого господина либералы и радикалы: «это ренегатство, — кричали они, — измена убеждениям; занятие производством без распределения постыдно, позорно, хуже

ростовщичества, хуже гласных ссуд Карновича» и т. п. Антонович нарочно подменивает откровенное «накопление богатств» программы «Современного Обозрения» (см. прим. на стр. 558) общим понятием производства — отчего сглаживается поправение Жуковского и нападки на него радикальной прессы выглядят не убедительными.

[54] Бентам Иеремия (1748—1832) — английский философ, развивал так называемую философию полезности (утилитаризм). Личный интерес — по этой философии — движущая сила всех действий. Эгоистический принцип Бентама сводится, в условиях капиталистического строя, к идеальной безопасности собственника, охраняемого буржуазным государством. Учение Бентама явилось евангелием английского буржуазно-либерального направления.

[55] Предисловие Ю. Жуковского помещено в книге «Избранные сочинения Иеремии Бентама, т. I, перевод А. Н. Пыпина и А. Н. Неведомского с предисловием Ю. Жуковского. Издание «Русской Книжной Торговли», СПБ. 1867. В этом предисловии Ю. Жуковский высоко превозносит работы И. Бентама, которые, по его мнению, составляют «первое слово науки в известном направлении, обещающее с каждым днем все более и более стать господствующим и более плодотворным, чем предшествующие направления». Это предисловие, помеченное 29 июня 1867 г., указывает на ту идеологическую пропасть, которая разделяла Ю. Жуковского и Г. З. Елисеева еще до начала переговоров о создании новых «Отечественных Записок».

[56] Этот отзыв Маркса заимствован Елисеевым из примечания к главе 22 тома I «Капитала». Новое произведение Маркса (как известно первое немецкое издание «Капитала» I вышло в конце 1867 г.; этим изданием и поль-

зовался Елисеев, цитируя его в данной и последующих статьях 1869 — 1870 гг.) было тогда почти неизвестно в России, так как первый русский перевод «Капитала» вышел только в 1872 г. Елисеев несколько раз до выхода русского перевода опирался на Маркса в своих экономических статьях, очень высоко ставя авторитет «даровитейшего и честнейшего из современных политико-экономов, Маркса, известного своим сочинением «Das Kapital. 1867».

[57] Вторая часть «Ответа» Елисеева представляет собою весьма интересную полемику с Ю. Жуковским о движении народонаселения, являющуюся непосредственным ответом на замечания Жуковского о статье Елисеева «Производительные силы России» (см. «Отечественные Записки» 1868, № 2). Эту часть, как имеющую специальный интерес и не связанную непосредственно с темами воспоминаний, мы, в данную книгу, не включаем.

VII. Некрасов и Салтыков-Щедрин в роли руководителей «Отечественных Записок»

[58] В этом случае Елисеев не совсем точен. Болезнь Некрасова продолжалась около двух лет, так как весною 1876 г. она уже приобрела серьезный характер.

[59] Далее следует длинное и мало интересное отступление о роли сплетни в жизни русского общества. Так как оно почти не связано с основным текстом и для современного читателя не представляет интереса,— мы его опускаем.

[60] «Пошехонская Старина», соч., т. IX, СПБ. 1890.

[61] Хотя со времени написания воспоминаний прошло более сорока лет, но и до сих пор публицистические, критические статьи и рецензии Салтыкова остаются в большей части неизданными. Даже авторство Салтыкова

установлено для очень незначительного количества их.

[62] Генерал-монархист Мак-Магон (1808 — 1893) — после смерти Тьера был избран 24 мая 1873 г. президентом третьей республики.

[63] Александр Иванович Левитов (1835 — 1877) — беллетрист-народник, изображавший в своих рассказах бедную и непривлекательную жизнь крестьянства и городского мещанства. Вследствие личных неудач, болезней и неровного небольшого заработка писателя — Левитов влачил полуголодное, нищенское существование.

[64] Здесь Елисеев несомненно подразумевает рукопись, составившую первые главы печатаемых воспоминаний: Эти слова также показывают, что воспоминания об «Отечественных Записках» и Салтыкове написаны ранее воспоминаний о «Современнике».

[65] Подлинные письма Салтыкова к Елисееву покамест не опубликованы. Они известны только по приводимым отрывкам в воспоминаниях Елисеева о Салтыкове (см. «М. Е. Салтыков в письмах к Григорию Захаровичу Елисееву» — «Заветы» 1914, № 4).

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Воспоминания Е. П. Елисеевой

[66] Евгения Карловна Гайдебурова, жена известного литератора Павла Александровича Гайдебурова (1841—1893). Гайдебуров в начале своей литературной деятельности выказал себя радикальным публицистом, начав с сатирических статей в «Искре». Сотрудничал в «Очерках», «Современнике», «Деле» и «С.-Петербургских Ведомостях» редакции Корша. С 1869 г. становится издателем «Недели», за двадцатилетний период редактирования которой сильно эволюционировал вправо.

[67] Жена Ю. Г. Жуковского (см. ее воспоминания. — Е. Жуковская, «Записки». Изд. писателей в Ленинграде 1930).

[68] «С.-Петербургские Ведомости» редакции В. Ф. Корша (с 1863 по 1874 гг.) держались умеренно-либерального направления. Несмотря на это пять раз подвергались предостережениям; с 1874 г. В. Ф. Корш был отстранен от редактирования.

[69] Жохов Александр Федорович (1840—1872)—публицист. В литературе он разрабатывал преимущественно земские вопросы. Сотрудничал в «Народном Богатстве», «С.-Петербургских Ведомостях» (редакции Корша), «Вестнике Европы» и в «Неделе».

[70] Мезенцев Николай Владимирович (1827—1878) — генерал, впоследствии — шеф жандармов. Убит С. Кравчинским в 1878 г.

[71] Гагарин Павел Павлович, князь (1789 — 1872) — председатель верховного уголовного суда над «каракозовцами». Александр II остался недоволен слишком мягким, по его мнению, приговором суда. Он сказал Гагарину: «Вы постановили такой приговор, что не оставили места моему милосердию» (см. Центрархив. «Покушение Каракозова». М. 1928).

[72] Г. З. Елисееву принадлежит анонимная статья «Русская литература XVIII столетия и ее история» («Очерки истории русской литературы». Соч. Караулова, т. I. Феодосия, 1865), напечатанная в №№ 2 и 3 журнала «Дело» за 1867 г. Авторство устанавливается на основании текстуального повторения отзыва о писателе Матинском из объявления об издании сборника «Русская Литература XVIII века», подписанного Г. З. Елисеевым. Кроме этой никакая из литературных статей в «Деле» за 1867 год не может принадлежать Г. З. Елисееву.

[73] В этом случае Е. П. Елисеева не совсем точна.

«Очерки» прекратились, как указывалось выше, не из-за вмешательства правительства, а вследствие того, что издатель-редактор А. Очкин испугался ответственности за радикальное направление, приданное Елисеевым газете.

[74] Здесь Елисеева сильно преувеличивает популярность мужа. Как указывалось нами во вступительной статье к его «Воспоминаниям» популярность Елисеева ограничивалась, главным образом, литературными кругами.

[75] В этих замечаниях о М. Е. Салтыкове Елисеева допускает некоторую неточность. Во-первых, в октябре 1867 г. (когда происходили описываемые переговоры) Салтыков приезжал в Петербург не как тверской вице-губернатор (вице-губернаторство он оставил еще в феврале 1862 г.), а накануне перевода председателем казенной палаты из Тулы в Рязань. Во-вторых, в конце 1861 г., когда Салтыков был вице-губернатором в Твери, он не «будто бы», а вполне реально два раза представлял губернатору, гр. Баранову, полученные им по почте пакеты с двумя выпусками прокламации, «Великорусс», которые Баранов препроводил по инстанциям. Документы, удостоверяющие этот поступок Салтыкова см. в комментариях М. К. Лемке к Полн. собр. соч. А. И. Герцена (т. XI, стр. 351).

[76] В этом случае Елисеева снова ошибается. Мысль о «знамени Краевского», как это и следует из воспоминаний Г. З. Елисеева, даже не возникала. Вопрос шел лишь об оставлении имени Краевского как ответственного перед цензурою редактора, т. е. не фактического, а лишь юридического редактора.

[77] Здесь Елисеева неправильно истолковывает письмо Пыпина. Под «хвостом», понятно, подразумевалась не популярность Елисеева, а полицейский надзор после освобождения из крепости.

[78] «Космос» — чисто-научный журнал, организованный Ю. Г. Жуковским, М. А. Антоновичем и д-ром Симоновым. Успеха не имел и, просуществовав лишь год (1869), прекратился из-за недостатка средств.

[79] По всей вероятности Елисеева не совсем точно вспоминает событие. Речь, повидимому, идет не о патриотических стихах, а о драме Полонского «Разлад». Об этом эпизоде подробно рассказано в воспоминаниях Антоновича (см. выше, стр. 198—199).

[80] Имеется в виду участие Некрасова в так называемом «огаревском деле» (см. примечание на стр. 516—517).

II. Елисеев о личности Некрасова

[81] Набранные курсивом места были изъяты по цензурным условиям П. Ф. Якубовичем из текста «Заметки» (ср. «Русское Богатство» 1902, №№ 11 и 12).

III. Елисеев о литературной богеме шестидесятых годов

[82] Федор Михайлович Решетников (1841—1871)— беллетрист-народник.

[83] См. «Экономический Указатель» 1861, № 281.

[84] См. «Северная Пчела» 1861, № 189.

[85] См. «Искра» 1861, № 38.

IV. Елисеев о романе «Что делать» и «Коммуне В. А. Слепцова»

[86] 1890 г.

[87] Анфантен Бартелеми-Проспер (1798—1864) — известный сен-симонист. После раздоров с двумя остальными руководителями сен-симонистской школы

Базаром и Родригом, Анфантен с группой верных сторонников поселился в небольшом доме в Менильмонтанском предместье Парижа, организовав так называемое менильмонтанское семейство. Подчиняясь целому ряду ритуалов, следуя наставлениям своего «отца Анфантена», члены этого семейства отреклись от своих светских занятий и связей и стали сами исполнять все обязанности прислуги, соединяя физический труд с интеллектуальной жизнью своих вечерних собеседований. Кружком «Современника» Анфантен и его семейство воспринимались иронически в связи с известной статьей Н. Г. Чернышевского, посвященной менильмонтанскому семейству (см. «Современник» 1860, № 5): «Само собой разумеется,— писал он,— что вся эта торжественная комедия заключала в себе ребяческого и смешного гораздо больше, чем высокого, хотя была со стороны сен-симонистов совершенно серьезна... Это были светские люди, хотевшие не терять своего щегольства, накидывая на себя мужичество». Сравнение Салтыкова «слепцовской коммуны» с «менильмонтанским семейством» указывает на ироническое восприятие наивных и ребяческих с его точки зрения затей членов коммунального общежития.

[88] Предостережение «Современнику» министра внутренних дел от 10 ноября 1865 г. за помещение статей «Новые времена» и «Записки современника» (в №№ 8 и 9) было опубликовано в официальном отделе газеты «Северная Пчела» 1865, № 245.

[89] См. «Современник» 1865, № 9.

V. Елисеев об «Отцах и детях»

[90] Юркевич Панфил Данилович (1827—1874) — профессор философии Киевской духовной академии. С

1861 г. — проф. Московского университета и деятельный сотрудник катковских изданий. Вскоре после приезда в Москву своими публичными лекциями, направленными против материализма, и статьями по философии выдвигается в идейные руководители наступающей реакции в области философских проблем.

[91] См. статьи Н. Г. Чернышевского — «Полемические красоты», «Современник» 1861 г., №№ 6 и 7.

[92] Здесь, в изложении Елисеева не совсем ясна последовательность событий. «Личные страсти», т. е. по Елисееву разрыв Тургенева с «Современником», произошел почти за год до опубликования крестьянской реформы и полемики Чернышевского с Юркевичем. Но центральный момент этого столкновения, сделавший «личные страсти» уже общественным явлением — направленность и социальный эффект романа «Отцы и дети», — хронологически следует за полемикой «Современника» с «Русским Вестником» и почти совпадает со временем обнародования крестьянской реформы.

[93] В данном случае Елисеев совершенно неправильно объединяет в понятие «либеральная партия» классово-различные явления. Эта ошибка принадлежит к тем, которые, как уже отмечалось выше, свойственны Елисееву-старику, Елисееву-автору воспоминаний и противоречат основным установкам Елисеева-журналиста.

В своих «Внутренних обозрениях» Елисеев более или менее четко дифференцировал либералов тургеневского типа от радикальных демократов, объединяемых «Современником».

[94] Елисеев подразумевает статью М. Антоновича «Асмодей нашего времени», помещенную в мартовской книжке «Современника» за 1862 г.

[95] В рукописи ошибочно указан 1861 г.

[96] Здесь главным образом подразумевается анонимная статья Лескова, помещенная в № 143 «Северной Пчелы» от 30/V—1862 г., в которой автор, повторяя слухи о связи пожаров с прокламацией «Молодая Россия», хотя и «не смел судить» о их правильности, но призывал все же «петербургское начальство не упустить из виду всех средств, которыми оно может располагать в данную минуту».

[97] Пожар Апраксина и Щукина двора длился с 26 по 30 мая, — а Н. Г. Чернышевский был арестован 7 июля.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН

А

Аввакум, протопоп 243
Августин, богослов 243
Агафья, кухарка Елисеевых 418—419, 424—427
Адлерберг, А. В. гр. 513—514
Айхенвальд, Ю. И. 53. 510
Аксаков, И. С. 217, 295
Александр I 291—293, 295
Александр II, 8, 9, 48, 426, 461, 464, 507, 514, 518, 521, 548
Александр III 552
Аничков, В. М. 511
Аничков, Е. В. 527
Анненков, П. В. 190, 201, 509
Антонович, М. А. 8—11, 15—32, 254, 264, 266—289, 301, 314, 316—319, 347, 350, 353, 361, 365—369, 372, 414, 421, 428—430, 440, 444, 447—451, 507—513, 515—517, 519—520, 523—547, 551, 553—554, 560—562, 567, 570
Анфантен, Бартоломи-Проспер 180, 489—490, 532, 568—569
Апухтин, А. Н. 185
Арсеньев, К. К. 489
Аскоченский В. И. 233, 275, 548—549

Б

Базар, Аманд 568
Бакунин, М. А. 138
Баранов, Э. Т., гр. 567
Безобразов, В. П. 254
Безрылов, Никита, см. Писемский, А. Ф.
Белинский, В. Г. 29, 31, 51—54, 72, 78, 98—100, 138, 163—165, 174, 187, 189, 260, 392, 469, 509—510
Беллами, Эдвард 553
Бентам, Иеремия 263, 372—373, 562
Березин, И. Н. 130
Бернардаки, банкир 153, 528
Благосветов, Г. Е. 199, 284, 313, 415, 438, 548, 557
Богучарский, В. Я. 78, 82, 97, 515—516, 518
Боков, П. И. 125—130, 524
Бонапарт, Луи, см. Наполеон III
Боткин, В. П. 190, 201
Боткин, С. П. 258
Брамбеус, барон, см. Сенковский, О. И.
Брейтбург, С. М. 254
Булгарин, Ф. В. 63—64, 76, 78, 85, 87, 149, 167
Буткевич, Г. С. 511
Бухштаб, Б. Я. 537

В

Ватсон, Э. К. 551
Вейнберг, П. И. 253, 534
Венгеров, С. А. 15—17, 21, 25—26, 279, 526
Волков, А. М. 494

Г

Гаванди, Александро 142, 171, 526
Гагарин, П. П. 437, 565—566
Гайдебуров, П. А. 250, 425, 565
Гайдебурова, Е. К. 417, 565
Гайм, Рудольф 269
Галахов, А. Д. 159—160, 528
Гарибальди, Джузеппе 526
Гегель, Георг 174, 236, 269, 531, 546
Гейне, Генрих 532
Гейрот, А. Ф. 557
Гельмгольц, Герман 239, 546
Гербель, Н. В. 529
Герцен, А. И. 9, 31, 35, 48, 71, 73—97, 138, 143, 148, 157, 507, 513—518, 552, 567
Гирс, Д. К. 538
Гладстон, Вильям 68
Гоголь, Н. В. 153, 392, 480—482
Гогоцкий, С. С. 269
Голицын, А. Ф., кн. 523
Головачев, А. Ф. 225, 314, 532
Головачева, А. Я., см. Панаева, А. Я.
Головнин, А. В. 520
Гончаров, И. А. 190
Горбунов, И. Ф. 203
Горвиц, 62—64
Гофштеттер, Е. П., см. Елисеева Е. П.
Гофштеттер, брат Е. П. Елисеевой 419, 432—437
Грановский, Т. Н. 138
Греч, Н. И. 63, 76, 85, 87, 149, 160, 163, 167, 529
Григорович, Д. В. 190
Григорьев, Я. И. 525
Громека, С. С. 282—284, 549

Д

Дарвин, Чарльз 28, 239—240, 546
Демерт, Н. А. 250
Державин, Г. Р. 460
Де-Роберти, Е. В. 27
Дитятин, генерал 203
Дмитриев, И. И. 250
Добролюбов, Н. А 7—8, 15—18, 20, 26—29, 31—32, 34, 37—41, 52—54, 58, 60—66, 77—83, 86, 89—90, 97—98, 125, 134—176, 181, 188, 191—194, 196, 201, 207, 214—215, 221, 252, 267—268, 270—272, 317, 439—440, 459, 469, 497—500, 508, 510—512, 515—517, 525—532, 542—544, 550
Достоевский, М. М. 546, 551
Достоевский, Ф. М. 465, 546
Дудышкин, С. С. 199.

Е

Евгеньев-Максимов, В. Е. 214—218, 221, 223—224, 229, 231, 261, 266, 415, 495, 550—552
Европеус, А. П. 307—309, 554, 557
Екатерина II 291—293
Еленев, Ф. П. 520
Елисеев, Г. З. 8—11, 24, 31—32, 109, 114—116, 119, 121—122, 130—131, 133, 195—197, 199, 208—209, 212, 214—230, 249—266, 413—414, 415—424 432—438, 440—459, 468—469, 484—485, 494—495, 524, 533—536, 538—541, 543—544, 547, 550—556, 558—564, 566—570
Елисеева, Е. П. 24, 230—231, 329—330, 413—415, 544, 555—556, 566—567
Ераков, А. Н. 394, 511
Ефремов, П. А. 559

Ж

Жемчужников, А. М. 538
Жирарден, Эмиль 323, 327, 555
Жохов, А. Ф. 430, 565
Жуковская, Е. П. 428, 565
Жуковский, В. А. 392
Жуковский, Ю. Г. 9, 11, 23, 25, 28, 196, 208, 210, 217—220, 224—226, 231, 262—266, 285—289, 301—305, 3 4, 322, 324—326, 331, 337, 347, 350—358, 361, 365—373, 428—429, 440, 444, 447—451, 535, 537, 539, 541, 550—551, 553—555, 559—563, 565, 567

З

Забелин, П. Е. 138
Зайцев, В. А. 557
Зарин, Е. Ф. 201, 508, 528,
Засулич, В. П. 252
Зеленой, чиновник при Муравьеве - Виленском 432—434

И

Иванов, П. П 16—17, 21

К.

Кавелин, К. Д. 33, 47, 86, 161, 469, 471, 507, 516, 518
Кант, Иммануил 239
Капустин, С. Я. 250
Каракозов, Д. В. 8, 9, 261, 322, 329, 332, 338—339, 347, 357, 326—427, 437, 507, 557
Карнович, Е. П. 344, 558, 562
Катков, М. Н. 9, 20, 81, 85, 111, 146, 260, 272, 295—297, 322—328, 330—331, 337—340, 415, 437, 463—464, 514, 548, 556—557
Кауфман, К. П. 509
Кауфман, М. П. 45, 509
Кирпотин, В. Я. 19, 21, 545—546, 548
Клюшников, В. П. 111
Ковалевская, С. В. 488
Кожанчиков, Д. М. 451, 485, 487

Козьмин, Б. П. 263, 264
Кокорев, В. А. 153, 162, 363, 528
Кольцов, А. В. 181
Колюпанов, Н. П. 333, 430, 557—558
Комиссаров, М. О. 9, 23, 535,
Корбецкий, первый муж Е. П. Елисеевой, 413
Короленко, В. Г. 23
Коропцев, П. 531
Корш, В. Ф. 199, 438, 464, 520, 558, 565
Костомаров, Вс. Д. 513
Костомаров, Н. И. 102, 113—114, 513, 519—521
Котляревский, Н. А. 19
Кошелев, А. И. 558
Кравчинский, С. М. 565.
Краевский, А. А. 9, 20, 24, 102—103, 110—113, 117, 120, 188, 199, 208—209, 233, 244, 259, 346—349, 359—361, 406—408, 439, 444—447, 454, 520, 523, 529, 549, 558, 567
Крейзер, Карл-Эдуард 331
Кривенко, С. Н. 251, 256, 258, 414
Крузе, Н. Ф. 526—527
Крылов, П. А. 62, 547
Курочкин, В. С. 252, 415—416, 471, 473, 477, 511, 557
Курочкин, Н. С. 557
Курочкина, — мать Вас. Степ. 416

Л

Лавров, П. Л. 30, 109, 113, 121—124, 232—246, 269, 523, 538, 545—546, 559—560
Лассаль, Фердинанд 484, 492
Левитов, А. И. 399, 564
Лемке, М. К. 54, 82, 103, 253—254, 510—512, 515, 517, 522, 524—525, 529, 531, 533, 567
Ленин, В. И. 520
Леонтьев, П. М. 81, 85
Лермонтов, М. Ю. 80, 181
Лесков, Н. С. 111, 570
Лохвицкий, А. В. 108, 110, 114—116, 118—119, 522
Львов, Н. П. 64, 134, 525
Льюис, Джордж-Генри 240, 546
Любимов, Н. А. 325—326, 555

М

Магницкий, М. Л. 357
Мадьянов, пристав 126
Мазад-де Шарль 323—324, 326—327, 337, 555
Майков, А. Н. 185
Мак-Магон, Мари-Парис-Морис 393—394, 564
Макавеев, А. А. 450, 555
Макарий, архиерей 43, 46, 47
Марко-Вовчек 538
Маркс, Карл 264, 372, 562—563
Матинский, М. 566
Мезенцов, П. В. 431, 565
Мельшиков, М. О. 123
Мещерский, В. П. 108
Милеант, В. 63
Милеант, Е. 63

Милль, Джон-Стюарт 99—100, 302
Минаев, Д. Д. 557
Михайлов, М. И. 523—524
Михайловский, Н. К. 27, 252, 255, 259, 262, 266, 406—407, 458—459, 469, 559—560.
Мор, Томас, 553
Мошкалов, П. С. 552
Муравьев-Виленский, М. Н., граф 9, 23—24, 229, 320—321, 328—329, 331, 335—338, 343, 415—416, 419, 425—427, 430—436, 458, 460—462, 536—538, 544, 555
Муханов, Н. А. 513—514

Н

Нагорнова, наборщица 246
Надеждин, А. 55, 510
Наполеон I 291—292, 365
Наполеон III 96, 145, 150, 527
Неведомский, А. Н. 562
Некрасов, Н. А. 7—9, 11, 22—27, 29, 31—32, 79—80, 82—83, 88—90, 92, 131, 133, 138, 153, 165, 177—213, 214—216, 219, 221—230, 256, 263—265, 268, 272, 287, 307—308, 310—319, 320—322, 328—330, 344—364, 366—371, 374—385, 389, 391—392, 394—395, 397, 399—401, 403—406, 418—421, 424, 429, 438—441, 443—450, 452—454, 456—457, 458—467, 515—518, 524—527, 529, 532—544, 554—556, 563—567
Никитенко, А. В. 514
Николай I 48
Нильский, В. В., протоиерей 526

О

Оболенский, А. 547
Огарев, К. П., генерал 442—443
Огарев, Н. П. 517
Огарева, М. П. 457, 517
Орсини, Феличе 150, 527
Островский А. Н. 190, 203, 454, 480, 482
Очкин, А. Н. 195, 226, 255, 533, 566

П

Павлов, Н. Ф. 85, 111, 522
Павлов, П. В. 102, 107, 519
Пальмерстон, Генри-Джон 68, 150
Панаев, И. И. 135, 138, 190, 201, 525, 542—544
Панаев, Ип. А. 223, 225—226, 314, 542
Панаева, А. Я. 82, 190, 231, 429—430, 498, 517, 530, 532, 542, 544
Пантелеев, Л. Ф. 516, 519
Петр I 220
Пиери 527
Писарев, Д. И. 20—21, 272—273, 346, 350, 469, 471, 538, 548, 552
Писаревский, Н. Г. 255, 533
Писемский, А. Ф. 252, 465,
Плеве, В. К. 511
Плетнев, П. А. 543

Плюшар, А. А. 525
Погодин, М. П. 71, 85, 513
Поэрио, 68—71, 75
Покровский, 160
Покровский, В. П. 557
Полевой, К. А. 160
Полонский, Я. П. 190, 198—199, 344, 450, 534, 567
Поморцев, проф. 174—175, 531
Помяловский, Н. Г. 543
Присниц, Винцент, д-р 331
Пржецлавский, О. А. 522
Прудон, Пьер-Жозеф 138, 205, 215, 302, 540
Пушкин, А. С. 41, 50—52, 80, 98, 181, 392, 509, 523
Пыпин, А. Н. 9, 132—133, 196, 205, 208, 264—265, 314, 318, 347, 350—354, 356, 358, 360—361, 421, 440, 444, 447, 449, 518, 523—524, 535, 537, 541, 557, 559—560, 562, 567
Пятковский, А. Я. 473.

Р

Ракеев, жанд. полковник 126—128, 130, 523
Репинский, Г. К. 536
Рехневский, С. С. 45, 46, 509
Решетников, Ф. М. 471, 559—560, 568
Ровинский, П. А. 559—560
Родриг, сен-симонист 568
Розанов, Л. П. 133, 421
Розенгейм, М. П. 151, 527
Россель, Джон 68, 150
Ростовцева, гр. 245
Русанов, Н. С. 30, 232, 238, 241—242, 245, 545—546
Рылеев, К. Ф. 41
Рычков, В. И. 129

С

Садовский, П. М. 203
Сазонов, Е. С. 511
Салтыков-Щедрин, М. Е. 8, 11, 24, 75, 180, 196, 200, 203, 208—209, 259, 261, 281, 284, 307, 346, 348—350, 361—364, 374, 378, 380, 385—410, 444—447, 452—456, 473—474, 488—490, 526, 534, 538, 552, 561, 563—564, 566—567
Самарин, Ю. Ф. 295
Свириденко, М. Я. 486
Святополк-Мирский, П. Д. 511
Сенковский, О. И. 72, 85, 87, 134, 167
Сераковский, Сигизмунд 36, 507
Серно-Соловьевич, Н. А. 81—83, 515
Сильвестр, священник 373
Симонов, Л. Н. 27, 567
Скабичевский, А. М. 413—414, 538
Скарятин, А. 116
Скарятин, В. Д. 108, 111, 114—116, 118—121, 522
Скафтымов, А. 522
Слепцов, В. А. 9, 314, 484—490, 557
Сорокин, А. Ф., генерал 131—132
Спасович, В. Д. 92, 217, 333, 558
Спенсер, Герберт 559

Стасова, Н. В. 245, 546
Стеклов, Ю. М 518, 522
Степанов, Н. А. 151, 252, 476—477, 511, 527
Стопановский, М. М. 253, 476
Страхов, Н Н. 216, 234, 546
Суворин, А. С. 102, 257, 464
Суворов, А. А. 131, 524
Суворов, А. В. 374

Т

Теньков, гвардейский офицер 417—419, 421, 424, 433
Тиблен, Н. 27, 265, 351—352, 354, 356, 358—359, 361, 363—364, 368, 372, 443—444, 538—539, 559—560
Тимашев, А. В. 514
Толстой, А. К. 344, 558—559
Толстой, Л. Н. 201
Тургенев. И. С. 9, 19, 71—73, 83, 86—87, 111, 161, 190—191, 201, 271—278, 282, 298, 465, 469, 471, 488, 494—503, 528—530, 533, 547—548, 569
Тьер, Адольф 393, 564

У

Унковский, А. М. 307, 353, 554
Успенский, Г. И. 538
Успенский, Н. В. 542—543
Утин, Н. И. 130, 523—524

Ф

Фейербах, Людвиг 138, 237
Фердинанд II 68—71, 76
Фет, А. А. 185, 488
Философова, А. П. 245, 546
Фиркс, Ф. М., барон, 296, 323, 552
Фурье, Франсуа 489—491

Х

Худяков, И. А. 24, 260, 331, 338—339, 458—460, 467, 556—557

Ц

Цветков, литератор 473
Ценина, Е. П., см. Жуковская Е. П.

Ч

Чаркин 62—64
Чебышев-Дмитриев, А. П. 522
Черкесов, книгопродавец 128
Чернышев, Б. И. 28
Чернышевская, О. С. 42, 129
Чернышевский, М. Н. 99
Чернышевский. Н Г. 7—9, 17—20, 23—24, 26—27, 29—32, 33—133, 138, 154—161, 169—170, 173—176, 188, 190, 192—196, 201—202, 205, 214—215, 217—218, 220—222, 232, 234, 237, 256, 261, 267—272, 275—277, 279, 282, 285, 298, 300—301, 305—306, 315, 439—440, 445, 450,

457, 459, 485, 507—509, 512—513, 516—518, 520—524, 526, 528—529, 531—534, 540—548, 550, 552—555, 568—570
Чижов, переводчик 531
Чичерин, Б. Н. 550
Чуковский, К. Н. 485

Ш

Шевырев, С. Н. 85
Шедо-Ферротти, см. Фиркс, Ф. М.
Шелгунов, Н. В. 533
Шишков, А. С., адм. 357

Щ

Щапов, А. Н. 139, 526, 533
Щедрин, см. Салтыков-Щедрин
Щербачев, Г. 547

Э

Эвальд, В. В. 30, 100—101, 108—124, 519, 522
Эвальд, Ф. Ф. 101
Эдельсон, Е. М. 234, 546
Энгельгардт, А. Н. 245, 546
Энгельгардт, Н. А. 16—17, 21, 559

Ю

Юматов, Н. Н. 522
Юркевич, П. Д. 569

Я

Якубович (Мельшин), П. Ф. 260, 458, 567
Якушкин, П. И. 559—560
Янжул, И. И. 553

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. М. А. Антонович в старости. *С фотографии, предоставленной О. М. Антонович-Мижуевой* . . . . . 32— 33
2. Н. Г. Чернышевский в 1859 г. *С фотографии В. Лауферта в Петербурге* . . . . . 64— 65
3. А. И. Герцен в конце 50-х годов . . . . . 80— 81
4. Н. А. Добролюбов в 60-х годах. *Из собрания ИРЛИ* . . . . . 144—145
5. Н. А. Некрасов в 60-х годах. *С фотографии собрания Евгеньева-Максимова* . . . . . 192—193
6. Г. З. Елисеев в 60-х годах. *С фотографии из собрания Евгеньева-Максимова* . . . 248—249
7. Г. З. Елисеев в старости . . . . . 256—257
8. Ю. Жуковский . . . . . 272—273
9. Выстрел Каракозова. *С картины Гринера. Из собрания Музея революции* . . . . . 320—321
10. Граф М. Н. Муравьев (Виленский). *С литографии Васнетти* . . . . . 336—337
11. Группа «Отечественных Записок» . . . . . 374—375
12. М. Е. Салтыков-Щедрин в конце 60-х годов. *Из собрания ИРЛИ* . . . . . 378—379
13. Карикатура на «Отцы и дети». «*Искра*» *1868 г., № 12* . . . . . 496—497
14. Карикатура на «Отцы и дети». «*Искра*» *1868 г., № 14* . . . . . 500—501

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 7

Воспоминания М. А. Антоновича

В. Евгеньев-Максимов — М. А. Антонович и его воспоминания 15

I. Личность Н. Г. Чернышевского 33
II. Поездка Н. Г. Чернышевского в Лондон к А. И. Герцену 48
III. Материалы для биографии Николая Гавриловича Чернышевского 98
IV. Арест Н. Г. Чернышевского 125
V. Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове 134
VI. Из воспоминаний о Николае Алексеевиче Некрасове 177
VII. Редакция «Современника» в 1866 г. 214
VIII. По поводу статьи И. С. Русанова «П. Л. Лавров» 232

Воспоминания Г. З. Елисеева

Г. Тизенгаузен — Г. З. Елисеев и его воспоминания. 249
I. Антонович и Жуковский в «Современнике» . . 267
II. Ошибки нового руководства журналом 290
III. Отношение редакционного кружка к Некрасову. 310
IV. Каракозовский выстрел; репрессии Муравьева; общественная деморализация 320
V. Переход «Отеч. Записок» в руки Некрасова . 344
VI. Ответ Елисеева на критику Антоновича и Жуковского 365
VII. Некрасов и Салтыков-Щедрин в «Отечественных Записках» 374

Приложения к «Воспоминаниям Г. З. Елисеева»

I. Воспоминания Е. П. Елисеевой 413
II. Статья Г. З. Елисеева. О личности Некрасова (по поводу отзыва Худякова) 458
III. Из рукописей Г. З. Елисеева. О литературной богеме 60-х годов 468
IV. Из рукописей Г. З. Елисеева. О романе «Что делать» и «Коммуне Слепцова» 484
V. Из рукописей Г. З. Елисеева. Об «Отцах и детях» 494

Комментарии

К «Воспоминаниям М. А. Антоновича» — *В. Евгеньева-Максимова* 507
К «Воспоминаниям Г. З. Елисеева» и «Приложениям» — *Г. Тизенгаузена* 547

Указатель личных имен 571
Перечень иллюстраций 579

Редактор В. И. Невский. Технический редактор Г. Л. Гилес

✲

Сдана в набор 8. II. 33. Подписана к печати 16. XI. 33. Тираж 5.300. Заказ № 437. Уполномоч. Главлита № Б-24100. Индекс А О. Изд. № 83. Бумага 72 × 110 см. в 1/32 Печ. л. 56,5 + 14 приклеек. Бум. лист. 9,125 по 100 000 зн.
Вышла в свет XII. 33.

✲

Отпеч. во 2-й тип. „Печатный Двор“ треста „Полиграфкнига“ Ленинград, Гатчинская ул., 26.

✲

Цена Р. 8.—
Переплет Р. 2.—